



**Дружба  
народов**

**11/2022**

*Дружба на возраст*



## «ДРУЖБА НА ВЫРОСТ»—2022

**Начиная с 2015 года, ноябрьский номер «ДН» посвящен проблемам детства, семьи, школы, литературе для детей и о детях.**

### Магия детства

— Я вырос в доме, где не было книг, но Русланова на патефонной пластинке пеланекрасовское «Меж высоких хлебов...».

— Своим детям после положенных Чуковского, Маршака, Житкова я довольно рано начал читать Шекспира, «Слово о полку Игореве» и наиболее поэтические отрывки из Евангелий. Как это сказалося на их будущем? Случалось и прекрасное, и ужасное.

По традиции номер открывается воспоминаниями наших авторов:

Ефима БЕРШИНА, Георгия ГРАТТА, Константина КОМАРОВА, Анны МАТВЕЕВОЙ, Александра МЕЛИХОВА, Бориса МИНАЕВА, Дениса ОСОКИНА, Натальи РУБАНОВОЙ, Кирилла РЯБОВА, Ильи ФАЛИКОВА, Александра ЧАНЦЕВА, Ганны ШЕВЧЕНКО — о КНИГЕ их детства и о том, что читают их дети и внуки.

### Совпадение несовпадений

Что получается, если молодой человек, не находящий себя в жизни, от безвыходности становится учителем? Из него получается педагог от бога. В дебютной повести Анатолия СЛОВЦОВА «Сюжет и фабула не совпадают» молодой учитель укрощает нерадивых подопечных, наживая себе и друзей, и врагов. Терпит поражения и одерживает победы. Всё как в жизни, только куда остроумнее: «Я тащил конопатого через всю школу на глазах у его друзей, у моих коллег, тащил, как тащит жениха к алтарю беременная невеста, и думал — зачем? Зачем я это делаю? Наказать? Да не хочу я его наказывать! Проучить? Тоже не хочу. Если не дурак — подрастёт и сам поймёт. Так зачем?! Неужели потому что... надо?»

### Застрявший в небесах

«Как всё-таки хорошо, что никто из его юных слушателей (Хармс выступал перед детьми на Путиловском заводе) не знал, что в комнате этого смешного гражданина в шляпе, клетчатом пиджаке и брюках гольф висела надпись: «Здесь убивают детей!», — замечает Максим ГУРЕЕВ и торопится уточнить: «Скорее всего, он, начертав эту вывеску, помышлял лишь об одном лопухом мальчишке по имени Даня Ювачёв, не мог скрыться от его простого и открытого взора, в котором таилось что-то хармсовское — «вот как такого негодника не убить?!»». Глава из будущей биографической книги — о времени, смертельном \*для поэтов.

### «Жизнь состоит из вопросов»

«Ведь ты и оставлен услышать, как молвится слово,/ и детское пенье проходит иглою под рёбра...» Стихи о любви и творчестве Александра АМЧИСЛАВСКОГО запоминаются плотностью мысли и глубиной чувства.

Им созвучна ностальгическая лирика Ольги СУЛЬЧИНСКОЙ, которая на вопрос: «Что ждёт нас?» — отвечает конкретно: «Труба зовёт, и подана карета,/ И слёзы поднимаются к глазам».

Поэтическая подборка «Море волнуется — раз» представляет молодых авторов: Эгвину ФЕТ, Артемия СЕМИЧАЕВСКОГО, Ольгу ЛАПЕНКОВУ, Ивана УДАЛЬЦОВА и Татьяну КИЗИЧЕНКО. Это стихи о детях, для детей — и не только. Это стихи о жизни детей в мире взрослых: «Изображая самолётик,/ Кружится мальчик по паркету./ Его война не там, не где-то,/ А здесь, в пяти шагах от лета».

# Дружба народов



*Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический журнал*

**11'2022**

*Основан  
в марте 1939 года*

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,  
журнал «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,**  
**Сайт журнала:**  
**<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский  
полиграфический комбинат»,  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;  
[www.oaomrk.pf](http://www.oaomrk.pf) тел.: (495)745-84-28;  
(49638)20-685

***Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.***

***Во всех случаях полиграфического  
брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.***

***При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.***

Сдано в набор 20.09.2022.  
Подписано в печать 31.10.2022.  
Формат бумаги 70 x 108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.  
Заказ 3607/22. Цена свободная.

## **Редакционная коллегия**

Главный редактор Сергей  
НАДЕЕВ  
Ольга  
БРЕЙНИНГЕР  
Ирина  
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена  
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья  
ИГРУНОВА

Галина  
КЛИМОВА

Владимир  
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр  
СНЕГИРЁВ

## **Редакционный совет**

Мария  
АНУФРИЕВА

Сухбат  
АФЛАТУНИ

Муса  
АХМАДОВ

Ольга  
БАЛЛА

Дмитрий  
БИРМАН

Денис  
ГУЦКО

Ольга  
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид  
НАГИМ

Илья  
ОДЕГОВ

Валерия  
ПУСТОВАЯ

Кнут  
СКУЕНИЕКС

Сергей  
ФИЛАТОВ

Ренат  
ХАРИС

Александр  
ЧАНЦЕВ

ЭЛЬЧИН

«Только детские книги читать...» В заочном «круглом столе» принимают участие:  
Ефим БЕРШИН, Георгий ГРАТТ, Константин КОМАРОВ, Анна МАТВЕЕВА,  
Александр МЕЛИХОВ, Борис МИНАЕВ, Денис ОСОКИН, Наталья РУБАНОВА,  
Кирилл РЯБОВ, Илья ФАЛИКОВ, Александр ЧАНЦЕВ, Ганна ШЕВЧЕНКО ..... 3

**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

|   |     |
|---|-----|
| Александр АМЧИСЛАВСКИЙ. Как молвится слово. Стихи .....           | 19  |
| Анатолий СЛОВЦОВ. Сюжет и фабула не совпадают. Повесть .....      | 22  |
| Андрей ЛОМОВЦЕВ. Рыжий, рыжий, конопатый... Рассказ .....         | 112 |
| Море волнуется — раз... Стихи для детей и не только               |     |
| Эгвина ФЕТ. Петралиада. Отрывок из поэмы .....                    | 125 |
| Артемий СЕМИЧАЕВСКИЙ. Родственные связи .....                     | 127 |
| Ольга ЛАПЕНКОВА. На небе не одно, а сорок солнц .....             | 128 |
| Иван УДАЛЬЦОВ. Шпага, шеврон и шинель .....                       | 129 |
| Татьяна КИЗИЧЕНКО. Играют дети в мире взрослых .....              | 130 |
| Ирина КРАЕВА. Мама. Мыла. Раму. Повесть .....                     | 132 |
| Анна ШИПИЛОВА. Улыбаясь про себя. Рассказы .....                  | 155 |
| Галина ДАНИЛЬЕВА. Два детских дебюта для взрослых .....           | 163 |
| Алексей КОЛЕСНИКОВ. Недоразумение. Рассказы .....                 | 178 |
| Анна КАВАЛЛИ. Междумирье. Рассказы .....                          | 193 |
| Анатолий ВАЛЕВСКИЙ. Иду до упаду, не оглядываясь... Рассказ ..... | 207 |
| Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ. Здравствуй, сколько сумеешь! Стихи .....       | 213 |

**ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ**

Алый парус вдохновения. Литературный конкурс. На страницах «ДН» сочинения —  
Каролины УСТИНОВИЧ, Родиона КРАЕВА, Елизаветы ЖДАНОВОЙ,  
Александров ЕРМАКОВОЙ, Юлии СУКГОВОЙ, Михаила БАРОНЕНКО,  
Даниила КРИВУШИНА, Екатерины ЩЕРБА, Марка КОБЦЕВА ..... 216

**МОЯ МАЛАЯ РОДИНА**

Филипп ХОРВАТ. Дедушкин Краскомовский ..... 233

**БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕРИЯ**

Мария АНУФРИЕВА. Портал в библиотеку ..... 243

**ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ**

Максим ГУРЕЕВ. Будьте как дети... Главы из книги ..... 250

**БИБЛИОНАВТИКА**

Ольга БАЛЛА. И это будет наш мир (Р.Козлов. «Stabat mater»; Ш.Идиатуллин.  
«Возвращение "Пионера"»; Д.Исакжанов. «Толкование прошлого») ..... 261

**ПРАВИЛА ИГРЫ**

Борис МИНАЕВ. Манюня и её армия ..... 269

---

# «Только детские книги читать...»

*В заочном «круглом столе» принимают участие:*

*Ефим БЕРШИН, Георгий ГРАТТ, Константин КОМАРОВ,  
Анна МАТВЕЕВА, Александр МЕЛИХОВ, Борис МИНАЕВ,  
Денис ОСОКИН, Наталья РУБАНОВА, Кирилл РЯБОВ,  
Илья ФАЛИКОВ, Александр ЧАНЦЕВ, Ганна ШЕВЧЕНКО*

*Начиная с 2015 года, ноябрьский номер «ДН» — «Дружба на вырост» — посвящен проблемам детства, семьи, школы, литературе для детей и о детях. По сложившейся традиции он открывается воспоминаниями наших авторов о КНИГЕ их детства и рассказами о том, что любят (и любят ли) читать их дети и внуки.*

*Ефим Бершин, поэт, прозаик (г. Москва)*

## Лопухи за окнами

В детстве я, кажется, вообще не читал. Нет, «Мойдодыр» я, конечно, освоил, но на слух. Мне прочитали, и я запомнил. Да и как я мог читать, если в доме не было ни одной книжки. Не было, и все тут. Родители не читали. Не до того было. До войны по шесть классов успели закончить, а потом уж надо было выживать, а не читать. Я их понимаю. Зачем книжки на стройке или в цеху? Не так поймут. В общем, и я не читал. Только играл в футбол, участвовал в дворовых сражениях на развалинах, оставшихся со времени немецко-румынской оккупации, а еще и пел довольно неплохо. Мне было достаточно.

Первая книжка, которая произвела на меня впечатление, досталась мне от отличницы-соседки, и называлась «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара. Она так понравилась, что я прочел ее пять раз подряд. И каждый раз, когда история про Тимура, Женю и хулигана Квакина подходила к концу, на глаза наворачивались слезы. Реальные мокрые слезы. Кстати, второй книгой, которую я прочел пять раз подряд, были «Три товарища» Ремарка. Просто во время службы в армии меня как-то оставили одного на полигоне в лесу, а в моей избушке была только одна книга. Вот я ее пять раз и прочел. Тоже понравилась. Но уже без слез, потому что было мне к тому времени лет двадцать, и вообще я был солдатом, солдату плакать не полагается. А после приключений Тимура и его команды моя жизнь показалась мне настолько тусклой и почти бесполезной, что без слез было не обойтись. Но мама сказала, что плакать не надо, потому что это всего лишь книжка, а в книжках все выдумывают. И я успокоился. До того успокоился, что по русскому языку и литературе у меня в школе были сплошь двойки, и лишь благодаря доброте учителей меня не оставляли на второй год.

Однако урок я все-таки усвоил, и нашего сына еще в раннем детстве мы с женой заставили прочесть столько книг, сколько мне за всю жизнь не одолеть. Поэтому он вырос умным, а я как был неучем, так и остался.

Я и сейчас не могу с полной уверенностью ответить, права ли была моя мама. Потому что до сих пор не знаю, в книжках пишут правду или книжка — отдельно, а жизнь — тоже отдельно. И прав ли Пушкин в «Золотом петушке», написавший, что «сказка ложь да в ней намек, добрым молодцам урок». То есть если наша жизнь — сказка, то жизнь эта — абсолютная ложь. А если не сказка, но о ней пишут, то что это? И зачем?

В общем, в детстве я почти ничего не читал и жил свободно и раскованно, как дворовые лопухи. И был счастлив. Я же не знал, что после такого детства и такой юности я сразу перескочу к Лермонтову, Есенину, Толстому, «Фаусту», «Доктору Фаустусу» и прочим цветаевым и мандельштамам. После чего моя жизнь утратила даже проблески света и счастья.

И не лучше ли было сохранить в себе то безоблачное послевоенное детство, где не было книг, но зато был футбол, дворовые войны и лопухи за окнами?

*Георгий Гратт, прозаик (г. Ярославль)*

## Новая колея

Любимая книга детства? Сложный вопрос. А была ли такая? В детстве, где всё круговорот, где события буквально наслаиваются одно на другое и прочитанная только что книга, нет, не забывается, но тут же заслоняется другой, еще более захватывающей и интригующей... И лишь много-много позже, когда уже подрастают собственные дети и ты выбираешь, что бы этакое им почитать на ночь глядя, память неизбежно возвращает тебя к лучшему из читанного в юности, к героям Стивенсона, Жюль Верна, Майн Рида, Фенимора Купера, Александра Дюма, Аркадия Гайдара...

Но тут ты вдруг с удивлением обнаруживаешь, что что-то в этой жизни пошло не так, изменилось до неузнаваемости. Мир стал другим, не таким, как прежде, и те старые герои, что «в шорохе мышинном, в скрипе половиц» сходили когда-то со страниц твоих любимейших произведений, остались где-то далеко в прошлом. На смену им явились новые — хоббиты, Муми-тролли, Гарри Поттер и К°. Поначалу это обескураживает и даже слегка раздражает — как же так? Но потом приходит понимание, что таковы законы развития, и ты смиряешься — ничего необычного. Просто жизнь совершила очередной виток, проложила новую колею.

*Константин Комаров, поэт, литературный критик (г. Липецк)*

## Магия детства

Едва научившись читать (кажется, это произошло лет в пять), я стал с жадным любопытством поглощать все попадающиеся под руку тексты — от хрестоматийных Андерсена и Барто до клочков бумаги с рецептами, инструкций и газет с телепрограммой. Нравился сам процесс — вот буквы складываются в слова, слова в предложения, и я эту непостижимую механику понимаю! Типичный азарт неофита.

Как только представилась возможность, я записался в библиотеку. Первой взятой на дом книгой (ощущался этот вполне рутинный ритуал с формулярами и карточками как сакральное торжество) стал «Незнайка на Луне». Пожалуй, именно эта книга опрокинула меня из пространства просто чтения в собственно литературную вселенную, за что Николаю Носову моя вневременная благодарность и признательность. С тех пор библиотека (точнее, две екатеринбургские библиотеки — сначала Крыловка, а позже Чеховка) стала моим вторым домом. В благодатной тишине читального зала я проводил, наверное, половину свободного времени (другая половина доставалась двору и футбольным полям). Часовые блуждания между пыльными стеллажами казались не менее увлекательными, чем странствия Одиссея. Читательский билет носил с гордостью, как пионерский галстук (хоть его я и не носил, но представить могу — спасибо развивающим воображение книгам).

Провести ревизию всех дорогих моему детскому сердцу книжек не представляется возможным. Остановлюсь здесь на тех, которые запомнились не только содержательно и визуально, но — более того — психосоматически, ошущенчески.

Томик сказок Вильгельма Гауфа с гладкой темно-зеленой обложкой, зовущей нырнуть (и нырять!) в сей дивный омут. Объемный и растрепанный том «Сказки народов мира», где общность сюжетов (привет от ещё неведомых Веселовского и Проппа) искупалась национальным колоритом. Приводил в недоумение китайский мандарин. Как фрукт может быть царственной особой? Позже эти недоумения разрешил «Чиполлино». Манящая глянцево-обложкой с арабской вязью «Тысяча и одна ночь», Синдбад и птица Рух и прочая восточная экзотика заходила на ура. Как и восточноевропейский сюрреализм в лице Яна Бжехвы и его «Академии пана Кляксы», в которой я был бы весьма не прочь отучиться. Запомнилось дешевое издание «Синей Бороды». Зловещая черная обложка была пришита вверх ногами, и этот таинственный брак устрашал даже больше, чем сами истории о кровавых делишках известного женоненавистника.

Но самым экзотическим чтением стала, пожалуй, книга под названием «Приключения Гвоздика». Автора не помню в упор (погуглил, оказывается, их двое — итальянские коммунисты — Марчелла Арджилли и Габриэлла Парка), но подушечки пальцев до сих пор живо ощущают сухость прикосновения к шершавой обложке с аляповатым изображением главного героя с блаженно-идиотическим выражением металлического лица. Несколько лет назад мой друг начитал мне эту книгу на диктофон (есть у нас с ним такой обычай — читать друг другу разное), и я был поражен: как можно было зачитываться этим чудовищным (даже со скидкой на вероятность недобросовестного перевода), неподъемным, избилующим корявостями всех сортов языком и дремучим синтаксисом текстом?! Не говоря уже об очевидном эпигонстве по отношению к «Пиноккио» (там мальчик деревянный, тут — железный). Но ведь зачитывался, был очарован Гвоздиком, его смелостью, целеустремленностью, находчивостью, добротой к друзьям и стойкостью в борьбе со злыми и коварными толстосумами. Магия детства, не иначе. Но, если задуматься, не сюда ли уходит корнями моя неизменная и верная любовь к Маяковскому с его производственной метафорикой, с его «я жирных с детства привык ненавидеть, всегда себя за обед продавая», с его пламенным желанием приблизить мир, где «некому будет человека мучить»?

Засим умолкаю, оставаясь наедине с ласковыми и тонизирующими воспоминаниями о книжном детстве. Спасибо «Дружбе народов» за возможность беззаветно им предаться!

*Анна Матвеева, прозаик (г. Екатеринбург)*

## Книга о языке

Главная книга моего детства стояла на одной из полок в кабинете отца: мне приходилось подставлять стул, чтобы до нее добраться, и прикладывать усилие, чтобы высвободить из ряда тесно составленных томов. Она была крупного формата, такие раньше называли — альбом. Обложка глянцевая, в целлофане, который по идее должен был плотно облегать переплет, но не облегал, и по всей поверхности бежала небольшая рябь, как по воде. Мне это почему-то очень нравилось. Интересно, что я ни разу не задумывалась в те годы о том, кто написал эту книгу — а написал ее американский филолог Франклин Фолсом. Появление такой книги в библиотеке моих родителей, советских ученых-лингвистов, было вполне логичным.

Называлась она просто — «Книга о языке». И написана была очень просто, понятно, и в ней было много картинок, сделанных разными художниками — возможно, что книга предназначалась как раз таки для любознательных детей, хотя читали ее и взрослые. Сейчас таких изданий — пруд пруди: отечественные и переводные, щедро проиллюстрированные, толстые и тонкие, дорогие и дешевые, глаза разбегаются, цены зашкаливают... В моем детстве была только одна такая книга — и я испытывала от нее самую настоящую зависимость. Мне очень нравились рассказы Фолсома о том, как люди научились разговаривать — и как они делали это до появления языков. О том, как они общаются теперь, если не могут использовать голос. Именно из этой книги я узнала о слепоглухонемой Елене Келлер, и она поразила меня. Благодаря «Книге о языке» я научилась считать до десяти по-японски, узнала, что французы, когда чихают, говорят «атшуэн», а не «апчи», и навсегда запомнила дерево на одном из разворотов — листья разных языков крепились к веточкам общих групп.

Некоторые абзацы из «Книги о языке» я помню до сих пор наизусть:

«РУССКИЕ, АНГЛИЧАНЕ, АМЕРИКАНЦЫ в качестве приветственного жестажимают друг другу руки; КИТАЕЦ в прежние времена, встречая друга, пожимал руку себе самому; ЛАПЛАНДЦЫ трутся носами; МОЛОДОЙ АМЕРИКАНЕЦ приветствует приятеля, хлопая его по спине; ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЫ обнимаются; ФРАНЦУЗЫ целуют друг друга в щеку; ВОЕННЫЕ отдают честь; САМОАНЦЫ обнюхивают друг друга».

В общем, я любила «Книгу о языке», как живого человека, — и, кто знает, возможно отчасти благодаря ей стала тем, кто я есть.

Перечитывая ее сейчас, я ощутила вполне ожидаемую светлую грусть — обычную для тех, кто вернулся в мир своего детства.

Но сегодня я думаю еще и вот о чем. Почему мы так чудесно владеем самыми изощренными способами донесения информации, почему так складно говорим и мощно формулируем, но при этом понимаем друг друга хуже наших предков, не имевших письменности, не знавших грамматики и риторики?..

А Франклин Фолсом заканчивает свою книгу такими словами: «Язык — это нечто всеобщее. И самое человеческое, что есть на свете».

*Александр Мелихов, прозаик (г. Санкт-Петербург)*

## Гектор Мало против бутылки с порохом

Жизнь давно сожжена и рассказана, разбросана по разным книгам, но, если поскрести по старым сусекам, глядишь, подтянутся и новые воспоминания.

Судя по всему, я являюсь единственным в истории примером врожденного умения читать. Чуть ли не первое воспоминание — я стою на коленях перед кроватью и, шевеля губами, что-то читаю. Что читаю, не помню, похоже, меня, как гоголевского Петрушку, увлекал сам процесс.

Первой книгой, название которой я запомнил, была громадная, роскошно изданная «Книга о вкусной и здоровой пище». За каким хреном она у нас оказалась в нашей развалюхе, которой за все ее полвека даже не снились подобные кулинарные излишества, не могу и вообразить, — может быть, кто-то подарил, тоже, впрочем, непонятно зачем.

Мы с моим двоюродным братишкой Серёжкой, гордившимся тем, что он на три недели старше меня, не торопясь переворачивали твердые страницы Книги, и то, что было слева, доставалось мне, а то, что справа, ему. Или наоборот. Смотря кто где сидит.

Разглядывали мы эти роскошества кремлевской кухни совершенно платонически, как, скажем, ювелирные украшения, — нам и в голову не приходило, что на такую красоту можно покуситься зубами.

Потом мы так же делили «Историю военного искусства» (отец у меня был учителем истории): мне доставался, скажем, бердыш, а ему палаш, мне мушкет, а ему мортира. А если кто недоволен, можно предложить поменяться.

Над этой книгой мы с Серёжкой долго спорили, как звали основателя Москвы. Он утверждал, что Игорь Долгорукий, я — что Юрий Близорукий.

Еще у отца водились кое-какие прогрессивные авторы типа Драйзера на английском языке, и мы их, случалось, тоже разглядывали примерно как узоры на коврике. При этом я выделял латинское L, которое называл «гэ вверх ногами». И когда мы играли в пограничников, как в кино, вылавливая шпионов: «Ваши документы!» — я всегда советовал: «Посмотри, у него там гэ вверх ногами».

Вот первой книгой, которую я начал не только рассматривать и читать, но и зачитываться (зачитываться до полусмерти, до забвения реальности — это вскоре сделалось моим любимым занятием), был том из коричневого собр. соч. Ушинского с пересказами русских летописей.

Все было в точности как у нас на улице. Две рати стоят и петушатся, а ударить трусят. И тогда кто-то обзывается: «У вас князь хромой», — и тут же начинается махач.

В котором всегда оказывался прав тот, кто был главным героем повествования.

Игорь, дважды обобравший каких-то скучных древлян, был прав, а древляне, подлю его убившие, неправы. Так что я с полным одобрением читал о том, как их закапывали вместе с ладьей и сжигали в бане.

А как мы с Сёрежкой мечтали навешать татарам: пусть бы они к нам сейчас сунулись — мы бы их пушками, танками, ястребками — ба-бах, др-др-др!.. Куликовская битва для меня была важнее, чем эпохальная драка двух уличных кумиров — Косого и Лупатого.

Я не чурался, однако, и простых жизненных радостей — прыгал, например, с сарая в кучу огородной ботвы до тех пор, пока на втором месяце первого класса не угодил в больницу со сломанной ногой. И пока мне ее выравнивали, обматывали пропитанными раствором гипса бинтами и сушили на операционном столе (ногу ломит,

сушильные лампы ослепляют), я использовал вместо обезболивающего — чтение. Мама читала мне вслух мою любимую книгу «Лёнька Пантелеев».

Все было такое родное: Лёнька проснулся среди ночи от грохота, от пьяных выкриков и маминых слез, что-то со звоном упало и рассыпалось, — ну, точно, как в жизни. Мне уже не до сломанной ноги, там творились дела поважнее, полупонятные и страшные: пролил кровь какого-то *единоутробного* брата, какая-то *лабрадоритовая* глыба с надписью «Няне от Вани» на кладбище — и вдруг по лицу страшного отца катятся слезы...

Я цепенею от ужаса и жалости, тут не до ног! Какой-то подлый офицер обзывает отца мерзавцем и каким-то *шпаком*, а отец поднимает над головой тяжелый пакет с какими-то *кеглями*, а потом отец обнимает меня и плачет, и от него пахнет перегаром и каким-то *гиацинтом* — какими-то раздавленными *брокаровскими* духами...

Эти раздавленные духи меня доконали. Я так рыдал, что прибежала дежурная сестра, которая была поражена, что рыдаю я не от физической, а от душевной боли.

Зато гипс к этому времени успел подсохнуть.

А когда в шестом классе у меня под рукой взорвалась бутылка с порохом, я прятался из ночной кокчетавской больницы в роман Гектора Мало «Без семьи». Ожоги жгут, развороченный глаз дергает, но тихий мамин голос уводит к моим друзьям — Виталис, обезьянка...

Зачитывался я только такими книгами, в которых мне полюбились герои, философия и стилистика меня ничуть не интересовали. Среди любимых книг могли оказаться «Легенда об Уленшпигеле» и «Поднятая целина» (нидерландская революция и колхозное строительство несколько меня не занимали), «Детство» Горького и «Как закалялась сталь». Пока там не начиналось какое-то занудство с какими-то *фракциями*. А вот махра, подсыпанная в тесто, — это было по-нашему.

Тем более что «Как закалялась сталь» вознаградила меня за то, что я именно ее однажды извлек из полки с книгами: я нашел в ней семь рублей старыми. И после этого начал поглядывать на толстенную, поперек себя шире «Анну Каренину». Сразу было видно, что раздулась она от взрослой скуки, но ведь если в не столь толстой «Стали» оказалось семь рублей, то сколько же их окажется в толстенной «Анне»? Я понимал всю порочность этой логики, но однажды не выдержал и все-таки полез и в «Анну». И что же? Там оказалось *одинадцать* рублей! Не вдвое больше, как можно было предположить из сопоставления толщины, но все-таки.

Когда я стал постарше, я перешел на сугубо «интересные» книги — про войну, приключения и охоту на зверей и людей. В Парткабинете на каменистой сопке мы с пацанами выбирали самые распухшие от зачитанности книги, на последней странице которых какой-то добрый человек написал: «Эта книга очень хорошая». Главное — «про что»: про войну, про партизан, про шпионов, про воров.

Из этого халтурного совписовского болота меня извлек Ремарк. Марк Твен, Джек Лондон, Стивенсон — особенно Стивенсон и Марк Твен — были первоклассными писателями, и даже приклатенный соседский пацан однажды спросил меня: «Ты читал *Гельбекери Финна*?» Но все это были такие книги, про которые мы с пацанами сразу спрашивали друг друга: «Конец хороший?»

А в «Трёх товарищах» конец был хуже некуда. «Потом наступило утро, и ее уже не было», — повторял я одними губами со слезами на глазах. Но это были уже не только слезы жалости, как над «Лёнькой Пантелеевым», а еще и слезы восторга — это было мое первое *эстетическое потрясение*. Я ощутил, что и трагедия может быть прекрасной. В тот миг, наверно, и закончилось мое детство.

Я, конечно, не осознал, для этого потребовались десятилетия, но острейшим образом ощутил, что важнейшая задача литературы не отвлекать и не развлекать, а *преобразить* ужас в красоту.

Поэтому своим детям после положенных Чуковского, Маршака, Житкова я довольно рано начал читать Шекспира, «Слово о полку Игореве» и наиболее поэтические отрывки из Евангелий. Как это сказалось на их будущем? Случалось и прекрасное, и ужасное. Но когда в жизни начитанного человека случается что-то тяжелое, те, кто не любит серьезную литературу, непременно скажут, что именно книги были тому виной и что нельзя писать стихи после Освенцима. Те же, кто такую литературу любит, возразят, что без нее было бы еще хуже. Кто из них прав, вопрос неразрешим в принципе: в системном эффекте невозможно выделить вклад отдельного фактора.

Но самым прекрасным в себе мои сыновья несомненно обязаны книгам (надеюсь, сыграло роль и мое посредничество).

Что же до внуков — прошло слишком мало времени, как ответил один китайский лидер на вопрос об исторической роли Французской революции.

*Борис Минаев, прозаик (г. Москва)*

## Вьетнам и другие приключения

В детстве меня сильно увлекала книжка про историю огнестрельного оружия. В ней последовательно излагалось все — от луков и пращи, через арбалеты и пищали, до трехлинейной винтовки Мосина и пулемета-автомата Дегтярёва. (К сожалению, книжка не сохранилась и автора я не помню.)

Откуда она была у меня, бог знает. Может, кто-то из взрослых подарил, а может быть, как всегда, я вытащил ее из какого-то угла необъятного по размерам книжного шкафа папиной сестры тети Сильвы, у которой мы по праздникам бывали в гостях.

Обычно я наедался салатами и селедкой, напивался лимонадом и шел исследовать этот шкаф...

В общем, да, книжка эта, увы, не сохранилась — а была она удивительным произведением полиграфического искусства: так прекрасно она была придумана, смакетирована, такие в ней аппетитные были картинки, что развороты этой книжки до сих пор стоят у меня перед глазами, как призраки прошлого.

В том же самом книжном шкафу у тети Сильвы я обнаружил потрепанную старую книженцию под названием «Капитан Сорви-голова».

Я буквально в нее вцепился и перечитывал несколько раз. Надо сказать, она мне заменила сразу все книжки, которые я тогда страстно мечтал найти и прочитать: Майна Рида, Фенимора Купера — то есть книжки про индейцев. Но этих книжек не было ни у тети Сильвы, ни в библиотеках («на руках!» — отвечала мне раз за разом библиотекарша, и в конце концов я решил прочесть «Последний из могикиан», сидя в читальном зале, с огромным трудом я выпросил этот уже латаный-перелатанный экземпляр и начал читать, дрожа от нетерпения. Книжка оказалась довольно скучная, в отличие от фильма).

Так вот, Буссенар заменил мне все это, вместе взятое. Это была в какой-то момент моя детская Библия.

Трудно даже сказать, почему — то ли идея «восстания детей против взрослых» была в моем сердце до книжки, то ли сама книжка породила эту идею, но все совпало. Я мечтал о том времени, когда нам, детям, удастся доказать взрослым, что зря они к нам снисходительно относятся, доказать, разумеется, с оружием в руках.

Вот, кстати говоря, это самое *оружие* было в книжке чуть ли не главным героем.

Я плохо помню характеры и отношения этих маленьких головорезов, которые участвуют в англо-бурской войне (на стороне буров, конечно, воюя против мерзких жестоких англичан), плохо помню перипетии сюжета, но точно помню, что в руках у отряда детей перебывало страшное количество оружия. И напряжение в книжке росло по мере того, как эти груды захваченного ими оружия становились все больше и больше. Именно из этой книжки (а не из фильмов о Гражданской войне) я узнал о существовании пулемета «Максим», который разит врагов наповал, строй за строем.

Понятно, что потом, когда вышли на экран фильмы «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых», «Корона Российской империи», мне все эти герои показались давно знакомыми и понятными. (Был, кстати, еще один фильм на эту тему — «Армия “Трясогузки”» по повести А.Власова и Л.Млодика, а «Неуловимые» были вольным переложением повести П.Бляхина «Красные дьяволята», но все это были лишь советские вариации на тему, которую первым открыл Луи Буссенар.)

Я настолько был захвачен Буссенаром, что пытался и сам сбежать на войну во Вьетнаме, новостями о которой в то время были полны советские газеты, радио и телевидение. Эта война во Вьетнаме казалась мне абсолютно похожей на ту, англо-бурскую, и я решил принять в ней участие.

Правда, дальше подготовки дело не пошло, я сломался уже на логистике: можно было сбежать из дома, но куда идти дальше, как попасть в этот самый Вьетнам, я не понимал... (Кстати, я описал это потом в своем рассказе «Вьетнам».)

Конечно, я читал в детстве много разных книжек — по сути дела, абсолютно все, что попадалось мне на глаза. Я вытаскивал из книжного шкафа (нашего или тети-Сильвиного) том за томом и проглатывал, торопливо и жадно. Больше всего мне нравились рассказы Чехова и петербургские повести Гоголя, но я стыдился в этом признаться и даже во дворе никому не говорил. «Тайна двух океанов» Адамова, советский фантаст Беляев, конечно же, «Судьба барабанщика» Гайдара, Жюль Верн, даже «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского (опять оружие, опять война), словом, то были книжки, в которых беспрерывно стреляли, разоблачали вредителей и шпионов, целились в сердце и в голову, брали на мушку, кричали «Руки вверх!», пожалуй, лишь в Жюле Верне иногда выплывало наружу что-то другое — загадки нашей планеты, любовь и дружба, верность и предательство.

Мой внутренний мир был похож, наверное, на комикс — положительные и отрицательные, плохие и хорошие, белые и черные, контрастные цвета, пальба и схватки, погони и приключения.

Слава богу, что были все-таки еще Гоголь и Чехов. Ну и Гайдар, конечно...

Когда родились дети, и я начал задумываться о том, какие же книжки подsunуть им, то вдруг понял, что, пожалуй, мой читательский опыт им не подойдет. Нет, конечно, я продолжал хранить верность и нежно вспоминать прочитанное мной в детстве — но так уж получилось, что, став взрослым, я абсолютно утратил интерес к военным действиям, меня совсем не интересовали сражения, я вообще не испытывал интереса к оружию.

Больше того, мне показалось, что я слишком многое пропустил из детской литературы, и пора уже это наверстывать.

...Сначала, в раннем детстве, дети читают одну и ту же книжку по тысяче раз, им важно само сочетание звуков, картинок, привычного рассказа, так же как им важны ежесдневные ритуалы — еда, прогулка, одевание, купание. «Три поросёнка» и «Федорино горе» долгое время были нашими ежесдневными книгами, и читались по несколько раз в день (иногда по десять).

Потом наступило время диафильмов — темная комната, экран, прекрасные яркие картинки, вечно живые технологии девятнадцатого века.

«Муфта, Полботинка и Моховая борода» эстонского писателя Эно Рауда, «Конёк-горбунок» Ершова, «Следствие ведут колобки» Успенского — диафильмы вместе с пластинками, о, какое это было наслаждение, замечательные голоса актеров, прекрасная музыка...

Но потом я понял, что хочу читать детям сам.

И я читал и перечитывал им — «Малыш и Карлсон», «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, «Хоббит» в переводе Натальи Трауберг, «Алиса в стране чудес» в переводе Заходера, теперь-то в стране не было книжного дефицита, был дефицит денег, но я покупал эти книжки за любые деньги, и мы читали, читали, читали...

Ну а потом...

Потом мы стали читать «Остров сокровищ» Стивенсона и, прочитав это великое творение детям раз десять (по их просьбе, конечно), я понял, что все-таки стрельба, погони, приключения — это вечное. Militarизм улетучится, а благородный дух борьбы хорошего с плохим — останется.

И бояться этого не нужно.

И все-таки иногда я скучаю по *той* своей детской литературе.

По «Капитану Сорви-голова», по Майну Риду и Куперу, даже по «Севастопольской страде» Сергеева-Ценского. По страницам этих книг бродят дети, волоча за собой тяжеленные маузеры и штуцеры, гордо шагают облаченные в железные доспехи воли и мужества мужчины, скачут на лошадях прекрасные женщины (там, впрочем, все скачут на лошадях) и вечно встает красное солнце свободы.

В сущности, я остался в ней навсегда, в этой детской литературе, что бы я ни писал, и сопротивляться этому бесполезно.

*Денис Осокин, прозаик, поэт, сценарист (г. Казань)*

## Нажимание на кнопки

Моя любимая книга детства номер один — это «Малый атлас мира». Я только научился читать и еще почти не знал географии. Но впервые взяв этот атлас в руки, уже не выпускал его, перекладывая из сумки в сумку из года в год — с дошкольных лет до младших студенческих, когда он уже просто развалился в труху, и я отправил его отдыхать в коробку, у меня в ту пору было уже много других атласов и карт. Над многими разворотами я смеялся и плакал прямо настоящими слезами, от восторга и нежности — так нравились и часто казались таинственно родными имена городов и рек на них, так они звучали во мне, лучше всякой музыки, я ужасно волновался, и мечтал, и шел навстречу, и писал их на обложках школьных тетрадей, и меня журили за это учителя... Это было считывание на фонетическом уровне, нажимание на кнопки, распаковывание собственного внутреннего мира, начало начал, в том числе и моей базовой любви к языкам и Пестроте Мира... Я и сейчас убежден, что для воспитания ребенка его надо окружать как можно большим количеством карт. Кухня или детская с картой — это совсем другое, чем кухня или детская без карт!..

А еще я обожал самые разные книжки и книжечки с народной поэзией — народов моей родной Средней Волги, СССР, соцстран и Мира. Я был ребенком 1980-х — и таких книг было много-премного в нашем доме и в домах моих друзей.

*Наталья Рубанова, писатель, критик,  
литературный агент (г. Москва)*

## «Жили на свете король с королевой» [читать нельзя запретить]

Оглядываясь назад с условной высоты опыта — как прожитого и «переваренного», так и легко выброшенного за борт челопарка, — неизбежно возвращаешься к запаху книг, любимых со щенячьего возраста. Дома к ним относились почтительно, но без фанатизма и никогда не прятали от детей томики, предназначенные якобы только для взрослых. Да и кто такие эти взрослые? Всего-навсего выросшие дети: счастье, если они так и не повзрослели по-настоящему (не путать с инфантилизмом), а лишь понарошку примерили на себя маски *тётъ-дядь*... так казалось в шесть.

Домашняя библиотека, которую начал собирать дед, была солидной: девчонка с толстенной каштановой косой любила прятаться надолго в «тёмной комнате» с книжными полками от пола до потолка — ничего не запрещалось, не было деления на «взрослое» и «детское» чтиво. Выучив худо-бедно буквы, как и ноты в скрипичном ключе, примерно годам к пяти-шести она довольно бегло «шпарила» по текстам и клавишам ф-но в свое удовольствие. Нельзя сказать, что ее сформировало (казенное словечко, но пусть) какое-то одно или несколько сочинений. Нет, это был мощный аккорд, кластер (который, если допустить вольное сравнение, крутится, подобно чакре, сразу во всех направлениях) — она читала все подряд, бездумно, хаотично, и в то же время парадоксально осмысленно. Это-то запойное чтение (книжная *алко-, нарко-*, энд пр. *токсикомания*) и привело в сухом остатке к тому, что киндеру стало любопытно выводить на бумаге буквы собственного производства. В столбик. Первые вирши нацарапаны ею лет в шесть-семь (они, разумеется, чудовищны), а вот на первую прозу — авангардный текст «Фиолетовые глаза» — она решилась лишь в осмнадцать. «Виной» тому — пресловутая «тёмная комната», где проводились часы напролет: лучшие часы. Это присказка.

Первые книги?.. Вторые?.. Тридцатые?.. Вспомнить порядок прочтения невозможно, а вот *любимое* — да. Это «Волшебные сказки» Шарля Перро — особенно хороша «Спящая красавица» (а какие рисунки Эрика Булатова и Олега Васильева, блеск же!): «Жили на свете король с королевой...» навсегда осталось в выдвижных ящичках памяти, как и «Прошло сто лет. Много королей и королев сменилось за эти годы...». Это «Путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёф, Нобелевского лауреата, о чем я в детстве, конечно, не имела ни малейшего представления. Это «Радуга»: сборник «нашенских» народных сказок, песен да потешек с роскошными иллюстрациями Юрия Васнецова. Это книжка-панорама «Маша и медведь», которую так здорово было листать — картинки встают, оживая, как в мультфильме... Это кавказские рифмы «Чудесный клад» с почти живыми рисунками Давида Хайкина... Это «Капитан Коко и зелёное стёклышко» Льва Кузьмина — книжка, меж страниц которой до сих пор прячутся кленовые, дубовые и прочие листья из прошлого: прошлого, в котором ты аккурат ходишь под стол пешком, а все близкие — живы. «Пока-пока, двадцатый век, от тебя остался гербарий!..» — молчит-с.

Много позже энное количество любимых детских книг и виниловых пластинок перевезла я из родительских стен в свой новый флэт: прелестный двухтомник

Андерсена «Сказки и истории» с несравненными рисунками Г.А.В.Траугот, «Чудо-дерево» Чуковского, «Рифмы Матушки Гусыни», «Аннушку-Невеличку и Соломенного Гумберта» Витезслава Незвала, линдгреновского «Карлсона», которого, кстати, перечитывала и в двадцать пять «лет», и в сорок «зим»... Про «Алису в Стране Чудес» и говорить нечего — шик-история, вау-мультфильм, настольное чтиво в том числе и для дивачки изрядного возраста, которая, как ни крути у виска, так и не повзрослела, даже если и поседела, — иначе не написала б ни строки: *взрослеть нельзя запретить*, тчк.

Была и иная серия детского любопытства: совбестселлер «Таис Афинская» Ивана Ефремова, «Сказки 1000 и 1 ночи» (учительница первая моя, увидев однажды в моих руках один из томиков, подняла брови: «И ты что-то там понимаешь?» — «Всё!» — ответила Наташка-первоклашка, закусив губу), трехтомник с уникальными фотографиями «Африка грёз и действительности» (Иржи Ганзелка, Мирослав Зикмунд), ну и Горький — та самая трилогия, куда без нее. Был даже Мопассан — помнится, лет в восемь пыталась прочесть по диагонали «Милого друга» и, в том же возрасте, — «Евгения Онегина». Роман в стихах поразил воображение ребенка, по иронии судьбы ставшего много позже не только букводелателем, но и литературным агентом (забавно, откуда что растет: не *приветли* сия профессия нашей, боле не существующей, «тёмной комнате», набитой книгами?..). Мне нравился пушкинский слог, я кайфовала, я на него «подсела», — и мне совсем не нравилась Татьяна: я была на стороне Онегина, *блондинку* Ольгу презирала, а про Ленского не помню... понимала ль, что бедолагу грохнул на дуэли *друг*?

Еще была тончайшая, абсолютно невероятная «Ундина» Жуковского: признаться, «зачитала» тогда книжку у родственников... им она была явно, как мне казалось, не нужна, ну а я по уши влюбилась в романтические строки и не могла расстаться с томиком, чуть ли не спала с ним: «*Лет за пятьсот и поболе случилось, что в ясный весенний/ Вечер сидел перед дверью избушки своей престарелый/ Честный рыбак и починивал сеть...*» О'кей, чистосердечное признание сорок лет спустя. Там же, у родственников, в 80-е, впервые раскрыв альбом Босха, я обалдела — вот это да, ничего себе, разве так можно? Ух ты... а сердце — в пятки. После альбома с репродукциями и текстом Бернарда Бернсона «Живописцы итальянского Возрождения», который я то и дело листала дома, показывая бабушке с мамой любимые полотна, Босх ошеломил — у нас в библиотеке такого не водилось. Зато водился еще тот Гоголь, которого обожала читать и перечитывать именно летом, именно на даче: «Вий» и К<sup>с</sup>: боялась, но из лап не выпускала... И весь этот ужас-ужас на фа-мажорном фоне роз, пионов, жасмина, флоксов, лилий, гвоздик, тюльпанов, маков — ну и, офф кос: черешни, смородины, терна, сливы, малины, клубники, крыжовника... весьма себе самодостаточное книжно-цветочно-фруктовое детство, *свобода и уединенность*: что может быть лучше, придумай сам, читатель.

Полюбила вирши Михаила Юрьевича после поездки на Северный Кавказ (впервые — самолет, изумрудный напиток в бумажном стаканчике, предвкушение): мама подарила в том числе экскурсию в дом-музей поэта — так и прочла первый в своей жизни путеводитель, путеводитель по лермонтовским местам. Хотелось бы однажды вернуться туда, впрочем, все же не следует появляться там, где был счастлив когда-то — и точка: банальность, *mille pardons*.

Что еще... СКАЗКИ. Читала сказки народов мира, сказки в пересказе русских писателей, сказки Братьев Grimm... Обожала страшноватые норвежские сказки «На восток от солнца, на запад от луны» Петера Кристена Асбьёрсена: книжка с запоминающимися, очень необычными рисунками Николая Брюханова...

Читала «Королеву Марго», «Анжелику» (на пару с бабушкой), «Трёх толстяков» и «Чёрную курицу»... Плюс пушкинский «Пир во время чумы», «Дженни Герхардт» Драйзера и «Очарованную душу» Ромена Роллана — из последнего опуса помнится лишь имя *Аннет*... А еще была весьма любопытная книжка Василия Чичкова «Шаги по чужой земле», где жила своей жизнью в том числе главка «Размышления о судьбе кубинской женщины» — меня, второклашку, ничто в ней не смутило, хотя, вероятно, и могло б, будь я занудой. Но самым захватывающим чтивом оказалась у г-на Чичкова повесть «Тайна священного колодца»: рассказы о древних майя и ацтеках ошарашили.

Помню великолепный томик Свифта «Путешествия Гулливера» (тёмно-синее ОГИЗовское издание 1947-го), помню — зачитанного в прямом смысле до дыр — киплингского «Маугли» с черной пантерой на обложке и идеальными рисунками Василия Ватагина, помню «Приключения барона Мюнхгаузена» Распэ с тончайшими иллюстрациями Густава Дорэ, помню есенинскую «Анну Снегину» с цветными картинками (не помню, чьими), бажовские сказы «Малахитовая шкатулка», мастерски отрисованные Анатолием Белюкиным... «Слово и образ неразрывны, художники не менее важны, чем писатели — но композиторы лучше всех»: это-то вот я точно знала в детстве, кое-что читая и перечитывая под музыку.

Особняком стоит «Республика ШКИД» Белых и Л.Пантелеева (последний — еще и автор пресловутой «Нашей Маши»: героиня папашиного дневника кончила дни в психиатрической клинике — дневник вроде бы не переиздавался, хотя там есть что почитать!..). Ну и «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, которые я, впрочем, больше любила слушать, поставив пластинку и, разумеется, не подозревала о том, что десятилетия спустя познакомлюсь с сыном автора сего, Денисом Драгунским... Да, и не забыть про лагинского «Старика Хоттабыча»: кто ж в свое время не мечтал о джинне, который исполнит твое главное желание!

Не помню, что было «главным» в восемь: может, просто не идти в очень среднюю школу? Мэй би. Школка точно была большой ошибкой, как будто б печаткой — общеобразовательную терпеть не могла, скука там царила адская... а еще не нравился запах. Учительница первая моя, кстати, время от времени неправильно ставила ударения в словах, а один из математиков говорил «ложить»... ну и все эти «ихние» *линейки*, приправленные душком кровавых галстучков, все эти завучи-злыдни — и где только делают таких теток, в каком инкубаторе, забавно! Читали ль они хоть что-то, кроме школьной программки «для будущих строителей коммунизма»?.. Они были все одинаковые, *роботы совсоюза*... Да что мне от той постылой школы! Я любила музыкалку — там попадались классные педагоги, там учились нормальные дети, а еще там «давали» раз в неделю музлитературу, где рассказывали о Бахе, Гайдне, Шуберте, Шопене и прочих великих, да еще ставили их записи: восторг, ну то есть *вообще полный восторг*... Было страшно интересно читать биографии композиторов, в отличие от писательских: передо мною сейчас, кстати, случайно обнаруженный на полке учебник «Музыкальная литература зарубежных стран» для пятого класса ДМШ: издание десятое, год 1986-й... Читать, не взбалтывая.

Итак, в музыкалке «звучали тексты» и *звучала музыка*: сей микс легко перекрыл скуку и агитки, которые училки (в общеобразовательной-то) пытались скормить нам прямо в мозг на уроках какого-нибудь внеклассного чтения: о майн готт, и кто только придумывал все эти портяночные литпрограммы! Откладывая брезгливо куда подальше «рекомендованные» Мин-их-просвещения списки совписов, я словно бы эмигрировала, сама не ведая, что это и есть пресловутая внутренняя эмиграция, в иллюстрированный «Энциклопедический словарь юного музыканта». Он всегда со мной, а надпись

на титуле — лучшая в мире: «Моей дорогой Натали... Надеюсь, что любовь к музыке ты пронесешь через всю свою жизнь. 31 мая 1986. Мама». Так и вышло — после восьмого класса девица, носящая мое имя, поступила в музучилище, ноты переплавились в буквы, а лет/зим в сорок пять я создала спецкурс «Музыка слова как практика литературного письма». Моим ученикам — тем, что из адекватных и любознательных, — помогло. Про остальных — «а вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь».

Пазлы совпали, все сработало.

*Кирилл Рябов, прозаик (г. Санкт-Петербург)*

## Незнайка и фанфики

Так уж вышло, что самую главную книжку своего детства я не читал. И даже не помнил о ней ничего. Все впечатления — из рассказов мамы. Она мне ее читала, а потом, спустя годы рассказывала о моей реакции. Книжка эта — «Сказка о глупом мышонке» Самуила Маршака. Так и вижу эту тонкую брошюрку. Хотя, опять же, не помню, как она выглядела. Могу только вообразить. Недавно обнаружил её в книжном магазине, современное издание. Но не купил, даже не полистал. Видимо, мамины рассказы важнее и дороже. А рассказывала она, что я ужасно расстраивался и постоянно просил перечитать все заново. Понятно зачем. Хотелось другого финала, чтобы мышенок остался жив. Мама об этом, конечно, догадывалась и даже пыталась сочинить какой-то счастливый финал. Но я все равно был недоволен.

Другой важной книжкой стали сказки «Приключения Незнайки и его друзей» и «Незнайка в Солнечном городе» Николая Носова. Мне было лет шесть или семь. Читать я уже умел. И читал ее сам. Опять же, множество раз. Хотелось продолжения, а его, как мне думалось, не было. О «Незнайке на Луне» я не знал. И потому стал сам сочинять рассказы о разных приключениях Незнайки и его друзей. Я ничего не записывал, просто проговаривал в голове всякие сцены. Этого было достаточно. Недавно мне сказали, что свою писательскую деятельность я, получается, начал с сочинения фанфиков. Ну, тут сложно спорить. Кстати, продолжение, о приключениях Незнайки на Луне я потом дочитать не смог. Это было какое-то глобальное разочарование. Всё волшебство как ветром сдули метафоры соцреализма.

Были ещё «Русские народные сказки» — невероятно красивая иллюстрированная книга, по сути, альбом. Помнится, звонил своей школьной любви по первому классу Маше Тихомировой и читал ей эти сказки по телефону. А потом подарил саму книжку. Интересно, а она это помнит?

Любил книжки Анатолия Алексина «Очень страшная история» и «Необычайные приключения Севы Котлова». Первая — идеальный детектив для детей. Вторая — история о беззаботной жизни довоенного школьника. Помню, как меня поразило внезапное отступление — о том, как герой в будущем будет тушить на крыше родного дома зажигалки, сброшенные с немецких бомбардировщиков. Но пока что не знает об этом. Какой-то невероятный, поразительный переход. И книжка вдруг стала совершенно взрослой, хватило одного небольшого абзаца.

А ещё была такая напрочь забытая нынче книжка «Повесть о суровом друге» Леонида Жарикова. Это, кстати, отец советского артиста Евгения Жарикова. Ее, наверно, я прочитал не меньше десяти раз. Доходило до того, что бабушка у меня ее отбирала и прятала со словами: «Хватит уже глаза портить. Сходи, погуляй,

наконец». Совершенно недетская книжка. Место действия — Донбасс, события — Гражданская война. И главные герои — дети. Но, пожалуй, только по возрасту. Голод, смерть, страх. Погибают родители, потом погибают сами дети. Видимо, с этой книжки и случился переход уже ко взрослым книгам. Потому что продолжать читать что-то беззаботное и веселое, было уже невозможно.

*Илья Фаликов, поэт, прозаик, эссеист (г. Москва)*

## «Я вырос в доме, где не было книг»

У меня однобокое чтение. Девять десятых прочитанного — стихи. А это влияет не на изменение жизни, но на ее формирование. Это происходит на заре, в детстве да молодости. Я вырос в доме, где не было книг, но Русланова на патефонной пластинке пела некрасовское «Меж высоких хлебов», а лет в десять, кажется, я попал в драмкружок Дома пионеров — за красивые глазки. Сыграл пажа в пьесе о Золушке, а потом — Павлика Морозова. Так что, пожалуй, первая моя книга — пьеса Виталия Губарева о герое, заложившем папашу. Мне предавать было некого, отец отсутствовал. Попутно я читал со сцены басню Сергея Михалкова «Заяц во хмелю». Снискав большой успех, я понял, что наши люди не так уж и осуждают бахвалистое пианство. Потом сосед по улице, тренер по боксу, втянул меня в спорт, его любимым чтением была книга Тарле о Наполеоне. Таковой она стала и у меня. За ней потянулось и прочее про историю.

Ранняя юность — разумеется, Маяковский, первый том, более всего — «Облако в штанах». Параллельно — Есенин, «Москва кабацкая» в основном. Вершина романтического возраста — Блок, выше всего — «Соловьиный сад». Книги Брюсова и Хлебникова — обе назывались «Неизданное» — я нашел на свалке по дороге в школу. Пастернак и Мандельштам пришли в свой черед. Пушкин и в особенности Боратынский открылись на закате молодости. Тогда же промелькнула и набоковская «Лолита».

Читалось много переводного. Уитмен, Аполлинер. Да мало ли...

Но следы театра остались — однажды ночью я погорел с шекспировским «Гамлетом» (перевод Пастернака) в объятиях. Тахта подо мной и Гамлетом сгорела напрочь, мы с ним чудесным образом прошли огонь и воду без единой пометины. Нечто подобное в другой раз произошло и с Фетом (большая серия Библиотеки поэта). По-видимому, с поэзией надо спать врозь.

Из прозы в старшие школьные годы проникновенней всего оказался «Герой нашего времени», прежде всего «Тамань». Прозу подобного качества я потом нашел у Олеси («Зависть»). Был, конечно же, и Грин, и другая романтика. Собственно, в том же ключе — в плане чего-то нездешнего — в бурную молодость вошли неделимой парой Ремарк и Хемингуэй. «Три товарища», «Фиеста» и так далее. Сегодня мало кто помнит Лиона Фейхтвангера или Леонгарда Франка, но «Иудейская война» или «Слева, где сердце» отпечатались в сознании надолго.

Первые студенческие годы ознаменовались как раз тем, чего в университетском курсе по существу не было. Великая филология первой четверти XX века, формалисты по преимуществу, а впереди всех — Тынянов, его очерк «Промежуток». Великолепна эссеистика русских поэтов начала прошлого века.

Но я начал этот отчет со стихов. Это и было главным содержанием жизни. Бессмысленно называть сейчас бесчисленные имена. Благодарностью некоторым из них стали мои ЖЗЛы — про Евтушенко, Цветаеву, Слуцкого.

*Александр Чанцев, литературовед, критик, культуролог (г. Москва)*

## В какой-то детской стране

Детские книги из самых первых — это, конечно, советские. Радостно про них знать, что они не сгинули в макулатурных водах Леты, переиздаются. И «Сказки народов мира». Эта серия, с ее бонусами-добавлениями в виде отдельных сказок Германии ли, Океании ли — передали, возможно, дальний привет, потому что сейчас, «под пятый десяток» (это в кавычках, потому что и выражение чужое, и возраст какой-то тоже, как понять его?), читаю африканские сказки. Или африканские романы — разница тут небольшая.

Жюль Верн, Свифт, Фенимор Купер, «Два капитана», Дюма. «Всё как у людей», то есть и у других детей моего поколения. Помню, конечно, сюжет, ярче прочитанных вчера бестселлеров. Но едва ли не четче — цвет обложки, слом и заклея переплета. Шершавость страниц на пальцах, как пыльца от крыльев бабочек. Чей-то отпечаток пальца на странице, уж не говоря про старые экслибрисы, посвящения, надписи — перьевой-то еще ручкой. Запах выдержанный, янтарный, с прожилками вроде тех, что на замерзшем окне, пыльный и свежий одновременно. Говорят же, что память на запахах сильнее других? Вот и ими оттуда, как из приоткрытой двери, еще тянет слегка.

Будто дерево из книг все еще растет. В какой-то детской стране.

Отдельно Конан Дойль. И не поэтому ли эта влюбленность у всех в разные фильмы о нем? Родной ведь.

Или мама читала о муми-троллях. Муми-мама. Тофсла и Вифсла. Ондатр. Протохиппи Снусмумрик. Книга в розовом и белом, цвета румяной, только умытой кожи, радость предстоящего дня. Но там страшноватая комета должна прилететь и все разрушить. Почти как в «Меланхолии» Триера про конец цвета.

Другие цвета у «Мёртвых душ», что тоже перед сном слушал и просил еще. Зеленая обложка и пожелтевшие, цвета земли почти, страницы. Дорога в поле же это. Бричка катит по «убитой» дороге, две колеи среди ухабов, дальше дали и горизонты во все стороны, обложили. Окном в дождях и осени, бесконечной и разнообразной, как сама наша страна. Другой коленкор, конечно, чем домашний и холодный одновременно у Муми-троллей. Этот ближе, но ведет дальше. Так далеко, так близко, как говорится.

Где, кстати, заканчивается детство? Не до конца умирает, вытягиваясь, как растягиваемая в длину на показать жвачка или ее бубух-пузырь на спор, а — в какие годы официально? Спросить у Гугла или кого? Или ответить самому.

Я бы закончил (я бы — не заканчивал) свое детство лет в двенадцать-тринадцать. Во всяком случае, тогда я читал самые крутые книги. Журнал «Наука и религия», «Заратустра» с «Антихристианином», Данте, сборник «Молот ведьм» (благо в те перестроечные годы прорвавшиеся плотины заливали и книжные прилавки богато), «Роза мира». Еще Чаадаева, двухтомник нежно зелено-голубых тонов. Эти книги — самое высокое. Почему? Потому что все они в пределе предлагают — что-то иное. Вот есть вся огромная, с Вавилонскую размером (да, за столько-то веков и напластований), башня христианства. Его поиск, понятия, служение Богу. А приходили Ницше и Даниил Андреев — и предлагали другой путь. Не аллеей регулярного парка к главному входу, где дверь в стражах, пажах и слугах, а — через сад. Им еще полюбоваться, вертоградом, куртинами. Видами с обрыва на реку, как у Гончарова. А потом войти черным ходом, где уставший от суеты гостей друг встретит тепло, отведет не в шум маскарада, а в свой кабинет. Там сядете и поговорите о самом важном.

Это я сейчас так думаю, конечно.

И, кстати, вернулся в последние годы к этому чтению. Мистиков да алхимиков, альтернативных христиан и даже мусульман. Леон Блуа, Пьер Тейяр де Шарден, тот же Даниил Андреев, Генон с Эволой, Хуан де ла Крус и Джемаль, Головин и Налимов, Кьеркегор и Симона Вейль — что может быть упоительнее?

«— И ничего более оголтелого нет? — Нет ничего более оголтелого. — Более махрового, более одиозного — тоже нет? — Махровее и одиознее некуда. — Прелесть какая. Мракобес? — “От мозга до костей”, — как говорят девочки. — И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер? — Сгубил. Царствие ему небесное. — Душка».

Читаю, конечно, сейчас другими глазами. Зрения того же не вернуть, как не вернуть никогда пейзаж. Тот даже после порыва ветра не будет прежним — сломало ветку, оторвало листок. А тут вся жизнь куда-то пронеслась. Страницы сдуло.

*Ганна Шевченко, поэт, прозаик (г. Москва)*

## Мой прекраснейший Артур Конан Дойл

Первые пять лет совместной жизни мама с папой прожили с родителями отца. Мама, отсидев со мной полтора года декретного отпуска, вышла на работу. Со мной нянчилась бабушка. До пенсии она работала учителем младших классов в местной школе. Дедушка в этой школе был директором.

Я потихоньку взрослела, и дедушка стал приносить книги из школьной библиотеки. Первое яркое воспоминание — книга сказок Пушкина с иллюстрациями невероятной красоты. Я просила бабушку перечитывать сказки вслух каждый день, а потом, быстро запомнив отдельные фрагменты, декламировала маме и папе.

Позже, повзрослев и переехав с родителями в отдельную квартиру, я приезжала к бабушке и дедушке на каникулы. И дедушка продолжал приучать меня к чтению, предлагая книги уже из своей библиотеки — «Последний из могикиан», «Робинзон Крузо» «Вождь Краснокожих», «Сердца трёх», «Человек, который смеётся». Но самая любимая книга в те далекие времена — это «Приключения Шерлока Холмса». О, спасибо тебе, прекраснейший из прекраснейших писателей Артур Конан Дойл, за то, что создал героя на все времена! Да что там героя. Архетипический образ, который повлек за собой появление ряда схожих персонажей не только литературы, но и кинематографа — Глеба Жиглова, Икабода Крейна, Грегори Хауса и многих других.

Время шло. Бабушка и дедушка старели. Потом бабушки не стало, а дедушка становился все слабее, и папина сестра решила забрать его к себе. Незадолго до переезда дед решил раздать самое ценное, что у него было — подписные издания, — своим старшим внукам, мне и двоюродному брату. И каково же было мое разочарование, когда весь Конан Дойл достался Вове! Помню, я в слезах побежала в сад, села на качели, привязанные к яблоне, и стала яростно раскачиваться, взлетая до самых ветвей. Потом пришел дедушка, сказал, что предназначенный мне Стефан Цвейг тоже хороший писатель, что Дойл — это больше для мальчиков, а Цвейг — скорее для девочек, и в дополнение к его собранию сочинений он отдает мне еще и старенький сборник «Рассказов о Шерлоке Холмсе». Я, конечно, успокоилась, но, кажется, тогда впервые пожалела, что родилась девочкой, а не мальчиком.

Александр Амчиславский

## Как молвится слово

### Парафраз

Расслышишь какую-то песню, затопит слезами,  
сбежишь продышаться, так ветром впечатает в стенку,  
на тонкие рёбра, бедняга, тебя нанизали,  
зачем-то оставив любить эту бедную землю,  
и любишь ведь, любишь не ради случайной подачки,  
тягучей баллады, выдавшего виды сонета,  
но голод не тётка, научит скулить по-собачьи  
и ждать непонятно чего от хозяйского неба,  
а уши торчком на пространстве от моря до моря,  
где ветхие домны разлезлись под шорох ползучий  
и дети поют, босоногому мальчику вторя,  
как только и можно и должно — чем горше тем лучше,  
попробуй не выживи, бедный, от счастья и скорби,  
ведь ты и оставлен услышать, как молвится слово,  
и детское пенье проходит иглою под рёбра  
последнею волей бескрайней фабричной столовой.

\* \* \*

Два слова свяжешь — Господи, прости! —  
на рельсы глядя, вспомнишь, как пути  
проходят сквозь, переполняясь гудом,  
который не унять, не унести,  
который сточит слово до кости,  
замкнёт уста и обесцветит губы,  
а следом хлынет воздух питьевой —  
обдаст нутро студёною судьбой,  
той самой, бедный мой, твоей не ставшей,  
теперь по развесёлой мостовой  
гарцуя, всё своё несёшь с собой,  
на узел память завязавши,

---

*Амчиславский Александр Аркадьевич* — поэт (1958— 2022). Родился в Москве. Окончил филологический факультет пединститута, учился в Академии Художеств имени И.Е.Репина (Ленинград). Работал учителем, художником-реставратором в Политехническом музее. В 1990—1998 гг. жил в Израиле, с 1998-го — в Канаде. Лауреат премии Эрнеста Хемингуэя журнала «Новый свет» (Торонто) за сборник стихов «За тонким полотном» (М., 2017).

но отчего ж так мучаешься ты,  
легко верша нетрудные труды,  
когда вокруг поют громкоголосо  
павлины, пусть чванливы и горды,  
фонтаны, пусть в нечистые пруды,  
цикады, пусть высасывая лозы.  
Ах, бедный мой, давно растёт трава  
в душе твоей, не помнящей родства,  
глаза молчат, закрытые травой,  
а те слова? Забыты все слова,  
живи как бог — ботва всегда права,  
а тот ушёл, который был с тобою.

### *Лесной романс*

Где бурундук в траве сновал,  
домишко встал среди подлеска,  
так мал, что не хватало места  
одежде, памяти, словам.  
Немного дров, немного круп,  
и жили мы, не понимая,  
что я немой, что ты немая,  
и это было царством рук  
и только нам понятных знаков,  
где ни один не одинаков  
из тех, которые не врут.  
Мы спали спинами к стенам,  
избушка за ночь ужималась,  
и милость божья с божью малость  
без удержу давалась нам.  
Спросонья руки разлепив,  
под стрёкот бурундучьей блажи  
глаза в глаза делились кашей  
с высокой плотностью любви.  
Стояли строго по местам —  
вода в реке, луна в окошке,  
кровать в доме, перловка в ложке.  
Мы жили там. Мы жили там.

\* \* \*

Здесь всё цепляется за всё —  
туман за свет, вода за камень, —  
которым дерево ползёт  
и волочит над берегами  
полураспахнутую тень,  
ещё горячую, сквозную,  
играют зайчики в воде,  
приняв её за гладь лесную.  
Что крик луны, что дятла стук  
за тишиною незаметны,  
кидает взгляды бурундук,  
мой нежный зверь, мой друг бессмертный,

ни зла, ни желчи, ни стихов  
ни суетных, ни волооких —  
не подпускает никого  
мой брат, мой воздух одинокий,  
мой воздух, брат мой одинокий,  
не подпускает никого.

\* \* \*

О чём бы то ни было как бы не было  
и в зимнюю скуку и в дождик осенний  
глядела куда-то и выла и выла  
и век доживала сосудом скудельным  
от кислого жмыха от памяти слёзной  
с утра уползала к себе в эмпиреи  
где с чашкой портвейна гуляла в трёх соснах  
и братья по цеху на солнышке прели  
сдавали бутылки дежурно поддаты  
читали своё и чужое читали  
и вольно журчала струя самиздата  
и видели свет молодые печали  
по бедности юной по юности бедной  
им было не тесно в кромешной родимой  
больничной гостиной всеобщей котельной  
где всё выходило то боком то дымом  
где все пропадали и эти и эти  
которые снова легко и бездельно  
топили словами свой воздух нательный  
для тех кто потом улетали на ветер  
кто к смерти мгновенной кто к долготу гуду  
чужого прибоа чужого привоя  
и эта старуха скудельным сосудом  
стоит у окна оживая от воя.

## 20 декабря

Нас тьмы и тьмы. И чёрная зима  
Лежит, раскинулась, не дышит. И не надо  
ни плача для души, ни горя для ума,  
и с высохших небес беспомощного знака  
давно не ждём, а будет, — наплевать,  
чёрно который век, и дело точно в снеге:  
он, видно, с головой засыпал снова  
и жизнь, и смерть, и сани, и телеги,  
вдавил исподний грунт и сделал всё как есть —  
и тощими стада, и ржавыми орала,  
а память бедным нам оставил днесь,  
чтоб и она всё время умирала,  
под мерный тик сапог, не различая лет,  
тащила в поводу и глаз поднять не смела.  
Мы — дети чёрных зим, где двери крестят мелом,  
и отблеск нашей тьмы у бога на челе.

*Анатолий Слоцов*

## Сюжет и фабула не совпадают

*Повесть*

Я куплю себе туфли к фракту,  
Буду петь по ночам псалом.  
Заведу большую собаку,  
Ничего, как-нибудь проживём.

*Автор неизвестен*

### *Куда ж нам плыть?*

Бровей у неё не было. Вместо них — две серые стрелки. Зачем выщипывать брови, чтобы рисовать новые? Есть многое на свете, друг Гораций, что неизвестно нашим мудрецам.

Уже минуты три девушка изучала моё резюме. Закусывала губку от усердия. Выглядело весьма соблазнительно. Я решил, что независимо от исхода собеседование прошло не зря.

Отсутствие завтрака сказывалось. Гастрономические намёки мерещились даже в самых невинных словах. Вот, скажем, резюме. Что это? Ризотто с изюмом? Азу с рисом? Официант, тарелочку резюме! Сию секунду, синьоре!

Девушка, наконец, подняла глаза:

— Восемь мест работы — за шесть лет. Впечатляет...

— Человек ищет, где лучше, — в тон ответил я.

— А как же карьерный рост? — упорствовала визави.

Не опыт работы её волновал. Не знание английского и не владение ПК, а — системность. Что такое «системность»? Привычка катить квадратное и не задавать вопросов. Как ювелир, отделяющий драгоценные камни от мутных стекляшек, она решала: «лояльный» перед ней или «смутьян»? Второй, хоть семи, хоть двадцати семи пядей во лбу, категорически не требовался.

— Не все мечтают о карьере, — мягко парировал я.

Девушка побарабанила ногтями по столу:

---

*Слоцов Анатолий Иванович* родился и живёт в Вологде (1992). По образованию — учитель русского языка и литературы. Участник Форумов молодых писателей России и стран СНГ ФСЭИП, Школ писательского мастерства СЗФО. Рассказы печатались в сборнике ФСЭИП «Новые писатели» (2020). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Иван, у вас есть автомобиль?

— Автомобиль? В вакансии об этом — ни слова.

— Понимаю, — кивнула она, — но и вы поймите. Продажник — профессия динамичная. Придётся много ездить. Встречаться с клиентами. Рассказывать им о компании. Без автомобиля никак не обойтись.

Я пожал плечами:

— Где денег взять? Весь разорился я, рыцарям усердно помогая.

Собеседница хлопнула глазами. Цитату не опознала, но суть уловила — черкнула что-то у себя в записях. Можно, конечно, было и соврать — как ни крути, у отца в гараже ржавела старая «копейка». Да только... зачем?

— Пожалуй, достаточно. Всё, что нужно, я узнала. Благодарю.

— И когда ждать ответ?

— В течение недели мы позвоним и сообщим о своём решении.

Четвёртое собеседование за месяц. Перезвонить, кстати, обещали всего на двух. Один раз просто отпустили с миром. Ау? А как же клиентоориентированность?

— Спасибо. До свидания.

— До свидания.

Направился к выходу. Взялся за ручку.

Наверное, в каждом дремлет маленький Пугачёв. Дикий сиволапый мужик. Изредка просыпается и густым, с хмельной хрипотцой баском призывает к бунту. Бессмысленному. Прекрасному. Послать начальника. Вдарить по газам под истошный свист гаишника. Уйти за хлебом и рвануть куда-нибудь на Байкал — подальше от постылой жены. Но с ним просыпается и Молчалин, шепчущий: «Ипотека-с. Кредиты-с. Семеро по лавкам-с».

Обернулся:

— Давайте начистоту. Вы ведь не позвоните?

Она стала похожа на актрису, в разгар монолога забывшую слова:

— Иван, у нас есть пул кандидатов — нужно опросить всех... — Суфлёр! Суфлёр!

Что там дальше по тексту?!

— Бросьте, — оборвал я. — Говорите как есть.

Девушка развела руками:

— Вы и сами всё понимаете.

Она играла ежедневную пьесу. Близился занавес. Тут с криком: «А король-то голый!» — вломился я. Порвал полог с намалёванными улицами Парижа. Обнаружил за ним кирпичную, неровной кладки стену. В общем, испортил песню, дурак.

На улице сёк дождь. Косой и мелкий, будто шрапнель. Внезапный и скоротечный, какие часто бывают на закате лета. Полномочный посланник грядущего сентября.

Укрылся от обстрела под козырьком ларька. Отчаянно хотелось курить. Нашарил пачку. Открыл. Сигарет, как и бойцов у незнакомого посёлка, — оставалось три. Сдвинул их в угол. Приподнял среднюю над остальными. Ну-с? Что видите, голубчик? Ракета, доктор? Сталинская высотка? Отнюдь, батенька. В вашем случае — известный жест.

Безжалостно выдернул высотке шпиль. Затянулся. Сорванец-ветер из стороны в сторону гонял по луже жухлый лист. Уж осень близится, работы нет и нет. Третий месяц я — на вольных хлебах. Финансы активно готовятся начать вокальную карьеру.

Осмотрелся. Дурацкая привычка — залипать на всякие вывески. Видимо, годы

работы с текстами даром не прошли. Замечу слоган и думаю: как бы я написал? Профессиональная, мать её, деформация.

Сейчас я взирал на бизнес-центр, из которого вышел пару минут назад. Бизнес-центр. Модное словцо глубоко пустило корни в лексикон офисных рыбёшек. Бизнес-центрами равно величают и деревянные домики с резными наличниками, и бетонные высотки. Любые здания, где пирожники обитают бок о бок с сапожниками. БЦ, что я покинул, разместился в корпусах бывшего вагоноремонтного завода. Кирпичное чудище. Распластавший щупальца, издыхающий кракен. Ныне его цеха, где некогда ставили стахановские рекорды, заняли туристические и маркетинговые агентства, танцевальные и веб-студии, магазины мебели и игрушек.

Фасад завода прикрывал огромных размеров баннер. «Рекламное агентство “Июнь”». Название удачное — веер позитивных ассоциаций. Милый логотип — жёлтая клякса с потёками. Попроси ребёнка солнце нарисовать — такая же каляка будет. А вот лозунг подкачал: «С нами у вас всё получится!» Больше средству для потенции подходит.

На баннере мужчина с модельно подстриженной бородой (крутой бизнесмен?) жал руку девушке. В бизнесмене я признал актёра городского ТЮЗа. Играл Ивана-дурака и был частым героем «Светского хроника» — газеты, где я когда-то промышлял. То с режиссёром во взглядах на роль не сойдётся, то жене начнёт азы Домостроя втолковывать. Помню, писал о нём заметку. Называлась — «Иван не дурак подрасться».

Ладно, хорош сопли жевать. Я щелчком послал бычок в урну. Вставайте, граф! Вас ждут великие дела! Поднял воротник и, перепрыгивая в разливанном море с островка на островок, двинул к остановке.

## *Былое и думы*

Моя квартирная хозяйка консервативна. Всем видам денег предпочитает те, что хрустят, шуршат или, на худой конец, звенят в карманах. В результате раз в месяц я имею честь лично лицезреть Розалию Эдмундовну. Вот и сегодня она проверила, политы ли цветы. Пересчитала чашки в сервизе. Даже заглянула в туалет. Уходя, наказала:

— Двадцать девятого. Не забудь!

Едва удержался, чтобы не взять под козырёк. Есть, есть ещё дамы в русских селениях!.. Вот хотя бы моя домовладелица — настоящая офицерская вдова! Такая и себя, и тебя высечет. Особенно если вовремя не заплатишь.

Вернулся в комнату. Свёл дебет с кредитом. Кажется, питаться скоро придётся святым духом... Голодная смерть не пугала. В студенчестве я усвоил, что один чайный пакетик можно заварить девять раз. В армии — что хлеб с растительным маслом вкуснее любого деликатеса. Да и вообще — много ли надо настоящему индейцу?

Плюнул на всё: помирать, так с музыкой. Сбегал до магазина и на половину оставшихся денег затарился пивом. Расфасовал пузатые «торпеды» по ярусам холодильника. Сразу пить не стал. Пить в одиночестве — алкоголизм. В компании — праздник. А вдвоём — психотерапия. Кто будет вторым? Погадаю на книге. Телефонной. Заметил, что чем она обширнее, тем быстрее листается. В списке контактов те, с кем учился. С кем работал. С кем спал. Друзей — немного. Один, если совсем точно. Марлен Дитрих говорила: друг — это тот, кому можешь позвонить в четыре часа утра. Поездо. У меня такой есть.

Лёня работает пожарным. А русский пожарный может раздавить поллитру беленькой, шлифануть пивасиком, взвалить на спину штурмовую лестницу, пробежать тридцать метров, взмыть на четвёртый этаж и вынести из огня хоть ребёнка, хоть котёнка, хоть тушку, хоть чучело. Однако Лёня выделялся и на фоне опытных старших товарищей. Он был Моцартом возлияний. Сократом застойной мысли. Бизнес-проект «Собутыльник на час» вызрел у Лёни ещё в школе, и только природная лень помешала ему заработать миллионы.

Набрал Лёнин номер:

— Здорово, — говорю. — В гости приезжай. Пивка дёрнем.

— Что за новости? Вроде не пятница.

— Новости? С работы уволился.

— С каких пор это новость? У тебя ж трудовая — как Берлинская стена.

— Так приедешь?

Через полчаса он стоял на пороге с двумя бряцающими пакетами.

— Чего так скромно? Ушёл из большого спорта?

— Паузу взял. — Лёня ухнул пакеты на стол. — На службе не одобряют. Гудели тут у кента одного. Назавтра смена. Начкар мне: если ты, Зайцев, сука, думаешь... Думаю, говорю, товарищ лейтенант. Думаю — и вам советую.

— А он?

— Дома, говорит, бухай. А когда дома-то? Я домой уже пьяный прихожу.

Почему Лёня такой дерзкий? Всё просто. Лёнин папа — полковник. Что ему этот летёха начкар?

Он устроился в кресле. Я разместился на кушетке. Пшикнула бутылка. Сеанс начался.

— Может, тебе в газету какую пойти?

— Хватит с меня газет.

— Слушай, а ты у нас по специальности кто?

— По специальности? Преподаватель. Русского и литературы.

Лёня возбуждённо хлопнул по ляжке:

— Так это ж замечательно! Матушка моя в школе трудится. Поваром. Текучка, говорит, страшная! Вечно кто-то нужен.

Я покачал головой:

— Какой из меня учитель?

По образованию я — филолог. Знаю-знаю. Не спрашивайте.

Мои родители были глубоко советскими людьми. Как и их родители. Как и родители их родителей. Они росли с убеждением, что все профессии важны, а дело жизни следует выбирать сердцем. В итоге папа определился на инженера. Мама — на учительницу. Когда закончилась эпоха джинсов-варёнок и колбасы по два девяносто, а «Лебединым озером» глушили танковые залпы, отец переопределился в таксисты. Мать — в продавцы. Родители ждали, что грозные времена минуют и настанет вожделенная стабильность. Они придерживались самых широких взглядов на моё воспитание. Им и невдомёк было, что такая русская в своей природе мантра «придут и сами всё дадут» раз и навсегда сменилась буржуазной «все животные равны, но некоторые равнее других». Неудивительно, что в пору «Кем быть? Каким быть?» я вступил отягощённым максимальной свободой выбора.

Городок наш, и без того невеликий, всё больше замыкался в себе. Проулки завершались тупиками. Закорючки домов — колодезными двориками. Профессии мечтали стать сословиями.

Самыми престижными числились сословия силовиков и чиновников. Войти в них можно было тремя способами. Родиться. Породниться. Выучиться и сделать карьеру. В силу плебейского происхождения первые два пути мне были заказаны. Третий требовал усилий и отнюдь не гарантировал успеха. Что, в сущности, оставалось?

Городская система образования покоилась на двух китах. Первый — педагогический. Пединститут. Пед. Ума нет... и так далее. Его выпускники встречались повсюду. Они работали тренерами и таксистами. Официантами и клерками. Продавцами и фотографами. Некоторые трудились по специальности — бывает.

Второй кит носил длинное скучное название. В народе его называли просто — Вертушка. Там готовили будущих тюремных охранников. Выпускники Вертушки напротив — все как один, спрессованные в идеальные, неотличимые коробки, отправлялись на север, где сливались с подопечными в сплошную короткостриженую массу.

Дубинка или указка? Выбор поистине гамлетовский. Разницы между тюрьмой и школой я не видел. Разница — в длине волос. И тем не менее между шконкой и партией выбрал второе.

Вокруг власть имущих крутятся репортёры. Их окружают пиарщики и пресс-секретари. Значит, рассудил я, нужно стать журналистом. Журфака в педу не было. Зато имелся филфак.

Филология представлялась зоной повышенной абстракции. Бермудским треугольником в океане наук. Что должен уметь студент филфака? Читать книги. Пока врачи зубрят анатомию, а юристы — законодательство, филологи спрягают старославянские глаголы. Вишенкой на торте становится дипломная работа: «Образ дождя в творчестве поэтов Серебряного века».

На экзамене однокурсник Андрей заявил седовласому профессору:

— Мы здесь изучаем то, чего в жизни — не бывает.

Он понял это раньше меня.

Армия. Здравствуй, юность в сапогах. Триста шестьдесят пять дней подъёмов и отбоев. Приказов и команд. Берцев, кителей, бушлатов. Бытовок, кубриков, каптёрок. Штык-ножей, марш-бросков, плащ-палаток. Дембель и третий по масштабу национальный вопрос — куда ж нам плыть? — в полный рост.

Я взялся осаждать чертоги городских редакций. Манило само это слово — «редакция». Рисовалась романтическая картина. Сизый дым сигарет. Дробный перестук клавиш. Диспуты о литературе и политике за чашкой кофе.

Реальность оказалась далека от фантазии. Меня встречали люди в мятых рубашках с мятыми лицами. «Вакансий нет», «не нужен», «не требуется» гундосил неглаженный хор. Сословие журналистов не спешило принимать чужака в свои ряды. На восьмом отказе я понял: броня энтузиазма готова дать трещину.

Выручил, не поверите, сын маминой подруги. Уволился из газеты и, как и подобает честному человеку, обещал подыскать замену. Рассказал маме, та — моей, а уже она — мне. Хорошо, когда грань между маленьким городом и большой деревней столь тонка.

Советского Союза давно нет, но обломки его разбросаны по свету. В любом уголке страны вы найдёте улицу Красных Текстильщиков, библиотеку имени Щорса или газету «Стойкий ленинец». В такую меня и приняли.

Провинциальная газета подобна эстрадной диве: годы над ней не властны. Не властны были годы и над «ленинскими» заголовками. Они по-прежнему сулили рекордные урожаи и фантастические надои. Грандиозные стройки шли ударными

темпами, а на пыльных тропинках далёких планет вот-вот должны были зацвести яблони.

Архив «Ленинца» мог посоперничать с музеем «Поля чудес». Чего здесь только не было! Шахтёрские каски и ржавые кипятильники. Казацкие шашки и курчавые парики. Пожелтевшие подшивки времён лихих девяностых и почти бурые — огневых сороковых.

О современности напоминал лишь кабинет главреда. Черноокая плазма днём и ночью вещала об успехах русского оружия на Ближнем Востоке и Диком Западе. Рядом висел портрет Верховного. Он доверительно шурился, словно приглашал стать внештатным сотрудником.

— Что делать? — спросил я главреда.

— Пишите письма, — отмахнулся тот.

«Письма читателей» ютились на двух страничках — между рецептами и кроссвордами. Особенно мне удавались послания разочарованных в мужчинах дам.

«И тут я поняла, что мой избранник — предатель! Да, я не кандидат наук, как его мама, а простой продавец. Зато покупатели меня уважают! И я заслуживаю лучшего! Лучшего человека рядом с собой!»

Слова стоили дёшево. Среди пишущей братии хватало случайных людей.

Экономический обозреватель Татьяна Дамировна двадцать лет работала бухгалтером. Спортивный журналист Вадик Глухов раньше трудился барменом. В его заметках нет-нет да проскакивали «опьянение успехом» или «похмельная горечь поражения». Рабочим состоянием Вадика был запой. Повод к запою всегда звучал одинаково: «Наши проиграли». «Нашими» по ситуации могли оказаться московский ЦСКА, английский «Челси» или испанская «Барселона».

Редакционная нимфа Верочка Лагунова превращала любое интервью в собеседование с потенциальным супругом. Намётанным глазом разведёнки за тридцать она легко вычисляла непристроенных мужиков.

— Мужчина без женщины — как хищник без мяса, — наставляла Верочка. — Чахнет.

Бобыля она опознала и во мне. Из благих побуждений записала на свидание вслепую. Сообщила, конечно, постфактум. Я поблагодарил за заботу, но на свидание, понятно, не пошёл.

Мне доверяли всё больше: статьи о политике, криминале, светской жизни. Назначили вести колонку про культуру. Поговаривали, могут сделать замом главреда.

И тут произошло страшное. Я проявил преступную невнимательность. В материале о заседании правительства назвал первого заместителя губернатора просто заместителем. Заместителей у губернатора было восемь. Разразилась буря. Долетавшие молнии накалили атмосферу в редакции до предела. От главреда требовали выводов и мер.

Зелёный дисковый телефон на его столе слегка покраснел. Сам главред был красен уже пару дней. И даже в прищуре Верховного чудился мягкий отеческий укор: эх, Ваня, Ваня...

Главред указал на разохшийся стул:

— Ты уж не сердчай, Ванёк. — Он закашлялся. Поскрёб щетину. — По тебе и не ударит почти: ни детей, ни ипотеки... — Убедительный довод поскорее обзавестись тем и другим.

Утлая лодчонка благополучия стремительно шла ко дну. Снова на распутье. Некоторые назовут это свободой. Буксир прибыл откуда не ждали. И какой! Компания «Акси». «Флагман на рынке стройматериалов». Кто тот фантаст, что сочиняет эти

инопланетные названия? Верно, одной рукой строчит: «С криком “За Империю!” Кэлахар всадил секиру в череп орка». Другой выводит: кафе «Берж», кондитерская «Ювелин», салон красоты «Аламель».

«Акси», и правда, была компанией крупной. Торговые центры в десятке регионов. Шесть тысяч сотрудников. Кто-то даже считал её градообразующим предприятием. Как по мне, плохи дела у города, чьё благополучие зависит от продаж обоев. Платили, однако, не в пример лучше, чем в газете, и жалеть об увольнении я быстро перестал. Словно из трущоб перебрался в лофт в центре Москвы.

Офис «Акси» смахивал на гигантский аквариум. Стеклообразные стены символизировали прозрачность в делах. Рекреации украшали мотивирующие призывы на английском. Believe in yourself! Think global, act local. Right here, right now! По этажам прогулялся — точно на выступлении бизнес-тренера побывал.

— Откуда цитаты? — спросил я Родиона из отдела рекламы.

— Из гугла.

— Ясно, что не из яндекса.

— Ты не понял, — засмеялся Родион. — Из офиса «Гугла». Там такие же.

Впору было приниматься за мемуары — «Как я попал в Кремниевую Долину».

На мне были пресс-релизы, сайт и соцсети. Слово «копирайтер» не нравилось. От него тянуло прозекторским холодом. Я предпочитал — «пишущий человек». Но объяснить коллегам, чем я занимаюсь, оказалось непросто. У них тоже были руки, тоже была клавиатура, и они тоже считали себя пишущими людьми.

Смешенье языков господствовало. Кофе-пойнты и летучки. Комьюнити-менеджеры и управделами. Того же Родиона всерьёз называли «некипийным». Сокращению подлежало всё. Названия отделов. Должностей. Даже имена. Генерального, Юрия Тимофеевича Брызгалова, величали игристой аббревиатурой БРЮТ. «Что скажет БРЮТ?» «Нужно согласовать с БРЮТ». «Думаете, это понравится БРЮТ?»

Так продолжалось, пока генеральным не стал Евгений Сергеевич Быков. Культура аббревиации сошла на нет.

Новая метла и метёт по-новому. Одним из первых генеральный вызвал меня к себе.

— Удачи! — шепнула в предбаннике секретарша Маша. Все звали её Марусей.

— Дай, что ли, воды.

— Зачем?

— Как-никак к генеральному иду — вернусь с фужером полусладкого.

— Дурак!

Вошёл — и заблудился взглядом. Длинный, как взлётная полоса, совещательный стол упирался в короткий начальственный столик. За спиной у генерального дизайнер сохранил кирпичный простенок. Терракотовые пластинки, разделённые жирными пластами цемента. Не хватало отметин от пуль. Для внушительности.

Генеральный сидел, уставившись в монитор размером с детский бассейн. У его локтя в прозрачном бруске стакана плавала лимонная долька.

— Присаживайтесь. — Он просканировал меня поверх очков. — Иван, если не ошибаюсь?

— Всё правильно.

Генеральный порыскал в кипе бумаг. С удовлетворением извлёк пару листов.

— Напомните, где вы трудитесь?

— В отделе корпоративных коммуникаций.

— Вот! — Он торжественно погрозил пальцем. — Вы должны развивать у коллег чувство единства. Я бы сказал — единомыслия! А вы? Что вы пишете? Например, здесь: «...Собравшиеся разделились на пять команд».

— А в чём дело?

— Почему было не написать «объединились в пять команд»?

— Это противоречит правилам русского языка. И законам логики. Простите, но части объединяются в целое, а не наоборот.

— Ну хорошо. Предположим. — Он сделал маленький глоток. Подцепил лимон ажурной ложечкой. Изящным движением отправил в рот. — Но здесь-то? Здесь? «Акси» входит в число крупнейших налогоплательщиков области...»

— Что-то не так?

— Ну как же? Ведь отдел маркетинга утвердил положение, согласно которому название компании мы пишем без кавычек.

— Почему?

Генеральный приосанился:

— Бренд «Акси» достиг той степени узнаваемости, когда в кавычках нет необходимости.

— А в «Газпроме» об этом знают?

Похоже, он наконец разжевал лимон. Отвечать не стал. Махнул рукой — иди, мол.

На следующий день я подписал заявление по собственному. Жалел ли я? Да, жалел. Мог ли поступить иначе? Наверное, нет. Я ощущал свою неуместность. Будто фрагмент пазла, по ошибке затесавшийся в другой набор. Вроде такой же, — но ни к чему не подходит.

С работой не ладилось. Дольше года нигде не задерживался. Откуда-то увольняли. Чаще уходил сам. Писал про мясорубки и лазерную очистку крови. Параллельно начал делать робкие литературные попытки. Какие-то наброски. Этюды. Анекдоты из жизни. Где-то мельком подсмотрел. Что-то мимоходом подслушал. Стал выпивать. Думаю, эти вещи как-то связаны.

Докатился до того, что сочинял «кликабельные» заголовки для новостного портала. «Снимки мэра с тёлочками взбудоражили общественность». Читатель переходит по ссылке — и наблюдает фотографии белозубого городского головы в окружении альпийских бурёнок.

Скоро ушёл и оттуда. Круговорот собеседований. Привычная кутерьма. Что вы знаете о нашей компании? Кем себя видите через пять лет? Кем-кем... Президентом планеты Земля. И это как минимум. Деньги заканчивались. А тут — Лёня с его идеей. Школа? Учитель? Учитель. Слово-то какое... А я? Свои бы проблемы разгрести.

— Какой из меня учитель? — повторил я.

## *Доживём до понедельника*

Она есть в каждом районе. Типовая. Панельная. Иногда — кирпичная. С липовой аллеей и спортивной площадкой. С галереей никому не нужных медалей и кубков. С портретами давно забытых чемпионов. Я сам такую закончил, а сейчас шёл устраиваться в такую на работу.

У дверей таилась вахтёрша, типовая, как сама школа. Причёска — «престарелая Мальвина». Бульдожьки брыли. Гирьки кулачков. Подобных женщин я отношу к типу

«цербер». По обострённому чувству порядка они намного превосходят армейских старшин и уступают только патологоанатомам. Профессии выбирают с красивыми иноязычными названиями и почему-то строго на «к»: консьержки, кастелянши, комендантши.

— Куда?!

— На собеседование.

— Рабочие не требуются, — отрезала цербер.

— Могу охранником. У меня чёрный пояс по разгадыванию кроссвордов.

Вахтёрша открыла рот. Закрыла. Снова открыла. Зашарила по столу. Я напрягся. Что там у неё? От неминуемой расправы спасла воздушная дама. Выпорхнула из-за спины цербера и приветственно протянула руку.

— Анжела Алексеевна. Руководитель методического объединения филологов. А вы, я так полагаю, Иван?

— Правильно полагаете.

— Идёмте.

Вахтёрша метнула вдогонку взгляд, где мешались ненависть и облегчение: как ни крути, на её место я не посягал.

— Школа большая. Сотрудников много, — щебетала Анжела, ведя коридорами, длинными и тёмными, как фабричные трубы. — С Ириной Палной, хранительницей нашего покоя, вы уже знакомы. Мимо неё мышшь не проскочит. Между нами... — старшая над филологами понизила голос: — За глаза мы зовём её фюрером — Ирина Пална двадцать лет заведовала столовой.

Я хмыкнул.

Мы добрались до клетушки, которая, видимо, полагалась Анжеле как руководителю МО. Шкафы и подоконники были завалены разноцветными папками. Пунцовый классный журнал на столе соседствовал с томиком Цветаевой. «Господа Головлёвы» — с каталогом Avon. Солидную часть стены занимал красный угол: грамоты, дипломы, благодарности. «Награждается Паюсова Анжела Алексеевна...» «Любимой учительнице от 11-го “А”...» Посреди иконостаса — сочное профессиональное фото: Анжела в окружении рослых парней и дебелих девиц с выпускными портупейми. Почти что Тайная вечеря.

Я наконец-то рассмотрел потенциальную начальницу. Легкомысленные кудряшки. Белая блузка. Серая юбка-карандаш. Возраст... неопределённый. Некоторые женщины — словно воск. Застывают на пороге четвёртого десятка и умудряются длить это состояние бесконечно. Вопрос лишь, как давно застыла Анжела?

Она села, прилежно, по-ученически сложив руки. Улыбнулась:

— Признаюсь, Иван, вы — необычный кандидат. Мужчина. С солидным опытом. Правда, всё больше в журналистике. С детьми не работали?

— Не довелось.

— Своих, так понимаю, тоже нет?

— К сожалению. А может, к счастью. Для них.

— Почему для них? — не поняла Анжела.

— А зачем им такой отец?

Её лицом можно было иллюстрировать слово «смятение»: он неуч? сумасбродит? пьёт одно стаканом красное вино? Последнее, между прочим, недалеко от истины.

— Шутка, — успокоил я. — Часто шучу, и не всегда — удачно.

Старшая над филологами натужно рассмеялась:

— А у меня, знаете, проблемы с... юмором. Вернёмся, однако, к нашим баранам. Кандидат вы интересный, но, как уже сказала, без опыта. И теперь я перед дилеммой. — Она посмаковала «дилемму». Покрутила на кончике языка. — Принять вас или пригласить опытного стажиста?

Я молчал. Дилемма так дилемма. Стажист так стажист. На календаре алело тридцатое.

— Вас, наверное, интересует зарплата? — не дожидаясь ответа, Анжела взяла калькулятор и застучала по кнопкам, пришлёпывая: — Северный коэффициент... Районный... Надбавка молодому специалисту... Категории у вас пока нет...

Развернула машинку ко мне.

Цифра не поражала. Радовало, что хотя бы считают молодым.

— Надо же. Столько бонусов — и такая мизерная сумма.

— Это ничего! — засуетилась руководитель МО. — Вы как относитесь к репетиторству?

— Сугубо положительно. Как и ко всему, за что платят деньги.

Анжела поморщилась, давая понять, что меркантильности не одобряет.

— Репетиторство не запрещено. Заниматься можно прямо в школе. Неплохой приработок! Нельзя быть репетитором только у своих учеников. Кстати, об учениках. Если возьмётесь, у вас будут четыре класса: два пятых, два восьмых. В восьмых есть несколько ребят... с девиантным поведением.

— Придурков то есть?

Её бровь превратилась в апостроф:

— Иван, мы не используем в адрес детей столь резкие выражения.

— Почему? Их же здесь нет.

— Потому что это — непедагогично.

— Я не педагог, как вы верно подметили, а журналист. И знаю, что правильный выбор слов здорово экономит время.

Анжела смотрела с интересом:

— Кажется, понимаю, почему вы нигде долго не задерживались. Пойдёмте, — покажу рабочее место.

Порция блужданий по коридорам и лестницам. И — белая дверь с номером «201».

— Ваш кабинет, — зачем-то пояснила спутница, бряцая ключами. Отворила. Вошли.

Три ряда мышинового цвета парт. Линолеум содран, будто кожа со спины мученика. По стенам паучками разбежались трещины. На потолке — скопище ржавых медуз.

Я присвистнул:

— У вас в школе случаев суицида не было?

— Опять шутите? — свирепо уточнила Анжела.

— Я всегда шучу. Серьёзное выражение лица, говорил Мюнхгаузен, не признак ума.

— Подобные шутки — тем более! А парты можно перекрасить.

— Отлично, где краска?

— В магазине, — сощурилась Анжела. — Чек предъявите председателю родительского комитета. Вам всё возместят.

— А это что?

За стеклянной дверцей шкафа висел пиджак с вытертыми локтями. Среди книг стоял фанерный триптих, униженный снимками. На всех — улыбчивый человек с круглым, в оспинах лицом.

— Писатель Фёдор Черняков. Слышали, возможно?

Слышал. И не потому, что вёл рубрику про культуру.

— Фёдор Степанович у нас учился, — продолжила Анжела. — Собираем документы, чтобы присвоить школе его имя. А здесь хотели оформить «Уголок писателя»: личные вещи, фото.

Чего-то не хватало. Будто с мундира сорвали награду и отныне на её месте — сиротливая дырочка и клочок торчащих ниток.

— Супруга обещала и печатную машинку передать, — подтвердила мою мысль Анжела. — Увы, Антонина Васильевна уехала в родную деревню. Связи с ней нет.

Провинциальная литературная жизнь походит на жизнь насекомых: никакой видимой цели, но активность — потрясающая. Город поделили две группировки: «Писатели России» и «Российские писатели». Сокращённо — писросы и росписы.

Писросы носили пиджаки, которые вышли из моды ещё при Андропове. Росписы — кеды, шарфики и кардиганы. Трибуной писросов была газета «Советский литератор». Деньги на неё из чистого альтруизма давал бывший мэр. Росписы получали всевозможные премии, стипендии и гранты. Писросов это жутко бесило, как бесит стареющего ловеласа, что красотка предпочла ему более молодого соперника. Конфликт отцов и детей? Но «отцы», точь-в-точь герой ток-шоу на федеральном канале, отказывались признавать родство, а «дети» всячески открещивались от наследства.

Фёдор Черняков был ни с теми и ни с этими. В объединениях — не состоял. В союзах — не числился. В списках — не значился. Работал то ли слесарем, то ли сторожем. Писал. Ну, пишет и пишет. Мало ли кто чем мается? Главное, на смены выходит. Только однажды Черняков на смену не вышел. На следующий день в его дверь постучал успех. Книгу Чернякова издали в Швеции. Она получила международную премию. Потом ещё одну, нашу. И оказалось, рядом жил писатель. Ходил в местную пивную. Платил за свет и воду. Мучился изжогой и похмельем.

Властям как раз нужен был классик. Черняков роли классика соответствовал. На его дом повесили доску. Создали какой-то центр. Основали какой-то фонд. Среди писросов тут же выискался один, якобы бывший с ним на дружеской ноге: буду, мол, творить биографию гения. Жена не выдержала — и сбежала. Подальше от всего этого великолепия. Яркого и пустого, как фейерверк.

— Было бы символично, если бы машинка Фёдора Степановича стояла в этом кабинете. — Анжела вздохнула. — Ребята пишут здесь сочинения. Делятся тем, что на душе. Возможно, среди них найдётся новый Черняков?

\* \* \*

Говорят, труд облагораживает. Сильное заявление. Трудящихся я повидал немало, и благородными были далеко не все.

Убеждён, если что и не любят, то не труд, а — работу. Ту, что пять через два и с девяти до шести. Я с удовольствием могу справиться забор. Перекрыть крышу на бане. Сколотить парник. А вот вечером воскресенья тоскливо сосёт под ложечкой. Как, наверное, и у многих.

Стрельнул у Лёни денег. Сбежал до магазина. Купил ванночку, валик и две банки изумрудной краски. Пол устелил старыми газетами.

Взгляд зацепился за одну. На передовице — зернистый чёрно-белый снимок. Блондинка в пеньюаре призывно закидывает ногу на ногу. Кружевная бретелька

сползает, оголяя плечико. «Откровения ночной бабочки: “Мужчины измельчали! Они больше не оставляют на чай...”». Ну как же, как же!.. Тот номер мы распродали за два дня. Чуть-чуть не хватило до рекорда. Ходили слухи, мамочки и сутенёры ещё долго искали «болтливую шкуру», и многие жрицы любви лишились своих мест. Простите, Кристины и Снежаны, Изольды и Виолетты! Вам не видать больше саун и загородных домов, гостиничных номеров и бильярдных. Уверяю, не злой умысел тому виной, а наплыв лёгкой меланхолии, бутылка чилийского и фильм «Красотка», так некстати затесавшийся в программу теле вещания.

Парты подсыхали. Я взвесил на ладони ключ от кабинета — моё! Старатель, забывший на прииске первый колышек. Сперва — чувство собственности. Следом — ответственность. А уж за ней — любовь. Мой случай?

А, Фёдор Степаныч? Что скажете? Я подмигнул круглолицему писателю.

Кажется, он подмигнул в ответ.

## *Праздник непослушания*

Сначала я хотел надеть костюм. Потом передумал. Работать учителем и носить костюм — как-то претенциозно. Почти как ездить на такси до соседнего подъезда. В итоге ограничился рубашкой и брюками. Педагогический скарб покидал в кожаный портфель на застёжках. Про себя я гордо называл его дипломатом.

Осенью город преображается, словно сельская красавица, прослышавшая, что на ярмарку заглянули городские гости. Какой-то щедрый гуляка разбросал золото по дворам, площадям и проспектам. В приумытых летними ливнями витринах отражались машины. Неказистые чада российского автопрома чередовались с блестящими иномарками.

Путь до школы лежал через мост. Над рекой стелилась лёгкая полупрозрачная дымка. Вдоль набережной на почти одинаковом расстоянии друг от друга темнели силуэты рыбаков. Подобно караульным, ещё в сумерках заняли они свои посты, взяли наизготовку удочки и пытаются счастья в надежде на крупный улов. Под мостом, оставляя за собой широкую морщину, неспешно проскользил катер.

На перекрёстке дежурил молодой полицейский. Краснощёкий, с длинными пушистыми ресницами. Сам — недавний школьник. К месту его службы со всех концов улицы стекались ребятишки. В накрахмаленной форме и нарядных курточках. С футлярами ранцев. Кульками сменок. И, конечно, с цветами. Десятки маленьких факелоносцев. Астры, гладиолусы, георгины полыхали в их руках.

У школы ручейки сливались в пёстрый многоречивый поток. Первоклассников отличали испуг и торжественность. Нет ещё возка обид и разочарований. Ни первых любовей, ни первых предательств. Ни первой дружбы, ни первой вражды. Всё впереди...

...В лицо плюёт мелкий дождь. Ветер отвешивает злые пощёчины. На спортплощадке буквой «П» построился выводок первоклашек. Щёлкают затворы родительских фотоаппаратов.

Грузная женщина в плаще с бумажки зачитывает в микрофон. Сильно фонят динамики.

— ...В страну знаний... аний... аний...первоклассников поведут выпускники... ки... ки...

Сверху, из дальнего далёка, спускается рука. Сжимает мою.

— Тебя как зовут? — спрашивает рука.

— Ванюша, — шепчу я. Из-за щели в зубах получается «Ванюфа». — А тебя?  
— Лена, — смеётся рука. — Ну, пойдём, Ванюша!  
Эх, где сейчас та Лена?..

Над центральным входом висело полотнище: «Школа — начало всех дорог». Из-за дверей несло неизбывное: «Вычитать и умножать...»

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И ещё много чему. К примеру, гнать, держать, смотреть и видеть. Дышать, слышать, ненавидеть. И зависеть, и вертеть. И обидеть, и терпеть. Но об этом — как-нибудь потом.

Фойе кишело народцами и народами. Разных ростов. Разных возрастов. Две девчухи в клетчатых юбках и гольфах, сложив губы уточкой, фотографировали себя на телефон. Девицы постарше вились у зеркала. Пацаны — седьмой класс? восьмой? — сгрудились вокруг планшета. Планшет чавкал и хрумкал. Экран обильно заливало томатным соком.

Волной мальчишек в чёрных пиджаках ко мне прибило Анжелу.

— Иван Андреич, у вас сегодня...

«...Вычитать и умножать...»

— ...Знакомство с пятым «Б»...

«...Мальшей не обижать...»

Волна увлекла Анжелу дальше по коридору.

У кабинета серой стайкой порхали ученики. Мои ученики. В девичьих волосах наши приют бабочки: голубые, зелёные, розовые банты. Мальчики напоминали индейцев: у каждого своя неповторимая причёска. Бритые виски и проборы, косые чёлки и лесенки. Барбер-шоп на выезде.

Увидели меня. Зашушукались: «Это он!.. Он!..»

— Здравствуйте, ребята!

— Здра-а-асьте!.. — нестройно отозвался пятый «Б».

Открыл кабинет. Бросил дипломат на стол. Сел.

Глубокий вдох. Считать до десяти. Один. Два. Три...

Дверь я оставил нараспашку. Истерично тренькнул звонок, но войти никто не решился. В конце концов порог перешагнула светленькая девочка с длинными косами. Робко приблизилась к столу. Положила на краешек букет хризантем. За ней потянулись и остальные. Минуту спустя передо мной цвела клумба.

— Завтра увидите, как я торгую цветами на улице, — сделайте вид, что не узнали.

Достал конспект. Открыл последнюю страницу. Пятнадцать расчерченных по диагонали прямоугольников.

— Вас много, ребята. Я — один. Поэтому для начала давайте познакомимся. Слышали про общество анонимных алкоголиков?

Дети начали переглядываться.

— Ну знаете, — алкоголики? Тяжело больные люди. Собираются группами и рассказывают о себе. Каждый встаёт и представляется. Например: «Меня зовут Петя, и я — алкоголик».

Я чувствовал себя водителем авто, у которого отказали тормоза. Выкручиваешь руль, давишь на педали — без толку. Несёшься и гадаешь — что остановит? Счастливая случайность? Дерево? Колёса многотонной фуры?

— Так и поступим. Встаёте. Называете имя, фамилию. Рассказываете о себе. Любимые предметы. Хобби. Какие книжки нравится читать. Ну, кто желает начать?

Смущённые улыбки девочек. Хихиканье мальчишек.



Мел в руках крошился. Казалось, по доске бегут слёзы.

Надрывно скрипнула дверь.

— Иван Андрейч!

— Тоже вас приветствую, Анжел Лексевна.

— Вы в школе без году неделя! Так почему мне по вашу душу уже звонят родители?

— Потому что у них есть ваш номер?

— Ценю ваше чувство юмора! Но всему есть предел! Ну какое анонимное общество?! Какие алкоголики?!

— Как это — какие? Несчастные больные люди. Хотя кто-то им даже завидует...

Ангела сняла очки. Прикрыла глаза рукой.

— Вы удивитесь, но я тоже люблю юмор. — Она без сил опустилась на стул. — Жванецкого, например. Но любая ложка хороша к обеду. А ваша шутка — взрослая. Над ней посмеются восьмые классы. Улыбнутся десятые. Но пятиклашки её не поймут. Это же дети. Они всё принимают за чистую монету. Поэтому очень прошу. Впредь. Пожалуйста. Держите своё чувство юмора в узде.

Стало стыдно. Немолодая тётка. Красивая когда-то. Не из тех, которые «как бы чего не вышло». Нет. Действительно болеет за своё дело. А тут я — балбес великовозрастный...

— Хорошо. В узде так в узде. Всегда знал, что ему там самое место.

— Вот и славно. — Ангела надела очки и вновь превратилась в опытную стажистку. — И, кстати, вы сегодня — дежурный учитель. Обязанности помните?

«Дежурный учитель отвечает за поддержание дисциплины среди учащихся на вверенном участке территории, пресекает возникновение конфликтных и спорных ситуаций, а также других чрезвычайных происшествий...»

— Забудешь такое.

— Тогда приступайте.

Я вслед за Анжелой вышел из кабинета...

## *Вождь краснокожих*

...И едва не был сбит встречным потоком. От галдежа вокруг заложило уши. Покинул, понимаешь, зону комфорта. Я педагог, а это значит, что я люблю плохой коньяк. Люблю дешёвые конфеты. Люблю толпу орущих тел. А вот хрен! Я пиво люблю. И тишину.

В бедро с разбега ткнулся грибок в клетчатых брючках:

— Ой! Здравствуйте...

— Привет.

— А правда, что вы у нас русский будете вести? — выкрикнул грибок.

— Ты откуда?

— Из пятого «А».

— Правда.

— А правда, что вы... — он набрал побольше воздуха и прошептал: — алкоголик?

Нет, в чём-то Ангела определённо права. Пора завязывать.

— Неправда. Беги давай.

Грибок утратил ко мне интерес и слился с оравой шумных полуросликов. Делать стало решительно нечего. Хоть овечек считай. Раз овечка. Два овечка. Три. Как там

в обязанностях? «...Проверять состояние холлов, туалетов, лестничных пролётов...» Этим, пожалуй, и займусь.

Туалет, внушала реклама, — лицо хозяйки. Местная, судя по всему, была дамой довольно неприглядной. Дверь в уборную повисла на одной петле. Разместить в «предбаннике» инвентарь смогла бы целая бригада лесорубов — такой там стоял кумар. По кафелю, сыто потирая лапки, ползали жирные мухи. На стенах — автографы юных поэтов («...ты меня, сынок, послушай — сам же ты излил тут душу...»), черновики юных художников: минимум три члена, печальная такса, Губка Боб. «Выставку» венчал стремительный призыв: «Хватит писать на стенах!»

Со стороны кабинок текла липкая, будто сироп, речь. Растянутые гласные. Глухой, почти отсутствующий «р». Неуверенный, по-мальчишески злой мат. Заглянул за угол.

Прыщавый пацан в оранжевых кроссовках взял под крыло мальчугана помладше: белёдые ресницы, жилетка в полоску, рюкзак с Микки Маусом. Рядом гиенами увивались двое подпевал. Первый — хилак с мелированной чёлкой. Второй — упитанный блондин, обладатель носа уточкой.

— Ты ж нохмальный мужик! — Одной рукой Оранжевые Кроссовки приобнимал добычу. Другой — рубил воздух в такт извергаемым тезисам. — Не мамкин сынок. Не чёт. Нохмальный. Ховный. А ховному мужику не запаadlo делиться!

— Лёх, — канючил парнишка в жилетке, — мне мама деньги на обед дала, Лёх...

Ясно. Гопникус вульгарис. Обычная стая. Естественная среда обитания — гаражи и падики спальных районов. Оpoznаются по штанам с подворотами. Успешно используют слова для связи между матами. Потом стареют. С кирпичными лицами несут вахту у ларьков и магазинов. Поют гимны вилам и горящим трубам. Обеспечивают выпускников Вертушки рабочими местами. Или мы голосуем за них на выборах. Тут уж как повезёт.

— Чо ты заладил: обед, обед? — наседали прыщавый. — Тебе для мужиков жалко? Жалко для мужиков? Жалко знаешь у кого? У пчёлки! Я думал, ты ховный, а ты жопошник! Зажал, сука, для мужиков?!

— А тебе что — на проезд не хватает? — вмешался я.

Гиены с моим появлением присмирели. Вожак, однако, не ступешался.

— Мы вообще-то дхузя! — дерзко заявил он. — А, Сехый?

И ткнул «жопошника» в плечо. Тот понуро угукнул.

— Вижу, какие вы друзья. Как Муму с Герасимом. Тебе, — обратился я к хозяину рюкзака с Микки Маусом, — кажется, пора.

Счастливым, мальчонка ринулся прочь.

— Вы двое, — бросил я подпевалам, — тоже свободны.

Мелированный с Утконосом перекинулись взглядами. Посматривая на главаря, развели руками: извини, мол. Просочились мимо. Что и требовалось доказать. Разрушить стаю несложно. Без лидера это — горстка трусливых падальщиков.

— Мне так-то с ними надо, — осклабился вожак. — На ухоки.

Он не боялся. Чего? Мы обитали в одном заповеднике. Но он был — сохатым, а я — егерем. Он ел кору реликтовых деревьев. Гулял и оправлялся где хотел. А я — должен был ухаживать за ним. Лелеять и охранять. Разве я мог ему навредить?

— Не спеши грызть гранит науки. — Я преградил гопнику путь к двери. — Зубы целее будут. Знаешь, что такое шаполаха?

— Чо? — Он скомкал лицо в шутовой гримаске.

— Эх, вы, поколение смартфонов!.. Ничего-то не знаете... Придётся объяснить.

Я коротко, почти без замаха, выписал ему подзатыльник.

— Охеел?! — завопил прыщавый, хватаясь за темечко.

Выписал ещё один. Помогло — заткнулся.

— Во-первых, не «ты», а «вы». Субординацию соблюдай. Во-вторых, не ори.

— Пхава не имеее! — зашипел гопник. — Я всё хасскажу! Вас уволят!

— Да ну? Стучать побежишь? И какой ты после этого вождь команчей?

Поквитаться и прослыть стукачом? Смолчать и оставить позор без ответа?

Его глаза, как гирички ходиков, отмеряли раунды внутренней борьбы: тик-так, тик-так.

Я с азартом наблюдал за этой распрей. Что перевесит? Мстительность или самолюбие?

Наконец прыщавый наклонил голову и пустил под ноги нитку вязкой слюны — на.

— Правильный выбор. А сейчас слушай: не приведи Господь, увижу такое снова! Говорить будем в полиции, в компании товарища майора. За вымогательство тебя привлечь — плёвое дело. Сесть, может, и не сядешь, но судимость — гарантирую. Понял? Понял, спрашиваю?!

— Понял, — буркнул вождь.

— Дуй!

Он обронил нечто угрожающее. Что там обещают в подобных случаях? Свидеться? А как же? Один город. Одна школа. Обязательно свидимся — и не раз. Быть аккуратнее на улицах? Ещё бы! На улицах нынче неспокойно.

Я шумно выдохнул. Теперь можно было и пописать.

...Я рос не «одуванчиком». Жестокая асфальтовая болезнь. И драки, драки, драки... Всю начальную школу катался по полу в обнимку с Димой, Гошей или Пашей, утверждая правоту кулаками. Затем часами выстаивал у доски — в углу позора. Думал о своём поведении. (Шучу. Ни о чём я не думал. В стене была дырка — я её расковыривал.)

Отрочество. Я смолил на школьных задворках. Перешёл на хищников покрупнее. То были уже не тепличные мальчики — уличные волчата. Кастеты. Заточки. Ножи. Атрибуты фартовой романтики.

— Чем это кончится? — шептала мама, смазывая мои синяки. — Чем кончится?

Спасла жалость. Врождённый порок. Наследственный. Маме всегда было кого-то жаль. Жили мы небогато. Бедно, чего уж там. Но всегда находились те, кому, в её глазах, было хуже. Те, кого стоило пожалеть. Кто-то сказал: жалость унижает. По-моему, наоборот — возвышает. Жалеющего, естественно. Жалеемому — просто помогает выстоять. Жалость не совместишь с утверждением за чужой счёт... С годами меня всё больше тянуло к униженным и оскорблённым. К изгоям и неудачникам. В их кругу я был своим. На любой работе примыкал к «слабой партии». Люди успешные меня чурались. Боялись заразиться. Я так и не научился устраивать гонки по головам. Вечно доискивался какой-то правды...

У двери толклись восьмиклассники. Шарнирные руки. Шарнирные ноги. Голые лодыжки. Дреды. Тату. Гадкие утята. У кого-то впереди — превращение в прекрасного лебедя. У кого-то — в толстую неказистую утку. Встретили без энтузиазма. Некоторые оторвались от телефонов и вяло кивнули. Парочка проблеяла дежурное: «Драсьте...»

Запустил ватагу в класс. Памятук о вчерашнем, обошёлся без игр в анонимные общества. Распахнул журнал. Пробежался по строчкам. Фамилия. «Я!» Пароль. Отзв.

— Бараева Света.

- Здесь! — подняла руку миленькая шатенка.
  - Морозов Игорь.
  - Т-у-у-т... — зевнул курносый пацан.
  - Полярчук Алеся.
  - На месте.
- Опустился на дно списка:
- Хавроничев Алексей.
  - Пхисутствует!..
- Знакомый говорок. Поднял глаза.
- За последней партой, у стены раскачивался на стуле давешний вождь краснокожих.

## *Труды и дни*

Прелести личного кабинета я оценил не сразу. Кабинет ведь — привилегия начальника. А из меня — какой начальник?

— Нам, Ваня, светит быть лишь начальниками собственного говна, — говорила Верочка Лагунова в редакционной курилке.

Раньше я всегда пребывал на глазах у коллег. А коллег не выбирают. Коллеги занимают в жизни мало места, но отнимают много времени. В итоге я знал все болячки внуков Татьяны Дамировны. Мог перечислить всех ухажёров Верочки Лагуновой. При этом как-то забыл про день рождения девушки, с которой встречался два года. Хотя, может, я просто плохой муж?

В школе всё оказалось иначе. Кабинет был засечной чертой на пути вражеской армии. Меловым кругом, хранившим от нечистой силы. Я ощущал себя князем в отчине. Правителем, что волен миловать и карать. Даже педагоги просили позволения переступить порог кабинета. Спиногрызы не входили без разрешения и после звонка. Это убедило — они кровососы!

Роль местной Швейцарии исполняла учительская. Там пили чай. Там перемывали кости детям так же, как сами дети на переменах, в чатах и по дороге домой мыли кости учителям. Там ютились несчастные безкабинетные беженцы. Из обрывков чужих бесед, ученических историй и долетавших клочками слухов постепенно сложилась картина. Коллег-педагогов я разделил на три категории.

Самой бесправной были «молспецы». Молодые специалисты. Их посылали на городские субботники и кроссы нации. Кидали на классы, от которых отказались все. Выплывут — хорошо. Не выплывут — двери школы открыты. Особенно жаль было юных иностранок. Неприкаянные, они слонялись из кабинета в кабинет, вода за собой учеников, как водят птенцов гусыни. Эти девчонки, вчерашние студентки, заглядывали в школу на год или два, высказывали замуж за курсантов Вертушки и уходили в декрет, чтобы никогда из него не вернуться.

Вторую категорию я определил как «замуж поздно, слдохнуть рано». Составлявшие её не покинули педагогическое поприще вовремя и, похоже, застряли на нём навсегда. Они уже отзапрягали своё и теперь неслись во весь опор. Где-то на горизонте маячила старость. Ярче других вторую категорию представлял географ Егор Валентиныч. В отличие от книжного собрата Валентиныч глобус не пропивал. Он вообще не пил. В свои без малого пятьдесят географ выглядел лет на десять моложе. Он помнил столицу Вануату, национальную валюту Мозамбика и высшую точку Алтая. Кроме географии Валентиныч преподавал ОБЖ. Он делал выход силой на турнике.

Он разбирал автомат за пятнадцать секунд. И тем не менее его не уважали — и даже не боялись. Географа окрестили Валенком. На его уроках стоял ор, как на большой перемене. Старшеклассники сражались за последние парты на географии, чтобы курить, не отпрашиваясь в туалет. Валентинычу было плевать. Он в совершенстве овладел методикой «стеклянной стены». Свою цель я сформулировал так: главное — не стать Валенком.

Категория третья. Энтузиасты. Ах, что за слово... Энтузиасты! В нём слышится грохот великих строек. Гудки поездов, летящих на БАМ. Откуда-то из минувшего, из прекрасного и яростного далека, с плакатов о радостях каждодневного труда спустились и они. Два талисмана. Старожила. Два физика. Их кабинеты, полные чего-угодно-метров, располагались друг против друга. Почти ровесники, физики носили схожие имена. Вик Альбертыч? Альбер Виктыч? Боясь перепутать, я никогда не обращался к ним. Они сливались в единое, могучее, древнее божество. Повелителя громов и молний. Хранителя времени и пространства. Первый — с щёткой гитлеровских усов, в вечно натянутых до груди брюках. Высоченный! Дядя Стёпа, избравший педагогическую стезю. За бесконечные ноги его нарекли Циркулем. Второй — плечистый, с залысинами и римским профилем. Когда-то, ещё в семидесятые, он, бывший вольник, выбросил из класса распоясавшегося верзилу. С того момента его прозвище — Борец — с трепетом, как знамя полка, передавали от поколения к поколению. О каждом из физиков говорили: «Он учил моих родителей». «И моих», — добавляли другие родители.

Администрацию в особую группу я не выделял. Любая власть — часть народа. И народ получает власть, которую заслужил. Все эти завучи некогда были рядовыми учителями. Ныне они продолжали преподавать. Отписывали себе часов по пять в неделю и исключительно в выпускных классах. На уроки обычно опаздывали минут на двадцать. Остаток занятия ребята конспектировали учебник. Деятельностный подход, что тут скажешь.

Шушукались, что директор занял престол благодаря дворцовому перевороту. Прошлый, дескать, был не дурак принять на грудь. Рубаха-парень, однажды под Новый год он выписал коллективу двойную премию. О барских замашках прознали в РОНО. Любителя широких жестов сняли. На его место назначили скромного математика. Не народного. Не заслуженного. Он не ставил на поток производство стобалльников. Не выпустил ни одного несчастного медалиста. Бесцветный человек с заурадной внешностью. Никакой. Моль. Я видел его тридцать первого на общем педсовете. Он журчал что-то об удивительном прошлом школы и её великолепном будущем. Как этот Беликов стал начальником? Одни намекали на волосатую лапу. Другие — на банальное стукачество. Сплетни, понятно. Но сплетни порой красноречивее фактов. Между тем в декабре школа готовилась отметить юбилей — пятнадцать лет под управлением своего тихого кормчего.

Связями я старался не обростать. При встречах вежливо улыбался. Кивал. Но знакомств не заводил. Однако некоторых избежать не удавалось.

Как-то я дежурил по этажу. Подпирал стенку, если проще. Мимо чинно фланировали инста-дивы. Топали патлатые неформалы. Сапсанчиками курсировали осаленные. В толпу затесался на редкость неухоженный старшеклассник. В растянутом свитере и чёрных джинсах. С щетиной-проволокой и волосами-сосульками. Он чиркнул по мне взглядом, будто кремнем зажигалки, на ходу отстегнул руку — я машинально пожал. Ни хрена себе, старшаки обнаглели, думал я, проворачая узкую спину. С учителями за руку здороваются!

На следующий день неухоженный старшак появился ко мне после уроков. Вразвалочку. Держа руки в карманах.

— Грисаныч, — представился он. — Для друзей — Гриша.

— Иван Андреич. Для друзей — Иван Андреич.

Ответ породил бурную реакцию: гость закинул голову и загоготал.

Гриша трудился физруком. Он был одних со мной лет: закончил педколледж, отслужил. Куда идти? Гриша осел в школе и сидел в ней уже седьмой год. Слишком молодой для «замуж поздно...», он потихоньку пускал корни, становясь частью корабля. Частью команды.

Гриша вёл и у моих пятиклашек. Раз я заглянул к нему на урок — занести журнал. Дети гурьбой, падая, вставая, снова падая и снова вставая, гонялись за мячом по залу. Гомон, визг и ругательства сплелись в пыльный клубок какофонии. Физрук зависал в телефоне.

— Предмет подвижный, — пояснил он, поднимая глаза. — Активность приветствуется.

Гриша халтурил разнорабочим. Если нужно было что-то приколотить, зашпатлевать или покрасить, звали его. Доплачивали рублей пятьсот. Иногда замечал у него на шее зеркалку. Он снимал линейки и выпускные. Шабашил на свадьбах и рок-концертах.

Вечером я пялился в компьютер. Пробовал связать два слова. Слова не связывались. Ускользали. Они напоминали голых, обмазанных маслом, быстро убегающих людей. Миг — и видны только грязные ступни.

Чпок. В правом нижнем углу всплыл дымчатый прямоугольник. Сообщение от Гриши.

дароу

Привет

чем маешься

Пишу. А ты?

фотки воркаю. хошь заценить

Валяй

Через пять минут Гриша скинул фотки. Концерт какой-то группы в маленьком клубе. На одной косматый басист рвал гитарные струны. На другой фронтмен силился съесть микрофон. Снимков было полторы тысячи. Гриша сделал все их чёрно-белыми.

Дни рвались наперегонки, как ямайские спринтеры. Я календарь перевернул, и двадцать третья сентября. Пятый класс. Литература. «Мифы и легенды Древней Греции». Счастливый обладатель экрана с проектором, я скачал презентацию. Заранее не пролистал список слайдов и до половины. Как водится, импровизировал на ходу. Вот Зевс. Борода и скипетр. Вот Гефест. Молот и лава. Вот Афродита. Яблоко и пена. На последнем — картина кого-то из фламандцев. Олимпийцы возлежат среди райских куш, вкушая нектар и амброзию. Почти все: и мужчины, и женщины — обнажённые.

От первых рядов к «камчатке» горошком покатился смех. Пару секунд спустя весь пятый «Б» хохотал в голос.

— Почему они без одежды? — тихо спросила Маша Сурганова.

— Жарко, вот и расхаживали в чём мать родила.

— А чего с краю в простыне? — крикнул вихрастый Снегирёв.

— Говорю же — жарко. Спали где попало, а постельное с собой носили.

Так, записываем домашнее: выучить один из подвигов Геракла. На пересказ. Спрошу любого.

Снегирёв притормозил у моего стола. Упёрся животом в угол.

— Вандреич, вы хорошо ведёте! Рассказываете интересно, весело!

— Спасибо.

— А почему так редко улыбаетесь?

— Старый, наверное.

— Старый? — хихикнул Снегирёв. — Тридцать — это старый?!

И тут я улыбнулся:

— Мне двадцать восемь.

Хотел бы я, чтобы всё было столь же гладко. Хотел бы...

Возьмём бочку мёда. Добавим ложку дерьма. Перемешаем. Что получится? Правильно. Той самой ложкой был Хавроничев. Сгусток тёмной энергии. Самый известный школьный анфан террибль. Кто якобы случайно выбил однокласснику зуб на физкультуре? Кто смеха ради подпалил девочке волосы? Кто насыпал живых пауков в сумочку учительницы биологии? Конечно, Лёша. Кто его не знает? С ним вели профилактические беседы. Вызывали родителей. Отчислить не могли. Или — не хотели? Иных мер воздействия школьная система не ведаёт.

Что позволено Юпитеру, быку, как известно, настрого воспрещено. Ребёнку позволялось всё. Хочешь — носись нагишом. Хочешь — ори благим, полублагим или самым обыкновенным матом. А что, спрашивается, позволено учителю? Выгнать из класса? Нельзя. Там, за стеной, бродят злые зомби. Поставить двойку? Тоже нельзя. Мы оцениваем знания, а не поведение.

— Пиши докладные, — посоветовал Гриша.

— Ну напишу? Дальше что? Задницу ими подтереть?

— Не подтереть, а прикрыть.

Докладная почиталась охранной грамотой. Индальгенцией за чужие прегрешения. А мы ведь предупреждали, помните? Трубили в трубы. Били в барабаны. А оно вон как... И я теперь, значит, не я, и корова не моя. А ручки? Ручки вот они.

Я не писал докладных. Не верил в силу печатного слова. Тот же Гриша строчил кляузы после каждого урока. На одного Хавроничева от всех учителей за сентябрь накопилось столько, что можно было оклеить стены в двухкомнатной квартире. На его поведение это, правда, никак не влияло.

На какой-то перемене Морозов (вот уж воистину — человек-бедствие!) создал в проходе затор: то ли развязался шнурок, то ли рассыпалась мелочь. Вождь краснокожих, судя по всему, промедлений не приемлил.

— Хехли ты кохму отклячил, обмохок? — он толкнул Морозова в спину.

Переборшил. С плеча Хавроничева слетела сумка. Клапан отстегнулся. Под ноги мне выкатилась красная рукоять с белым крестом.

Подобрал. Нажал кнопку на боковой стенке. Рукоять выплонула узкое лезвие.

— Нож вехните! — потребовал анфан террибль. — Он питку стоит!

— Питку? Да тебя, братец, надули. Давеча такой же на «Алике» за триста видел.

— Вехните! — прорычал Хавроничев.

— Пусть у меня полежит. — Я бросил нож в ящик стола. — А-то порежешься ненароком.

Беззвучно ругаясь и звучно топая, Хавроничев двинулся к выходу. Ненависть его зрела, словно зудящий, сочащийся мутной влагой гнойник. Поруганная пацанская

честь требовала мщения. Мщение надлежало свершать публично. В момент, когда я буду наиболее уязвим. И Хавроничев караулил. Выжидал.

— ...Родители Александра Сергеевича мало занимались его воспитанием. Большую часть времени будущий поэт проводил со слугой, Никитой Козловым, и няней...

Раз-два-три. Раз-два-три. Я мерил кабинет шагами. Семь размашистых (или одиннадцать коротких). Шкаф. Смешливые морщинки в уголках глаз Фёдора Степановича. Разворот. Семь размашистых (или одиннадцать коротких). Рыжая, в меловых разводах доска. Двадцать девятое сентября. «Жизнь и творчество А.С.Пушкина. Детство и юность».

— К слову, кто помнит, как звали няню поэта?

Руку подняла симпатичная хорошистка Бараева:

— Арина Родионовна.

— Правильно, Света. Молодец.

Бараева порозовела. Кокетливо смахнула чёлку.

— Эти двое крепостных и стали для мальчика самыми близкими людьми...

Восьмиклассники шелестели страницами. Скрипели ручками. Украдкой поглядывали на экраны смартфонов. Хавроничев раскачивался на стуле. К ручке — не притрагивался. Тетрадь демонстративно отодвинул на край.

Я остановился у его парты:

— А тебе, вижу, неинтересно?

— Хука болит, — ощерился Хавроничев.

Слева прыснули. Боязливо, но одобрительно.

— Иди в медпункт.

— Не могу.

— Чего так?

— Нога болит.

Смешки стали громче, увереннее. Особенно усердствовали гиены: мелированный Стасов и упитанный Мохирев.

— И что нам с тобой делать?

— Вандреич, не в падлу — донесите до медпункта, а?

Уже не стесняясь, заржал Мохирев. Остальные наоборот замерли: что? что? что будет?..

Хавроничев смотрел снизу вверх наглыми серыми глазами. Ну, тичер? Твой ход.

Я погладил спинку его стула:

— Тебе, Лёша, не объясняли, что качаться на стуле — опасно? Можно упасть.

И дёрнул спинку назад. Вождь команчей с резиновым звуком шмякнулся на пол.

Ахнула Бараева. Прикрыла рот ладошкой пухленькая Саша Желтоногова.

Оторопело привстал на цыпочки, не веря своим глазам, Морозов.

— С-с-сука! — заорал Хавроничев.

— Больно? А я ведь предупреждал. Все слышали? Качался-качался — и докачался.

Теперь точно придётся в медпункт идти.

Рыча и булькая, анфан террибль поднялся на ноги. Держась за ушибленный копчик, заковылял в сторону двери. Кто-то из девочек нервно хихикнул.

Остаток урока в классе стояла церковная тишина.

\* \* \*

— Иван Андрейч! — В голосе Анжелы звучала мука. Мука человека, перед которым непосильная задача — научить глухого слышать. — Детей. Из класса. Выгонять. Нельзя. Как учитель вы отвечаете за их безопасность. Если ребёнка нет в классе, гарантировать его безопасность мы не можем.

— Вы про Хавроничева? Когда он в классе, я не могу гарантировать безопасность других.

— Согласна, Лёша — мальчик трудный...

— Трудный?! Да он у пятиклашек деньги вымогает. На той неделе мячик притащил. Бейсбольный. Бросил в Морозова и нос ему разбил. Хорошо, не сломал. А вчера с ножом припёрся. И тоже, думаю, не за тем, чтобы по дереву вырезать.

— И всё же он — ваш ученик. И вы должны его воспитывать. Помните! Душа ребёнка — храм. А в храм не ломаются со своим уставом. Не крушат мебель. Не топчут сапогами полы...

В такие минуты Анжела напоминала сектантку. В её глазах загорался фанатичный огонь. В чертах появлялось нечто кликушеское: она словно раскрывала священный педагогический Талмуд и зачитывала молитву. Молитву, которую нужно без вопросов принять на веру. Которая сама по себе — довод.

— ...В храм входят только по приглашению. А его нужно заслужить. Не приглашают? Значит, не заслужили. Ваша недоработка.

— И двойку мы ставим не ученику, а себе, — подхватил я.

— Именно, — не почувствовала иронии Анжела. И почти шёпотом закончила: — А уж рукоприкладство — точно не выход.

— Пальцем его не тронул!

— Тише. — Она приложила палец к губам и уже вполне земным тоном добавила: — К тому же Хавроничевы — люди влиятельные. Со связями. Папа служил в органах. Запросто могут и в прокуратуру пойти. Лично я не хочу платить штраф. Может быть, вы хотите?

— И что делать? — сдался я.

— Понятия не имею, — призналась Анжела. — Пообщайтесь с Мариной Николаевной, его бывшей классной. Ребята в ней души не чаяли. Надеюсь, что-нибудь подскажет.

### *Хозяйка медной горы*

С первых дней в школе я только и слышу: Марина Николаевна, Марина Николаевна... Восьмиклассники после уроков подсакивают: Вандрейч, а вы Маринколавну знаете? Видимо, пришло время познакомиться.

Наши кабинеты располагались на разных полюсах школьного глобуса. Её — в эмпиреях: рядом с директорским. Мой — у подножия Олимпийских гор. Ниже только Тартар: спортзалы и мастерские.

Я застал её за проверкой тетрадей. Добрая половина коллег, заслышав последний звонок, спешила домой. Марина явно принадлежала к половине недоброй.

Я представлял её иначе. Ожидал чего-то лучистого. Уютного. Сдобного. А обнаружил... Застёгнутое на все пуговицы лицо. Восточные скулы. Крупный нос. Рот, завязанный жеманным узелком. Луковка на затылке превращала её, молодую, в перестарка. Наряд под стать. Зелёный френч с гильзами застёжек. Строгая чёрная

юбка. Сапожки с высоким голенищем. Добавить фуражку и хлыст — гестаповка. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться? Хм! Допрос-то, кажется, предстоит — с пристрастием...

Кашлянул. Она отвлеклась от диктантов.

— Марина Николаевна? — для проформы уточнил я. — Добрый день.

— Добрый. А вы?.. — Сощурилась, припоминая: — Андрей Иванович?..

— Почти угадали. — Я улыбнулся. — Иван Андреевич.

— Извините. — Марина коснулась пальцем виска. — Память девичья.

— Вам простительно. Присяду?

— Конечно.

Устроился напротив. Экзаменатор и студент. Кто кого будет экзаменовать? Посмотрим.

Карандаши в стакане устали в потолок. В идеальном, неживом порядке разложены были тетради, методички и книги. Отсортированы по размеру и цвету. Корешок к корешку. Обрез к обрезу. Немецкая деревушка в миниатюре. Унылая параллельная перпендикулярность.

— Хотел бы поговорить о вашем ученике.

— О моём?

— То есть, простите, о вашем бывшем и моём нынешнем — об Алексее Хавроничеве.

— С Лёшей что-то не так? — блекло уточнила Марина.

— Да как вам сказать?.. Всё не так. Хамит. Третирует одноклассников. Младших ребят. Саботирует учебный процесс. Дети его боятся.

— Вот оно что!.. — Узелок её губ затянулся туже. — Он порча, он чума, он язва здешних мест? И вы, стало быть, пришли за советом, как эту язву усмирить?

— Именно.

— С мальчиком говорить пробовали? Спрашивали, почему он себя так ведёт? Узнавали о ситуации в семье?

— А должен?

— По-моему — должны.

— Почему? Кого интересует ситуация в моей семье?

— Иван Андреевич, вы — учитель! Это ваша обязанность!

Господи! Неужели ещё одна свидетельница Иеговы?! Или как там кличут их местного божка? Тыжпедагог? Онжребёнок?..

— Учитель — просто профессия. Кроме того, я ещё и сын, друг, коллега...

...Гений, филантроп, плейбой. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Последние, на секунду, не пара, а четыре разных человека.

Марина сняла очки. Подышала на линзы. Аккуратно потёрла запястьем.

— Напомните, сколько вы работаете в школе?

— Второй месяц.

— Второй месяц... — Она покивала. — А я шестой год. И видела, как увольнялись после одной недели. После трёх дней. Даже первого сентября. Знаете, почему? Стресс? Не только. Отчётность? Снова нет. Зарплата? Ну, так они знали, на что идут! Тогда в чём же дело?! Потом поняла. Нашу работу не сравнишь с работой повара или... бухгалтера. Они приходят домой и превращаются в просто жён, просто мужей, просто родителей. Педагог, увы, не может себе этого позволить. Тут уж либо-либо. Либо ты учитель: каждую минуту, в театре, в спортзале, на отдыхе... Либо никогда им не становишься. Третьего, извините, не дано.

Нет, она не из секты детопоклонников. Похоже, здесь совсем другой случай.

Встречал уже пару таких — железные леди! Расхаживают, скрипя шестерёнками. Они высоко несут знамя своих принципов. Они всегда и во всём сведущи. Они лучшие, за что бы ни взялись. Полюбить так королеву, проиграть так миллион! Школа? С медалью. Вуз? С красным дипломом. Муж? На зависть подругам. И не живут они, а словно анкету заполняют. Образование? Галочка. Карьера? Галочка. Семья? Галочка. Жирная-прежирная.

— Послушайте, Марина Николаевна...

— Нет, это вы послушайте, Иван Андреевич! — Её голос лязгнул автоматным затвором. — У Лёши несколько лет назад мама умерла. Рак. Представляете, какой стресс для ребёнка?! А в прошлом году папа снова женился. Супруга уже беременна. И что остаётся мальчику? Да он просто привлекает к себе внимание! Как умеет. Допускаю, что перегибает палку. Но в глубине души Лёша — парень добрый. Искренний. Ему просто нужны поддержка и взаимопонимание. В том числе — ваши. И тогда, вот увидите, он обязательно изменится.

— Вы правы: с детьми я работаю недавно. — Жалкий лепет оправдания. — Зато хорошо знаю взрослых — они не меняются. А дети — это будущие взрослые.

— Дети, Иван Андреевич, — это дети. Капризные. Эгоистичные. Любят приврать. Но дети! Они не понимают вашей тонкой иронии и блестящего сарказма. Однако прекрасно чувствуют, когда их любят. Или не любят. И отвечают взаимностью.

— Предлагаете полюбить Хавроничева?

— Почему бы и нет? — с вызовом, будто перчатку, бросила она.

— Любить по принуждению? Насилием попахивает.

— А вы попробуйте! Любовь — это труд, говорил Тургенев.

Где-то, думаю, я такое уже слышал.

— Боюсь перетрудиться. И всё же, считаю, у каждого свой путь. И путь этот начинается в детстве. Начал с кривой дорожки — дальше будет только кривее.

— А я считаю, — Марина сделала упор на «я», — в нашей работе нет ничего хуже ярлыков. Помните Толстого? Человек как река: привыкнешь к нему, а он раз — повернёт, изменится! Вот вы, например, были идеальным ребёнком? Пай-мальчиком?

— Нет...

— А выросли, полагаю, приличным человеком? Почему отказываете в этой возможности другим?

Возразить было нечего. Взвешен. Измерен. Признан негодным.

Марина склонилась над тетрадь. Стала черкать красным.

Код красный. Разговор окончен.

— Спасибо за совет. — Я поднялся. — Обдумаю на досуге.

— Не стоит благодарности.

— До свидания.

Она просто кивнула. Вот сучка! Неприятно, когда тебя строят. Вдвойне неприятно, когда это делает девчонка. Хотя какая она девчонка? Дама. Классная дама. Как много всё-таки значит имя! Вернее — именование. Порхающая от мужика к мужику Верочка Лагунова и на четвёртом десятке — Верочка. Гриша и на пенсии останется Гришей. Зато Марину, уверен, уже в детсаде величали по отчеству.

Заметил у неё кольцо. Представляю, как они с мужем любовью занимаются.

— Приступить к исполнению супружеского долга! — командует Марина. И одетая ложится на постель, прижав руки по швам.

— Есть! — козыряет супруг. По-военному чётко расстёгивает ремень, спускает брюки и укладывается рядом.

Хихикнул. Вышло жутковато — проходившие мимо девочки отшатнулись.

Хотя... В чём-то она права. Взять, что ли, мой класс. Я мысленно открываю выпускной альбом. Двадцать шесть юных лиц смотрят на меня со страхом и восторгом. Как странно сложилась жизнь... Если бы знать тогда, куда сегодня приведут наши дороги. Вот Женя Кремлёв. Ещё в старших классах читал по слогам. Сейчас — кандидат наук, готовится защищать докторскую. Вот Артур Евлоев. Хулиган и матерщинник, которого через день таскали к завучу. У него два автосервиса и фирма по установке пластиковых окон. Хватает и других примеров. Взгляд замирает на фото, с которого воровато щурится носатый парнишка. Паша Долбик. Фамилия говорящая. Говорили про Пашу, и правда, всякое. Когда в школу пришла проверка из ГНК, он примчался ко мне:

— Посышь за меня, Ваню?

— А сам чо? Промахнуться боишься?

Через пару месяцев Пашу приняли. Хранение и распространение. Три года колонии. Не помогла даже мама — работник городской администрации. Он освободился по УДО и сразу заремел вновь — та же статья. На этот раз впяли по полной. Где-то на маршруте «Вышел. Долбанул. Сел» Пашу озарило: так жить нельзя. Теперь натягивает потолки и счастлив в браке с какой-то парикмахершей.

Взгляд скользит дальше. Макс Широков. Кавээнщик и балагур. Спортсмен и любимец девчонок. Максу прочили карьеру столичного шоумена, а он — закончил Вертушку. Охраняет эков где-то на севере. Было дело, сторожил Долбика. Такая вот ирония судьбы.

Улыбчивая девушка с короткой стрижкой. Лиза. Лиза. Едва родившись, она вытянула счастливый билет: красавица из богатой, влиятельной семьи. Все парни в классе были от Лизы без ума. Даже я строил на её счёт смутные планы.

Под Рождество Лиза сбила на переходе трёх человек. Двух — насмерть.

Дело всячески затягивали. Минул год — за это время Лиза родила сына. Когда стало ясно, что отмазать её не получится, назначили заседание.

Так совпало, что я присутствовал на суде. Партийное задание — репортаж по итогам. В зависимости от вердикта наготове были несколько заголовков разной степени безвкусыя. Лиза, бледная, заплаканная, стояла за трибуной. Судья назначил ей два года колонии поселения. С отбыванием через четырнадцать лет — пока ребёнок не подрастёт. Я его, в общем, понимаю. С одной стороны — двое немолодых, некрасивых, мёртвых мужчин. С другой — молодая, красивая и такая живая Лиза. Статья, кстати, вышла под названием «Правосудие из будущего». Но это так, к слову.

Я закрываю альбом. Попробовать полюбить, говорите? Что ж, давайте попробуем.

## *Гордость и предубеждение*

— Сегодня мы будем писать рассказ.

Восьмой «Г» разочарованно загудел. По учебному плану уроки развития речи стояли два раза в месяц. В этом курсе ребята постигают стили и типы. Примеряют роли корреспондентов и сценаристов. Привыкают думать мыслями и говорить словами. Получается пока не очень. На стимул в виде тетрадей по развитию речи у них уже выработалась реакция — придётся писать. Я подтвердил опасения.

— Давайте не надо! — заныл смазливый блондин Халковский. — Лучше сочинение! «Как я провёл лето»!

— Надо, Стасик. Надо. Как лето провёл, инспектору ПДН расскажешь. А для начала вспомним признаки рассказа. Морозов?

— Чего?..

— Признаки рассказа?!

Морозов почесал переносицу:

— Там что-то рассказывается?..

— Bravo! Будь мы в армии, ты бы по праву носил звание капитана. Ещё варианты есть?

Осторожно приподняла руку Бараева.

— Да, Света.

— В рассказе есть завязка, кульминация и развязка.

— Вот за что тебя люблю я, вот за что тебя хвалю я. Открываем тетради. Подписываем число и тему урока: «Рассказ как литературный жанр».

Взял мел. Нарисовал на доске треугольник. Подписал точки: в основании — «А» и «С», на вершине — «В». Добавил пояснение: «А» — завязка, «В» — кульминация, «С» — развязка.

— Рассказ — всегда путешествие, — продолжил я. — Путешествие не в буквальном смысле. Не в пространстве. Герой может никуда не ехать, не плыть и не лететь. Он путешествует внутри самого себя. В точке «А», в завязке, мы застаём героя человеком со сложившимся характером. С определённым набором качеств и ценностей. Затем в точке «В», в кульминации, происходит что-то, что заставляет его измениться. Это может быть поучительный разговор, ситуация или какая-то случайность. В итоге в точку «С» герой прибывает не таким, каким покинул точку «А». Необязательно, лучше или хуже. Другим. Ему уже не стать прежним. И здесь не обойтись без двух важных понятий: сюжет и фабула. Кто скажет, что это такое?

С фабулой оказалось просто. О ней в восьмом «Г» не слышали. С сюжетом — сложнее. Попытки ребят истолковать термин свелись к «ну-у-у... это когда...». Неудивительно. Труднее всего объяснить значение слова, которое вроде бы понимаешь. Не верите? Попробуйте, скажем, дать определение слову «окно». Убедились? Руку Бараевой я игнорировал. Остальные версиями не блистали. После нескольких минут мучений сносный ответ дала Леся Полярчук: сюжет — то, что происходит в книге.

— Тепло! — похвалил я. — Почти горячо. На самом деле, описанные в тексте события — это как раз фабула. А вот сюжет — последовательность их изложения. Обычно сюжет и фабула тождественны, отчего их легко перепутать. Но иногда — сюжет и фабула не совпадают. Автор может начать повествование с кульминации, продолжить развязкой, а завершить завязкой, если, по его замыслу, это позволяет лучше проиллюстрировать изменение героя. Пожалуй, наиболее наглядно такой подход отражён в романе Лермонтова «Герой нашего времени». Его мы с вами будем изучать позже.

Положил мел. Отряхнул руки:

— Наверное, хватит теории. Перейдём к практике — к вашим рассказам. Вопросы есть?

Лес рук не вырос. Не вырос и перелесок. От силы — рошица. Однако подобный ажиотаж в исполнении квёлого восьмого «Г» был в новинку.

— Ого! Вот бы так, когда я вам вопросы задаю. Ну? Что непонятно? Пирогова?

— А можно про себя писать?

— Можно. Стасов?

- А про зомби?
- Да хоть про вампиров. Полярчук?
- А можно главной героиней будет Мэри Колли?
- Кто это?
- Вы чо, Вандреич?! У неё в Инсте два миллиона подписчиков!
- Пиши про свою Машу Хаски.
- А можно?..

Так, думаю, дело не пойдёт.

— Всем, кто хочет начать вопрос словами «а можно», отвечаю — можно. Нельзя только мат использовать — за это сразу двойка. Фильмы пересказывать тоже нельзя — уверяю, я их смотрел не меньше вашего. Попробуйте написать свою, важную лично для вас, историю.

Большинство рук действительно опустились. Морозов продолжал тянуть.

— Ну?

— А нельзя, если?..

Нет, ну что ты с ними будешь делать?

\* \* \*

Обвёл взглядом стол. Увы, не шведский. Учительский. Из-за чёртового дежурства опять не обедал. Даже чаю не пил. Мудрено ли, что стопка тетрадей походила на горку блинов. Или на торт из двух дюжин коржей. Почему-то прямоугольных. Сдавать свои опусы восьмой «Г» начал за полчаса до звонка. Не помогли ни увещевания, ни просьбы перепроверить орфографию с пунктуацией. Шестой урок всё-таки. Гонять мяч, рубиться в стрелялки или пытаться истину в бесконечных чатах восьмиклассники хотели больше, чем отвоёвывать оценку по русскому. До конца занятия писали лишь самые стойкие. В том числе Бараева (что ожидаемо) и Хавроничев с Мохиревым (что удивительно). Иллюзий я не питал. На прошлом развитии речи дал задание: объяснить значение фразеологизма. Первому варианту — «засучить рукава». Второму — «семь пятниц на неделе». И что вы думаете? Пухленькая Саша Желтоногова предположила: «засучить рукава» — значит чураться грязной работы. Коли изгваздаться не хочешь, волей-неволей рукава засучишь. Второй вариант не отставал. Вечно расхристанный Морозов изящным, с вензелями и завитушками, почерком («Вандреич, верите, нет, самому стыдно. Или за девчонку принимают, или говорят: “Не ты писал”». Переучиваться хочу) высказал мнение: «семь пятниц на неделе» — про ленивого человека. Ещё дальше пошёл Халковский. Алкоголик, заявил он. А чо? Пятница же. Грех не накатить. А раз у парняги каждый день пятница, выходит, и за воротник закладывает регулярно.

— Лёша, задержись. Разговор есть.

Хавроничев переглянулся с Мохиревым. Кивнул — догоню. Швырнул сумку на парту. Рухнул напротив. Словно лопнувший нарыв, он растекался кислотной толстовкой по стулу, занимая всё больше места. Ногу закинул на ногу. В проход торчали оранжевый кроссовок и голая лодыжка. Давай, тичер. Бухти. Как космические корабли бороздят Большой театр.

Я прочистил горло:

— Кажется, Лёша, мы с тобой не с того начали.

Хавроничев фыркнул.

— Признаю. Я вел себя... непедагогично. Но ведь никогда не поздно всё переиграть, верно? Знаешь, что такое пакт?

Восьмиклассник покачал головой.

— Мирный договор. Так вот. Предлагаю тебе пакт. Слышал про кота Шредингера? Он покачал головой вновь.

— Один немец запер кота в ящике. Там же ампула с ядом. Если кот её раздавит — умрёт. Но этого не узнать — ящик звуконепроницаемый. Вот и получается: пока кот в ящике, он и жив, и мёртв одновременно. Или наоборот — ни жив, ни мёртв. Кому как больше нравится.

— Так с котом-то чо? — заинтересовался Хавроничев. — Всё нохм? Живой?

— Неважно. Важно другое. Я хочу, чтобы ты на моих уроках был как тот кот. Вроде есть, а вроде и нет.

Он откинулся на стуле. Ухмыльнулся:

— А мне с того чо?

Хавроничев откровенно веселился. Бесенята в его глазах плясали удалой чардаш. Пакты? Коты? Гамадрилы и британцы? Ведьмы, блохи, мертвецы? Эх, вы! Взрослые! Понагородите правил, зажмите себя в угол, а после выискиваете оправдания, чтобы эти правила не соблюдать.

— Говорят, папа твой в школу, как на работу, ходит. Что ни день, очередная душевная беседа с кем-то из учителей. Обещаю: ты не создаёшь мне проблем — я не ищущу встреч с твоим отцом. Соответственно, и он не делает тебе голову... И другие части тела.

Хавроничев дрыгнул ногой:

— Слушайте, Вандхеич. У бати уж всё похешено. Новый мелкий на подходе. А меня в сувоховское. С глаз подальше. — Он приложил ладонь к воображаемой фуражке. Чиркнул на манер воинского приветствия. — Кохоче, положить ему на моё поведение...

— А мама? Как думаешь, приятно ей было бы смотреть на твои выкрутасы?

Грязный, очень грязный приём.

Ухмылка сползла с его лица. Будто водой плеснули и смыли извечный клоунский грим. Он перестал корчить чёткого пацана и обернулся тем, кем, в общем-то, и был. Мальчишкой. Исполненным комплексов. Нескладным. Потерянным. Почти незамаранным листом. Не успел ещё замараться. Нечем. Дрогнули губы. Блеснули бусинки слёз.

— Не смейте про маму! Не смейте! Она... А вы... Вы мне никто! Ясно? Никто!

Рванул сумку. Дотопал до двери. Едва не выбил. Жалобно застонали петли.

Я вздохнул. Поговорили, называется.

Сложил детское творчество в рюкзак. С «дипломатом» давно не ходил: тетради туда не помещались. Чем испишут лист под названием «Алексей Хавроничев»? Какие всходы даст эта земля? Быть может, окрепнут ростки цинизма. Душа покроется сальцем. И превратится Лёша в жлоба. Наклеит на машину «Можем повторить». Под пивко возьмётся нахваливать Владимира Соловьёва: «Заебца, мужик! Так их, пиндосов вонючих!» А может быть, нет. Может, он начнёт разводить флоксы. Сбирать фигурки слонов. Научится готовить фугу или играть на трубе. Станет архитектором. Чревовещателем. Капитаном дальнего плавания. Да кем угодно! Одно точно — он будет человеком. И, скорее всего, не очень счастливым. Как и любой из нас.

## Случайное, являясь неизбежным...

«Много лет назад жил в лесу отшельником старый самурай. Он удалился от мирской суеты, чтобы постигать гармонию на лоне природы. Проснулся самурай однажды утром. В тот день предстояло ему идти в город на рынок. Дух самурая покинул тело, воспарил над землёй и осмотрел дорогу. Путь лежал через лесную чашу вдоль русла мелкой реки. И увидел дух, что у моста через реку, в кустах, поджидает его банда убийц. Что же сделал самурай? Перевернулся на другой бок и заснул.

Лучший бой — бой, которого не было».

Захлопнул книгу. Японские притчи — сильная вещь и тем напоминают виски: больше двух подряд употреблять не стоит. Вечер пятницы. Завтра три сокращённых урока с «окном». То ли расслабленный рабочий день, то ли кастрированный выходной? Я скачал сериальчик. На аванс (пара недорогих ботинок в магазине напротив) затарился пивом. Стоят в холодильнике жестянки, жмутся друг к дружке родимые, будто газыри на груди черкеса. Пару лет назад в это время я бы уже всюю искал приключения на реперные точки тела. А сейчас — сижу дома. С годами я стал внутренним туристом: путешествую исключительно внутри квартиры и покидать её не люблю. Неужто повзрослел?

Повзрослел? Но когда? Может, когда получил паспорт?..

...Корочка с языкастым орлом. Красные ногти паспортистки.

— Распишитесь.

Макаю перо в чернильницу. Ставлю закорючину. Я долго тренировался. Испортил два листа. А в итоге просто черкнул букву «А» с хвостиком — вылитый сперматозоид. Ещё и на стол капнул. Стыдливо прикрыл кляксу ладонью — думал убрать, да только больше размазал.

А может, когда закончил школу?..

...Наш выпускной состоял из двух частей. Официальной и неофициальной. Официальная проходила в ДК «Подшипник». Неофициальная — в клубе. Все несовершеннолетние. Никакого алкоголя. Мы с Лёней пронесли водку в коробке из-под сока. Распили в туалете. Больше ничего не помню. Нет — помню. Мама потом не разговаривала со мной две недели.

Или когда отслужил в армии?..

...После дембеля, в военкомате:

— У вас воинская специальность — «радист-пулемётчик». На случай боевых действий что будем писать? Радиста или пулемётчика?

Когда мы приехали в часть, за каждым закрепили оружие. Мне достался ПК. Пулемёт Калашникова. А через неделю меня услали в лес — стеречь радиолокатор. Так в военный билет и вписали: «Радист-пулемётчик». Что дальше? Боксёр-полиглот? Лингвист-мерчендайзер? Хотя последнее — сплошь и рядом... Среди гнуса и сосен я провёл восемь месяцев. На стрельбах ни разу не бывал. Изредка на подмогу привозили пацанов из части.

— Из пулемёта твоего шмалял, — похвастал тувинец Оюн. — Вещь!

— Всегда пожалуйста. Обращайся.

За месяц до дембеля, когда стало ясно: стрельб не видать — мы сварганили свой «ПК». Петя, товарищ, сварил три обрезка трубы — ствол на сошке. Я выпилил из бруса «магазин». Из доски — «приклад». Выкрасили в чёрный — в пяти метрах не отличить от настоящего. Поставили наше чудище на взгорке у локатора. Дулом — к дороге.

По маршруту наступления возможного противника. Слышал, до сих пор там стоит. Охраняет.

Когда я повзрослел? Даже нет, не так. Я повзрослел?

Из омута ностальгии вырвал телефонный звонок. Стандартный рингтон всегда звучит по-разному. Настойчиво — требуют с работы. Ласково — беспокоит «любимая». Сейчас мелодия была нейтральной, как хлопок по плечу. Звонил Лёня:

— Спишь? — спросил он.

— Сплю.

— Есть предложение...

Так начинается самое интересное. Обычно, когда уже порядком выпито, Лёня задаёт мне вопрос:

— Какую религию исповедует большинство мужчин? — И сам отвечает: — Большинство мужчин исповедует — мунизм!

Засим следует предложение поехать в чеченский бар и сплясать там барыню-боярню. Или устроить перед зданием ФСБ пикет с плакатом «Президенту — пожизненный срок».

Лёня опять не подвёл:

— Есть предложение, — повторил он, — сходить на вечер современной поэзии.

— Она разве существует? Современная поэзия?

К литературе я имею косвенное отношение. Лёня — вообще никакого. Когда я учился на филфаке, подрабатывал корректором в издательстве. Издательство дышало на ладан и вскоре приказало долго жить. Платили мало, печатали чёрт знает что. Помню, правил я книгу некоего Рихтера и наткнулся на фразу: «Сергею было слегка за тридцать. Его возраст выдавали седина, залысины и глубокие морщины». Да, думаю... Потрепала жизнь мужика, потрепала... Надо ли объяснить, что к выражению «современная литература» я отношусь с сомнением?

— И где пройдёт сия оргия гуманизма?

— В «Лицедеях». Мы там ещё не были.

Все люди что-нибудь коллекционируют. Филателисты — марки. Меломаны — виниловые пластинки. Многие коллекционируют деньги, причём некоторые — успешно. Лёня успешно коллекционировал одни только неприятности. В каждом заведении, где бывал, он приставал к официанткам, затевал ссору с клиентами и драку с охранниками. Лёню били. Список мест, куда ему стыдно было вернуться, рос. Кафе «Лицедеи» в нём пока не числилось.

— Во сколько?

— В пять. Придёшь?

— Куда я денусь? Не бросать же тебя в пучине разврата и пьянства.

— В пучине бросать не надо, — согласился Лёня. — В неё надо бросаться.

Он ждал меня у входа в кафе. Выглядел странно: рукава свитера едва прикрывали локти, джинсы подозрительно обтягивали бёдра.

— В «Детском мире» распродажа?

— Одеть нечего. — Лёня развёл руками. — Куртку порвал. Брюки в краску убил. Пришлось, понимаешь, шмотки у брата реквизиловать.

Деньги на одежду у Лёни есть. Зарабатывает он прилично, а покупать её ленится. Поход в магазин для Лёни — событие нерядовое. Как свадьба или рождение ребёнка — для любого другого.

Лёня уже не в первый раз в нашей истории и заслуживает подробного рассказа о себе. Мы с ним — одноклассники. Закончив школу, Лёня сдал экзамены: русский язык,

математику и зачем-то — биологию. Поступать с таким набором можно было лишь на биофак. Лёня несколько раз приезжал в приёмную комиссию, но, завидев толпы абитуриентов, разворачивался и шёл обратно — ему было лень сидеть в очереди. Документы он всё-таки подал — в последний день. Поступил — с последнего проходного места. Учился так себе. Когда пары заканчивались, Лёня обычно только просыпался. Его отчислили.

— Не отчислили! — возражал Лёня. — Я сам ушёл!

Лёню забрали в армию. По команде «рота, подъём!» он с головой укрывался одеялом. Дневальные ставили его кровать свечкой, обливали Лёню холодной водой, а один, особенно находчивый, даже принёс горн и трубил у него над ухом.

На учениях Лёня обратился к полковнику:

— Товарищ старший лейтенант, разрешите уточнить, где полевой штаб?

Полковник был человеком с юмором:

— Не знаю, боец. — Он кивнул на майора: — У прапора вон спроси.

Остаток службы Лёня копал окопы ложкой, чистил унитазы иголкой и стоял на тумбочке в упоре лёжа.

Наконец вернулся домой. Планов у Лёни не было — это выгодно отличало его от людей целеустремлённых. Люди целеустремлённые вечно строят планы. На выходные. На отпуск. На жизнь. День их расписан по минутам. Они постоянно куда-то спешат, не подозревая, что масло пролито, а кирпич балансирует на краю. Лёня же просто плыл по течению.

В пожарной части открылась вакансия. Лёнин папа замолвил словечко. На первой неделе службы с нашим героем произошёл случай. Поступил сигнал: задымление в высотном доме. Выехали на адрес. Определили квартиру. На звонки никто не реагировал — выбили дверь. Дым тянулся с балкона. Там стоял мангал, вокруг которого приплясывал кавказец в трусах. Завидел пожарных. Протянул унизанный мясом шампур:

— Будёшь?

Лёнин напарник поднял забрало на шлеме. Сплюнул:

— Приехали!.. Ложный вызов, мля...

Шашлык, между прочим, был свиной. Под крышей можно — Аллах не видит...

Мы сели за столик. На стенах плаксиво выламывали рты театральные маски.

Винтажные афиши кичились ерами и ятями. В углу зала находилась полукруглая сцена.

Для городской богемы «Лицедеи» были спорной территорией. Переходящим красным знаменем. Домом Павлова. Один день в кафе правили бал писросы. Другой — росписы. В среду тут гуляли юбилей семидесятилетнего почвенника. Желали долгая лета. Кричали троекратное, с переливами и перекатами. Посконность в книгах юбиляра сочеталась с генеральной линией. Лихой тракторист (кепка набекрень, рубаха навывпуск) приезжал в северный колхоз поднимать целину. Утирая пот рукавом бойцовки, ложился он отдохнуть в насвежо вспаханную борозду. Зачерпывал горсть прохладной, творожистой, с зелёным отливом земли. Ясноглазая колхозница подносила ударнику крынку густого, давеча с-под коровы молока. Тот жадно пил. Белоснежные ручейки бежали по волевому, с ямочкой подбородку. По загорелой, с колким волосом груди... Рванули девяностые, и классик внезапно разразился многостраничной сагой о молоте репрессий и пожарище войны. Поверхностный лингвистический анализ утверждал: чаще всего, двести шестнадцать раз, в эпопее повторялось слово «Сталин». Росписовский критик Мефистов ехидно заметил: автор замышлял разоблачение, но по привычке получился панегирик.

На следующий после торжества день в «Лицедеях» проходил бенефис молодого поэта. В цикле «Недвижимолодость» (автор предпослал ему определение «Урбанистическая трагедия») он рассуждал, в какой из торговых сетей выгоднее закупать вино по акции, советовал латте, что варят в кофейне на главной площади, и заявлял: розовые шнурки на белых кроссовках — дерзкая пощёчина общественному вкусу.

Особым шиком среди росписов считалось нагряться в «Лицедеи», взять стопку абсента с кислым яблочком и попросить бармена поставить на раритетном патефоне пластинку «Битлз». Писросы обходились рюмкой водки, винегретом и кассетой Высоцкого.

Сегодня, как я понял, противники презрели разногласия, зарыли в землю топор войны и давали совместный концерт.

Выпорхнула официантка. Мы заказали пиво и сухарики.

— И как тебя сюда занесло? — спросил я Лёню.

Тот отмахнулся:

— Знакомый позвал.

Зал постепенно заполнялся. На сцену вышла пожилая ведущая. Объявила, что сначала выступят признанные авторы, а после начнётся «Свободный микрофон», и любой желающий сможет прочесть собственные — или просто любимые — стихи.

Первым творчество представлял некто Мешков. Он был мешковат под стать фамилии: коротышка в очках, сложением и походкой — вылитый пингвин. Ведущая аттестовала его как гражданского поэта. В подтверждение Мешков взялся читать «Оду на воссоединение России с Крымом». Россия у него была роженицей, Крым — младенцем, а Крымский мост — пуповиной. Возвращение ребёнка в лоно матери описывалось с почти акушерскими подробностями.

Мешкову аплодировали. Приняв овации, гражданственник продекламировал «Воззвание к защитникам Донбасса». Начиналось оно словами: «Прости, Господь, защитников Донбасса!»

Мешков покинул сцену, лишь когда ведущая напомнила о других участниках.

Следом на эстраду поднялся юный поэт Карасёв. Худой и высокий, он выглядел стильно: модная стрижка, эстетский шарфик, небрежная мантия. Как и японцы, Карасёв считал рифму «болезнью стиха» — встречалась она у него редко. Зато в избытке было иностранных слов:

В правом кармане ждёт своей участи Bond,  
Где-то ключи от Архангельской-street...

Читая, поэт размахивал руками, словно мельница — крыльями. Я невольно порадовался, что мы сидим не в первом ряду.

Карасёв легко сбежал со сцены и подставил локоть старику в красной кофте.

В зале зашептались:

— Антонов... Антонов...

Фигурой престарелый литератор напоминал гриб. Шляпка огромной лысой головы на ножке худосочного тела. Круглое лицо мочалкой обрамляла грязная борода. Старичок долго растекался мыслью по древу: полгода, дескать, молчал, и вот, наконец, написался стишок. Автор и вообразить не мог, что стишок этот вызовет в Интернете настоящую бурю.

Старик набрал воздуха в грудь и, брызжа слюной, истошно завопил:

Мы путники, идём, не зная брода,  
И мы с тобой совсем неразделимы:  
Я — мальчик Мук в любое время года,  
Ты девочка с глазами Хиросимы!

Я представил, как его шея, не выдержав напряжения, подламывается. Голова отскакивает и, чихая, отхаркиваясь, но продолжая изрыгать вирши, катится между столиков. Видение было необычайно живым, а когда морок рассеялся, красную кофту на сцене уже сменила затянута в упругие шелка девица.

— Кто это?

Лёня сделал из кружки щедрый глоток:

— Не знаю, — смахнул пенные «усы» и добавил, — но я бы с ней поближе пообщался.

Мужчины в зале пожирали девицу глазами. Стихи её, однако, оказались на удивление однообразны. Героиню всюду преследовал сероглазый красавец, и в финале они сходились. В гостиничном номере и на заднем сидении автомобиля. На французской кровати и кухонном столе. В лифте, туалетной кабинке и даже — на детской площадке.

Поэтесса замолчала — раздался шквал рукоплесканий.

— Bravo, Алисочка! — неслось из зала.

— Неплохо! — Лёня уважительно крикнул и тоже захолопал.

Вертлявый хлыщ помог девушке сойти со сцены и вручил огромный букет.

К нам подсел давешний поэт с рыбьей фамилией.

— Мирослав, — отрекомендовался он. — Славянское имя. Редкое. Означает — «славящийся миролюбием».

— Иван. — Я сжал протянутую ладонь с длинными, как дождевые черви, пальцами. — Тоже славянское. Частое. Что означает — увы, не в курсе.

Мирослав оказался «знакомым», зазвавшим Лёню на вечер. Мы повторили пиво, а поэт заказал графин коньяка. Выпили за встречу. Каждому из выступавших Карасёв дал краткую, но ёмкую характеристику. Мешков? Истеричный графоман. Терпят из жалости к многочисленным болячкам. Старичок? В молодости подавал надежды, дружил с Евтушенко. Затем — исписался. Алиса? Жуткая бездарность и, добавил Мирослав, его бывшая любовница.

— Выходит, сероглазый — это ты? — удивился Лёня.

Поэт потупился.

— И на площадке чего? Реально было?

Поэт потупился снова.

— Тогда почему вы не вместе? — Лёня покосился на соседний столик, где Алиса хохотала над шутками хлыща.

Обладатель редкого имени вздохнул:

— Творчество — как Большой взрыв. Как рождение новой звезды. Это Молох, которому мы жертвуем время, душевные силы, ресурсы организма... Иногда он одаряет нас взамен. Я пожертвовал отношениями с Алисой и получил в дар цикл «Опалённые крылья»...

Мирослав искал себя и за пределами поэзии. Его занимали философия и публицистика. Реклама и дизайн. На стыке этих, подчас мучительно близких, подчас замечательно далёких дисциплин рождались фантастические проекты. Карасёв отвечал за вёрстку иллюстрированной «Памятки протестующего». На её создание коллегия авторов вдохновили пособие по самбо и фабричный конвейер. «Протестующий № 1

и Протестующий № 2 блокируют руки омовца (рис. 1). Протестующий № 3 снимает с омовца шлем (рис. 2). Протестующий № 4 наносит удар кулаком или битой по голове (рис. 3). Примечание. Постарайтесь оглушить омовца, но не покалечить его. Не забывайте: возможно, он участвует в разгоне митинга не по своей воле!» В составе группы художников Мирослав работал над идеей актуальной съёмной татуировки. По мысли авторов, тату делилась надвое. На величину постоянную и величину переменную. На числитель и знаменатель. Роль неоспоримой константы играли сладострастно льнувшие друг к другу местоимения — «я» и «мы». Часть непостоянная варьировалась по воле хозяина.

— По убеждениям я либертианец, — откровенничал литератор. — От английского liberty — «свобода». Свободные ценности, свободная любовь! Из прозы нравится Гессе. Из поэзии? Хм...

Очевидно, природная скромность не позволяла Карасёву назвать себя.

Вместе с единомышленниками Мирослав подготовил петицию о включении в «Словарь русского языка» статей «авторка», «редакторка», «поэтка». Ратовал за создание в общественных местах туалетов трёх типов. Первый — для мужчин. Второй — для женщин. Третий — для тех, кто не определился. В общем, без дела не сидел.

Карасёв быстро пил и так же быстро напивался. Скоро я запутался в его рассуждениях, где фон Триер органично соседствовал с триппером. Каждый тезис поэт завершал словами:

— Но не это главное! Главное...

«Здорово... — меня увлекала, баюкая, тёплая хмельная волна. Волна смирения и забытья. Волна лёгкой, чуть заметной печали. — Я учился. Работал. Служил. И до сих пор даже не знаю, кем буду, когда вырасту. А тут вон человек — главное познал...»

Карасёв допил коньяк. Обнаружив в графине пустоту, либертианец, пошатываясь, встал:

— Вынужден на время покинуть вас, друзья, и проследовать в обитель уединения... — и нетвёрдой походкой направился в уборную.

— И где ты его откопал? — спросил я Лёню.

— На выставке мейн-кунов, — безмятежно ответил тот.

Сцену оккупировал бородатый верзила в чёрной футболке. Его правую руку украшал портрет Бродского. На левой было выведено «Случайное, являясь неизбежным...».

Верзила сжал микрофон, как Отелло шею Дездемоны, и прорычал:

— Любовное!

Я выбрался из душливого ада кафе на крыльцо. Затянулся. На дворе догорал сентябрь. Обычно сырой и тёмный, в этом году он выдался удивительно прозрачным.

Против кафе, отгороженный полоской лип, лежал парк имени какого-то завода. В центре овального, с ряской по краям пруда бил фонтанчик. Будто бы на дне поселился маленький кит (китёнок? китёныш?): описывал круг и с нутряным охом извергал столп искрящихся брызг. Орошал мостик, согнутый грузом любовных обещаний.

Группа подтянутых пенсионеров занималась в парке гимнастикой.

— Р-а-а-а-з! — приказывала наставница в трико.

И старики делали перекаты с пятки на носок.

— Д-в-а-а! — гроыхала командирша.

И спортсмены переносили вес поджарых тел на пятки.

По соседству шепотные мальчишки пинали израненный в футбольных битвах мяч.

Вдали, где кончался парк и смыкалось с городом небо, ряд новостроек пробовал на зубок лимонное солнце. Надкушенное, сочилось оно лучами. Прыскало ими в стороны. Слепило. Я зажмурился. Когда опять обрёл зрение, заметил паучка. Барахтался он в полушаге. Цеплялся за невесомый тросик. Под крышей, у водосточной трубы, сплёл паучок жилище и сейчас, юрко перебирая лапками, спешил домой. «Возьми меня с собой, братец!» — хотел крикнуть я.

Не крикнул. Страхнул пепел. Придавил окурочку ботинком. Вернулся в зал. Столик наш пустовал. Следом за поэтом неведомо куда испарился и Лёня. Зато у барной стойки я увидел Марину. Едва узнал её: без гестаповской сбруи, в облегающем чёрном платье, с химической завивкой. В изгибе спины — грация сытой пантеры. Она с ленцой потягивала из треугольного бокала лазурный коктейль. Ни учительского чванства. Ни томной жеманности клубных девиц. Просто девушка почему-то одна. Просто красиво молчит. И, похоже, совсем не скучает.

— Марина Николаевна? — Я присел рядом. — Неожиданно!

— Добрый вечер, Иван Андреевич. Вас что-то удивляет?

— Выбор места и времени.

— Наш город хуже деревни. — Она изящно пригубила своего коктейля. — На одном конце чихнёшь — с другого здоровья желают. А это одно из редких заведений, куда я могу прийти, не поставив под удар облик морале российского педагога. Родители моих здесь не бывают.

— Любите современную поэзию?

— У меня много знакомых в... литературном бомонде. — Марина помешала содержимое бокала соломинкой. Бросила взгляд мне за спину: — Кажется, вашего друга сейчас будут бить.

На сцене Карасёв отнимал микрофон у бородатого лирика. Тот возражал: минули, мол, твои пятнадцать минут, дай и другим покататься. Спор на глазах перетекал из области высокой поэзии в пространство низменной прозы.

— Он мне не друг, — сказал я Марине.

Но её у стойки уже не было.

## *Праздник, который всегда с тобой*

После урока подошла Бараева:

— Вандрейч, что это у вас?

— Где?

— Над бровью. — Она почти коснулась лица.

— Ах, это! Бандитская пуля. Ты, Бараева, разве не знаешь? Это днём я — учитель русского. А ночью — защитник угнетённых. Неустрашимый борец с преступностью. Как видишь, иногда преступность даёт отпор.

...Конфликт между бородачом и Карасёвым закипал. Татуированные аргументы лирика смотрелись весомее парусиновых крыльев Мирослава. Вернулся из туалета Лёня. Увидел, что творится на сцене. Религиозные убеждения не позволяли ему остаться в стороне. С криком: «Никто, кроме нас!» — Лёня (даром что служил в ВВС) бросился на подмогу. Тут уж пришлось вмешаться и мне. Тугим узлом завязалась потасовка. Развязать её сотрудники кафе доверили полиции. Стражи порядка не стали

разбираться: поэт или прозаик? писрос или роспис? Скрутили всех. Подфартило. Экскурсии в отделение удалось избежать. Один из патрульных признал в Лёне бывшего коллегу. Нас даже подбросили до дома. Моя милиция меня бережёт!..

— Вандреич, не позанимаетесь со мной? Дополнительно? Я, кажется, тему плохо понимаю.

Бараева заискивающе заглядывала в глаза.

— Это незаконно, Света. У тюрьмы, конечно, есть свои плюсы, но я к такому повороту судьбы пока не готов.

— Но я же серьёзно! — Света обиженно топнула ножкой.

— И я серьёзно. Заниматься дополнительно можно только с теми, у кого не ведёшь. Да и лавры нового Гумберта меня как-то не прельщают.

Бараева покраснела. Кто такой Гумберт — не спросила.

— Извините. Я, наверное, пойду.

— Иди, наверное.

— Тук-тук! — в проёме маячил Гриша. — Здорово, Андреич!

— И вам не хворать, Грисаныч.

— Бараева, форму взяла? — обратился физрук к проходившей мимо Свете.

— Взял-а-а-а! — передразнила девушка и выскочила за дверь.

Расхлябанной походкой Гриша пританцевал к столу. Присел на край:

— Как оно?

Забыл упомянуть. Говорит физрук быстро, отчего фразы выходят какими-то слипшимися. Вот и сейчас: вроде задал вопрос, а вышло — утверждение.

— Сею.

— Чо сеешь?

— Разумное, доброе, вечное.

— А-а-а... И как?

— Сплошной неурожай.

— Ха! Привыкнешь. Слушай, Андреич, у тебя на День учителя какие планы?

— Вроде никаких.

— Супер! Киря предлагает у него собраться.

Киреем, а точнее Кирпальчем, звали ещё одного физрука. Коренастый брюнет с честным лицом ворюшки, в отличие от Гриши он всегда ходил в спортивном костюме. А раз — пожаловал в пиджаке и при галстукке.

— Праздник? — спросил я, пожимая его руку.

— Хочу стереотип сломать. Почему если физрук, то сразу свисток и треники?

Как-то мы с Гришей зацепились языками в тренерской. Опомнились лишь со звоном. Я приоткрыл дверь. Аккуратно ступил в зал. Ни галдежа. Ни ругани. Ни привычной муштры: внясь! мирна! ольна! Кирилл сидел на скамейке. Ученики, притихшие, примостились вокруг: кто рядом, кто на корточках, а кто и вовсе — на полу. Делая мерные рубящие движения ладонью, Кир что-то внушал. И ребята слушали. Внимали.

— Что за совет в Филях? — позже уточнил я.

— Воспитательный момент. В армии не служили. На зоне не сидели. Откуда дисциплине взяться?

Кирилла любили. Одна стажистка с сожалением рассказывала, что он заканчивает юрфак и, видимо, скоро уйдёт в полицию.

Профессия открывалась с новых, приятных, сторон. Два праздника, недалеко отстоящих друг от друга. Два законных повода отметить.

— Два повода отметить — лучше, чем один, — говорил в таких случаях Лёня.

В детстве я очень любил День учителя. Это был едва ли не единственный день, когда я не боялся получить двойку. Уроки в честь праздника стояли сокращённые. Замороженные работой и бытом училки являлись накрашенными и нарядными. Всюду царила атмосфера благодушия и признательности. Но уже на завтра всё возвращалось на круги своя. Карета оборачивалась тыквой, а милостивые дамы средних лет — стареющими гримзами.

— Почему День учителя не может быть всегда? — допытывался я у мамы.

— Праздник на то и праздник, что бывает раз в году. Иначе это будет не праздник, а самый обычный день.

Как это — раз в году? Как это — обычный день? Что же получается: учительницы останутся злыми и будут ставить двойки? Эта мысль оказалась первым кирпичиком в фундамент будущего нигилистического отношения ко всякого рода торжествам. Исключение составляет только Новый год. Ожидание перемен раз за разом оказывается сильнее разочарования от их отсутствия.

В фойе меня перехватил Морозов. Путался под ногами. Подсовывал какой-то свёрток:

— Спасибо вам, Вандреич, что дебила этого, Хавроничева, на место поставили...

Я посмотрел на свёрток с сожалением. В его очертаниях угадывалась плоская коньячная бутылка. Закашлялся:

— Во-первых, Морозов, я не пью. Во-вторых, не беру взятку. Тебе ясно?

«Во-первых» было бессовестной ложью. «Во-вторых» — унижительной правдой. Взятку я действительно не брал. Не предлагали. Но не поддерживать же реноме? Слава и без того шагает далеко впереди.

У кабинета поджидала ватага из пятого «Б». Сгрудились возле двери. Не давали пройти.

— Что за несанкционированный митинг?

— Вандреич! Вандреич! — загомонили мальцы. — А Грисаныч с нами за руку здоровается!

Вытянули лодочки ладоней. Дюжина маленьких шлагбаумов. Уважил всех.

— Довольны?

— Ага! — счастливо закивали ребятишки. — Снегирь, скажи!

Вытолкнули Снегирёва. Тот шмыгнул носом:

— Вандреич, мы с пацами посовещались и решили: вы — одинокий волк!

— Ну, хоть не позорный — и на том спасибо.

Мальчишки захихикали. Различать мои шутки они уже научились.

Одинокий волк, значит? А что? На луну иногда ох как хочется повить.

\* \* \*

В означенный час я стучал в дверь на втором этаже старой хрущёвки.

— Пароль?! — потребовала дверь.

— Пароль, — подумав, повторил я.

Дверь крякнула и открылась. На пороге стоял Кирилл в футболке и шортах.

— Здорово, филология! Точный ты, как швейцарский сыр.

— Точность — вежливость королей.

— А неточность — киллеров. Проходи. Гришаня, скотобаза, где-то пасётся.

Квартира носила следы затяжного ремонта. На полу зиккуратом лежали рулоны

обоев. В углу античной колонной высились банки с краской. Колонна явственно кренилась и всё больше напоминала Пизанскую башню.

— Хоромы мои! — Кирия гордо развёл руками. — Ну, как мои? Моими будут лет через дцать.

— Ипотека?

— Она, родимая. Пойдём на кухню подымим.

На кухонной стене масляной краской нарисовали женский профиль. Торопыга-ветер по привычке куда-то нёсся, распихивая прохожих, и вдруг заметил в толпе симпатичную девушку. Взъерошил её волосы. Цапнул за рукав: бежим со мной, красивая! Я покажу тебе снега Эвереста! Проведу по каютам «Титаника»! Допьяна напою морскими закатами! Что же ты?! Решайся!

Врёт. Умчится. Не дождётся любовь свою мимолётную. Не может он по-другому, шалопай. Да и плевать! Зато как врёт! Как врёт, чертяка!

Кирилл проследил за моим взглядом:

— Заценил? — Он одно за другим выпустил три колючка. — Супруга балуется. Пока обои в комнате клеили, два раза чуть не развелись. Вот и дал ей волю. Всё ничего. Только вон. — Физрук указал на окно. В отдалении серый, как связка ливерной колбасы, состав тонул в пасти туннеля.

— Бабушка, бабушка! — пискляво загомосил хозяин. — А тебе нравится рядом с железной дорогой жить? Та-да-да-да, внучек, та-да-да-да.

Кирилл отправил окурок вдогонку уходящему поезду. Распахнул дверцу холодильника, всю в улочках и пальмочках. Как слона за хобот, вытащил на свет янтарную бутылку с пиратом на этикетке:

— Старшаки подогнали. В счёт будущих прогулов. И это октябрь! А зимой что будет?

— Улов! — признал я. — У меня в основном — кофе и конфеты.

— Мальчишка! — фыркнул физрук. — Не ту стезю ты выбрал! Русиш унд литриче? Что там монетизировать? Запятые?

— Список обширный. — Я начал загибать пальцы: — За орфографические ошибки — светлое. За пунктуацию — тёмное. За грамматику — красное полусладкое. За стилистику и логику — изволь бутылочку ирландского ячменного выставить. После диктанта, глядишь, — и на винный погребок наберётся. А ты молоток! Без мухлежа. Мастерством. Авторитетом. Уважают, получается.

Он отмахнулся — какое!..

— Мелкие — те ещё побаиваются. А подрастут — и доходит. — Кирилл добавил к «пирату» три крутобоких бокала, похожих на обезглавленных матрёшек. — Препоп для них кто? Лузер. Как грится, хотите зарабатывать — идите в бизнес. В полный бизнес. Тебя-то в школу каким ветром? Мужики-филологи — вымирающий вид.

— Трудился журналистом. Уволился.

— Слышал, журналисты хорошо получают.

— А я слышал — учителя.

— И чо уволился?

— Люди с мозгами пашут на людей с деньгами. Надоело.

Из прихожей донеслась заливиная птичья трель.

— А вот и почтальон Гриша! — цокнул Кирилл. — Принёс пивасик для наших мальчиков.

Пароль он спрашивать не стал — просто прокричал в замок:

— Вы кто такие?! Я вас не звал! Идите нафиг!

Ответом стал знакомый гогот. В квартиру ввалился навьюченный пивными бурдюками Грисаныч. По его плечам маршальскими звёздами разметало крупные дождевые капли.

— Да разве ж это Гришаня? — восхитился Кирилл. — Это натуральная марсианская баба: цельных три «сиськи»!

«Сиськи» и «пират» мигом перекочевали в комнату. Туда же отправился круглый столик.

Устроились на диване. Перов. «Охотники на привале». Делят дневную добычу.

— За профессию! — возгласил владелец однушки, поднимая бокал.

— За наш день! — поддержал Гриша.

Чокнулись.

— Вот так каждый раз пью — и Жору вспоминаю. — Кирилл удовлетворённо откинулся на спинку. Выдохнул. — Историк у нас был, — растолковал он специально для меня. — Всё твердил: «Не знаю, как детям рассказывать, что у греков педагог — калечный, ни на что не годный раб». Вот и не выдержал...

— А что с ним?

— Не поверишь — служит.

— В армии?

Физруки дружно покатались от хохота. Кир посылал горловые сигналы соседям сверху. Гриша прикрыл глаза и бил себя по колену.

— В религию ударился, — просмеявшись, объяснил хозяин. — Послушник в монастыре.

— После школы — самое то! — вклинился Гриша. — Грехи замаливать!

— От нас куда только не уходили... — продолжил повествовать Кирилл. — И главное — как!.. Гришин предшественник вон вообще — в окно сиганул.

— Самоубийство?

— Если бы! — Владелец ипотеки вновь потянулся к «пирату». Плеснул в бокал жидкого янтаря. — Любил, понимаешь, девчонок на брусья подсаживать. Ну, родители к нему делегацию и снарядили: с вилами, топорами и операми. Увидел всё это наш Васильмихалыч — и в окно. Благо первый этаж. Ух, пятки сверкали! Уволили задним числом.

— Да лучше в окно, чем это всё... — проворчал Гриша. Пиво у него было тёмное. С каждым глотком Гриша всё больше мрачнел.

— Сказать, чо ты бесишься? — повернулся к нему Кирилл. — У тебя цели нет. А у мужика цель должна быть! Вот у тебя, Ванёк, какая цель?

Хороший, думаю, вопрос.

— Книгу хочу написать.

— Книга — это дело. О чём?

— О том, что понял. Кажется, это будет брошюра. А у тебя какая, если не секрет?

— Запомни, Ванёк. — Физрук наставительно поднял палец: — Никогда не добавляй «если не секрет». Обязательно ответят: секрет.

Здесь, в ипотечной однушке, в футболке и сланцах, он смотрелся так же органично, как в спортзале в олимпийке и кедах. Пожалуй, и полицейская форма будет ему к лицу.

— Цели разные бывают: глобальные, промежуточные... — вернулся к теме Кирилл. — Одна из промежуточных, к примеру, — сто.

— Чего — сто? — не понял я.

— Сто баб. — Хозяин звучно похлопал кулаком правой руки о ладонь левой.

— Кирия у нас профессиональный б-а-а-бслеист! — хохотнул Гриша.

— Ну, профессиональный не профессиональный, а... — Кирилл зашевелил губами, что-то прикидывая: — Семь?.. Да, семь раз в школе отметился.

В полном составе коллектив школы я видел в августе на общем педсовете. Молоденьких учительниц среди коллег было одна, две, три... Стоп! Некоторые ведь, как и я, устроились летом. Нет, не складывается Кирина арифметика. Никак не складывается.

— В зрелой женщине своя прелесть, — ответил он на мой молчаливый вопрос. — Цену себе знает, но не набивает. Не суетится. И сама кайфануть умеет, и мужику хорошо сделать. Баба в соку, короче.

— А жена?

— А что жена? — Кирилл пожал плечами. — В жене меня всё устраивает. Секс — устраивает. Фигура — устраивает. Стряпня — устраивает. Для неё же, считай, стараюсь. Чтоб не надоела. Вот есть у тебя любимое блюдо? Предположим, пюре с котлетой. Но иногда-то, согласишься, и тушёной капусты хочется? Илипельменей, а?

Подумалось, что супруга Кирилла уж как минимум догадывается о его адюльтерах. Но не терзается, не ревнует, а, наоборот, — втайне гордится: глядите, мол, как моего девки-то привечают! Можно понять. Разве сквозь пальцы смотреть на измены мужа — не синоним женской мудрости? И разве не любят женщины мужчин, которых любят другие женщины?

В любом застолье случается пауза: беседа застывает, словно валун на вершине горы, решая: куда качнуться? Либо в сторону: «Развалили страну!..» Либо в сторону: «Чего им, дурам, надо?»

Делиться планами по обустройству России я был не намерен. Поэтому спросил:

— Марина Николаевна — что за человек?

— О! — прогудел Кир. — Наша Снежная королева! Гришаня к ней не раз шары подкатывал.

Гриша швырнул в друга крышкой от бутылки — тот легко увернулся.

— А по существу?

— По существу?.. В школе работает года три. Муж — коммерс какой-то. Детей нет. Девятый «Б» зовёт её «наша классная классная». Чо? Запал, что ли?

Запал? Запал... Запал! Махмуд, поджигай запал! И гори! Гори, моя звезда, синим пламенем!

— Не советую, Ванёк! Ох, не советую! — Кирилл включил менторский тон. — Вот в соседнем с тобой кабинете англичанка — Лидочка. Это я понимаю! Дама не для высоких разговоров: штаны снял — и в путь!

— Что ж с Мариной-то не слава богу?

— С женщиной, Ванёк, должно быть просто. С Мариночкой же, чую, просто не получится. А зачем, скажи на милость, лишний раз мозги трахать?

Вопрос. Сегодня вообще — вечер вопросов. Любимое блюдо? Цель жизни? Каким ветром в школу? Каким?.. Каким... Что мне эта школа? Начало дорог альма мать её я скучаю я скучаю. Эти бабслеисты? Ходоки за хабаром охотники за удачей-птицей цвета ультрамарин. Эта Марина? Медной горы хозяйка королева снежная кнопка железная. И почему, чёрт возьми, я рад?! Улыбке Сургановой сочинению Бараевой тройке Морозова поистине человек катаклизм человек бедствие человек человеку слон в посудной лавке двадцать два несчастья счастье это когда тебя понимают.

Я поднял бокал:

— Надоело жить в Рязани: всюду копоть, грязь и пыль... Нужно сделать обрезанье и уехать в Израиль!

— А это тост! — воодушевился заскучавший было Гриша. И поднял свой.

## Нас мало

«...Тогда он залез в пещеру к старому вампиру и попросил...»

Дальше я не читал. Спустился туда, где заканчивалась эта изложенная остреньким, будто кардиограмма, почерком история. Написал: «...Тоже сделать его вампиром. А затем — вызволил сына из плена и в одиночку уничтожил всю турецкую армию. И прозвали его — Дракула, потому что был он из рода Дракона. Конец. Халковский! Говорил же! Фильмы — не пересказывать! Или хотя бы пересказывать те, которые я не смотрел!»

За содержание вклеил два. За грамотность — четыре. Как ни крути, почти все запятые — на местах. Закрыв. Отодвинул.

Что не так с нынешними детьми? Вроде предупреждаешь. Увещаешь. Долдонишь. Как об стенку! Подходит Костюков из пятого «Б»:

— Вандреич, а можно дополнительную оценку? По литературе?

— Дополнительную? Хм... Презентации делать умеешь?

Кивает.

— Подготовь презентацию «Моя любимая книга». Слайдов, скажем, на восемь: кто автор? о чём? почему нравится? И тому подобное. До завтра успеешь?

Кивает.

— Разрешаю пользоваться Интернетом, но только — как источником. Списывать, и тем более копировать готовые презентации — нельзя. Ясно?

Кивает.

На следующий день:

— Вандреич, посмотрите.

Открываю. Моя любимая книга. «Приключения Тома Сойера». Неплохо, думаю. Слайдов, правда, куда больше восьми. История создания. Сюжет. Персонажи. Продолжения. Экранизации. На последнем — ссылка на сайт, откуда всё это скачано.

— Костюков! Ну ты бы хоть последний слайд удалил, ей-богу...

Хлопает ресницами — зачем? И были они невинны и бессмертны...

А может, с детьми всё в порядке? Может, я старею? Когда-то я считал, что старости — нет. Сначала ты молодой. Потом — а я-то ещё ого-го! Потом — просто радуешься, что дотянул. Но в последнее время стал замечать учащающиеся приступы брюзжания: а вот раньше... Трава зеленее... Вода мокрее... И музыка — нормальная, а не эти ваши туц-туц — ритмичные удары по спинному мозгу. А люди? Люди-то какие были! Нет, таких сейчас не делают! А дети? Умненькие. Послушные. Воспитанные. Золото, а не дети! И куда повывелись?..

ТЬфу!

Кто там следующий? Обложка в блёстках и стразах. Полярчук. «...Его карие глаза сводили Мэри с ума...» Угу. «...Сердечко застучало более быстрее...» Вау. «...Они любили друг друга, как Ким и Канье, как Серсея и Джейме, как Джокер и Харли...» Вон оно что.

Черкнул оценку. Добавил комментарий: «Олеся, посмотри мультфильм “Нападение на Аркхэм”: о любви между Джокером и Харли — и речи нет!»

Проверка сочинений — занятие волнующее. К чтению приступаешь с тем же чувством, с каким начинающий кулинар извлекает блюдо из духовки. Смесь предвкушения и страха.

К процедуре я относился ответственно. Заваривал чай. Обычно — зелёный. Садился у окна. Кончиками пальцев, дабы не обрушить конструкцию, вытаскивал из стопки случайную тетрадь. С гоночным автомобилем. Футбольной командой. Популярным рэпером. Открывал...

На стол запрыгнула Кошка. Толкнула стопку. Верхние тетради сползли, как лавина.

— Здорово, мать! Что? Показала, кто в доме хозяин?

Кошку эту мне подарили.

...За дверью — соседка в пёстром халате. В ладонях — пушистое, тёплое.

— Возьми котёночка.

— Зачем? — тупо спросил я.

— Заботиться.

Обо мне бы кто позаботился. Взял... Не топить же.

Налил молока в блюдце. Позвонил Лёне:

— Мне тут кошку подогнали. Как назвать?

— А мальчик или девочка?

— Не приглядывался. Девочка вроде.

— Ну, назови Геббельсом.

— Почему — Геббельсом?

— А почему нет? Будь у меня кошка, обязательно Геббельсом бы назвал.

Кошка сидела в углу и умывалась. Рыжая. С белым, точно капля сметаны, пятнышком на лбу. Совсем не похожая на главного идеолога нацизма.

Ладно, думаю. Позже имя выберу.

Не выбрал. Так она Кошкой и осталась...

Кошка калачиком свернулась на разворошенных тетрадях. Аккуратно достал из-под неё следующую. Тонкую. Серую. Без картинок на обложке.

Бараева.

Прошрое сочинение восьмой «Г» писал на тему «Человек, на которого я хочу быть похож(а)». Большинство ребят хотели быть похожими на каких-то блогеров. Меньшинство — на маму или папу. Морозов — на Илона Маска. Хавроничев — на Владимира Путина.

Работу Бараевой я брал с лёгкой опаской. Вдруг там Ольга Бузова? Или Ксения Собчак?

Света хотела быть похожей на Раскольникова. Почему?

Сильная личность... Могучая воля...

Тэ-э-к-с. Посмотрим.

«Жил на свете один почти счастливый человек. У него были любящая жена и прекрасные дети. Утром человек шёл на работу без отвращения, а вечером возвращался домой без усталости.

И для полного счастья — того, о котором поётся в песнях, — ему не хватало самой малости. Но человек не знал, что это за малость. Он читал книги, искал в Интернете и даже обращался к врачам. Никто не мог ему помочь.

Однажды увидел человек объявление: “Снимаю сглаз, навожу порчу, делаю счастливым”. Ниже — адрес и телефон волшебника. Подумал человек, что это его шанс. На следующий день он пришёл к волшебнику. Тот сидел за стареньким компьютером и что-то печатал.

“Говорят, вы помогаете стать счастливым?” — сказал человек.

“А ты несчастлив?”

“Не совсем. Не хватает самой малости”.

“Что ж, — улыбнулся волшебник, — я действительно могу помочь. Но придётся заплатить”.

“Деньги не проблема”.

“Дело не в деньгах. — Волшебник покачал головой. — За малость можно заплатить только малостью. Есть ли в твоей жизни что-то столь незначительное, столь ничтожное, что ты отдал бы это без сожаления?”

Задумался человек. Увидел на стене зеркало, а в нём — своё отражение и сказал:

“По-моему, отражение — вещь совершенно ненужная. Я бы легко без него прожил”.

“Ты уверен?” — спросил волшебник.

“Уверен!”

“Пусть будет так”, — сказал волшебник и хлопнул в ладоши.

Человек с облегчением отправился домой, готовясь испытать то самое полное счастье.

Проснулся он утром, захотел побриться — и не может. Отражения-то нет... Причесаться и завязать галстук — тоже не может. Пришлось просить жену.

На работу человек пробирался, сторонясь стеклянных витрин. Он боялся, что кто-нибудь заметит его недостаток. Но и на работе думать ни о чём другом не получалось. Ведь у всех вокруг были отражения! Все его коллеги где-нибудь отражались! В лакированных поверхностях столов, в экранах телефонов и компьютеров, в кружках с чаем и кофе. И один лишь человек нигде-нигде не отражался! Он чуть не заплакал от бессилия.

После работы человек прибежал к волшебнику, упал на колени и взмолился:

“Мне не нужно никакое счастье! Прошу, верни моё отражение!”

“Ты уверен?” — спросил волшебник.

“Уверен!”

“Пусть будет так”, — сказал волшебник и хлопнул в ладоши.

Человек посмотрел в зеркало и увидел, что отражение вернулось к нему.

И стал человек абсолютно счастлив».

Первая мысль — списала? Забил в поисковике:

притча счастье волшебник отражение

Ничего... Неужели — сама? Но — как? Откуда?

Зелёным чаем тут было не обойтись. Пошёл на кухню. Откупорил припасённый до лучших времён портвейн. Вот они и настали — лучшие времена...

Выбрался на балкон. Закурил.

Во дворе молодая мама толкала перед собой коляску цвета сливы. На лавочке у подъезда щебетали демисезонные старушки. Подтягивался на турнике парень в садовых перчатках.

С моего восьмого этажа хорошо видна была крыша приземистого общежития напротив. Метрах в пятнадцати. Чёрная. С блестящими кляксами лужиц. Всегда пытался забросить на неё бычок. Не получалось. А ну как сейчас — получится?

Вернулся в комнату. Написал под рассказом Бараевой: «Света! Нас мало избранных, счастливых праздных...» Добавил смайлик — улыбающуюся рожицу. Улыбка вышла кривоватой, будто рот порвался с краю.

Чуть не забыл — оценка...  
 Пять... Пять...  
 И посередине — косая черта.

## *Пиковая дама*

— «...Закатилось солнце русской поэзии», — написал Катков.  
 — Всё у тебя?

Морозов взял стопку листков с докладом за край. Потряс — не пропало ли чего?

И лишь после этого уверенно заявил:

— Всё.  
 — Супер. Жаль, на диктофон не записал.  
 — Зачем? — насторожился мальчишка.  
 — Бессонница в последнее время. Думал на ночь включить.

Вялые смешки. А чего ты хотел? Суббота. Первый урок. Восьмому «Г» — той его части, что, аки редкая птица, долетела этим смурым утром до кабинета литературы, — спалось как раз отлично.

— Садись. Четыре.

— Почему четыре?! — оттопырил нижнюю губу Морозов.

— Был недостаточно убедителен. Полярчук спала с открытым глазом. А Бараева вообще не спала! Короче, есть над чем работать.

Человек-бедствие поплёлся на место. Обиженно шваркнул докладом о столешницу.

По субботам уроки на пять минут короче. Вроде пустячок, а приятно. Докладов я дал три. Расчёт, как всегда, не оправдался. Хохлова не пришла. Стасов не подготовился («Двоечка...»). А Морозов отбарабанил так, что чуть пломбы не вылетели.

Обозрел класс. Кто-то дремал, лёжа на парте. Кто-то копался в телефоне. Кто-то донимал соседа. Никого не волновала судьба умершего поэта.

Остаток занятия нужно было срочно занять. Но чем? В сто сорок шестой раз поведать про Арину Родионовну? И слушать не станут — не в детском саду. Рассказать про Николая Первого и Идалию Полетику? Рано, да и не поймут.

Решено. Версия общеизвестная — с перчиком. Или с клубничкой?

Поднялся из-за стола:

— Пирогова, сколько детей было у Пушкина?

Пирогова отвлеклась от разукрашивания полей в тетради:

— Э-э-э... А у него были дети?

— Ты недооцениваешь поэта как мужчину! За шесть лет в браке с Натальей Гончаровой у него родилось четверо детей: два сына и две дочери. В записках Пушкин упоминал, что супруга его так наплясалась на балах, что у неё случился выкидыш. Так что детей могло быть и пятеро.

— Ого! — присвистнул Халковский. — Мужик-то могёт!

— А я о чём? Наталью, будущую жену, он встретил, когда той было шестнадцать.

Пушкин был на двенадцать лет старше.

— Педобир... — хихикнул Мохирев.

— И чо? — взвилась Желтоногова. — У меня тоже парню двадцать один!

— Ты, Саша, главное, не слишком об этом распространяйся. В те времена такая разница в возрасте считалась нормальной. Состоявшийся мужчина брал в жёны юную, неспорченную — неспорченную, Пирогова! — девушку. Да и продолжительность

жизни со счетов не сбрасывайте. До семидесяти доживали нечасто. Полтинник разменял — считай, старик. Вспомните «Ромео и Джульетту». Им по тринадцать, а матери Джульетты — двадцать шесть.

— Так это чо? Мы жениться могли? Лол! — Хавроничев качнулся на стуле. Сложил ладони рупором и выкрикнул: — Алё, Бахаева! Пойдёшь за меня? Заделаем мелких Хавхонов?

Света обернулась и выразительно оттопырила средний палец.

— Собственно, грязные слухи о неверности Натальи и заставили Пушкина вызвать Дантеса на дуэль. Дуэль, которая стала последней в жизни поэта. Конечно, Александр Сергеевич не хотел стреляться. На то было несколько причин. Во-первых, Дантес и Пушкин были родственниками...

— Да ладно?.. — ахнул Морозов.

— Сам в шоке. Они были, что называется, свояки. Женаты на родных сёстрах. Дантес сделал предложение старшей сестре Натальи... — Чёрт, как же её звали-то? Екатерина? Ольга? Почему я путаю два этих имени? Ладно, пусть будет Ольга. Им-то какая разница? — ...Ольге.

Взял мел. Накрутил мохнатую белую муху. Подписал: «А.С.Пушкин». Накрутил ещё одну: «Ж.Дантес». Рядом с мохнатыми — мушки поменьше: «Н.Гончарова», «О.Гончарова». «Поженил» Пушкина и Дантеса с супругами. Потом свёл жирным полукругом дуэлянтов.

— Перерисовывайте.

Ребята заскрипели ручками.

— Имелась и другая причина. Пушкин знал, что Дантес не ухаживал за Натальей...

Я выдержал паузу. Восьмой «Г» притих, предвосхищая поворот в духе «Игры престолов».

— ...Потому что француз был из тех мужчин, которых женщины — не интересуют.

В классе подорвали взрывпакет. Восторженно бесновался Хавроничев. Распластавшись по парте, мелко подрагивал от смеха Мохирев. Смахивала невольные слёзы Бараева.

Очень кстати завершал звонок.

— Гуляйте! — разрешил я. — В честь выходных — без домашки.

Подскочил возбуждённый Морозов. Он приплясывал, словно на горящих углях.

— Вандреич, а вы в следующий раз расскажете... про этих?

— Иди давай! Про этих.

В дверях переминалась Анжела. Терпеливо ждала, когда ребята покинут кабинет. В итоге приблизилась. Положила на край стола два картонных прямоугольника. На картинке — крупные хлопья снега на фоне ночного неба. Сверху белым курсивом: «Свой театр. По мокрому снегу». Ниже, в скобках: «По мотивам произведений Ф.М.Достоевского».

— Сегодня специальный показ, — пояснила Анжела. — Сугубо для педагогов-филологов из городских школ. Мы в МО посоветовались и решили отправить вас с Мариной Николаевной. Как самых молодых. Вы не против?

— Я-то нет. А вот Марина?.. Мы не сказать что бы ладим.

— Уверена, она будет только рада, — успокоила старшая над филологами.

Развернулась. Двинулась к выходу. И через плечо обронила:

— А сестру звали — Екатерина.

\* \* \*

На большой перемене добежал до кабинета Марины. Она заплетала косички смазливой блондинке. Заметила меня. Погладила девочку по голове:

- Беги, Лиза. Что-то хотели, Иван Андреевич?
- Нас будто сводят. — Я положил билеты перед Мариной.
- Или стравливают. — Она равнодушно пожала плечами.
- Стравливают?

— Иван Андреевич, школа — тот же театр. Роли давно распределены. Репертуар не менялся много лет. Тут — вы. Мужчина. Молодой. Загадочный. — Марина улыбнулась краешками губ. — Конечно, всем интересно, какое амплуа вы примерите.

— И какое, по-вашему?

Она картинно задумалась:

— Пожалуй, Пьеро.

— Пьеро? — Я изобразил оскорблённую невинность. — Неужели я такой скучный?

— Ну... На шута вы не тянете: слишком умны. На любовника тоже: слишком серьёзны. Остаётся Пьеро.

— А кто в таком случае вы?

— О! — Марина закатила глаза. — Ходят слухи, я — Спящая красавица. Жду принца, чей поцелуй пробудит меня от вековой дремы.

Она флиртует. Нагло. В открытую. Как шулер отдаёт новичку несколько первых партий, чтобы вовлечь в игру, а после — обчистить до нитки. И есть всего два пути. Умыть руки и встать из-за стола. Или — отмахнуться с гусарской лихостью: эх, была не была! Поставить всё на кон. И банковать, банковать напропалую! И блефовать, блефовать! Ночь напролёт. До первых петухов. До последней оплавленной свечи. Чтобы в финале — сорвать куш. Или, наоборот, — проиграться. В пух и прах! До свиста в карманах! До единственной запонки!

Ну, сударь? Ваше слово?

Сдавайте.

## *Театральный роман*

Между театром провинциальным и театром столичным разница как между «Таврией» и «Феррари». И то и другое, безусловно, — автомобиль. Но давайте откровенно. Что предпочтёте: Ломбардию или Карпаты?

Столичный артист — баловень Мельпомены. Его ремесло окружает романтический ореол. И даже пороки видятся иначе. Что-что? Пьёт, говорите? Положим, пьёт. Но какой труд! Какое напряжение душевных сил! Да он за месяц проживает десятки жизней. Он каждый вечер бывает Цезарем, Макбетом, Фаустом. Скажите, ну кто бы не запил? Не то, ой, не то актёр из глубинки! Алкота! Сорок лет мужику — ни кола ни двора! По сцене скачет! Конёк, блин, горбунок!..

Столичный театр — раздолье для творческих экспериментов. Для новых прочтений. Для революционных постановок. Пару лет тому, в мою бытность кором «Светского хроника», в город по распределению направили молодого режиссёра — выпускника столичного вуза. Парень был амбициозен и твёрдо намеревался потрясать устои. Не учёл одного: устои в провинции покрепче, чем в столицах. Покрепче. Столица — пылкий юноша. Легко вспыхивает — и легко остывает. Легко влюбляется — и легко

забывает недавних кумиров. Легко поднимается на бой — и легко расходится по домам. Провинция тем временем посапывает, лениво отгоняя мух. Но уж коли проснётся!.. Коли потянется за дубиной своей стоеросовой!.. Направо махнёт — улица! Налево — переулочек! Кругом — площадь целая! Тут-то и держись, Россия!.. Однако мы, похоже, отвлеклись. В качестве фундамента для будущего триумфа московский гость выбрал классику. Шекспир. «Гамлет». Суицид! Психическое расстройство! Массовое убийство! Инцест! Что может быть актуальнее?! На премьеру собрался, кажется, весь город. Даже мэр выкроил несколько часов в своём плотном графике. Вашему покорному слуге досталось место у сцены. Согласен, не слишком удобно, но и жаловаться грех: дарёному коню... Открылся занавес. Зрители — замерли. Тень отца изображал стриптизёр из ночного клуба «Витраж». Темнокожий. Творческий псевдоним — Пятница. Гамлет совокуплялся с Офелией на рояле. Розенкранц и Гильденстерн оказались не просто друзьями. К середине первого акта зал опустел наполовину. До финального монолога дотерпели лишь самые воспитанные. Или — самые стойкие. Заголовок для рецензии и выдумывать не пришлось. События подсказали: «Артхаусу на городской сцене — не быть! Театралы проголосовали ногами». Месяца через три я встретил москвича-режиссёра в продуктовом. Печальный, он затаривался дешёвым вином в картонных пакетах. Позже и вовсе куда-то пропал. Верно, уехал в город, где способны по достоинству оценить творческие искания прогрессивного молодого постановщика.

И тем не менее театр в провинции остаётся развлечением элитарным. Уделом немногих. Просто потому, что любителей театра в провинции меньше, чем в столице. А также меньше, чем, например, любителей выпить. Театр — это патриархальный повод выгулять новое платье. Явить миру свежего кавалера или спелую пассию.

В городе было три театра. Два — обязательных: Драм и ТЮЗ. Стихи и проза. Лёд и пламя. В ТЮЗе давали спектакли дневные и вечерние. Днём тюзовцы тянули «Репку» или разыскивали в зале хозяйку хрустальной туфельки. На некоторые вечерние спектакли школьников не пускали. Репертуар Драма был укомплектован Островским, Чеховым и комедиями положений, которые заставляли зрителей хохотать до рези в животе и напрочь выветривались из памяти по выходе из зала. Третий театр основали ренегаты: те, кто не пришёлся ко двору ни в ТЮЗе, ни в Дrame. С названием не мудрствовали. Так и нарекли — «Свой театр». Там, где сегодня играли Пушкина и Бродского, Сашу Соколова и Кена Кизи, на заре прошлого столетия была церковь. Затем — музей атеизма. Библиотека. Клуб. Ресторан. Галантерейный магазин. В народе место всерьёз считали поруганным и проклятым. Поэтому, когда бездомные артисты попросили у властей прибежища, те ничтоже сумняшеся отписали им ветхое здание на окраине. А что? Для комедиантов — в самый раз. Не зря ведь их испокон веков хоронили за церковной оградой?

Холл театра наводнили осанистые женщины: сдержанные позы, высокие причёски, неброский макияж. Хватало одного взгляда, чтобы определить их профессию. Мы с Мариной были самыми молодыми и вполне могли сойти за пару. Она — с завитыми локонами, в бордовом платье. Я — с полубоксом, в арендованном костюме. Тили-тили-тесто, жених и невеста!

На сцене стояла кровать — и только. Я много на чём лёживал. Под Читой, в части, где довелось служить, имелся настоящий антиквариат. Те койки помнили, наверное, грёзы красных командиров о колесе мировой революции. Впитали трудовой пот бронзовомускульных рабочих и высокогрудых колхозниц. Наизусть затвердили песни приехавших на картошку комсомольцев. Но такой рухляди я не видел и там! Местный

реквизитор явно был завсегдаем комиссиоником и свалок. Краска на дужке облупилась, обнажив металл, тёмный, словно запёкшаяся, побуревшая, неотличимая от вековой ржавчины кровь. Абордажными крючьями впиалась в бортики панцирная сетка. Матрас напоминал плесневелую, засиженную мухами пастилу.

На кровати просыпался мужчина. Лет сорок. Круглые «унитазы» на глазах. Небольшое, но выразительное пузцо. Кризис среднего возраста — как особая примета. Просыпался в объятьях невинной юной проститутки (о Фёдор Михалыч!). Девушка молила вызволить её из вертепа. Герой витийствовал: миру провалиться или ему чаю не пить? И решал, понятно, что мир пусть в тартарары катится, а уж он-то чаю напьётся, ох напьётся. Девушку увозили. Мужчина стряхивал оцепенение: да что же это я? да как же? Бросался вдгонку. В ключья рвал заклеенный плотной бумагой выход на сцену. Убегал в чёрное, неведомое. Я надеялся, я очень надеялся, что он успеет.

Зрители расходились молча. Я протянул Марине пальто:

— Мы вроде неподалёку живём. Провожу — не против?

Она сделала жест, который можно было расценить и как «не против», и как «пошёл ты». Я остановился на первом варианте.

На улице подморозило. Глянцевито блестели лужи. По одной, отшлифованной, как пол бальной залы, катался мальчишка — часом не из наших с Мариной? Размахивая сменкой, будто пращой, он разбежался и скользил вперёд. Потом соскакивал на «сушу» и по инерции пробегал пару метров. Разворачивался — и по новой. Робко сыпали похожие на комки творога снежинки.

— Забавно. — Марина спрятала лицо в шарф. — Спектакль — про мокрый снег. И домой пойдём — по мокрому снегу.

— Такси?

Она покачала головой. Помнится, у болгар это означает согласие. Или всё-таки у румын?

— Как вам спектакль, кстати?

— Достоевский... — туманно ответила Марина. К светской беседе она была не расположена.

Я не сдавался:

— Продолжим вашу театральную метафору? Тем более и ситуация располагает. Со мной всё ясно: Пьеро. С вами — тоже: Спящая красавица. А что скажете про наших коллег?

— Про кого, к примеру?

— Кирпалыч?

Марина ненадолго задумалась, а потом сформулировала:

— Тип деревенского донжуана. — И добавила: — Но добрый.

— Грисаныч?

Она скривилась:

— Грисаныч — как герой анекдота. Хочет выиграть в лотерею, а билет купить забывает.

— Жёстко. А вы, я смотрю, невысокого мнения о мужчинах.

Ожидал шаблонного «мужчины, как динозавры, вымерли...», но Марина и здесь удивила:

— Женщине многое прощают за то, что может родить ребёнка. Женщина — всегда женщина. А вот мужчина это... звание? Заслужить тяжело. Лишиться — просто. А подтверждать нужно постоянно. — Она помолчала. — Не завидую мужчинам.

— Анжела?

— О! Анжел Лексевна — это моё будущее... Знаете, ей ведь даже сорока нет. Есть ухажёр в Германии. Анжела к нему ездит на каникулах. Но замуж не зовёт. Кому нужна жена на пороге климакса?

— Какое нерадужное будущее! Может, всё не так плохо? В конце концов вы-то — замужем.

— Каждый год в браке подтачивает иллюзию счастливой семейной жизни. Катрин Денёв хорошо подметила: хотите сохранить любовь мужчины — не выходите за него. Мудрая женщина.

Вместо обмена игривыми намёками, милыми двусмысленностями разговор оборачивался судорожной исповедью. И мне это... нравилось?

— И да! — Марина будто что-то вспомнила: — Хватит уже выкать. Я себя старухой чувствую. Хотя, между прочим, младше тебя.

— Окей-окей! — Я примирительно поднял руки. — Только с чего вы... ты взяла? То есть я, конечно, не спорю, но...

— Я тебя по институту помню, — оборвала Марина. — Ты курса на два старше учился. — И извиняющимся тоном пояснила: — Парней на филфаке мало.

— А я тебя не помню. Девчонок на филфаке много.

— И помнил бы — не узнал. У меня были огромные щёки — в-о-о-т такие! — Марина растопырила ладони. — И огромные очки! — Ладони сложились в две подозрительные трубы. — А ты издавал факультетскую газету. И печатал в ней свои стихи.

— Было дело, — признал я. — Бросил, слава богу.

— Почему? Вроде неплохо получалось...

— Всему своё время. Есть время писать стихи и время... не писать их.

— Ты, оказывается, философ. — Она заулыбалась. — Я тоже писала. С тех пор, собственно, и знаю многих из городского лито. И тоже бросила.

— А ты почему?

— Некоторые вещи нельзя делать кое-как. Писать. Учить детей. Пришлось выбирать. — На дужку её очков опустилась снежинка и, блеснув в последний раз, растаяла.

В скверике развернулась баталия почище Сталинградской. Две ватаги местной пацанвы, спрятавшись за скамейками, забрасывали друг друга снежками. «Гранаты» чертили в воздухе белые полосы и «взрывались» с гулким, как удар баскетбольного мяча о щит, звуком.

В плечо со смачным шлепком ударила «бомба». Разлетелась сотней искрящихся брызг.

— Убит, — хихикнула Марина.

Я отряхнулся:

— Всего лишь контужен.

Быстро присел на корточки. Зачерпнул горсть липкого снега, сваял снаряд и швырнул в скамейку, откуда вели обстрел. Не попал. Скамейка взорвалась свистом и улюлюканьем: «Лох! Мудак! Пососи!» Ну, сучата, держитесь! Двинул к ним.

— Не стоит, — Марина мягко придержала за локоть. — Сейчас не урок и ты не в школе.

В висок стучали крошечным молоточком. Выдохнул. И правда, чего это я? Выискался, блин, боец. Слуга царю, отец солдатам. С кем воевать собрался? С детьми?

Злость потихоньку отпускала.

— Здравствуй, племя младое, незнакомое... — буркнул я.

— Именно что незнакомое. — Марина подхватила под руку и почти потащила прочь. — Тут рядом коррекционка. Контингент — не чета нашему. Мохирев

с Хавроничевым по сравнению с этими — паиньки. К тому же пришли. — Мы остановились у подъезда кирпичной девятиэтажки.

Двор пустовал. Обиженно скрипели брошенные качели. На лобовом стекле «пятёрки», покрытом пушистым белым чехлом, кто-то нарисовал сердечко и размашисто вывел: «Валера». Крыша дома сливалась с вечерним небом, и неясно было, где кончаются огни кухонь и спален и начинаются звёзды.

— Чаю? — Марина смотрела с каким-то исследовательским интересом.

— А как же муж?

Объелся груш. Висят — нельзя скушать. Господи, что я несу?

— Мужа нет, — спокойно ответила она. — Но ты мастерски умеешь испортить момент.

\* \* \*

— Зима... — Марина приподнялась на постели.

— Зима... — повторил я.

Зима в городе всегда наступала внезапно и всегда — основательно и надолго. Лето казалось далёким, как Бог, и столь же нереальным.

Из окна виднелась деревушка. Крыши домов, приодетые порошей, сложились в профиль невесты под фатой. Снежинки облепили одинокий фонарь, будто внучата дедушку. Некоторые, самые озорные, водили вокруг него хороводы: туда-сюда, туда-сюда. Тоскливую песню — об одиночестве, бесприютности, забвении — завела позёмка.

— Хорошо с вами, Иван Андреич. — Марина положила голову мне на грудь. — Поговорить хорошо. И помолчать хорошо.

На тумбочке рядом с кроватью стояла фотография: смуглый брюнет по колено в морской пене держит на руках юную Марину. Я опустил фото «лицом» вниз — не надо смотреть.

— Почему у вас нет детей?

— У меня куча детей. Сто двадцать четыре по спискам. Я мама-герой.

— Ты меня поняла.

Она повела плечами:

— В институте забеременела. Юра сказал: «Сама разбирайся». С тех пор не хочу.

— Уходи от него.

— Куда?

— Ко мне.

— Смешной... И как мы будем жить? На учительскую зарплату?

— Я куплю себе туфли к фракку. Буду петь по ночам псалом. Заведу большую собаку. Ничего, как-нибудь проживём.

— Красиво. Кто это?

— Кажется, Булгаков.

— А мне другое нравится: «Она не знала, любовь это или нет, но чувствовала: ей хочется спрятаться у него в кармане и сидеть там в покое и безопасности...» Вот что мы за люди такие? Чуть-чуть постонали и снова классиков цитируем... Одно слово — филологи.

— В смысле — чуть-чуть? Тебе мало было?

— Ну... Как бы это помягче выразиться, Иван Андреевич...

— Та-а-а-к! Марина Николаевна! Вам завтра к какому уроку?

— А-ха-ха!..

## Недоросль

Учителя ими не гордятся. Не хвалятся. Стараются не вспоминать без повода. Трудные дети. Проблемные. Неподдающиеся. О таких говорят: ума палата, а ключ потерян.

Но и среди них — трудных, проблемных, неподдающихся — найдётся один — особенный. Ребёнок-напасть. Ребёнок-катастрофа. Твой самый жестокий провал. Твоё личное Ватерлоо. Тропинка в палату его ума петляет в беспробудной чаше. Дверь замурована наглухо. Фомки о неё гнутся. Отмычки — ломаются. А ключ? Да был ли он вообще? Не помогают ни пряник, ни кнут. К чертям летят выкладки возрастной психологии. И опыт, этот выдавший виды дедушка, разводит руками: бессилён.

У Вити Костюкова в пятом «Б» друзей не было. Привычно и по-своему — нормально. В каждом классе есть не фрик, не пария даже, а... блаженный, что ли? Свой человек дождя. Его не травят. Не дразнят. Только сторонятся, хихикая. Юродивый, что с него взять?

Витя был юродивым пятого «Б». Глаза его, походившие на пуговицы старого пальто, не выражали ничего. Телом Витя присутствовал на уроках. Разумом — находился где-то далеко. Странствовал по Нарнии? Освобождал планету Саракш? Исследовал лавочки Косого переулка?

— Имена существительные в дательном падеже, — вещал я, — отвечают на вопросы «кому? чему?»...

Все записывали. Витя рвал тетрадный лист и скатывал клочки в комочки.

— Чтобы поставить существительное в дательный падеж, нужно добавить к нему слово «рад». Рад кому, чему. Маме, другу, солнцу...

Все записывали. Витя клал комочки в рот и гонял от щеки к щеке.

— Костюков! Костюков!

— А? — Он вытянул губы трубочкой.

— Что я сейчас сказал? Повтори последнюю фразу.

Витя хлопнул глазами-пуговками:

— Вы-ы-ы... сказ-а-а-а-ли...

Поперхнулась смехом «камчатка». Прыснула строгая обычно Маша Сурганова.

— Ещё раз замечу, что ерундой занимаешься, двойку поставлю. Ясно?

— Ясно, — отрапортовал Витя.

— Пиши.

Он закивал с усердием болванчика. Схватил ручку и начал судорожно строчить. Хватило Витю ненадолго. Через пару минут он выкрутил у ручки стержень, высыпал тёмные от слюны комочки в опустевший корпус и стал дуть. Шарик стучались друг о друга. «Флейта» тоненько посвистывала.

Чего он добивался? Заклинал змей? Спасал город Гамельн от нашествия крыс?

— Предложный падеж называется так потому, что имена существительные в этом падеже употребляются с предлогами... Костюков!

«Флейта» смолкла. От крысиных полчищ Гамельн избавит кто-то другой.

— Я тебя предупреждал?

Витин рот превратился в букву «О».

— Предупреждали, — смиренно признал мальчуган.

— Тогда не обижайся.

Я взял журнал и нарисовал против фамилии Костюков «лебедя».

Злорадно захихикала «камчатка». Покачала головой сердобольная Маша Сурганова.

В очереди просителей, со звонком осадивших учительский стол, Витя был первым.

— Вандрейч, а можно, пожалуйста, двойку исправить? — робко спросил он.

— Исправить? Ну попробуй. Сегодня. На седьмом уроке. Придешь?

— Ага! — подтвердил довольный пятиклассник.

На седьмом я собирал двоечников и лодырей. Дополнительное задание. Дополнительная оценка. Силой никого не тащил — приходили лишь заинтересованные. В конце концов, каждый имеет право на вторую попытку. Согласны? На всё про всё отводилось двадцать минут. Десять из них — на тест. Пять — на проверку. Ещё пять — на пресловутый оргмомент. Как же без него?

Кроме Вити подтянулись трое ребят из пятого «А» и два длинношеих восьмиклассника. Выдал задание. Одинаковое, с поправкой на сложность: словарный диктант «Впиши букву на месте пропуска» и разбор предложения.

Проштрафившиеся разбрелись по классу и принялись торопливо писать. Халковский из восьмого «Г» даже высунул от усидчивости кончик языка и нашёптывал какие-то мантры.

Витя устался на карточку с тестом. Постучал ручкой о столешницу. Пососал колпачок. Он явно не понимал, что делать. Вертелся на стуле. Егозил. Извивался, как пойманный ужок. Наконец обернулся к сидевшему позади Андрею Божко из пятого «А» и громко зашептал:

— Д-ю-ю-х!.. Д-ю-ю-у-у-х!..

— Чо? — Божко опасно зыркнул в мою сторону.

— У тебя какой вариант?

— Хватит! — прикрикнул я. — Костюков, твоя передача закончена. Свободен.

— Вандрейч... — Витины губы мелко задрожали.

— Шанс исправить двойку у тебя был. Ты им не воспользовался. Свободен!

Костюков взгромоздил ранец на спину и поплёлся к выходу. Рюкзак, будто наполненный камнями, придавливал его к земле.

На следующий день, на перемене, точно форель в косяке пескариков, я выловил в кучке вопящих и дерущихся пацанов меланхоличного Витю. Его хрупкое, едва прикрытое коротким рукавом плечо опоясывали малиновые полоски.

— Это что?

Из ниоткуда соткался вездесущий живчик Снегирёв:

— А вы не знаете, Вандрейч?! Витуса папа за двойки — скакалкой бьёт!

— Правда? — Я испытующе глянул на Костюкова.

Тот спрятал пуговики под пушистыми ресницами и печально вздохнул.

Внутри осела мутная взвесь. Вроде той, что копится на дне немой чашки. Нет, совесть не накинулась голодным зверем. Не свербела засевшим меж рёбер лезвием. Это были, скорее, лёгкие электрические покалывания. Почти неуловимые касания папиной. Ничего страшного. Жить можно. И всё же ситуация угнетала. Томила... Отчего? Я ведь просто делал свою работу? Просто делал свою работу. Так?

— Вот что, — обратился я к Вите, — пригласи-ка папу ко мне. Хочу с ним пообщаться.

Оказалось, не один я проведаль о царящей в семье Костюковых педагогической методе.

— Урод! — бушевала в учительской завуч по воспитательной работе Инна Львовна. Её трепетное отношение к чужим отпрыскам объяснялось собственной

бездетностью. — Тварь! Не поленюсь — заявлю в опеку! Он у меня сядет, мразь! Таких не прав лишать — кастрировать надо!

«Урод» приехал два дня спустя. Ввалился с мороза. Огромный мужичина в присыпанной снегом спецовке и заляпанных охряной глиной броднях. И коридор, и кабинет были ему тесны.

— Борис! — Витин папа сжал мою руку своей лапищей. Энергично затряс. Я, никогда не жаловавшийся на рост и фигуру, ощутил себя чахлым подростком.

— Вы уж простите, — гудел Борис, указывая на грязную слякоть под ногами. — Прямиком со стройки. Я там прорабом.

Прораб? Тебе бы, думаю, куда-нибудь на цирковую арену. Жонглировать гириями. Гнуть подковы. Сворачивать ложки в косицу.

— Борис, — взял я быка за рога, — у Вити по русскому «два» за четверть выходит.

— Вот засранец! — Он трахнул по столу чугунным кулаком. — Получит у меня, гадёныш!

— По-моему, у Вити проблемы с концентрацией. Не может сосредоточиться на задании. Постоянно отвлекается... Не берусь утверждать, но, вероятно, это — синдром гиперактивности и дефицита внимания.

— Намекаете, Витька мой — псих?! — сурово пророкотал прораб.

— Нет, что вы! Гиперактивность — не болезнь...

— А! — Витин отец лукаво сощурил левый глаз. — Как я вас? Решили, небось, я из этих? «Что про сына сказал? Я тя закрою, слышь?! Закрою!» Поверили, да? Ну признайтесь, поверили?

— Поверил, — покорно согласился я.

— Саечка за испуг! — Борис громоподобно расхохотался.

Кажется, насчёт цирка я угадал. Насчёт силача — ошибся. Вам бы, милейший, в паяцы.

— У мальчика непростой период, — вернулся я к теме. — Перевод из начальной школы в среднюю. Новые учителя. С ребятами отношения не складываются. С успеваемостью — нелады. Ему сейчас не розга нужна. Не палка. А помощь. Учителей. Психологов. Ваша. Не исключаю, что в классе коррекционного обучения Вите будет лучше...

Прораб отмахнулся от моих речей, как от мошкары:

— Думаете, я сына своего не знаю? — спросил он уже серьёзно. — Нету у Витьки никаких проблем. Никакого дефицита. Никакой... как её там? Активности? Одна лень. Обычная русская лень. Лень, понимаешь, нашему человеку лишний раз башку включать. Молодой ещё, помню, был. Дом ставили. Ну, и двор, понятное дело, в порядок приводили: поребрики, дорогу... И чо? Смотрю: работнички мои, долбозавры, новый асфальт прямо поверх люков ложат. Поверх! Вы, говорю, чо творите, долбошеры? Звиняй, начальник! — Борис перешёл на похмельный сип. — Малёк не подумали... Не подумали, мля! Лень было — вот и не подумали!

— Не спорю: вы знаете сына как никто. Лучше, чем психологи, воспитатели, и, уж конечно, лучше, чем я. Но поверьте: и отец может ошибаться. Ошибаться не в... постановке диагноза. А в выборе методов лечения.

— Что ж вы из меня монстра-то лепите? — оскорбился Костюков. — Думаете, меня хлебом не корми, дай Витька как Сидорову козу отлупить? Да я чего только не перепробовал! Хочешь планшет? На! Приставку? Держи! Конфетки? Ешь не хочу! Не хотите, кстати? — Он выудил из кармана горсть монпансье. — Ну и зря. А я, пожалуй, угощусь. Ты, Витёк, говорю, главное, учись. Учись. Не... Как в песок

ссать! Вечером прихожу: «Домашку сделал?» «Какую?» — и оловяшками своими — хлоп, хлоп. И двойка ж за двойкой, двойка за двойкой! Может, думаю, не понимаю чо? Может, чо не так делаю? Зато как скакалку в руки взял, сразу и шестерёнки закрутились, и оценки в гору попёрли. Так что не надо... про методы. Кому когда толковая порка мешала? Или скажете, вас родители не пороли? Не поверю!..

Аргументы истончались. Словно тонущий, я цеплялся не за соломинку даже — за ниточку, но находил лишь пустоту.

— Пороли, Борис. Ещё как пороли. Но дети — не мы. Они не обязаны быть, как мы. И не обязаны оправдывать наши ожидания. Вы хотите, чтобы дочь занималась фигурным катанием, а ей нравится игра на виолончели. Вы планируете, что сын станет программистом, а он мечтает читать рэп. У детей своя миссия. И свой путь к её исполнению. Поэтому то, что когда-то помогло вам, необязательно поможет Вите.

— Почему? — искренне удивился Борис. — Меня вот дед воспитывал. Советский офицер. Из старорежимных. До сих пор ремень его снится. Кожаный. С серпом и молотом. Науку в меня им вдаблывал. Учись, Борька! Учись! Знаете, как я деда ненавидел? Ух! А потом вырос — и дошло. Мне сорок три. Из тех, с кем во дворе гулял, один я в люди и выбился. Остальные кто на зоне, кто в земле уже. А я сорок домов в городе построил. С митрополитом за руку здороваюсь. Мэр мне лично медаль вручал. Да только если и вспомнят Бориса Костюкова, то не за сорок домов. Не за медаль. А благодаря Витьку. Он — моё наследие.

Что я мог возразить? Что мог противопоставить этой странной, болезненной, извращённой любви?

Я потёр глаза. Сцепил руки в замок:

— Хочу, чтоб вы знали: одна из завучей собирает в органы опеки документы на лишение вас родительских прав. За насилие над ребёнком.

— А, так это пожалуйста! Это сколько угодно! — Прораб закинул в рот конфету. — Флаг с барабаном надо?

Накануне четвертной контрольной я попросил Витю остаться после уроков. Протянул ему распечатанный на принтере листок. «Тихая осень».

— Это — текст завтрашнего диктанта. Его нужно выучить. Слово в слово. Запятая в запятую. Но! На самой контрольной слово в слово не пиши. Всю четверть двойки, а тут — пятёрка. Странно. Сделай пару ошибокек. Справишься?

Витя исполнительно закивал.

— И главное. Ни в коем случае. Ничего. Не говори. Отцу. Понял?

Я надеялся, я очень надеялся отыскать в его глазах хотя бы намёк на мысль.

— Понял! — отрапортовал мальчуган.

Диктант он написал на четвёрку. Допустил ровно две ошибки. «Помощник» — через «ш». «Серебряный» — с двумя «н». Уж не знаю: следовал совету или, и правда, — ошибся. С заданием намудрил — в предложении «Янтарный месяц тускло освещал спящий лес», — неправильно выделил грамматическую основу. В слове «подосиновик» назвал «ик» — окончанием. Короче, заслужил тройку. Я прибавил эти отметки к прочим. Рассчитал среднее арифметическое — 2,57. С чистой совестью округлил до трёх. Никаких пересдач, отработок и дополнительных заданий. Свобода!

Бегущей строкой промелькнули каникулы. Стартовала вторая четверть.

Витино место пустовало.

— А где Костюков? — спросил я.

Маша Сурганова смущённо переглянулась с ребятами. Неуверенно встала:

— Вандрейч, вы разве не слышали? Его папа в другую школу перевёл...

## Ночь нежна

На этот раз ночевали у меня.

Марина сидела на диване, по-турецки сложив ноги. Одеядло накинула на голову. Видны были только восточные скулы и крупный нос.

— Я — привидение — с моторчиком! — заявила она.

— Что ты орёшь? — подхватил я. — Крутом люди спят! Чаю хочешь?

— Экий вы чаеман, Иван Андреич! Вроде только что пили...

— Я про обычный чай. С лавандой. Мелиссой. Бергамотом.

— Неужели у тебя есть?

— Конечно, нет. Но как воспитанный человек предложить обязан. Есть вино.

Я сходил на кухню. Ополоснул пару заляпанных фужеров. Налил красного.

— И как ты здесь живёшь?.. — спросила Марина, принимая бокал.

Многое было в этом «как». Я по-новому увидел свою холостяцкую обитель. Увидел её глазами. К стенкам раковины прилипли комки недоваренных макарон. В сливное отверстие забился комок ниток. Под мойкой — китайский квартал. Белыми пагодами сложены коробки «Ролтона» и «Доширака». Костёлами высятся бутылки вина. Светскости добавляют небоскрёбы пивных банок. В обивке дивана — несколько пулевых отверстий.

Атмосфера равнодушия. Бесприютности. И правда, как я здесь живу?

— Не жалуясь. Кстати, ты подумала над моим предложением?

— Каким? Стать супругой великого писателя?

— Перспективы потрясающие: Нобелевка и десяток премий помельче, фильмы, спектакли, приёмы у первых лиц...

— Слишком большая ответственность, — оборвала Марина. — К тому же я совсем не умею носить вечерние платья.

В городе строили много новых домов. Им давали позитивные, жизнеутверждающие названия. Жилой комплекс «Изумрудный город». Жилой комплекс «Солнечный ветер». Прямо по курсу возводили жилой комплекс «Адмирал». Один корпус был уже готов. Башни высотки венчали остроконечные шпили с железными флагами. Торцевую стену украсил рекламный стяг: седовласый морской волк зорко вглядывается в туманную даль. Попутного ветра новосёлам желал слоган: «Большому кораблю — большое плаванье».

— Помню такую же ночь, — заговорила Марина. — Ноябрь. Мне десять. Маму увезли в больницу. Возвращаюсь из гостей. На улице темно — только один фонарь горит. А под ним — женщина в чёрном пальто. Стоит спиной. Иду мимо и чувствую: что-то не так. Оборачиваюсь — она там же, под фонарём. Но земли, понимаешь, не касается!.. Я бежать. Домой прибегаю — и в крик. Все успокаивают, а меня — колотит, понимаешь, колотит!..

«Большому кораблю — большое плаванье», — уверяло небо.

— А утром из больницы позвонили: мама умерла...

«Большому кораблю...»

— Как думаешь, там что-нибудь есть? — Марина смотрела с надеждой.

— Какая разница? — Я обнял её. — Главное, мы здесь.

«...Большое плаванье».

## *Вы всё, конечно, помните*

В советской периодике в ходу был распространённый штамп: «Что-нибудь контрастов». Скажем, «Стамбул — город контрастов». Или, там, «Париж — город контрастов». Уверен, если бы советские глашатаи писали про Лёню, статья называлась бы — «Человек контрастов».

Рачительность, граничащая со скарედностью, уживалась в нём с гусарской щедростью. Раблезианская лень — с комсомольским энтузиазмом. Ко всему — Лёню отличала поразительная избирательная удачливость. Почему — избирательная? Пожалуй, он никогда не выиграет миллион в лотерею. Не сорвёт куш в казино или ставках на спорт. И всё же Фортуна вспоминает о Лёнином существовании куда чаще, чем, например, о моём.

В армии Лёне полагалось увольнение. Отпускали в него только в гражданской одежде, и мама прислала Лёне джинсы, в которых тот ходил на учёбу. Лёня сунул руку в карман и извлёк на свет «камень». В увольнение он в итоге не попал, но отдохнул и без того неплохо.

Лёня вообще постоянно что-то находит. Обычно — деньги. Забытые свои и чужие заначки. Скромные, но приятные суммы. В куртках и брюках, журналах и книгах, наволочках и матрасах. Однажды Лёня обнаружил мятую сторублёвку в прорехе между носком и подошвой просившего каши кроссовка. Как она туда попала? Найденные средства неизменно отправляются в ФТЧБП. Фонд того, что будет пропито.

Помимо денег, судьба подбрасывает Лёне и более неожиданные дары. Когда на окраине города загорелся хлебокомбинат, гасить пламя отправили Лёнин караул. Под воздействием жара пузырившееся в огромных чанах тесто запеклось и покрылось хрустящей корочкой. Лёня вынес из охваченного огнём здания пусть бесформенный, но всё равно душистый каравай. Даже тут не остался без награды!

На этот раз роль сыграла Лёнина всеядность. Он состоит, верно, в полутысяче сообществ в социальных сетях. Здесь вам и пацанские цитаты, и список недобросовестных арендаторов, и группа любителей светлого пива — всего не упомнишь! Одно из сообществ разыгрывало среди участников два пригласительных на концерт известного комика. Комик (между прочим, земляк) когда-то умчался покорять Москву, там пообтёрся и трижды в год наезжал в гости с рассказами, как сильно он устал от столичной суеты и как невыносимо скучает по родному городу.

Приглашения, естественно, достались Лёне. Посещать такие мероприятия необходимо в компании дамы сердца, рассудил он. Дамы сердца у Лёни нет.

— Дам много, — объясняет Лёня, — а сердце — одно.

И хотя повариха ведомственной столовой всегда подкладывает ему в борщ кусок мяса, а полногрудая диспетчер при Лёнином появлении — нервно подкрашивает губы, тот по-прежнему одинок.

Короче, пригласительные перешли ко мне. А я двинулся проторённой дорогой — в кабинет Марины.

Она машинально проверяла диктанты. Левая стопка. Дюжина кровавых ранений на полях. Оценка росчерком — резким, как «Запретить! Уволить! Расстрелять!». Правая стопка. И по новой.

— Чуть свет — уж на ногах! И я у ваших ног!

— А, это ты... — сонно откликнулась Марина. — Привет.

— Есть предложение: вечер в компании харизматичного мужчины с шикарным чувством юмора. Ещё будет какой-то стендапер... — Я помахал приглашениями. — Как тебе идея?

— Ваня, я не пойду.

— Согласен. К чёрту стендап! Распинайся битый час, чтобы развлечь два десятка ленивых бездельников. Кто в здравом уме станет заниматься подобным? Как насчёт кино или ресторана?

— Ты не понял. — Марина закрыла тетрадь с феями на обложке. Взяла следующую. — Мы больше не будем встречаться. Совсем. Никогда.

— Ого! — Я присел на край парты. — Разрыв как в бульварном романе. «Она побледнела...» «Он играл желваками...» На мой вкус, слишком мелодраматично. Давай, пожалуйста, обойдёмся без театральщины. На дух не переношу женские слёзы и мольбы о прощении...

— Прекрати паясничать! Здесь не цирк и не твой... стендап.

Она отгородилась стеной высокомерия. Выстроила её по кирпичику. Эту стену не обойти с флангов. Не взять штурмом. Не сокрушить тараном иронии. Эта стена невидима — и огромна, точно горная гряда.

— И чем, позволь узнать, вызвано твоё решение?

— Мужа люблю, — отсекла Марина.

— А как же — «забраться в карман...»?

— Помутнение рассудка. Плюс скука. Тут ты. Сам ведь этого хотел? Чёрт! Представляешь, три ошибки в слове «асфальт»? Три! «Освальд»!

— Наверное, он имел в виду Ли Харви Освальда, убийцу Кеннеди. Что теперь?

— Ты о чём?

— Что будет с Родиной и с нами?

— Есть одна китайская мудрость. Чтобы произведение стало шедевром, оно должно быть не закончено. Наши отношения будут прекрасны в своей незавершённости. О Боже! Двадцать шесть... Двадцать семь... Двадцать восемь! Двадцать восемь ошибок — в диктанте на страницу! Как так можно? Два! Два! Получай!

Я спрыгнул с парты. Положил пригласительные в карман:

— Ты для себя лишь хочешь воли... — направился к выходу.

— Что? — переспросила Марина.

— Ну как же, Марина Николаевна? Цитатами сыплете — и Пушкина не узнали? Распахнул дверь.

— Ваня... — В её голосе что-то треснуло.

Оглянулся.

— Прости меня.

Вышел.

На подоконнике сидели две семиклассницы. Увидели меня. Не сговариваясь, хихикнули.

Одна наклонилась к другой и отчётливо прошептала:

— Она в него влюблена!.. Они встречаются!..

\* \* \*

Люди двигались медленно. Вязли, как мошки в янтаре. Я отодвинул кружку от лица.

Бар назывался спортивным. Сочетание «спортивный бар» располагается, по ощущениям, где-то между «замужней феминисткой» и «принуждением к миру».

Оформлено местечко было соответствующе. Под потолком висели фанатские шарфы: красно-белые, красно-синие, красно-зелёные. Со стен смотрели легендарные атлеты прошлого. На полке за спиной бармена, среди вызывающе пузатых и подчёркнуто стройных, с почти офицерской выправкой, бутылок стояла глянцево-красная фигурка дискобола. Довершала композицию маска хоккейного вратаря: глухая, в мелкую дырочку. Таковую носил маньяк, истреблявший подростков в фильмах восьмидесятых.

Руки бармена творили неведомую магию: наливали, смешивали, взбалтывали, поджигали. Выкидывали колена. Фиглярствовали. Скоморошничали. Точно змея, околдованная мелодией факира, я заворожённо наблюдал за этой шаманской пляской.

— Давно трудишься?

— Семь лет уже за стойкой, — отозвался бармен. — Своё пора открывать!

— Назови — «Чистилище». Официантов одень как пасторов. Зал оформи в виде кабинок для исповеди. От гостей отбоя не будет! А если ещё и за психологическую помощь копейку брать...

— Девушка бросила? — понимающе спросил бармен.

— Ага. Ушла. К мужу.

— Бывает. — Он невозмутимо потянулся за моей кружкой: — Повторить?

Потом время потекло очень быстро.

Я приставал к каким-то малолеткам. Кажется, они были не против. Попытался затеять драку с какими-то рокерами. Тех было человек шесть. Рокеры оценили силы и решили не связываться. На пороге ночи мучил привокзальный банкомат. Банкомат сжалился и зажевал карту, положив конец моим мытарствам. Я пнул его ногой и попробовал унизить морально. Расстегнул ширинку и помочился на стенку. Не помогло. Похмелье надвигалось неотвратимо, как рассвет. Тогда я сел на снег и стал ждать, когда меня заметёт с головой.

\* \* \*

Тепло в сугробе только сначала. Потом леденеют уши. Потом — пальцы. Хрустящий наст впивается в лицо. Обжигает шею. И вроде надо бы встать...

В бок ткнули чем-то тупым.

— Не жарко тебе, девица?

— Во! — Я оттопырил большой палец. — Рекомендую.

— А подснежник-то говорящий! Везёт нам сегодня — раньше одни жмуры попадались. Ну всё, подъём, батарея!

Я кое-как принял вертикальное положение.

Два мента: парень и девчонка. Девчонка — вылитая кукла: пухлые щёки, длинные ресницы, наивные глаза. Парень — с плакатно-честным, хоть сейчас на доску почёта, лицом. Не скудеет русская земля дядя-Стёпами, не скудеет...

— Он тебя хочет. — Я кивнул «кукле» на напарника.

— Двигай, разговорчивый. — Мент опять в меня чем-то ткнул. Чем-то оказалась дубинка.

— Куда?

— На костёр, — хохотнул он, — к двенадцати месяцам.

Незнамо откуда — слева? справа? — снежным вихрем налетело горчичное пальто. Накрыло лавиной несильных, но частых ударов кожаной сумкой.

— Вот ты где, алкаш! — верещало пальто. — Опять нажрался, скотина! Уж чего ни делала: и умоляла, и лечила — как об стенку горох! Только я за дверь — он к бутылке!

— Анжела? — Я даже немного протрезвел.

— Узнаёт! — Она возвела очи горе. — Слава Богу! Не все мозги пропил!

— Так, женщина! — вклинился мент. — Вы кто?

— Как это кто? — Анжела топнула ногой. — Жена!

— Жена?.. — оторопел мент.

— Жена?.. — оторопел я.

Что происходит? Моя жизнь — сплошной сюр. Менты говорят цитатами из сказок. Анжела мне почему-то жена. А может, это и не жизнь вовсе? Может, я... того? В сугробе? Тогда порядок. Ад я себе так и представлял.

— Ох, говорила мне мать: не ходи за молодого... — Анжеле покорилась невиданно высокая доселе нота: — И где, где моя головушка была?! Куда, куда мои глазоньки смотрели?!

— Хорошо, — отмахнулся мент. — Только вы за ним следите. В следующий раз — заберём.

— Спасибо, товарищ полицейский!

Мент стремительно козырнул, подхватил под руку кукольную напарницу и устремился вперёд — на поиски новых подснежников.

— Эх вас, Иван Андреич... — Анжела отряхнула снег с моего плеча.

— Прекрасно воете, Анжел Лексевна. Любо-дорого послушать.

— Я по похоронным причитаниям диплом защищала. Между прочим, могли бы и спасибо сказать!

— За что? — Я пожал плечами. — Милые ребята. Начитанные. Случайно, не ваши ученики?

— Мои в основном не ловят, а сидят. — Анжела переложила сумку из руки в руку. — Кстати, не рано вы саморазрушением занялись?

— В смысле?

— Не по таланту пьёте. Толком ничего не написали, а кутите, как Есенин.

— Много вы понимаете, — огрызнулся я.

— Понимаю, Иван Андреич, понимаю, — в её голосе звучали материнские нотки. — Поверьте женщине с двумя кошками. Помните у тёзки вашего Крылова? «Ларчик»? Вот представьте: есть у вас ларчик. Вы к нему и так, и этак. Один ключ, другой — без толку. Думаете, плохо ищете? Не плохо. Он и не должен открываться — заводской брак.

Не попрощавшись, стажистка засеменила в сторону ближайшей хрущёвки. Снег, словно бывалый вор, быстро заметал её следы.

— Анжел Лексевна! — крикнул я вдогонку.

Обернулась.

— А как же супружеский долг?!

Она только развела руками: ну что с дурака возьмёшь?

\* \* \*

Домой я всё-таки добрался. Спать лёг, не снимая ботинок.

Проснулся оттого, что щёку лизала Кошка. Единственная женщина, которая принимает меня как есть.

— Брысь, скотина!

Кошка оскорблённо зашипела и удалилась на кухню.

Доковылял до ванной. Глянул в зеркало. Ну и рожа у тебя, Шарапов! Всегда завидовал людям, которые легко переносят похмелье. Я вот не из таких. У меня и трезвого видок не очень, а уж с бодуна — хоть в кино про зомби снимайся. И грима никакого не надо.

Тупой, в брызгах ржавчины бритвой поскоблил щетину. Открыл воду. Залез под душ.

После каждого загула я начинаю новую жизнь. В понедельник я выхожу на стадион: пробегаю пару кругов, пятнадцать раз подтягиваюсь и двадцать — приседаю. Во вторник у меня слишком болят мышцы, чтобы снова тренироваться. В среду всегда много работы. В четверг нападает недельная усталость, а в пятницу звонит Лёня, у которого есть предложение. На этом новая жизнь заканчивается и начинается старая.

Лёня не заставил себя долго ждать. Запиликал телефон:

— Здоров!

— Не то что бы... Башка гудит.

— Чем маешься?

— Гидратацию организма провожу: лью воду на печень.

— Короче, есть предложение...

### *Жил на свете рыцарь бедный*

Шмяк! Лёнин удар пришёлся в середину щита. Я едва успел заслониться. Плечо заныло тупой болью. Лёня продолжал наступать. Всё по фехтовальной науке: шаг, шаг, удар. Шаг, шаг, удар. Увлёкся, зараза, и плюнул на сценарий, который предполагал, что мы боремся на равных.

На равных не получалось: в отличие от Лёни меч я держал впервые. Завершился бой предсказуемо — я споткнулся и рухнул на спину. Клинок вылетел и покатился по полу атриума.

Лёня величаво приблизился. Поставил ногу мне на грудь и зычно провозгласил:

— Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!

— Переигрываешь... — прохрипел я.

Стоявшие полумесяцем зрители зашелестели аплодисментами. Добро в лице Лёни опять, в который за сегодня раз, победило зло в лице меня.

Стоп, стоп, стоп. Полагаю, вы в недоумении. Щиты? Мечи? Откуда? Отмотаем назад.

Лёнино предложение, по привычке, оказалось потрясающим. Среди его разветвлённых, будто грибница, связей отыскивались ролевики. Лёня и сам упоминал, что занимается в клубе исторической реконструкции. Размахивает мечом. Мастерит кольчуги и наконечники для стрел. По выходным ролевики устраивали показательные выступления в атриуме торгового центра. Естественно, не за так. Совпало, что в нынешнее воскресенье сразу несколько штатных артистов остались не у дел: кто приболел, кто уехал, кто запил. Свободен, как водится, был один Лёня. С самим собой он, правда, сражаться не мог — и вспомнил обо мне.

В здании размером с коробку из-под телевизора сумрачный человек выдал нам оружие и доспех. Отправились в торговый центр. В подсобке — переоделись. Лёня — в былинного русского витязя. Я... Как бы описать поточнее? Больше всего мой наряд смахивал на пьяную фантазию костюмера самодеятельного театрала. Кальсоны с внушительным гультфиком сняли с немецкого ландскнехта. Видимо, мёртвого. Латы вызывали ассоциацию с набором алюминиевой посуды, а шлем — с оцинкованным ведром.

Бой должен был длиться десять минут. Кто станет десять минут смотреть, как взрослые мужики дубасят друг друга бутафорскими мечами? Мы с Лёней рассудили так же, поэтому обычно справлялись за три. Нужно было провести восемь боёв. Каждый — пятьсот рублей. За день набегала та же сумма, что в школе — за неделю.

— Предлагаю перемирие. — Лёня помог встать. — Война войной, а обед — по расписанию.

Он вложил меч в ножны. К моему наряду ножен не полагалось, и я зажал клинок под мышкой. В ногу двинули к ресторанному дворику.

Вокруг терзали многоэтажные бургеры и хлопали колой. На нас с Лёней косились, но вяло, без интереса. Кто-то видел бой, а те, кто не видел, тоже не слишком удивлялись — мало, что ли, фриков? Шлем я снял, а вот подшлемник не стал: какая-никакая, а «маскировка». Город, как вы помните, небольшой: плюнь — и угодишь знакомому на богинок. Тут же тебе и выходной, и торговый центр, и мамы с детьми... Не ровен час, полетят завтра по школе слухи-сплетнюшки: мол, Вандреич в свободное от учительской миссии время стриптизёром подрабатывает. Амплуа: сантехник, пожарный, средневековый рыцарь.

Лёня занял место в очереди за едой. Я — облюбовал столик на краю двора. Вдали от всех.

Не помогло.

— Вандреич?! — Твою мать! Как в воду глядел: к нам спешил Костя Хрусталенков из пятого «А».

Костя из тех детей, что выше других задирают руку, почти ложатся на парту и вопят: «Меня спросите! Меня!» А спросишь — мычат что-то невнятное. Из тех, что подбегают после урока и задают кучу вопросов, хотя ответы их не интересуют. Из тех, что вечно мозолят глаза. Как их назвать? Пустые — чересчур жёстко. Я предпочитаю — необязательные.

— Ты ошибся, мальчик. Меня зовут граф де Бриссак...

— Да это же вы! Я вас по голосу узнал!

— Ну я это, Хрусталенков, я... — Я стянул бесполезный теперь подшлемник. Мокрая чёлка липла ко лбу. — Всё равно сегодня пересдачи по стихам не принимаю.

— Ма! Ма! — Костя уже тащил к столику улыбающуюся полную женщину. — Это Вандреич, наш учитель русского! Помнишь, рассказывал?!

Сидеть перед дамой? Как можно? Пришлось подняться. Болтавшийся в ногах меч, больно ударив по колену, брякнул об пол.

— Очень приятно, Иван Андреевич! — Хрусталенкова подала руку с пальцами-сардельками и назвала универсальное имяотчество.

Я не запоминаю мам и пап. У меня детей сто тридцать штук. И у каждого — родители. А ещё — братья, сёстры, дедушки, бабушки... Заучить эту ораву — что вызубрить наизусть «Евгения Онегина». Эффектно, конечно, но смысл? За вздёрнутый нос и вечно торчащий чуб я окрестил Костю — Буратино. Понятное дело — про себя. Кто изготовил Буратино? Папа Карло. А если есть папа, должна быть и мама, верно?

— Спасибо! — Мама Карло продолжала трясти мою ладонь. — Вы для Костика — авторитет! Домашнее по русскому теперь первым делаем!

Я лепетал что-то, приличествующее моменту: способный ребёнок, живой ум, немного не хватает усидчивости, но это, уверен, придёт, репетитор не нужен, нужно читать больше текстов: фантастика, приключения — всё, что нравится мальчикам его возраста, хотя и произведениями из школьной программы пренебрегать не стоит...

— А это... по работе? — Хрусталенкова обвела мой костюм выразительным взглядом.

— Безусловно. Новый проект управления образования: интерактивные уроки в публичных местах. Сегодня даём «Слово о полку Игореве». Шедевр славянской письменности. Поэтический гимн крепости русского духа. Я, как видите, изображаю половца.

— Но разве они... так одевались? — не к месту блеснула эрудицией мама Карло.

— Исследования академика Лихачёва доказали: именно так.

— Понимаю. — Она кивнула грозно и торжественно. — Успехов вам!

— Благодарю!.. — Я выдохнул: неужели пронесло? Тяжело опустился на стул.

Лёня сочувственно подвинул мне поднос с едой:

— А ты популярен...

— Не то слово. Слышал, что педагог — это навсегда. Не ожидал, что ещё и — повсюду.

— Как тебе, кстати, учительство?

— Знаешь книжку «Принц и нищий»? Где нищий с принцем — на одно лицо? Вот я — как в той книжке. Дети, родители. Вьются, лебезят. Всем что-то надо. Все тебя хотят... Волей-неволей подумаешь: али я принц?

Я хлебнул обжигающей газировки:

— Потом зарплату получу — и понимаю: всё-таки нищий.

## *Выстрел*

Я лежал на полу. Опирался на локоть.

Рука саднила. С другой стороны, а Пушкину было какво?

Тема — «Завершающий период творчества». Болдино. Женитьба. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Светские интриги. Подозрения в неверности супруги. Анонимное письмо. «Не вынесла душа поэта...» Барон Геккерн. Леонтий Дубельт. Константин Данзас. И — восьмое февраля. Чёрная речка. Роковая дуэль.

Дуэль. С французского — «поединок двоих». Среди дворян — самый популярный способ свести счёты с обидчиком. Восстановить поруганную честь.

Тут и обнаружилась закавыка. Понять, как люди по доброй воле лезли под пули, восьмой «Г» отказывался.

— Пушкин не мог, что ли, решалу нанять?! — допытывался Мохирев.

Герои голливудских фильмов выживают после автоматной очереди по ним. У персонажей компьютерных игр — бессчётное количество жизней. И только у людей обычных жизнь — всего одна. «Ставить её, единственную, на кон? И ради чего?» — недоумевали школьники. Честь? Она представлялась ребятам чем-то наподобие планеты Нептун. Вроде существует, но та-а-к далеко. Ответив на дюжину вопросов («А можно было не прийти? А уклоняться? А первым стрелять?»), я рассудил — легче показать.

Парты сдвинули к стенам. Освободили «сцену» в центре кабинета. Барьером стал чей-то рюкзак. Дантесом я назначил Хавроничева. Удивительно, но тот не возражал. После памятного разговора он как-то присмирел и потерял интерес не только к выходкам, но и вообще к учёбе. А недавно в сочинении выдал: хочу, мол, покоя. Влюбился? Впору было тащить анфан террибла к психологу. Не хватало мне в классе потенциальных самоубийц!

Восьмиклассники растянулись вдоль парт. Одни толкались, чтобы выбить места получше. Другие прятались за чужими спинами, дабы безбоязненно копаться в телефонах.

Из-под потолка за представлением наблюдали классики. Сурово сведя кустистые брови, смотрел Толстой. Снисходительно — Тургенев. Понимающе — Чехов. Довлатов вовсе не смотрел. Его взгляд был направлен в противоположную сторону. Портретом автора «Зоны» и «Чемодана» я замаскировал нарождавшуюся трещину в стене.

Уж не знаю, каким Хавроничев будет суворовцем, но бретёр из него пока получался так себе. Мальчишка стоял, по-ковбойски расставив ноги. Одну руку — засунул в карман толстовки. Другой — поигрывал, словно в ней был пистолет.

Классический вестерн. Богом забытый городишко на фронтире. На главной улице — двое. Прищуренные глаза. Пальцы нервно тянутся к револьверам. Суховой неспешно гонит пыльное перекасти-поле. В небесах величественно парит кондор.

Я не без труда отогнал наваждение. Кинематографично, да. Но у нас — совсем другое кино.

— Лёша, по тебе не промахнётся даже штурмовик из «Звёздных войн».

Подошёл к Хавроничеву. Взял парня за плечи и развернул боком. Левую его руку — прижал к бедру. Правую — согнул в локте.

— Люди пусть и стреляли друг в друга с десяти метров, погибать всё же не хотели. Вот и старались по максимуму сократить площадь обстрела.

Вернулся на исходную. Принял ту же позу: боком, к бедру, в локте. Зеркальное отражение. Себя как в зеркале я вижу. Но...

— Повторяй, — говорю я Лёше.

Делаю короткий шаг вперёд. Хавроничев, дурашливо улыбаясь, двигается навстречу. Кто мы? Враги? Да какие враги... Люди — по разные стороны. Пары шинелей. Школьного ранца. И поменяй нас местами — вряд ли изменится суть. Но один почему-то изображает, что учит другого.

— Немного не дойдя до барьера, Дантес стреляет...

Лёша наводит на меня палец-дуло. Губами издаёт странный звук. Паф? Чпок?

— ...И ранит автора «Медного всадника» в живот.

Медленно сползаю на пол. Боже! Как горячо!..

— Маслину поймал! — гыкает мелированный Стасов.

— К Пушкину бросаются секунданты. Готов ли тот продолжать? Готов! Поэт мужественно терпит боль. Дуэльный пистолет тяжёлый, и рука его дрожит. Но незадолго до поединка Пушкин купил массивную трость, чтобы тренировать кисть. Он собирается с силами. Приподнимается. И целится. Целится. Целится... — Я ловлю восьмиклассника на мушку большого пальца. — Важно не промахнуться. Ведь второго шанса не будет...

В животе разворошили груды тлеющих углей. Ноги холодеют. Я лежу и целюсь в человека, в которого не хочу стрелять. Из-за женщины, которую... люблю? Люблю ли? «Лепаж» ходит ходуном. Пот застит глаза. В нескольких шагах двоится, троится мой несчастный противник.

Хавроничев бледнеет. Съёживается, пытаюсь стать уже, тоньше, чем есть.

— Валите его, Вандреич! Валите! — отчаянно выкрикивает Морозов.

За окном захлёбывается лаем собака.

— Бам!..

Выстрел отражается от потолка. Рикошетит в стену. Транзитом от доски настигает Лёшу. Вождь команчей пошатывается и едва не падает. Ойкает Пирогова. Впечатлительная Полярчук закрывает лицо ладонями.

— Пуля пронзает французу руку. Расплющивает пуговицу на груди. Но не сражает Дантеса, а всего-навсего слегка травмирует рёбра.

— Бляха... — с досадой выдыхает Морозов.

— Через два дня Александр Сергеевич Пушкин в страшных мучениях умрёт в своём доме в Санкт-Петербурге. Его похоронят в родной Псковской губернии. Дантеса вышлют во Францию, где он доживёт до глубокой старости и скончается

в возрасте восьмидесяти трёх лет. Знакомым из России он всегда будет представляться как тот, «кто убил вашего поэта»...

— Пидор! — заключает Морозов.

В просвете двери показались кудряшки Анжелы.

Я встал. Отряхнул пятую точку.

— Свободны. Домашнее — перечитать конспекты по теме «Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина». На следующем уроке — тест.

Старшая над филологами, как всегда, сперва дождалась, когда восьмиклассники покинут кабинет, и лишь затем переступила порог.

— Анжел Лексевна! Чем обязан?

— Я к вам по серьёзному вопросу, Иван Андрейч.

— Ну наконец-то!

Она оставила остроту без внимания:

— Близится Новый год. Запланированы некоторые праздничные мероприятия.

Но вопрос не в этом... — Руководитель МО запнулась, кажется, подбирая слова: — В декабре исполняется пятнадцать лет, как Михаил Иванович руководит школой. Мы с завучами посоветались и решили сделать ему маленький сюрприз. Организуем фуршет. На нём каждый педагог лично поздравит директора. Приветствуется любой формат: тосты, шутки, сценки...

— Я, знаете, не мастак петь дифирамбы.

— Зато, уверена, преуспеваете в серенадах, — съязвила Анжела. — Не потому ли, интересно, Марина Николаевна с недавних пор такая не выпавшаяся?

— Марина Николаевна, — отчеканил я, — страдает от неразделённой любви.

По лицу собеседницы пробежала рябь недоумения.

— Любит себя, — пояснил я. — А никто не разделяет.

— Ваши с Мариной Николаевной отношения — это ваше частное дело. Главное, чтобы они не мешали рабочему процессу. А про заводской брак — не забывайте. — Старшая над филологами помолчала. — То есть выступить на фуршете вы отказываетесь?

— Помилуйте! Я Иван Андрейч, а не Михал Василич. Моя стихия — басни, но никак не оды.

Её губы вытянулись недовольной ниточкой:

— Ожидаемо... Тогда у меня для вас другое поручение. Именно поручение. Не просьба. В день праздника состоится дискотека для старшеклассников. Сразу после новогоднего концерта. Кто-то из учителей должен на ней подежурить. Проследить, чтобы всё прошло... нормально.

— Отказаться нельзя?

— Нет! — Анжела торжествующе улыбнулась. — Все остальные коллеги уже согласились принять участие в фуршете. Я намеренно обратилась к вам в последнюю очередь. Подозревала, что проявите гонор. В общем, — она развела руками, — выбора у вас нет. Единственный вариант, если всё же передумаете, — с кем-то поменяться.

— Нет уж. Распинаться перед человеком, которого толком не видел, или два часа постоять столбом? Выбор, по-моему, очевиден.

— Хорошо. — Она удовлетворённо кивнула. — С этим, слава Богу, разобрались.

— Хотите сказать, ещё не всё?

— А вы думали? Говорю же, кроме дискотеки и фуршета в планах — новогодний концерт. В нём будут заняты все средние классы. С пятого по девятый. За подготовку номера отвечает классный руководитель.

— У меня ведь нет классного руководства.

— Знаю. Но Юлия Валерьевна, классная пятого «Б», вчера ушла на больничный. До конца года уже не вернётся. А после неё самая большая нагрузка в пятом «Б» — у вас. И вообще — кто срежиссирует концертный номер лучше учителя литературы?

— Без меня меня женили, значит? Неплохо! Вам бы, Анжел Лексевна, в шахматы играть...

— Играла, — с достоинством ответила она. — Третий юношеский.

— Вон оно что! Как на духу — вы только из-за нагрузки на меня эту радость повесили?

— Не только. — Анжела чуть-чуть подалась вперёд и прошептала: — Просто у вас склонность к театральным эффектам.

Так изящно показушником меня давно не называли.

\* \* \*

Затарaxтел звонок. Пятиклашки принялись складывать в рюкзаки тетради и учебники.

Я глянул в записи:

— Сурганова, Снегирёв и Кукушкин. Задержитесь, пожалуйста.

Мигом вспыхнули пересуды. Не, ну Снегирь — ладно... Но Маха? Кука? Они-точо? Тоже чо-то натворили?

— Никто ничего не творил! — гаркнул я. — Никаких тайн. Завтра ребята сами всё расскажут. А сейчас — давайте-ка домой.

Ребята неохотно начали разбрeдаться, пока в кабинете не осталась названная мной троица. Малость напуганная, но — заинтригованная.

— Помните, первого сентября мы обсуждали ваши хобби?

— Да! — хором отозвались все трое.

— Маша и Глеб, — обратился я к Сургановой и Кукушкину, — вы же учитесь в музыкальной школе, верно?

— Верно, — подтвердила девочка. — В одной группе. По классу гитары.

— А ты, Серёжа, — спросил я Снегирёва, — занимаешься танцами?

Пацан дёрнулся как ужаленный:

— Так это когда было? В началке ещё! Я давно на карате хожу! Скоро жёлтый пояс будет!

— Но, если надо, — станцевать сможешь?

— Смотря что.

— Вот это, я понимаю, мужской разговор. Не стану дальше темнить. — Я протянул каждому по листочку со сценарием, который накидал вчера вечером: — Нужна ваша помощь...

## *Поединок*

Возле столовой кипела драка. Знакомая возня. Двое пацанов — класс пятый? — катались по полу, как вцепившиеся друг другу в загривки кутята. Сука! Туф-туф (два коротких удара в бок). Пидор! Неудачная (мало места для замаха) попытка лягнуть соперника в колено. Перевернулись. Чертыхаются, копошатся: кто кого оседлает? Обдёрганные пиджаки и мятые брюки — в пыльных жёлтых разводах. Драчуны подмели собой уже, наверное, половину коридора. А что? Неплохая, между прочим, идея. Выпустил мальчишек на этаж: «Деритесь!» — и никакая техничка не нужна. Экономия опять же. Предложу директору — авось, премию выпишет.

Драчунов взяли в кольцо болельщики. «Гаси его, Диса!» «В душу лупи, Серый! В душу!» Некоторые — куда же без этого? — снимали действие на телефоны. Звездой Интернета я становиться не планировал. Хотел проскочить — перемена заканчивалась, котлетки остывали — и заметил, что один из бойцов — мой Снегирёв из пятого «Б». Тут и набросилось — оно. Вцепилось, как питбуль. Пригвоздило к месту. Бывшая говорила: «Есть у тебя, Астахов, такое слово — "надо". Очень мешает жить». Что интересно, закончились те отношения словами: «Иди-ка ты, Астахов, со своим "надо" в жопу».

Ну, я и пошёл. Раздвинул болельщиков. Поднял драчунов за воротники и встряхнул, будто два куля.

— В школе секция по борьбе открылась? Не знал. Как записаться?

— Это он начал! — завопил конопатый противник Снегирёва. — Он мою маму, знаете, как назвал?!

— Ты чо гонишь! — поперхнулся от возмущения Снегирёв. — Вандреич, не верьте! Это он, он про маму мою сказал! Урод!

— Сам урод!

— А ну, остыньте, горячие финские парни! Снегирёв, у тебя сейчас что по расписанию?

— История.

— Бери рюкзак и дуй на историю. Только отряхнись.

— Почему вы ему верите, а мне — нет? — взвился конопатый.

Я пожал плечами:

— Знаю Снегирёва — не его стиль.

— Вот это понимаю — нормальный учитель! — фыркнул кто-то из зрителей.

— Классная у тебя кто? — спросил я конопатого. — Фамилия? Кабинет?

— Не помню! — сплюнул тот. — Она у нас недавно...

— Не втирай, Диса, — просипел один из болельщиков, смуглый пацанёнок почти цыганской наружности. — Жанмаксимна у нас второй год матишу ведёт.

Конопатый Диса полоснул правдоруба ненавидящим — «Замочу!» — взглядом.

— Спасибо, — сказал я «цыганёнку». — Тебя, случайно, не Павлик Морозов звать?

— Не, — простодушно ответил он. — Сева Кочнев.

Жанну Максимовну я знал. Она обитала этажом выше и, как Анжела, относилась к когорте женщин неопределённого возраста. Отличало математичку разве что выражение непреходящего испуга на остреньком лице.

— Ну пойдём, Диса. — Я легонько подтолкнул конопатого хулигана. — К Жанне Максимовне на поклон.

Зрители покидали поле боя. Поняли — интересное кончилось. Я в последний раз с тоской глянул на столовую, словно альпинист — на непокорённую вершину. Когда-нибудь я обязательно нормально пообедаю. С чувством, с толком, с расстановкой. Когда-нибудь — обязательно.

Я тащил конопатого через школу на глазах у его друзей, у моих коллег, тащил, как тащит жениха к алтарю беременная невеста, и думал — зачем? Зачем я это делаю? Наказать? Да не хочу я его наказывать! Проучить? Тоже не хочу. Если не дурак — подрастёт и сам поймёт. Так зачем?! Неужели потому что... надо? «Надо». Вечный антагонист «хочу». Вывернутый наизнанку близнец. Они как ботинки — всегда парой. Впотьмах, не ровен час, перепутаешь правый с левым. Неловко, ой, неловко получится. Ведь если надо, то непременно против воли. Непременно из-под палки. А если хочу, то уж пропадай моя головушка, после нас хоть потоп и гори оно всё огнём!

И не сдружиться «хочу», и «надо» никак. Не сойтись, как Востоку с Западом. Вот я? Чего хочу? Хочу Марину. Хочу быть с ней. А значит, — не надо. И хотеть, наверное, не надо...

Добрались до кабинета математики. Навстречу мимо доски, разукрашенной параболлами и гиперболами, выкатилась Жанна Максимовна. Привычный испуг на её лице сменился почти комическим ужасом:

— Денис, ты что опять натворил? Здравствуйте, Иван Андреевич...

— Приветствую, Жанна Максимовна. Оскорбил товарища, спровоцировал драку.

Конопатый проворчал дежурное: «Это не я... Меня подставили...» — и на всякий случай: «Я так больше не буду».

— Денис, ну что прикажешь с тобой делать? — заголосила классная. — Снова маме звонить?!

Сейчас она начнёт, как говорят педагоги, «сухомлинничать». Объяснит драчуну, что такое хорошо и что такое плохо. Я в этой беседе был лишним, поэтому поспешил откланяться.

Обратно шёл с облегчением. Я задобрил «надо». Скормил ему очередной бессмысленный поступок, и «надо» — на время — отступило. Питбуль разжал челюсти и убежал, повиливая хвостом. Эфемерная, жившая лишь в моей голове справедливость была восстановлена. Будто канатоходец, в тысячный раз совершавший променады под куполом, я на секунду утратил баланс. Пошатнулся. Впервые, кажется, заметил под собой блюдец арены. Выхватил в рядах зрителей целующуюся парочку. Зависающую в телефоне девицу. Скрытого облачком сладкой ваты ребёнка. А потом — успокоился. Вернул равновесие. Чтобы — уже бестрепетно — дошагать до конца. Развернуться и повторить. Повторить, повторить, повторить...

Через пару дней я встретил Снегирёва у раздевалки пятиклашек. Он напоминал пчелника, на которого ополчились пчёлы: веки и губы — распухли, уши — болезненно покраснели.

— Кто? — спросил я.

— Никто... — отворачиваясь, буркнул мальчишка.

— Только не ври, что упал и семь раз ударился о парту. Кто?!

— Дися рыжий... С корешами... — Снегирёв шмыгнул носом. — За школой приняли. «Чё? — говорят. — Нету твоего защитника?»

## Метель

Зимой я полюбил ходить по реке.

Петлял дворами. Выбирался к набережной: в горбатых избах и точёных церквях, через одну награждённых табличками: «Памятник... Охраняется...». Почти островское Замоскворечье.

По лестнице, покрытой мёрзлой глазурью, спускался к причалу, где рядом выстроились чугунные, в человеческий рост якоря. То ли исполинские пираты брали пристань на abordаж? То ли, вцепившись когтями в пирс, рвался на волю местный Ктулху?

Ступал на лёд. Прислушивался. Раз... Два... Шаг... Второй... Треснет? Не треснет?

Чёрные, точно галки, клевали носом рыбаки. Задушенные морозом, зябли у другого берега речные трамвайчики. В струпьях облупившейся краски. С окнами, заколоченными потемневшей от сырости фанерой. На бортах голубели названия: «Дионисий», «Буревестник», «Баргузин»...

В детстве я думал, что «Баргузин» — фамилия. С ударением на втором слоге — Баргузин. Авианосец «Адмирал Кузнецов». Ракетный крейсер «Пётр Великий». Теплоход «Баргузин». Но фамилия была какая-то неказистая. Больше подходила не отважному моряку или героическому флотоводцу, а заведующему овощебазой из советской комедии.

Потом я узнал, что значит «баргузин» на самом деле...

Северо-восточный ветер.

...Ветер поднимался. Засвистело-завыло. Закружило-завьюжило.

Рой белых слепней налетел и жалил-жалил-жалил, оставляя на лбу, носу, щеках горячие и влажные следы. Запорошенные по верхнюю палубу трамвайчики будто бы просели, накренились, став похожими на могильные курганы. Рыбаки замерли, обернувшись соляными столпами.

С берега склизкими щупальцами напоздали сумерки. Наст, ещё недавно зефирно-розовый, пастельно-голубой, переливчато мерцающий, на глазах обретал грифельный оттенок. В воздухе едким отравляющим газом клубилось молочное марево вперемешку с зернистым крошевом. Всё затапливала густая, жирная, как геркулесовая каша, серость... Эх, кр-расота! Не видать ни черта! Не разглядишь и свою вытянутую руку. А если и нет её, руки? Смело? Ластиком стёрло? И мост, и берег, и город. Одна река осталась. Иди теперь по ней. Иди...

Куда?

— Уааан... — Оклик. Глухой, но гулкий. Как в детстве, когда кричали друг другу в разные концы железной трубы. Может, померещилось?

— ...Дреее... — Не померещилось...

Позади — тоненький силуэт. Фиолетовая куртка. Шапка грубой вязки. Дурацкий помпон.

— ...Ииич!

Полосатые варежки. В руках — мешочек. Судя по очертаниям — с коньками.

Бараева?!

— Фух! Догнала! — Света затормозила, чтобы отдышаться. На её щеках выступили красные пятна. — Я вас по рюкзаку узнала.

— Бараева! С тебя новые брюки!

— Зачем?

— Сама-то как думаешь?

— Вандрейч, а вы куда? — Она зашагала рядом. Ускорилась, чтобы попасть со мной в ногу.

— Будешь глупые вопросы задавать — перестану пятёрки ставить.

— Простите... — смутилась Света. — А я на тренировку, — и указала туда, где понимал я, должен находиться каток.

— Фигурное?

— Конькобежный. У меня первый взрослый! В сборную хочу.

— Похвально. Спортсменка, комсомолка...

— А вы — всегда мечтали учителем быть?

Я фыркнул:

— Знаешь, откуда берутся учителя?

— Из педа? — неуверенно предположила Бараева.

— Ничего подобного. Их делают на специальной фабрике. Тамашний мастер нашёл секрет бессмертия — наплодить как можно больше маленьких копий себя. Внешне они разные: разного пола, роста. С разным цветом волос. Но если не сломаются

в первые пару лет, превращаются в копию создателя. Спрашивают, не забыл ли ты голову, и объясняют, что хотел сказать автор.

— Опять шутите! — надулась Света.

— Серьёзен как никогда.

— А вот вы рассказывали про Пушкина. Как он из-за жены на дуэли стрелял...

— Допустим.

— Получается, он её любил? Раз жизнью пожертвовал?

— Получается...

— А как понять, что любишь, если никогда этого не испытывала? Не любила, не любила и вдруг полюбила! Как не перепутать? Что, если это не любовь, а...

— Многовато вопросов. Вызывайте повесткой.

— Ну Вандреич... Вы же уч-и-и-тель... Вы зн-а-а-ете...

Хотелось заорать. Чтобы разбудить задремавших рыбаков. Чтобы вспугнуть редких птиц. Чтобы лопнули лёгкие, связки, железы. Я! Ничего! Не знаю! Слышишь?! Ни-че-го! И никто — ни Анжела, ни Марина, ни Гриша — не знает! И мама с папой — не знают! Ни-че-го! Мы, взрослые, так же плутаем впотьмах! И нам тоже страшно! Очень страшно, слышишь?! Страшнее, чем вам! Ведь у вас впереди — всё! А у нас впереди — что-то... Вот только у нас ещё за спиной — короб: с обидами, разочарованиями, порушенными иллюзиями... И короб этот пригибает к земле. Ниже. Ниже. Ниже...

Не заорал. Остановился. Выдохнул. Скинул рюкзак, тяжёлый, как верблюжий горб.

Широко расставив руки, лёг на спину.

— Вандреич... Вы в порядке?.. — опасливо спросила Света.

— Не бойсь, крыша не поехала. — Я расчистил снег слева от себя: — Присоединяйся.

— Для чего? — Девушка закусил губу.

— Считай, это урок.

Бараева аккуратно сложила коньки в сугроб. Робко устроилась рядом.

— Видишь?

— Что?

— Ну звёзды?

— Ага...

— Красиво, правда?

— Красиво...

Зимой звёзды горели особенно ярко. Небо, маслянисто-чёрное на горизонте, над городом отчаянно светлело. Метель поутихла, сменившись обычным снегопадом. Казалось, не снежинки, блестящие, крупные, а сами звёзды сыплются, покрывая ровным слоем нашу маленькую планету.

— Представляешь, они были — всегда. До нас. До наших родителей. Тысячи лет. Миллионы. Я это к чему? Каждый раз, когда меня терзает какой-нибудь экзистенциальный вопрос... Знаешь, что такое «экзистенциальный»?

— Не-а.

— Что есть любовь? В чём смысл жизни? Почему Морозов упорно пишет «вокзал» через «г»? Короче, когда одолевают вопросы бытия, я просто беру — и смотрю на звёзды. И так, веришь, легко становится. Лежать бы, лежать...

...До самой весны. Пока не тронется река. А тронется — уплыть отсюда на льдине, как на бригантине. И плыть, плыть, плыть... По зелёной глади моря... По равнине океана... Пока не прибьёт к берегам какого-нибудь чудо-острова...

Мимо, высекая палками искры, промчался лыжник с шахтёрским фонариком на лбу.

— Вандреич... — прошептала Света.

— Ау?

— Мне идти надо.

Точно. Разлётся, понимаешь! Не часто ли я в последнее время лежу? В сугробе. В атриуме. В классе. Старость, наверное. Гравитация берёт своё...

Встал. Протянул Бараевой руку. Отряхнулись. Взяли пожитки и двинули к берегу.

На опорах пешеходного моста пылали граффити: привычное ОУКС, макабрическое АУЕ и самое романтическое в мире признание — «Люблю тебя, моё маленькое быдло». Я уже различал огни катка. Сновали туда-сюда тёмные фигурки. Звучала музыка, но ветер рвал мотив на части. Швырял в разные стороны ключья слов: «Не... над... эй... ся... печ-а-а-а-ль... ся...»

По склону змеилась тропинка, узкая и скользкая. Протоптанная, надо думать, любителями речных прогулок вроде нас с Бараевой.

— Вот мы и на месте... — Света развела руками. — Спасибо, что проводили.

— Тебе спасибо.

— За что?

— За урок.

Она ловко взбежала по тропинке. Почти на вершине — обернулась:

— А красиво вы всё-таки от ответа ушли!

Я, наконец, разобрал доносившиеся с катка слова: «Не надо печ-а-а-а-литься, вся жизнь впереди...»

Взмахнув мешочком с коньками, Бараева скрылась из виду.

А что ты хотела услышать, Света?

Что любовь разделяет, а нелюбовь, наоборот, — уравнивает? Что без любви жить нельзя, а с нелюбовью — можно, и очень долго? Что в этой игре, выбирая между красным и чёрным, самое верное — ставить на zero?

Вот, в общем-то, и всё.

Всё, что я не мог и не хотел тебе сказать.

## *Дороги, которые мы выбираем*

Актальный зал — место для школы знаковое. Культовое.

Не менее культовое, чем зал спортивный или пресловутый школьный двор. Актальный зал располагает к действиям. Побуждает самим названием. Но запоминается обычно — словами. Про начало начал. Путёвку в жизнь. Дороги, которые мы выбираем.

Зал был скромным и вмещал, по ощущениям, человек сто. Этого, однако, хватило. Кресла заняли педагоги и выступающие. Рядовых зрителей набралось немного. Я насчитал десятка два болельщиков и всего пару-тройку мам.

Сцену обрамляли бордовые кулисы. К потолку тянулись виноградины воздушных шаров. Из шаров, скрученных в колбасы, на заднике выложили четырёхзначное число. Порядковый номер наступавшего года.

В связи с праздником уроки сократили. Программа ожидалась насыщенная. Концерт — для всех. Дискотека — для старшеклассников. И, наконец, фуршет — сугубо для учителей. На концерт отводилось два часа. Свои номера во славу Нового года

и нашего мудрого кормчего представляли классы с пятого по девятый. От повинности освободили только начальную школу — рано, а также десятые-одиннадцатые — ЕГЭ. А ЕГЭ — как война: всё спишет.

Вести концерт доверили выпускникам: смазливому парню с родинкой на шее и статной блондинке, которую высокая причёска и несколько вульгарный макияж делали старше половины учительниц.

— Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! — певучим баритоном вещал обладатель родинки. — Рады приветствовать вас на мероприятии, посвящённом самому любимому, самому народному, самому семейному празднику в России...

— ...Новому году! — принимала эстафету партнёрша.

Зал низко гудел, точно растревоженный, но пока не перешедший в атаку улей. Бликовали телефоны. Мамы поднимали их над головами, готовясь запечатлеть чад для истории.

Между рядами суетился Гриша с камерой. Поочерёдно наводил её то на зал, то на сцену. Камера выстреливала очередями сухих хлопков.

Классы выступали в, так сказать, порядке возрастания. После пятого «А», исполнившего танец снежинок, настал черёд моих птенцов.

— Новый год — пора чудес... — ведущий выдержал паузу.

— А есть ли на свете большее чудо, чем... любовь? — подхватила блондинка. — О любви, нагрянувшей в канун Нового года, нам поведаёт коллектив пятого «Б»!

Я скрестил пальцы. С Богом, ребята!

В углу сцены поставили два стула. Добавили микрофонную стойку. Появились Сурганова и Кукушкин с гитарами наперевес. Маша что-то — кого-то? — выискивала в зале.

Я встал. Широко улыбнулся. Показал два больших пальца.

Увидела. Тоже улыбнулась. Тронула струны:

— Сегодня, — прошептала, — целый день идёт снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже всё было засыпано снегом? Это был снег нашей встречи...

— Он лежал перед нами белый-белый, как чистый лист бумаги, — продолжил Кукушкин. — И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви...

На фоне танцевали Снегирёв с партнёршей. (Партнёршу ангажировали из другой школы, благо это не было запрещено.) Он стоял. Она бежала мимо. Задевала плечом, на ходу извинялась и бежала дальше. Он мчался следом, силясь догнать, подчинить, обуздать. Но каждый раз, когда казалось, вот-вот, когда казалось, чуть-чуть, девушка извивалась, ускользала, утекала из его рук.

— Земля была прекрасна, — выводили Сурганова и Кукушкин, — прекрасна и чиста...

Снегирёву мешала вьюга. «Снег»: квадратиками, полосками, кружками — я вчера три часа нарезал из бумаги для принтера. (Спасибо маме Саши Желтоноговой, владелице канцелярского магазина, с барского плеча выдавшей мне восемь пачек.)

Важная задача была поручена Михайлову и Бондаренко: они бросали бумагу в стоящие за кулисами вентиляторы, распыляя «снежинки» по сцене.

В конце концов Снегирёв достигал неуловимую свою суженую. Заключал в объятия. Снег одаривал их эполетами и «седыми» прядями. Влюблённые были вместе. Надолго ли?

— Я хочу, чтобы мы брели по городу вдвоём. — Кукушкин в последний раз коснулся струн. Извлёк одиноко-печальную ноту. — И чтобы этот волшебный снег не стал снегом нашей разлуки.

Зашумели аплодисменты. Сидевший на два ряда впереди директор механически повернул голову в мою сторону. Наградил одобрительной улыбкой.

— Такого снегопада давно не знала наша сцена! — засмеялся ведущий. — Интересно, в школе остался хотя бы клочок бумаги?

Я поймал на себе долгий взгляд Марины. Та заметила, что я смотрю, и отвернулась.

Маша, Снегирёв и остальные дети спустились в зал. Бросились ко мне:

— Вандрейч! Ну как? Нормально? Вам понравилось? Понравилось?

Сгрёб их в охапку, насколько хватало рук:

— Супер! Что бы я без вас делал? С меня магарыч!

Магарыч? Макарыч? Горыныч? Незнакомое, но забавное слово спровоцировало приступ веселья: ребятишки, не сговариваясь, прыгнули.

— Позже объясню, — махнул я. — Отдыхайте. Заслужили!

Окрылённые, они поспешили к выходу, перешёптываясь и хохоча. Кукушкин волочил за собой гитару по полу. Та возмущённо тенькала.

Потом было разное. Брейк-данс и барыня-боярыня. Гимнастические этюды и монолог об особенностях национального празднования.

Мужская часть восьмого «Г» зажигательно сбацила бессмертную «Новогоднюю». Стасов и Халковский, лихо отплясывая подобие канкана, горланили, что скоро всё случится. Морозов (ну кто же ещё?) с кумачовым носом и свекольными, точь-в-точь как у незабвенной Марфушеньки, щеками убедительно изобразил зимнего волшебника в глубоком запое. Наступал на полы шубы. Ронял подарки из мешка с прямоугольной заплатой. Шатаясь, наткнулся на танцоров. Один раз даже схлопотал от Стасова ногой по физиономии. Или так было задумано?

Концерт завершился фейерверком из конфетти и серпантина. Артисты и гости потянулись к дверям, оживлённо обсуждая представление.

В пёстром мельтешащем потоке меня перехватила Анжела. С чувством произнесла:

— Благодарю, Иван Андрейч! Отличный номер! Признаюсь, к стыду своему, не верила, что у вас получится что-то дельное. Рада, что заблуждалась.

— Спасибо... — От внезапной похвалы я растерялся.

— По секрету, — Анжела игриво подмигнула, — директор тоже под впечатлением. Вы здесь держитесь! — Она с неслыханной для себя покровительственной фамильярностью погладила моё запястье. — Чтобы без происшествий! С нетерпением ждём в столовой!

В ответ я смог разве что кивнуть.

Подкралась самая волнительная часть вечера — дежурство. Зал надлежало подготовить для дискотеки. Я переносил стулья назад, освобождая танцпол перед сценой.

Помочь вызвался Гриша. На его шее расхлябанно болталась камера.

— Андреич, только не тяни кота за причиндалы... — Физрук пыхтел, пытаюсь утащить сразу четыре стула. — Сам понимаешь: водка стынет, бабы преют...

— Вернусь раньше, чем ты откупоришь первую бутылку.

— Смотри! Если чо, нам больше достанется.

У сцены оборудовали диджейский пульт. За него уселся сутулый парнишка с надписью «Wanna Fuck?» на белой футболке.

За стеной бурлило. Клокотало. Гомон, похожий на яростный птичий грай. Взрывы хохота, частые, как при извержении вулкана. Истошные, на грани ультразвука, вопли.

Сверил часы — пора. Погасил свет. Отворил.

В зал хлынуло... море? Покинувшее берега. Корчующее пальмы. Сметающее шезлонги, навесы и хлипкие рыбацкие лачуги. Заполняющее всё, что можно заполнить.

Косы и бритые затылки. Кудри и конские хвосты. Мешковатые балахоны и обтягивающие платья. Футболки и топы. Колготки и джинсы. Туфли на платформе и туфли на шпильке. Кеды. Кроссовки. (Много кроссовок!)

Море, море — мир бездонный...

Диджей сдвинул ползунки на пульте. Колонки громыхнули энергичными танцевальными ритмами: бум-бум! туц-туц! пам-пам!

Море вздохнуло. Заколыхалось. По лицам, плечам, коленям прыгали пятна светомузыки: зелёные, оранжевые, фиолетовые. Играли друг с другом в пятнашки. Из-за постоянных вспышек казалось, что никто не танцует. Что все замерли. Море волнуется раз... Замерли! Музей восковых фигур. Волнуется два... Замерли! Терракотовая армия.

И так — приборой за прибором... Отлив за отливом...

Экстатическое ощущение. Наркотическое. Почти забытое. И правда, когда я в последний раз был на дискотеке? В школе? Наплывают воспоминания. Зыбкие, как туман. Смутные, будто смотришь сквозь запотевшее влажное стекло...

...Звучит романтический «медляк». На мне — серый отцовский костюм. Алая лента на спине перехвачена булавкой. Я хочу пригласить Лизу. Ту, что семь лет спустя собьёт на перекрёстке троих. Иду к ней. Мучительный страх выглядеть глупо. И — неспособность не выглядеть. Меня опережает Макс Широков, кавээнщик и балагур. В сердцах я хватаю первую подвернувшуюся девчонку. Она из параллельного класса. Стрижка а-ля восьмидесятые. Кроличьи зубы. Зовут... Арина? Карина? Можно тебя? Кивает. Все две минуты, что мы танцуем, я топчусь по её пальцам. Кошусь на Лизу и Макса. Он что-то рассказывает. Она хихикает. Когда музыка замолкает, Арина (Карина?) с облегчением избавляется от моих рук и выпаливает: «Мудак!..»

Мальчишки хаотично дрыгали конечностями, как солдаты Урфина Джюса. Сбивались в небольшие стайки. Между стайками, неприкаянный, слонялся Морозов. Некоторые засасывали его, но секунд через десять — выплёвывали. От других он отскакивал, точно мяч для пинг-понга.

Не в пример парням, девушки в основном танцевали поодиночке. По-кошачьи выгибали спины. Плавно поводили бёдрами. Грациозно покачивались.

От подобного зрелища в голову лезли — достоевское слово... — мыслишки.

Нужно было отвлечься. От мыслишек обычно хорошо отвлекают мысли — о чём-нибудь отвлечённом. Скажем, о дорогах, что мы выбираем... Улыбнулся.

Вот я? Филолог — по образованию. Журналист — по роду занятий. Учитель — по стечению обстоятельств. По иронии судьбы — исполняю обязанности охранника.

Охранник — работа буддийская и вместе с тем опасная. Почему буддийская? Буддизм учит, что после перерождения можешь оказаться камнем. А кто такой охранник если не живой камень? Неколебимый. Безмолвный. Предмет мебели. Часть интерьера.

В чём опасность? Не в том, что рискуешь получить нож под рёбра или пулю между глаз. Это жизнь наедине с собой. Полное погружение. Будто часами напролёт стоишь перед зеркалом. Вглядываешься в каждый волосок, каждый прыщик, каждую морщинку. Не всякий выдержит...

Зубодробительные бум-бумы сменила пронзительная, чувственная мелодия.

— Белый танец, — сообщил диджей. — Дамы приглашают кавалеров.

Девушки смущённо подходили к парням. Парни — тоже смущённо — обнимали их за талии.

Вдруг кто-то берёт мою ладонь. Влечёт за собой. И вот мы в самой гуще. В самом разгаре. Мелькают лица-лица-лица. Нечёткие. Смазанные, как на испорченном фото. А я — кружу Бараеву. Или — она меня?

— Вы — классный! — жарко шепчет Света. — Я вас люблю...

На Бараевой белый топ и чёрная юбка. От неё явственно пахнет спиртным.

Отстраняюсь:

— Ты когда нахлестаться успела?!

Но та льнёт, льнёт, льнёт:

— Вы не думайте... Это не потому, что я пьяная... Я давно сказать хотела...

Пора, понимаю, прикрывать лавочку. Иначе закончится оргией. А я — из-за невозможности препятствовать — её возглавлю...

Отодвигаю Свету. Прорываюсь через толпу, как через амазонскую сельву. Прокладываю путь, словно ледокол среди айсбергов.

Причаливаю к диджейскому пульту. С трудом перекрикиваю гул:

— Вырубай свою шайтан-машину!

Диджей недоумённо поднимает брови: чего-о-о?

— Вырубай, говорю! Всё! Финита!

Он кривит маленький рот, но подчиняется. Колдует над ползунками, и мелодия умолкает.

Мигом накатила волна взбудораженных, разгорячённых старшеклассников. Запричитали. Загалдели возмущённо: за что? чо такого? ещё полчаса! ещё ведь рано-рано-рано!

— Скажите спасибо тем, кто на дискотеку алкоголь пронёс! Я за ваши пьяные выкрутасы отвечать не намерен! По домам — и точка! У вас пять минут! Обжалованию — не подлежит!

— Умеете вы, Вандреич, кайф обломать... — проворчал Морозов.

— И чтоб ни одно тело по коридорам не шаталось! Не то завтра будем общаться в кабинете директора!

Разочарованно матерясь, старшаки побрели к выходу. Я дёрнул за рукав Хавроничева:

— Лёша?

— Ну.

— Бараеву проводи. А лучше на такси поезжайте.

Хавроничев не стал артачиться. Взял Свету под локоть и повёл к выходу. Девушка не сопротивлялась.

— Денег надо? — бросил я вдогонку.

Парень саркастически фыркнул: мол, я, тичер, ещё сам тебе на бедность подкину.

За пару минут танцпол опустел. Последним свой пост покинул диджей. Раздосадованный. Негодующий. Ещё бы! Художнику не дали дописать картину. Тенора прервали на самой высокой ноте.

Запер двери. Ключ опустил в карман. Ну-с? Куда путь держим, вольный человек Иван сын Андреев? Знамо куда. Буду кутить. Весело. Добродушно. Может быть, слегка поколочу посуду. С отвагой в сердце восклицая: «За нас Господь и Англия, и Святой Георг!»

\* \* \*

На вечер столовая превратилась в банкетный зал. Директор открыл кингстоны много лет сдерживаемой щедрости. Его можно было понять: каждый Карандышев мечтает хотя бы раз примерить костюм Паратова. На столах, забыв вековую вражду, соседствовали красное и белое. Пластмассово блестели яблоки и бананы. Тарелки украшал узор из пирамидок сыра и розочек сервелата.

Я присел за редкий пустующий столик. Плеснул игристого. Ноги гудели, будто это и не восьмые и десятые, а я часами отплясывал под Коржа и Моргенштерна.

В лазурном луче прожектора вальсировали пылинки. Подмигивал слайдами экран. Вот кучерявый директор объясняет оболтусам, что такое дискриминант. Вот он, уже с залысынами, сажает деревца на осеннем субботнике. Вот совсем облысевший кормчий получает медаль из рук улыбчивого власть предержавшего. Я отметил, что с годами в чертах директора становилось всё меньше прямых и ломаных линий. На смену им пришли компромиссные дуги и овалы.

Вслед за детьми свои подарки юбиляру преподносили педагоги.

На импровизированной сцене пели и славословили. Принимали позы и делали лица.

Физик Вик Альбертыч (Альбер Виктыч?) и пышнотелая музыкантша разыгрывали эпизод из «Большой перемены». Опустившись на колено, Циркуль признавался даме в любви от лица Ганжи. Та прикладывала ладошки-пирожки к бахчевым грудям и закатывала глаза. Из динамиков струилось меланхоличное: «Мы выбираем, нас выбирают...»

Виновник торжества обозревал происходящее, повесив на лицо полуулыбку. Аккуратно складывая фарфоровые ладони после каждого номера.

Церемонией руководила Анжела. Она нарядилась. Надела кремовое платье в пол. Правой рукой сжимала микрофон.левой — планшет со сценарием:

— Давно известно, что строить и жить помогает не только душевная песня, но и добрая шутка. А в профессии педагога без юмора — никак! — Анжела перелистнула страницу. — Памятуя о том, что наш директор по достоинству ценит хорошую шутку, Егор Валентиныч подготовил зарисовку о нелёгких школьных буднях.

Анжела уступила место Валенку. Географ в мешковатом пиджаке и квадратных очках, ссутулившись и оперев руки в боки, изрёк:

— В подворотне хулиганы обступили учительницу: «Давай сумочку и часы!» А она им: «Классное — забирайте, а часы — не отдам!»

Ближайшие столики вспыхнули смешками. Вкручивая в пробку штопор, пожаловал Кир в щегольском плюшевом костюме. Из нагрудного кармана озорно выглядывал шёлковый платок.

— Ваню, фотографёра нашего не бачил?

— Ноу.

— Опять Гришаня запропал. — Физрук отпустил штопор и закинул в рот виноградину. — А народ меж тем требует.

— Чего?

— Всё того же: хлеба, зрелищ и персональную фотосессию. — Кир помахал молоденькой училке за соседним столом. Та призывно улыбнулась и помахала в ответ. — Не в службу, сгоняй до тренерской, а? Мож, он там? Я бы сам, да не хочу момент упускать.

— Чего не сделаешь ради любви? — Я поднялся.

— Золотой ты человек, Ваню! — цокнул Кир. — Проси что хочешь. В пределах разумного.

— Возможности разума — беспредельны. Тебе ли не знать?

Мужчины шептали дамам на ушко что-то игривое. Кто-то уже положил кому-то голову на плечо. Географ продолжал осыпать публику остротами:

— Вчера у магазина стройматериалов пьяная учительница русского пыталась исправить вывеску с «Обои» на «Оба».

Путь в спортзал лежал через слепую кишку коридора. Прямо и направо. Снова прямо. И снова направо. Том-том-том, катилось впереди эхо. В окне посапывал школьный дворик. Кутался молочным, в чёрных проталинах, одеялом. Низко нависали звёзды. Протяни руку — и выкрутишь любую, будто лампочку. Потускневшую. Холодную.

Окна в зале затаили сеткой. Волейбольной? Рыболовной? Сквозь неё лился лунный свет. Чертил на полу клетчатую разметку. Плитка шоколада из Книги рекордов. Шахматная доска для великана. Е2 (едва-едва...) — Е4 (вдох глубокий, ноги шире...).

Под дверью в тренерскую — узкая жёлтая полоска. Не ошибся, выходит, Кир. Не ошибся.

Приоткрыл. Со стен лоснились телостроители. Улыбались распаренные лыжники. Медали с лентами цвета флага. Жестяные кубки. На тумбочке — резиновый тренажёр-кольцо. Два бокала с липкими остатками на доньях. По ободку одного ползёт мушка. В такой-то мороз?

На продавленном диванчике, накрытом махровым пледом, целовались Гриша и Марина. Физрук старался растегнуть молнию на её платье. Молния — тугая, с маленькой собачкой — не поддавалась. Но Гриша упорно не оставлял попыток.

Я кашлянул:

— Извините, что помешал...

Марина вспорхнула, нахохлившись, как пичуга. Смятенный, подскочил и Гриша.

— Грисаныч, тебя в столовой ждут. Сниматься хотят...

Вышел. Марина? С Гришей? Кто бы мог подумать? Хотя... Конец года. Вино. Усталость. А дома? Готовка. Уборка. На выходных — театр. Готовка. Уборка. Театр — на выходных. И так хочется приключения!.. Почувствовать себя школьницей, что впервые целуется с симпатичным парнем. Впереди — жизнь. Ковровой дорожкой стелется навстречу новому, счастливому. А утром настанет похмелье. Заболит голова. И будешь, глядя в зеркало, стыдливо прятать глаза: ну зачем? зачем?

Иду мимо учительского туалета. Оттуда — какое-то бормотание, какие-то вздохи. Ещё одна пара влюблённых пташек? Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. То ли дело Грисаныч с Маринколавной? Спортзал — тут вам и диванчик в тренерской, и маты. Все условия. А в сортире что? Голой задницей о плитку?

Пробежал бы дальше. Да из уборной, как цветок через асфальт, пробивается тоненький голосок. Не н-надо... Пож-жалуйста... Не н-надо... Знакомый голосок. И явно не из учительских.

Питбуль обнажает слюнявые клыки. Угрожающе рычит: р-р-р!..

Да нахрена мне это? Вот скажи — на-хре-на? Там водка стынет. Бабы опять же... преют.

Питбуль вцепляется в лодыжку: ар-р-р-гх! И тянет, тянет, тянет.

Чтоб тебя! Сука! Сука! Сука!

Внутри черным-черно. Плещет в умывальнике вода. У кабинок сучит ножками гигантский паук. Копошится двуспинное чудовище.

Нет. Не чудовище. Парочка. Он и она. Как чувствовал, блин. Как чувствовал...

Она. Светлый мазок топа. Тёмное пятно юбки.

Он. Пузырь толстовки. Ядовитые кроссы.

Глаза наконец привыкают. Наконец вижу. Парень в оранжевых кроссовках — Хавроничев? Хавроничев! — распинает Бараеву на стене. Вдавливает. Вминает, навалившись. Закатывает и без того не монашескую юбку. Розовеют трусики. Света болезненно всхлипывает:

— Не н-надо... пож-жалуйста...

Мысли проносятся селевым потоком. Хавроничев? Бараева? Но откуда? Я же вас домой отправил. Домой отправил. Отправил. Домой. Откуда? Вы? Здесь? Откуда? Откуда? Откуда?

А потом не думаю.

Беру Хавроничева за плечо. Разворачиваю на себя. Лицо его мультяшно вытягивается. Тичер?! Ты?! Отвожу кулак — хрум! С таким звуком лопается куриное яйцо. Отвожу кулак — крак! С таким звуком трескается лёд. Отвожу кулак — хрум! Отвожу кулак — крак! Отвожу — хрум! Отвожу — крак! Хрум! Крак! Хрум! Крак! Хр-у-у-у-р-а-а-а-к!

Из носа у Хавроничева бежит липкая струйка. Глаз заплыл. На зубах пузырится кровь.

Шершавый воздух кромсает женский вскрик. Анжела.

— Иван Андрейч! Вы что натворили?! Что?! Вы?! Натворили?!

## *После бала*

На двери кабинета был нарисован член. Чёрным по белому. Маркером по грунтовке.

Рядом — надпись: «Я тебя сука...» Дальше — неразборчиво. Скорее всего, автор пояснял, каким извращениям хочет со мной предаться.

Зашёл внутрь. Бросил на пол рюкзак. Стал заполнять журнал. Число: двадцать девятое декабря. Тема: «Художественные особенности творчества...»

Зачеркнул. Черкал, черкал, черкал, словно хотел порвать, прорваться с исписанной страницы на чистую. На месте темы вырос уродливый пук грязной соломы. Около него, на маленьком незамаранном островке, вывел: «Что дальше?»

За стенкой бушевала перемена. Многоголосая. Многогорлая. Йодли. Камлания. Звучные, как в индийском кино, затрещины. Топот, сделавший бы честь взводу солдат.

Заглянула Лидочка — англичанка, с которой советовал замутить Кир.

— Иван Андрейч, вы свою дверь — видели?

— Видел.

Иностранка надула щёки:

— Нехорошо. Надо убрать. Дети смеются.

— Ну пусть тот, кто рисовал, и убирает.

— Иван Андрейч!

Встал. Цапнул тряпку, белую и твёрдую, точно окаменелость. Пару раз макнул в ведро. Не отжимая, вышел в коридор.

Восьмой «Г», как всегда, тусил группками по интересам. Спортки — налево. Рэперы — направо. Гики — посередине. Хавроничев сидел на подоконнике, оперев

оранжевый кроссовок в батарею. Нос его распух, как подгнивший баклажан. Из правой ноздри торчала свёрнутая колбаской вата. Вокруг увивались подпевалы. Перекидывались матюгами: «Отхерачить... из-за шкуры какой-то...»

Кодла притихла. Притихли и остальные, словно на радиоприёмнике убавили звук.

Чпок. Чпок. Чпок. Мутные капли с тряпки тяжело били о линолеум.

— Твоя работа? — Я кивнул на рисунок.

Хавроничев зыркнул на дверь. Хлюпнул левой ноздрёй.

— С какого?! Хехли как чё, схазу я?!

— Больше некому. — Я швырнул тряпку ему под ноги. — Вытирай.

— Не буду! — рыкнул Хавроничев. — Сами вытихайте!

Между нами незаметно возникла Бараева.

— Не надо, — шепнула она. — Я вытру.

— Мне плевать, кто вытрет. Через две минуты звонок. Чтоб дверь чистая была.

Пошёл обратно.

— Вандхеич! — Окрик в спину. Как нож. Как пуля.

Обернулся.

Хавроничев прыгнул с подоконника. Как тогда, во время нашей дуэли, широко расставил ноги. Теперь он напоминал не стрелка, а памятник. Медный ли? Бронзовый? Поди разбери. Почти статуя командора. Ох, тяжело пожатье каменной его десницы.

— Вот вы... Вы... Хехачите!.. Унижаете!.. — Слова давались Хавроничеву с трудом, будто он пережёвывал песок. — Хотя тип учитель!.. Тип учить должны!.. А как?.. Как мужик — учитель тем более? — может детей бить?!

Казалось, ноги его в оранжевых кроссовках охватило пламя. Пламенный революционер, он был в своём праве. И он был — прав.

Я обвёл их взглядом. Некоторые отворачивались. Другие прятали глаза. Но все: спортсики, рэперы, гики — сомкнулись, составив единое существо. Даже Света, застывшая между, отступила назад, к своим. Кирпичик вернулся в нишу. Боец занял место в фаланге.

— Как — мужик — может — бить — детей?! — повторяет Хавроничев.

— А вы разве — дети? — отвечаю я.

\* \* \*

— Мы не будем подавать в суд.

У старшего Хавроничева жёсткое, наспех вырезанное из дерева лицо. Рот — небрежная прореха. С сыном они совсем не похожи. Старший выбрал на стене точку и гипнотизирует её, намереваясь прожечь дыру.

Мы у Анжелы, в её кабинете-гробике. Суд-тройка? Он самый. Да только судят — меня. Во главе стола Лёшин папа. Обвинитель. Одесную Анжела. Защитник. Ошуюю я. Обвиняемый. За дверью Лёша и Света. Свидетели. Девочка-пай рядом жиган и хулиган. Их уже допросили.

Первой Свету. Глазки в пол. Ручки на коленях. Была на дискотеке... Со всеми... Леся Полярчук предложила выпить... Я не пью, но тут захотелось... Что пили? Кажется, ликёр. Я точно не помню. Потом? Не помню... Ничего не помню. Простите! Я дура, дура, дура...

Следом Лёша. Порывается съесть губы. Ванёк... то есть это... Вандхеич... говорит: по домам. Мы с хебзями и двинули. Тут Светка. За хуку меня — и ташит: пойдём да пойдём. А сама чуть не в похтки лезет. Ну вижу, что пьяная, и чо? Хехли отказываться? Она мне так-то давно нхавилась. Да не насиловал я её! Не насиловал! Ё-моё, бать, ну хоть ты-то?!..

Один из них врёт. Или оба. Или никто.

Хавроничев-старший похож на садовода, что тщательно взращивал, педантично удобрял, поливал строго по графику, а однажды утром — обнаружил урожай погибшим. Отрицание в его глазах уступило место гневу. Гнев пророчил депрессию и скорое принятие.

— Мы не будем подавать в суд, — повторил старший. — Не нужно выносить сор. Родители девочки претензий не имеют. Но и этот, — его палец флюгером повернул на меня, — в школе не останется. В ней не место тем, кто бьёт детей.

— Хорошо, я напишу заявление по собственному.

Кто это сказал? Кто здесь? Чёрт, да это же мой голос! Мой! Только... не мой. Утробный. Мокрый. В горле поселилась пузатая склизкая жаба. Куа-а-а...

— Никаких по собственному, — отрезал обвинитель. — Увольнение по статье. За что — сами придумайте.

— Понимаю вашу позицию, Ярослав Тихонович, — робко вступилась Анжела. — Иван Андрейч, безусловно, ошибся. Неправильно оценил ситуацию. Но...

Хавроничев жестом пресёк возражения:

— Я знаю много способов испортить человеку жизнь. Увольнение по статье в сравнении с этим — возня в песочнице. Выполните мои условия — прибегать к ним не стану.

Я не представлял его хрестоматийным следаком. В синем кителе. С лампой-полиграфом под рукой. Или опером. В свитере и ботах-говнодавах. Со шлангом или чулком песка в качестве увесистого довода: чистосердечное облегчает. Он не был ни хорошим полицейским, ни плохим. Он был — равнодушным. Как сама система. Вот он набирает протокол. А слышно, как скрипят шестерёнки. Вот распечатывает его на принтере. А слышно, как мелют жернова.

— Что будет с ребятами?..

Старший медленно, словно башню танка, повернул голову. Прицелился:

— Я думал перевести Алексея в суворовское. Придётся ускорить процесс.

— Виноват парень или нет, если сейчас от него откажетесь, — потеряете навсегда.

Прореха его рта, на время схваченная, опять разошлась:

— О наших с сыном отношениях печётся человек, который сломал ему нос. Как мило.

— Неужели вы никогда не били мальчика?

Лёшин отец не разъярился. Не вскипел. Но что-то в нём лопнуло. Рубили толщу вечной мерзлоты, рубили — и прорубили. А там — горячее, живое, пульсирующее...

— Что происходит в моей семье — не ваше дело! — Он до белизны сжал кулак. — Алексей в детстве синий ходил. И что? Вы должны были его воспитывать. Не избивать! Воспитывать!

— А что в таком случае должны делать вы? — тихо спросил я.

## *Давно, усталый раб*

Вагон мягко качнулся. Замер. Шапки-петушки, фуфайки и валенки потянулись к выходу. Я не выделялся. В антресольных закромах отчего дома отыскалась ушанка. Зелёный рыбацкий бушлат хранил ещё запах пойманного карпа. Ноги облегали подбитые гвоздями берцы — память о тревожной юности. На плече бряцала спортивная сумка.

Улица встретила морозным парком. Осмотрелся. Обшарпанная коробка станции. Ветхая, будто из соломы скамейка. Заржавевшая на краях табличка: «Посёлок Новаторы».

Приехали — доволен? Дальше куда?

Навьюченные поклажей дачники тихо утекали в сторону Новаторов. Тронул за локоть семенившую мимо бабку:

— Мать, до Шишебарова как добраться?

— До Шишебарова? Туда километров сорок, милой.

— Автобус ходит?

— Только машина с продуктами. Да ты Мишку спроси, — он в сельпе шофёром.

Найти магазин оказалось несложно. Это ведь раньше все дороги вели к храму. Сейчас — к магазину. Он — языческое капище и христианский алтарь. Мекка и Иерусалим. Он всех приемлет и всех уравнивает. В нём каждому рады и никого не осуждают.

У дверей с утра пораньше толпилась сельская интеллигенция. Сизые носы. Сладковатый душок перегара. Обильно унавоженная матом речь:

— ...Нюрк, говорю, займи полтос в счёт будущих концертов...

— ...А я ему: «Ща не Союз, начальник! Те не похеру, на что пью?!»

— ...Жить надо по философии. По философии Фрейда, мля, Ницше, мля...

На задворках прятался старый ЗИЛок. Из распахнутого капота, как из пасти аллигатора, торчали голубая олимпийка и обтягивающие пухлый зад трико.

— Ты Мишаня?

— Ну, — буркнул олимпийка. Я-то, мол, Мишаня, а ты что за хрен?

— До Шишебарова докинешь?

— На кой тебе в Шишебарово? — Шофёр, пыхтя, вылез из пасти и стал вытирать ладони о трико. — Там на всю деревню две калеки.

— Должок.

— Должок? — Мишаня погрозил масляным пальцем и скрипуче протянул: — Должо-о-о-к!

Я снимаюсь в комедии. В застойной комедии. Где неясно: когда смеяться? когда рыдать? Где сантехник Борщов делит лестничную клетку с переводчиком Бузыкиным. Где отмечают День взятия Бастилии и в моде цветовая дифференциация штанов. Сейчас как выпрыгнет из кустов усатый режиссёр. Как заорёт в матюгальник станиславское: «Не верю!» Фасад сельпо окажется декорацией. А местная «интеллигенция» — массовой, набранной по объявлению: «3 руб. 62 коп. съёмочный день». И что делать? Только подавать реплики.

— Так чего? Едем?

— Не-е-е... — Мишаня достал из кармана жёваную сигарку. Подул. — Свечам казда.

— А если смазать? — Я брякнул содержимым сумки. — Разок туда? Разок обратно?

На сумку шофёр глянул заинтересованно:

— Разок-то, кажись, маловато будет...

— Туда две и обратно столько же. Но выдвигаемся сейчас.

Ударили по рукам. Я забрался в кабину.

Всё в ней: сиденья, коврики, даже лобовое стекло — пропахло ядрёной — не вытравишь! — махоркой. Над рулём дамочловым мечом нависал треугольный вымпел. Длинная, словно багет, машина пересекает коренастую букву «Т». Снизу подпись: «Чёрно-белый навсегда».

Рядом с шумом взгромоздился Мишаня.

— Весна опять пришла... — просипел он и повернул ключ зажигания. — И лучики тепла...

Грузовик недовольно зафырчал, будто кот спросонок. Обкашлял «красную профессуру» чахоточным дымом.

— Козёл, Миха! — заперхал один из калдырей.

— Не гунди! — хекнул водитель. — По утрам пьют только аристократы и дегенераты!

Мы неспешно покатали к выезду из Новаторов.

— Была у меня в Шишебарове баба. Ух! — вешал Мишаня. — Сиськи — во! Жопа — во! — Он отпустил руль и показал, насколько «во». — Отраву гнала знатную.

ЗИЛок потряхивало. Он громыхал дверцами. Дзинькал стёклами. Дребезжал винтиками, болтиками. За окном накинущие белые шинельки, неотличимые, как солдаты в строю, убежали сосны.

— Эти в Новаторах тоже пробуют, — пренебрежительно обронил шофёр. — Кто на яблоках, кто на картошке. Но такая, скажу тебе, бормотуха получается. Городские, чо?

Китайский божок над бардачком мерно поддакивал: так-так-так. «Пусть даже через сто веков в страну не дураков...» — хрипло пророчествовала магнитола.

Я откинулся на сиденье. Сколько таких Шишебаровых? Три дня скачи — не доскачешь. А Новаторов таких сколько? Да полстраны, почитай. Будто и не одна Россия — две. Две сестры. Неродные. Сводные. Из общего — лишь фамилия. Первая — городская фифа. Фитнес. Шопинг. Шугаринг. Вторая — дородная деревенская баба. Из тех, что коня и в избу. И вроде бы что их сравнивать? Попривык ты к городской красоте. Попритёрся. Да как познаешь ту, русокошую, кровь с молоком, так и позабудешь зазнобу — не тянет к ней больше, а влечёт к той, грубоватой, сердечной...

— Вон оно — Шишебарово. — Мишаня ткнул в бок, и я понял — задремал.

Среди нагого поля разбросало десятка полтора домишек. Будто могучий древний ледник серпом шёл вперед да отступил, спасовал перед хлипкой этой преградой. Стремительным мазком небрежного художника синел на горизонте лес.

ЗИЛок сменил воинственный рокот на глухое ворчание. Остановился.

— Адрес-то знаешь? — уточнил Мишаня.

— Тут не заблудишься.

— Смотри, — почесался шофёр. — Кореша пока проведаю.

— Свечи там сильно не смазывай. Нам ещё обратно пилить.

Я вылез из кабины. Двинул в сторону деревни. Сумка ритмично стучала по бедру.

Согбенные под сизифовой тяжестью, клонились к земле избёнки. Скалились шербатыми оградками. Учёные бьются над изобретением машины времени. Зачем? Двести километров от города — и девятнадцатый век. Ещё чуть-чуть — и покажется из-за угла девка с коромыслом. Или со свистом и гиканьем вывернут барские сани, окружённые роем вихрастых и розовошёких дворовых мальчишек.

Но нет. Никого. Только гудят провода в небе.

Вот эта улица, вот этот дом. Серый, давно не знавший мужской руки сруб. Поодаль — сарай и банька. Красная авиабомба водяной бочки. Из сугроба, будто снайпер в маскхалате, выглядывает тепличка. За ней недобрым ведьминским глазом темнеет пруд.

Толкнул калитку — как бы не так. Снега за ночь насыпало по щиколотку, а дорожку от крыльца не чистили.

— Хозяева! Есть кто?!

Тишина. Может, в погребе? Или просто не слышит?

Прошёл дальше вдоль косенького забора.

— Ау!

Дай ответ. Молчание. Не даёт ответа.

Отступил на пару шагов. Разбежался и перемахнул через ограду. Хрум! Ноги глубоко увязли в сугробе. Дохрумкал до дома. Уставился в тёмное, с паутинками по краям окошко.

За спиной скрипнул наст. Приятный холодок зашекотал ухо. Перевёл взгляд — женщина. Без весла, зато с ружьём. Седьмой десяток. Собранные в пучок волосы прихвачены инеем. На плечах, поверх стёганой телогрейки, платок цвета лежалой пыли.

— Руки! — приказала женщина.

Я послушно поднял руки.

— Теперь пляши, — потребовала она.

— Что?

— Что умеешь!

Я начал мелко притопывать и крутить ладонями:

— Эх, полным полна моя коробушка, есть и ситец, и парча!..

— Чего голосишь, как блажной?! — оборвала хозяйка.

— Сами сказали плясать. А я без музыки не умею.

— А кабы я велела портки снять да в прорубь голым задом?

— Чего не сделаешь ради женщины с оружием...

Она отвела дуло в сторону:

— Из этих, шоль? Из репортёров?

— Из репортёров, да не из этих. Я от Анжелы Паюсовой. За машинкой.

\* \* \*

Внутри дом походил на чемодан фокусника: был больше, чем снаружи.

Сидели на кухне. Среди малинового золота икон и совдеповских гарнитуров посланцем из будущего смотрелся белоснежный холодильник.

Антонина Васильевна поставила двустволку в угол и налила отвар из ромашки. «Чтоб не заболеть», — пояснила она.

— Ты зла не держи... — Хозяйка указала на ружьё. — Приезжал тут один. С камерой. Кино, говорит, хочу снимать. Про мужа вашего. Памятник ему будем ставить. Памятник, как же... А где ты, сволочь, был, когда у Фёдора ноги отнялись?!

— Братья по цеху не помогали?

Вопрос риторический. Заполнить паузу. Дать ей продышаться. Какие там братья? Волки. Лапищами цап! Зубищами клац! Хватай больше, тащи дальше. И, главное, палец, палец им в рот не клади — по локоть отгрызут.

— Не брали его в этот Союз. Потыкался, ещё в восьмидесятые. Плюнул. Писателю, мол, корочки не нужны. У других этих корочек одним местом жуй — и что? Писатели?! Да и вообще: писать — дело одинокое. Зато шас... Все друзья. Все участвовали. Поддерживали. Вдохновляли. Не любят у нас живых. Не любят. Мёртвые в почёте.

Почти купейная беседа. Недостаёт вагона. Тапочек. Чая в дрожащем подстаканнике. В остальном — та же мимолётная искренность. Ведь с кем мы откровеннее всего? Со случайными попутчиками. Такой попутчик для неё — я. Кто она для горожан? Полоумная бабка. Вместо того, чтобы почивать на лаврах («...идею романа “Праздники” Фёдору подсказала я...»), предпочла добровольную ссылку. А для сельчан кто? Старуха, которая вернулась на родину — доживать. Ну, муж был.

Книжки какие-то писал. Помер. И чо? Вдруг в её жизнь заглянул я. На час. Не дольше. Не грех поделиться. Крикнуть: «Почему?! Почему?! Почему?!» В этой занесённой по ручку двери, богом забытой глуши никто не услышит. Но, может, хотя бы легче станет?

— Почему машинка? — спросил я, чтобы перевести тему. — Компьютера не было?

— Это у вас, молодых, одни компьютеры на уме. А Фёдор говорил: писать — как в атаку идти. Или ты, или тебя. Компьютер что? Не нравится — поправил. Риску никакого. А без риску — какая ж литература?

Хозяйка поднялась из-за стола. Махнула — «за мной».

Машинка стояла на полу. В чулане, захламлённом и затхлом. Среди кургузых банок солений, венчиков зверобоя и пузатых тюков ветоши. Между пыльными кирпичами стянутых шпагатом «Роман-газет». Голубоватая. «Москва». На ней Черняков написал «Праздники» и «Грустную историю». «Нехитрую забаву» и «Королевскую шуку». Клавиши «О» и «Н» почти стёрлись. «Р» вообще потерялась. Неужто упала с трубы? Воплощение детской мечты. Мир без этой рыкающей, ревушей, фырчащей буквы. Ано-ано ыбаки ловят ыбу у еки. Им попались ак, акушка, учка, адио, игушка...

— И не жалко вам отдавать?

— Память она не в вещах. Что хочю о Феде помнить, у меня здесь. — Антонина Васильевна коснулась груди. — А тебе нужнее. Авось, и правда...

Она не закончила. Но я всё понял.

## *Всё, что было до тебя*

Уроков сегодня не стояло. Только пересдачи. Вот почему в этот предпраздничный час по школе разгуливало немало ребят. Учителя же заполняли журналы. Подбивали отчёты. А если откровенно, в основном гоняли чай большими компаниями. «Горячих» точек было несколько. Одна — в тренерской. Ко мне заглянул Кир и позвал в гости. Я поблагодарил. Расстались весьма довольные друг другом.

Народная тропа не скудела. После Кира навестила Анжела. Приоткрыла дверь, но войти, словно в палату к прокажённому, не решалась. Топталась на пороге:

— Иван Андрейч, вас директор ждёт. Хочет пообщаться.

— Иду.

Проскользнул мимо.

— И ещё... — Она замялась, выискивая что-то под ногами. — Спасибо за машинку.

— Да не за что.

Директор посещал занятия всех молодых педагогов. На мои, однако, так и не попал. Не успел? Забавно. Наш первый разговор состоится в мой последний рабочий день.

Он стоял у окна. Холёные ручки сложены за спиной. Внизу, будто кровь из раны, из школы утекали дети. И каждый раз здание без них пустело и умирало, чтобы следующим утром ожить опять. Чтобы вновь наполниться голосами. Хлопотами. Смехом.

— Люблю смотреть, как ребята возвращаются домой, — прожурчал директор. — В такие минуты я ощущаю величие нашего труда.

Маленький генерал и его армия. Уверен, он воображает себя Цезарем, ведущим легионы на Рим. Наполеоном, обзирающим Бородинское поле. Бьюсь об заклад,

у него в квартире в шкафу пылятся камзол и треуголка. А гостиную украшает портрет в образе корсиканца.

Кабинет украшали другие портреты. Со стен смотрели Ушинский, Макаренко и внезапно Дзержинский. Пойдите-пойдите... Ах да! Он же лучший друг советских детей.

Директор скрылся за массивным дубовым столом. Утонул в кресле, которое органично вписалось бы в интерьер ночного клуба. Есть в этом нечто фрейдистское. Тяга миниатюрного мужчины к крупным вещам. Сорочье пристрастие к дорогим часам и бриллиантовым запонкам. К малахитовым пресс-папье и позолоченным перьям. Из ряда выбивался только автомобиль. К удивлению, директор ездил не на танкоподобном «Лексусе» или «Рендж Ровере» размером с коттедж, а на женственно-округлом «Пежо». Интересно, как бы это объяснил любитель сигар?

— Отзывы на вас были позитивные. — Директор соединил кончики пальцев. — Разные. Но, в общем и целом, позитивные. Жаль, что я так и не побывал на ваших уроках.

Может, думаю, оно и к лучшему. Иначе пришлось бы увольняться раньше.

— Мужчины школе нужны, — продолжил он. — Очень нужны. Увы, этот мальчик... Лёша?.. Его родители...

— Этот мальчик пытался девочку изнасиловать.

— Да, но она ничего не помнит. Ситуация неоднозначная.

— Что неоднозначного? Что неоднозначного, когда вы застаёте жену в постели с другим? Или когда пятеро избивают одного?

Директор пробежался по невидимым клавишам на столешнице. Сыграл известную исключительно ему сонату.

— Вы ещё молоды, Иван. Слишком молоды. Я тоже таким был. Пылким. Бунтарём! Тоже считал, что жизнь — это вызов. Что мир делится на чёрное и белое. К сожалению, жизнь — всего лишь цепочка компромиссов. А мир... серый по большей части.

Ну да. Первый компромисс. Второй. И вот уже ложь — и не ложь вовсе. Ведь правда так велика... Кто знает, с какой её гранью ты столкнулся? И вот уже молчание — не согласия, даже не одобрения знак, а — призыв к действию. И какие только дела не творятся с благословения молчаливых.

— Мир — того цвета, в какой вы его окрасите. А отговорку «ничего изменить нельзя» придумали те, кто не хочет нести ответственность за свою судьбу.

— В любом случае не хотелось бы предавать вопрос огласке. Так будет лучше. Для всех.

А ведь ты боишься. Чёрт, как же ты боишься! Боишься, что всё это кончится. Вмиг. По щелчку. Не станет кабинета. Брендowych побрякушек. Придыхания в голосах подчинённых. Не станет власти. Такой большой — для маленького человека.

— Что вы вообще думаете? Об... этом? — Директор жестом обвёл пространство вокруг.

— О вашем кабинете?

— О школе. Всегда интересно мнение молодого педагога.

Время, считали славяне, стремится не из прошлого в будущее, а кружит по спирали. А значит, мы обречены повторять одни и те же слова. Поступки. Ошибки. Оттого, наверное, и все мои работы завершаются поистине кафкианскими диалогами.

— У меня был одноклассник. Паша. В старших классах приходил на занятия. Садился за последнюю парту. Доставал кирпич — и пилил перочинным ножом. Кирпич — ножом. Весь урок. Каково?

Директор пожевал губами. Поёрзал:

— Хотите сказать: вы тоже пилите кирпич?

— Хочу сказать: пилить кирпич интереснее, чем слушать учителей.

— Полагаете, вас слушать интересно?

Я пожал плечами:

— Теперь-то какая разница?

Он задумчиво кивнул:

— Больше не задерживаю.

На стенде в фойе висели новогодние рисунки. Большинство ребят, лукаво не мудрствуя, изобразили зимнего волшебника. Влекомый вереницей оленей дедушка торопился поздравить страну или, забросив на плечо мешок с подарками, протискивался в печную трубу. Одна работа выделялась. Густобровый боровичок, похожий не на господина из Великого Устюга, а скорее на свирепого лесного гнома, оделял счастливое семейство: мама, папа, я. Из его сидора сыпались телефоны с надкусанными яблоками. Яблоки автор прорисовал тщательнее, чем лицо мамы. О, времена! А мы расплачивались друг с другом листьями с деревьев и мечтали о «Сникерсе».

Рядом на подоконнике сидел Гриша и качал ногой. У восьмиклассников научился?

— Болтают, дембель у тебя? — хмуро спросил он.

В глаза не смотрел. Косил вниз и в сторону. Смешной.

— Гвардии рядовой Астахов несение службы закончил.

— Я тоже уйду! — Гриша яростно хватил кулаком о стену. — Вот год доработаю — и уйду.

— Ага. Давай.

Он опасливо хлопнул меня по плечу:

— Ты, Андреич, там это... Не теряйся.

— Спасибо. — Я улыбнулся. — И ты.

На излёте календарного года коллеги наводили в кабинетах марафет. Оклеивали стены бумажными снежинками. Пускали под потолком серпантин.

Я обошёлся малой кровью. Поставил искусственную ёлочку с ядовито-алой звездой. На тёмно-синих ветках пушистым ужиком свернулась гирлянда. На неделе в город нагрянула оттепель. Капель и лужи грозились отнять у праздника львиную долю обаяния. Благо ночью ударил лёгкий морозец. Под хохлому расписал окна серебристой лазурью. Плюх! Я шлёпнул ладонью о стекло. Десять секунд — и по запястью скользнула прохладная влага. Отнял руку. В отпечатке переливалась улица. Рабочие в оранжевых жилетах, точь-в-точь сытые кухонные пруссаки, вяло стягивали со щита выгоревший плакат. «Макаров. Закон и порядок». Название для сериала по НТВ. У слуги народа были челюсть Щелкунчика и лоб неандертальца. Я бы поменял на «Макаров придёт — порядок наведёт». А, впрочем, не имеет значения. Обещание-то предвыборное. Тем более Новый год на носу. Самое время пустить по венам наркотик новых надежд. Новых чаяний. Уверовать в них, как в силу молитвы. Ещё не всё дорешено, нет! Не всё разрешено! Нет, не движется жизнь по проложенному кем-то маршруту. Она в наших руках. Мы сами — кузнецы своего счастья. И выплавим, выкуем его таким, каким захотим. Вот пробьёт двенадцать — и возьмёмся за мехи и молот! Ведь так?

В дверь просочилась Бараева:

— Вандреич, я у вас посижу?

— Посиди. А ты, вообще, что в школе делаешь? Только не ври про передачу.

— Просто... Гуляла.

— Не нагулялась за полгода? Ступай. Помогай маме салаты готовить.

— Не хочу я ей помогать! — неожиданно огрызнулась всегда такая вежливая Света. — А вы правда уходите?

— Открою тайну, Свет. Только никому, окей? — Я понизил голос. — Никакой я не учитель. Я — агент британской разведки. И здесь был на задании. А тут из штаба передали: срочно нужно подкрепление — коллега Бонд не справляется. Короче, труба зовёт.

— Жалко... Вы один ко мне хорошо относились.

Что-то во мне шевельнулось. Что-то отцовское. Обнять. Погладить по голове. Всё будет хорошо. Всё уже хорошо. Я большой и сильный. Я никому, слышишь, никому не дам тебя в обиду. Но шевельнулось и что-то гаденькое: войдут, увидят? Мало тебе проблем?

— Что ты, Свет... Учителя, ребята, мама — все к тебе хорошо относятся.

— Мама?.. Мама?!. У меня один раз секцию отменили. Домой пораньше пришла, а мама там... Ударила. Говорит, папе скажешь — хуже будет. — Она закрыла лицо руками. — Извините!..

Света вскочила и, схватив рюкзачок, выбежала из кабинета.

Чем я мог ей помочь? Чем вообще учитель может помочь ученику? Разве что — подать пример. Только с кого его брать, пример этот? Не с меня же.

Стал собирать вещи. Ежедневник. Тетради. Методички. Ноут. Ноут. Ноут.

Хокку!

Каждый день  
Ноут я в школу носил.  
Спина болит у меня.

Скрипнули петли. Опять Света, что ли? Быстро она успокоилась.

Но это была не Света. В проёме застыла Марина.

— Можно? — стыдливо спросила она.

— Вам — везде.

Широкими шагами Марина пересекла кабинет. Встала у окна. Скрестила на груди руки.

Кто она сегодня? Дай угадаю. Строгая училка? Было. Роковая женщина? Было. Игривая кошечка? Тоже было. Хотя, не удивлюсь, она и сама не знает. Действует по наитию.

— Ты увольняешься?

— Пойду искать по свету, где оскорблённому есть чувству уголок.

— Не ёрничай, пожалуйста. Я этого не люблю.

— А что остаётся? Ирония, писал Довлатов, — оружие беззащитных.

Она разозлилась:

— Цитаты, цитаты, цитаты! У тебя вообще есть что-нибудь своё?

— Своё? Кому оно нужно — своё? Тебе, что ли?

Марина вздрогнула, будто от пощёчины. Часто заморгала.

Кажется, понял. Сегодня она — женщина на грани нервного срыва. А я, наоборот, — хам, агрессор, циник. Принцип зеркала. Зеркало беспристрастно, но каждый видит в нём что хочет. Маринин муж — домовитую хозяйку. Гриша — в доску свою девчонку. Я — ранимую натуру. А что если нечего, некого отражать? Тогда зеркало — просто кусок стекла, покрытый лаком.

— Я всё мужу рассказала. — С удалью обречённого Марина потрянула чёлкой.

- Что всё?
- Всё. Про нас. Про Гришу. Всё.
- А он?
- Говорит, давно пора. Сколько лет как чужие живём.

Я присвистнул:

- Выходит, развод и девичья фамилия?
- Выходит.
- И что делать собираешься?

Марина беззаботно развела руками:

- За далью — даль.
- А детей кто будет учить?
- Другие придут, сменив уют... — Она заулыбалась. — Заразил цитатами!
- Хорошо хоть — только цитатами.
- Дурак!
- Это всё, конечно, замечательно, да только я-то здесь — причём?
- Не знаю... Выговориться захотелось. Оказывается, ближе тебя у меня в школе

никого.

- Согласен — не повезло.
- Ты домой? Давай прогуляемся? Как раньше?
- Why not?
- Тогда внизу?
- Внизу.

Тоскливо вздохнула дверь. Я остался один.

Почему всё сложилось именно так? Так... глупо? Так нелепо? Почему?

Потому, Ваня, что ты всё рушишь. Потому, что торной дороге предпочитаешь колдобины и буераки. Потому, наконец, что тебе неведомо слово «планы».

Планы?

Планы-планы (кивок).

Я не против планов. Строить их — не умею. Уснуть могу в одном месте. Проснуться — в другом. Какие уж тут планы? Интересно, каково это? Планировать? Разок попробовать, что ль? Квартиру неплохо бы в центре. Двушку, а лучше трёшку. Детей. Обязательно двоих: мальчика и девочку. И чтоб разница небольшая. Плохо, когда между детьми большая разница. Сына отдадим на бокс. Дочку — на танцы. И обоих — на английский. Без английского, сам знаешь, сейчас никуда. Школу надо с математическим уклоном. Сына потом поступим на программиста. Ты же в курсе, сколько они зарабатывают? А дочку — на юридический! Там много перспективных женихов...

Жизнь как дорожная карта. Как уравнение со всеми известными. Задача, ответ на которую подсмотрели в решебнике. Ещё не прожитая прожитая жизнь.

Я не против планов. Но разве можно запланировать счастье?

\* \* \*

Ключи я сдал на вахту. С нового года у них будет новый хозяин.

Вдруг — дробный нарастающий топот. Будто пигмеи бьют в боевые тамтамы маленькими своими ладонями. Будто мчится на водопой табун диких, необъезженных лошадей.

По коридору мчались пятиклассники. Расхристанные. Вздуродраженные. В расстёгнутых куртках. Сдвинутых шапках. Со слипшимися от пота волосами.

Да это же — они! Моя команда! Мои артисты! Сурганова. Кукушкин. Снегирёв. Михайлов. Бондаренко. Великолепная пятёрка. А я, получается, вратарь?

Расставляю руки, словно перед пенальти. Ловлю их в объятия: одного, второго, третьего... Они повисают на мне, как лилипуты на Гулливере. Галдят, точно брошенные кукушкой птенцы...

— Вандреич! Не уходите! Пожалуйста! Вы — самый лучший! Не уходите! Мы директора попросим! Только не уходите! Пожалуйста! Скажите, что не уйдёте! Пожалуйста! Скажите!

— А ну тихо! Тихо, кому говорят!

— Всё из-за уroda этого, Хавроничева? Не жить ему, блин! — Снегирёв яростно впечатывает кулак в ладонь. — Стрела!

— Во-первых, никаких стрел, луков и копий! А во-вторых, вы почему не дома? Заняться нечем? Сейчас займу! Я вам что на каникулы задал?

— Гоголя читать... — мямлит Михайлов.

— Так идите и читайте! Сразу после праздников — контрольная! И вообще, это что за вид? Не стыдно? Бондаренко, сопли подотри! Кукушкин, рубаху заправь! Как босяк, честное слово! Маш, ты почему их такпустила?

Как и тогда, первого сентября, Маша делает шаг вперёд. Обнимает меня за талию. Крепко прижимается маленьким телом.

— Вандреич, вы ведь не уйдёте?..

Огромные, полные доверия глаза. Разве таким глазам можно лгать?

— Ну куда я от вас денусь?

Куда?..

\* \* \*

Марина ждёт на улице неподалёку от крыльца. На ней — серое пальто и красный берет. Красная шапочка? Бабушка-бабушка, зачем тебе такой большой?.. О-о-о!..

Комьями сладкой ваты от земли поднимается пар. Мешается с кофейной гущей сумерек. Пышно цветут одуванчики фонарей. Кромка луны тает, словно масло на хлебном мякише.

— Ты долго. — Щёки Марины порозовели. В волосах блестят серебряные пряди.

— Думал, ты любишь, когда долго.

Она шуливо морщится. Фу-фу-фу! Скабрзности — как можно?

— Целуюсь лучше, чем шучу, — оправдываюсь я.

В безнадежной пробке стынут машины. Насмешливо подмигивает светофор.

— Какие планы?

Ну вот опять: планы, планы, планы...

— Вернусь в журналистику. Книгу напишу. Материала — выше крыши.

— Вообще-то, я не загадывала так далеко. Имела в виду — планы на Новый год?

— А что вы хотите предложить?

Марина берёт меня под руку. Сжимает:

— Есть примета: с кем Новый год встретишь — с тем и проведёшь. Я хочу встречать его с тобой. Как ты на это смотришь?

— С удовольствием.

Огни в районе вымерли. Идём вдоль чаши стадиона, бескрайней, как замёрзший океан. Футбольные ворота — точно остов древнего, выброшенного на сушу, истлевшего животного. На дальнем берегу копошатся крошечные лыжники. Силятся на тоненьких своих ножках пересечь океан. Да разве осилишь?

Ажурные ворота парка. Атракционы: костлявые, продрогшие — одичав от одиночества, впали в спячку. Думаю, им снится весна.

— Снег... — Марина ловит сверкающую песчинку. — Как в первый раз, помнишь? Зачерпывает в сугробе горсть, подбрасывает вверх и кружится в облаке бисневой пыли. Балерина в стеклянном шаре.

Красная шапочка. Балерина. Кто же ты на самом деле?! Хотя неважно...

Обнимаю её за плечи. Целую.

Ближний к нам фонарь, моргая, оживает. Как в кино — не хватает лишь музыки. Будь я режиссёром — пустил бы титры. Чёрный экран. Лаконичное «Конец» посередине.

— Иван Андреевич, — Марина отстраняется, — вы шикарно целуетесь! И шутите тоже!

— Говорите, Марина Николаевна, говорите...

Снег укрывает нас балдахином. Ширмой отделяет от спящих вокруг теней. Изломанных. Дёрганных. Угловатых. Одна превращается в старушку, прибитую сумками к земле.

— Деток вам хороших, ребята! — улыбается старушка.

Смеёмся:

— Спасибо! Лучшее пожелание!

Десятки разноцветных лампочек, оплетая ограду над выходом из парка, складываются в слова: «С новым счастьем!»

---

*Андрей Ломовцев*

## РЫЖИЙ, РЫЖИЙ, КОНОПАТЫЙ...

*Рассказ*

После выписки из больницы Жорик заперся в туалете. Руки ещё тряслись, он дёрнул задвижку расшатанной двери и замер. Никто его не хватился, не заорал в спину дед, не окликнула мать. Тихо. Тубзик — единственно место, где можно отдышаться. Здесь никто не видит твоих страхов, не спрашивает, не тревожит.

Стояла духота, пот со лба капал на потрескавшуюся плитку и затекал в щель. Противно воняло дихлофосом, то ли другой гадостью, чем обычно мать травила тараканов. В правой руке Жорик приготовил тапочек. Ушлые насекомые превратили два квадратных метра в загородную резиденцию, сновали между ног, приводя сидящих в неописуемый восторг.

В другой руке он держал старенький смартфон. На экране мелькали люди в масках, слышались выстрелы. Посмотрев видео, Жорик успокоился, удовлетворённо сморщил нос, перестал на время бояться и щёлкнул тапочком зазевавшегося усача. Отбросил оружие убийства и смахнул потные капли со лба. Видео получилось, и это главное, можно выложить в сеть, пацанчики будут в восторге. Он нажал кнопку «разместить». Уф. Теперь можно продолжать бояться.

Повод для страхов имелся. Жорик не ожидал, что затея дойдёт до столь неоднозначного финала. Хеппи-эндом точно не назовёшь. Вообразить, что розыгрыш закончится стрельбой, невозможно было даже в фантазии. И в страшном сне не приснится. Но реальность показывала другое: болело простреленное насквозь бедро, обмотанное сероватым бинтом: ходить можно только с костылём. Да ладно он, — раненный в плечо Витёк отлёживался в больничке, и как здоровье — неизвестно, а вот Пан исчез. И только сумасшедшего стрелка арестовали: Жорик слышал в больничке, как шушукались в углу медсёстры.

---

*Андрей Ломовцев* — родился в Подмосковье, в стране, которой нет. В период «крушения империи» построил баркас и отчалил в море бизнеса. Учился на психолога. Ночами писал сказки, на лекциях — стихи. Уехал в Индию — искать путь просветления в йоге. Искал долго, с фонариком в позе лотоса. Нашёл политическую карту мира и биржевой справочник. На всякий случай — научился читать справочник и торговать золотом. Объехал полмира и нашупал путь в литературу. Печатался в журналах «Парус», «Причал», «Волга» и других.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 5.

Вот так история, повеселятся подписчики в инстаграме, а что ждёт его с Витьком, большой вопрос. Не исключено, что и зона для малолеток, по головке точно не погладят. Витька, конечно, отец вытащит, там связи крутые, а Жорика кто?

— Конь в пальто, — пробормотал Жорик, расстроившись.

Хотя. Несмотря на травмы получилось круто. Не, это не травмы, бери выше — боевые ранения.

Конечно, если мотнуть время назад, и Жорик на минуту представил такую возможность, то он сто раз подумал бы: стоит ли повторить. Последствия недооценил, б-р-р. Да ни за что бы не пошёл.

Хотя это видео столько лайков наберёт, жуть! Жорик глянул на счётчик — сорок семь просмотров. За три минуты. Крутяк.

Дверная ручка запрыгала, и Жорик поднял голову. Снаружи в дверь ударили, и злобный голос огрел, словно лопатой.

— Вылезай, засранец, чё заперся!

Дед. С ним шутки не проходят, это не пенсионер на лавочке, этот хрыч старой закалки, как сам говорит, или закваски. Блин — что такое «закваска», Жорик не знал, а надо бы погуглить.

Ему нравилось находить в лабиринтах интернета значения заковыристых слов и выражений. Он записывал их в тетрадку, и там собралось уже под сотню. Многие слышал от деда, а ещё от училок в школе, от Витька и иногда от Пана. Вечерами, когда нечем было заняться, он перечитывал значения особо заковыристых словечек. Так он узнал про легитимность, фельдъегеря, беспредел, икебану и прочее.

Бум, — снова удар. Хлипкая дверь задрожала, угрожая рассыпаться. Жорик вздрогнул, бедро заныло, и вспомнилось, что завтра вроде на перевязку. Он встал, придерживаясь за стену, сунул телефон в штаны, подхватил притаившийся в углу костыль, дёрнул за шнурок унитаза. Под звук ревушей воды, словно под шум прибой, вывалился наружу, едва не сбив худого старика в грязной пижаме. Поковылял, переваливаясь, в комнату.

— Сучонок, — неодобрительно выплюнул старик в удаляющийся рыжий загривок. Жорик дёрнул плечом, не соглашаясь с определением, но ничего не ответил. Дед распускал руки, потому приходилось держать язык на привязи, не огрызаться, хотя внутри клокотало.

Пыхтя, злясь и потея, Жорик кое-как спустился на улицу. Присел на обтёртую, изрезанную скамейку возле подъезда. Отдышался, огляделся. Солнце лизнуло щеку и завалилось в просвет между домами. Закружился в вечернем танце аромат жареной курицы из окна первого этажа.

Жорик сглотнул слюну, заныл желудок в безнадёжном ожидании. Эх, пожрать бы неплохо, да мать спит, без неё не разберёшь, что там где осталось. Может, позже. Он нагнулся, задрал снизу штанину, отмотал грязноватый бинт и достал припрятанную сигаретку без фильтра, умыканную утром у деда. В кармане нащупал зажигалку, сноровисто прикурил. Вытянув раненую ногу, расслабился и выдохнул дым в набухающий влажностью воздух.

Из больницы Жорика выписали вчера, ходить разрешили завтра, а курить хотелось давно и безумно! Итак, перевыполнены все нормы по воздержанию от вредных привычек.

Пивка бы глотнуть, вздохнул Жорик, умиротворённо прикрыв глаза.

Об этом сумасшедшем военном он вообще не знал, если по чесноку. Вернее — так, понял в последнюю секунду. Перед выстрелом. Он видел, как неизвестный мужик заорал из кустов. Издалека. Слов и не разобрать, но грозно орал, с металлом в голосе. А потом замахал рукой, а может, ещё чем, не разглядел.

Вечерело уже. Не прям вот темень тазом накрыла, нет, просто сумерки. Лёгкие. Зябко стало, может, даже роса выпала. Хотя нет, роса — это позже. Потому что когда Жорик упал, влажности не было, но вот фуражку на мужике он разглядел.

Жорик сделал пару затяжек, голова закружилась, пальцы по-дурацки дрожали. Он не любил свои пальцы: жирные сосиски, потеют противно. Вообще ужасно, когда потеешь, а Жорика пот прошибал постоянно, дед говорил, фактура — уродливая, в отца. Дед батю терпеть не мог, и тот его не любил.

Жорик зажал тогда Пану — дружку своему, лежащему на пыльной дорожке, — рот этими скользкими пальцами. Вдавил русую голову прям в асфальт. Пан глазищи округлил, тоже, небось, противно было, потные пальцы во рту, тот слюни пускал, и краска на волосах, фу. Когда Жорик руку убрал, Пан орать начал, как договаривались. И верещал так, что уши закладывало. Ну, было круто. И краски они не пожалели, вылили Пану на голову всю банку, будто башка пробитая и кровяца хлещет. Хотя она реально пробитая, башка-то, у Пана. Ха-ха. Тот ещё придурок. Везде норовит первым сунуться, хочется ему Витька обойти во всех вопросах, да ведь тот — Мозг, как его обойдёшь.

Жорик только за две вещи в тот момент переживал: чтобы маска, из чулка сделанная, не сползла, и чтобы камера не завалилась, они и так долго нужный ракурс выставляли. Палку с камерой прям напротив тропинки пристроили.

И тогда краешком глаза сквозь маску Жорик зацепил, словно сфоткал, Витька с пистолетом. Всё зафиксировал, как на полароид, — как Витёк руку поднял, на мужика наставил. Артист Витёк-то: роль отрепетировал на славу. Движения отточены. Они раз пять тренировались, как оно получится, Пан в пыли извалялся, майка задралась. Правда, на другую реакцию отца Пана рассчитывали. Пан не говорил, что батя военный.

И вот, Витёк с пистолетом в струнку вытянулся, и тут — бах! Будто салют стрельнули. И мужик исчез. В кусты, что ли, укатился. И темнота напала, фонари вдоль аллеи вспыхнули, но горели, словно фитиль наполовину выкрутили. Бах опять, грохот по кустам раскатился, и Витька точно ветром сдуло. Жорик обернулся, не понял толком, что случилось, а Витёк на земле валяется, в кровящи, которая походу — настоящая. Вот кровь Жорик прям отчётливо заметил, и язык прикусил от страха, ощутил солёное на губах. Снова — бах, и как бревном по ноге Жорику врезали, садануло и бросило в сторону. Боль жуткая, как раскалённую иглу в бедро всадили. И он сам на спине, руки в стороны, и небо сверху, и звёзды дрожат, и боль по звёздам пляшет. Навсегда запомнилось. И рот от крика разрывается. Страшно.

Физиономия над ним склонилась, короткий ёршик волос, глаза кровью налитые, и звёзды заплясали в глазах, будто с неба опрокинулись. Это он потом понял, то погоны были, со звёздочками, а тогда аж затошнило, и завоняло перегаром и мужским потом острым от этой физиономии. И зубы в крике, жёлтые, как клыки: «Мудак!»

Сигарета тлела, обжигая пальцы, Жорик стряхнул пепел под ноги. Завтра с утра идти к следователю. Что можно в полиции рассказать, о чём не стоит, Жорик не знал.

Когда лежал в палате после операции на расшатанной кровати и считал мух на потолке, Пан забросил в окно записку: «Ни слова о видео».

Вот и думай. Наверно, и вправду лучше молчать. Жорик насупился и вздохнул, погладил перебинтованную ногу. Хорошо ему, Пану, бегают на своих двоих, вроде как потерпевший, а они с Витьком теперь — бандиты малолетние.

— Жорка, сучий потрох, а, ну домой, живо!

Дед орал, трясая косматой головой в окне третьего этажа. По голосу Жорик безошибочно определял степень его опьянения. И мать, небось, с ним трапезничает — так дед называет их вечерние застолья. Что означает «трапезничать», Жорик уже отгулил: жрут, значит; так, может, и ему обломится, пора двигать.

Он затянулся напоследок мощно, сжал окурок кончиками пальцев, отщёлкнул в сторону. Искры рассыпались в сумерках.

Они сидели тогда в заплёванной беседке, что на Запрудной улице, рядом с домом. Темнело уже, небо сизое, тяжёлое, вот-вот дождь пойдёт. Делать нечего. Июль. Скукота. Жара стояла весь день адская. Нечасто такое городу выпадает. Они накупались тогда, наплавались, пива чуток глотнули. И сидели расслабленные, влажные, покуривая втихаря, чтоб родители или соседи не заметили. Хоть и по тринадцать, да по шею приложат, не поморщатся. Только Жорик в открытую курил, его не трогали.

И вот Пан, которого вечно идеями колбасило, и говорит:

— Мысль есть, пацаны! Вчера видос смотрел один на ютюбе. Вааще бомба. Как в Бразилии людей в ужас вгоняют.

Достал Пан айфон, тот, что у Витька в карты выиграл. Витёк потом неделю отцу врал, типа — посеял. Покрутил Пан кнопочки на экране. Сказал важно так:

— Я даже закачал чутка, а ну, зацени!

И они смотрели. Вау, что это было за видео. Это была — чума. Сердце замирало, ухало куда-то вниз и возвращалось, стуча мячиком о рёбра.

На экране вампиры врывались в вагон метро. Перепачканные кровью, они хватали и кусали всех без разбора, пассажиры орали, потели, бегали выпученными глазами и хлопались в обмороки.

На другом видеосе клоуны расчленили людей огромными топорами прямо в кабинках лифта, пугая ожидающих на этажах людей.

На стоянках, перепачканные кровью, они же таскали за собой якобы ошмётки плоти и отрубленные головы. Водители в жуткой панике метались между машинами. И ведь не разобрать сразу, что это розыгрыш. Не написано на лицах, что и люди-вампиры, и люди-клоуны — подставные актёры.

На тёмных городских дорожках появились привидения в белых одеждах. Выскакивали на дороги, и велосипедисты слетали в кювет, разбивая лица, машины сносили ограждения и сминали крыши.

Около часа они пялились в экран. Много чего посмотрели, ролик за роликом. Потом курили, вздрагивая, и вновь крутили видео, перематывая и вглядываясь в детали. Вкушали материал медленно. Вдумчиво. Рассуждали.

— Прикиньте, как круто. И все бегут. Ха. Будто типа взаправду. А ведь это типа прикол. Розыгрыш. А сколько лайков собрали? Прикиньте, сколько бабла на рекламе гребут? Миллионы. Да так и мы типа сможем.

Это Витёк небрежно кинул, будто сквозь зубы, размазывая потухший бычок вдоль пожелтевшей доски.

— Делов-то, плюнуть да растереть, прославимся типа на раз. Героями инсты станем, точняк говорю.

Витёк — мозг. Пан может идею подать, но что дальше делать, как раскрутить, — это Витёк. Он тогда авторитетно заявил, что платформой их заработка станут инста и YouTube. Он парень подкованный, Витёк-то. Не зря Мозгом прозвали. Сынок профессора, всосал интеллект с молоком матери. Учиться не любил — факт, но знал всего уйму. Как он говорил, всё есть в интернете, надо уметь пользоваться, не хер время в школе тратить. Бери от жизни всё и сегодня, потому как завтра, может, и не случится, — это, говорил Витёк, его отца любимая фраза.

Батю его, профессора, Жорик пару раз видел: упитанный такой боров, в костюме, с молодой бейбой под ручку. И машина у него классная, длинный мерс с водителем. Витька отца презирал, говорил, тот баб меняет, как кот мартовский, и все молодые, и добавлял, морщась, недоразвитые. Возит их по курортам, гад, а его не берёт.

Жорик считал, Витёк отцу завидует. Такая жизнь — мечта, у каждого должна быть. Витёк его не поддерживал. Как-то, набравшись пива сверх меры, Витёк ронял слюни на Жориково плечо и плёл про одиночество, скуку, а в конце выдал шедевр: отрабатываю на вас, олигофрены, приёмы влияния, потому и шляюсь с вами, вы же меня слушаетесь, как бараны.

Жорик возражать не стал, слюни с футболки оттер, но противное слово «олигофрены» записал потом погуглить.

Но первая идея была Жорикова. Да, это он герой. Примитивный розыгрыш придумал, но надо с чего-то начать. Он предложил поджечь газету. Ту, что читают пенсионеры на лавочке в тихом месте. Сомнительное предложение, но относительно безопасное для стариков. Пацанам понравилось.

Выбрали парк неподалёку от городской больнички, подальше от знакомых глаз. Пятиэтажки по кругу. Тихо, зелено, ёлочки-деревья, газоны подстриженные. Приехали пораньше, пока жара улицы не затопила. Погуляли по аллеям, высматривая жертву.

Народу мало, несколько мамаш с колясками. Бабки голубей кормят. Лесом пахнет, свежестью, — будто дезодорантом воздух сбрызнули.

Пенсионера нашли на второй линии, на лавке перед цветущим ковром петуний. Невзрачный, лысенький, с палкой. Уткнулся во вчерашние, как дед говорит, «протухшие», новости. То что доктор прописал. Витёк с Жориком снимали из-за кустов на два телефона, второго дубля не сделать. Пан маску натянул и, подкравшись на карачках, поджёг газету.

Получился полный улёт. Старик вертелся, орал, навернулся возле клумбы, завалился набок, очки в сторону. Отпадная ржака. В сетях шутку оценили, подписчиков разом прибавилось.

Подобрав костыль, Жорик встал, небо качнулось, но устояло. Прохромал до лестницы вонючего подъезда, зассанного кошками и прочими пришельцами, начал сложный штурм обгрызенных ступеней.

Этаж первый, девять шагов вверх, поворот, следующий пролёт, окошко, уф, передышка.

Через пару дней они опробовали шипучку. Таблетки Витя притащил. Убойные. Малюсенькая белая кругляшка выдавливала воду из стакана за мгновенье. Улицу выбрали возле метро. Пару раз туда мотались — присматривались.

Пыльный проспект, разноцветные магазинчики, палатки, заляпанные солнцем, небритые таксисты возле машин, вонь выхлопных газов с проезжей части. Всё как обычно в большом городе. Главное — сквер в сторонке, куда легко драпануть в случае опасности.

Ну и толпа, дефилирует туда-сюда, озабоченная, вся в себе. Девчонки в лёгких платьях, тётки с пакетами, малышня мороженое лижет. Короче, выбрали, как Пан сказал, «правильную диспозицию» и начали работать «в поле», — тоже словечко Пана. У него через раз армейский сленг вываливается. Откуда набрался, непонятно, говорил, брат служит.

Пан, он скрытный, себе на уме. Домой никогда в гости не звал, про родных не рассказывал, что там у него за семью печатями скрыто, — неизвестно. Они даже не знали: мать-то у него есть или нет. Пан не говорил, а никто не спрашивал. Зато командовать порывался, а когда его Витёк осаживал, — злился.

В тот раз Пан на Жорика набросился, волосы перекрасить требовал, мол, самый узнаваемый. Ну а что поделать, если Жорик с рожденья рыжий, словно костёр на башке горит. Пришлось послать Пана словами деда из тетрадки, ну очень далеко. Чуть не схватились до крови, Витёк разнял вовремя.

— Ты бы веснушки ещё заставил перекрасить, придурок, — долго не мог успокоиться Жорик. Пана он не боялся, фактурой (словцо учителя физкультуры под номером 38) тот не вышел против Жориковой массы.

Снимал тогда Витёк. Жорик подходил с Паном к девушкам, на вид ровесницам, те пили кофе в палатке, и пока Жорик их отвлекал, Пан бросал в чашки шипучку и давал дёру.

Жорик, несмотря на вес, бегал как скандинавский олень: быстро, но недалеко. Уставал, и одышка появлялась. Восемьдесят кило таскать — это не шутка, при его-то росте.

Уморительно было наблюдать реакцию девчонок: плевались, злились, ругались, пытались даже догнать: ух, сколько эмоций!

— В целом, зачёт, — сказал через день Витёк на общем сборе в той же беседке на Запрудной. — Подписчиков прибавилось, но не кардинально. Думайте дальше.

И они ломали голову.

Второй этаж. Вдох-выдох. Жорик сморщился, посмотрел на закрытое окно между этажами, — вот чего не проветрить подъезд, сентябрь на дворе, а воняет, как на помойке. Потом вспомнил, что в прошлом году, по весне, из такого окошка на пятом сиганул вниз Петька из 21-й квартиры. За сорок вроде мужику было, из которых, как говорил дед, половину этот выкидыш пропил. Жорик помнил, не раз дед с этим самым Петькой похмелялись на кухне, дымили папиросой на двоих и тянули хором заунывную песню «Ох ты ворон, что ж ты вьёшься...».

Жорик не удивлялся, у деда вообще во век не было хороших людей, или приличных, например, или добрых — одни сволочи, суки, твари, и ещё ссученные. Значение последнего слова Жорик, правда, не знал, но в тетрадку внёс, под номером 70.

А окошки с пятого до второго заколотили сантехники из ЖЭКа большими строительными гвоздями. С тех пор летом воняло ужасно.

Бросив костыль вперёд, Жорик преодолел пролёт второго этажа. Загудело бедро. Голова закружилась, поплыли белые точки и воспоминания.

И следующую шутку придумал Жорик. Мало того, он опробовал её на соседской собаке. Тётя Дуня из двенадцатой беззаботно отпускала псину погулять, но дальше подъезда шпиц не уходил. Загадил всю траву под окнами. Ну вот и бросил Жорик хлопушку в тот момент, когда мохнатый кобель поднял кривую лапу на кустик. Жорик едва успел камеру включить. Пёс сиганул на рекордную высоту, завалился в траву и обдал воем округу.

Ролик посмотрели всем миром. Одобрили, и Витька разместил его на радость подписчикам.

Вот тогда и вышли на остановку. А это уже сложная техническая операция, которую Витёк разрабатывал два перекура между заплывами в озере. Чертил обгрызленным ногтем квадраты и кружки на залитом солнцем песке.

— Пан — здесь, — тыкал Витёк в кружок, — снимаешь на телефон с тротуара и не загораживаешь обзор. Жора с угла, — указывал на второй кружок, и Жорик послушно тряс рыжей копной. — Я проеду на велике, тормозну здесь, — палец упёрся в квадрат, — и брошу заряды.

— Петарды, — поправил Жорик.

— Петарды, заряды, какая хрен разница, — сморщился Витёк, не терпевший замечаний. — Брошу, короче.

На остановке в первый заход переминалось человек семь. Прошёл дождь, с асфальта парило. Капало с навеса, и никто на тротуар не высовывался. Машины не притормаживали, разливали по обочинам лужи. Народ на остановке шарахался и бросал проклятия автомобилистам.

Когда Пан, весь мокрый и скрюченный, подскочил на велике, поковырялся в карманах, достал и бросил заряды, именно в тот момент Жорик понял, что за это могут и побить.

Шухер, как и съёмка, впечатлили. Бабуля сползла по стенке, тётушка выронила сумку, подпрыгнул мужичонка в костюме, заорала девка с портфелем. Вот это кадры. Народ сигал, словно зайцы, позабыв про лужи, струйки с крыши, бросая пакеты и зонты.

Подписчики, помните, ревели от восторга.

Витёк выставил в инсту новые условия подписки. Придумали сообща название «Ад крутых развлечений», и потекли в электронный кошелёк денежки.

Но случился косяк на втором заходе. Они поменяли дислокацию, как Пан с пафосом высказался. Соблазнились, что медучилище неподалёку от остановки, мол, соберутся девочки после занятий, визга будет до небес. Не учли проходной электромеханического завода в ста метрах.

Витёк замешкался, упустил автобус, наполненный студентками. Жорик закрыл обзор, Пан отвлёкся. В результате после взрыва петард Жорика догнал рослый мужик с хозяйственной сумкой и въехал с ходу прямо по рыжему загривку. Пан получил крепкого пенделя от старика в спецовке. Юркому Витьку на велике повезло — увернулся от брошенного вдогонку кирпича.

В итоге пришлось взять технический перерыв на тройку дней. Всё переживали, как бы работяги заявление в ментовку не накатали. Да обошлось.

Внизу хлопнула дверь, и звук отрезвил Жорика. Ударил в нос запах жареного мяса. Он заторопился. Шаг правой, тащим левую. Ступенька за ступенькой. Девять штук.

Дед вон, несмотря на скрюченную спину и раздробленное колено, сбегал по местному эвересту по два раза в день, а в былые годы и чаще. Это сейчас мать подтаскивала боеприпасы в виде водки и сигарет. И еды какой, если деньги оставались. Когда матери не было, дед ходил сам. Как ветерану «империалистической» — продавщица Верка из девятнадцатой квартиры отпускала ему в долг, записывала циферки в потрёпанной тетради.

Возвращаясь, дед отхаркивался на площадке перед квартирами, попутно вспоминая обитателей. Он про каждого с прошлых веков имел в заначке гаденькую историю. Освежал суть, высказывался, матерясь, и шёл, крихтя, дальше. Соседи его «любили». Было время, когда Жорик крался следом, обожал подслушивать мыльную оперу, потом надоело. Каждый раз одно и то же.

Шаг, костыль. Поворот, окно.

Рыжий, ты душка! — побежали кривые буквы по стене.

Хм, он знает, это Танька с пятого начертила. При случае он ей велик на этаж закидывает, а велик-то немаленький. Ему нетрудно, а она в спасибо рассыпается — хоть немного позитива в его адрес. Танька симпатюля: глазки голубые, чёлка на кудрявых волосах. Жаль, маленькая, можно было бы в кино звать. Ну так подрастёт ещё.

Вздыхая, через боль Жорик дотянулся до звонка справа от двери в рваном дерматине. Не открывали долго. Стукнул костылём для порядка и только потом вспомнил про ключ под половицей. Он постоянно там лежал, квартира посторонних не опасалась, ценностей отродясь не водилось. Всех предметов по минимуму. Кривой стол на кухне отец притащил с улицы и всё радовался, что какой-то недотёпа выставил почти новый. Стулья колченогие — два, матери и деда, а у Жорика — табурет на трёх ножках, сиди, равновесие тренируй. Диван с вывалившимися пружинами, на котором Жорик мечтал, глядя в окно на раскачивающиеся деревья, что когда-нибудь дед уйдёт и не вернётся. И пить матери будет не с кем, и она начнёт, как и раньше, ходить на завод, спрашивать про уроки. И они отправятся в кино, отмоют стены от плесени на кухне и избавятся от тараканов. И купят нормальный телек, и даже проведут Wi-Fi.

Уже лёжа на жёстком матрасе и слыша пьяные вскрики деда во сне, похожие на звериный стон, Жорик вспомнил про хорька. Это были приятные воспоминания. Грызун принёс серьёзного лаве, а новое слово — Пан. Жорика оно понравилось. Отгуглил и записал в тетрадь, 138-е.

Чучело купил Пан на деньги Витька, хотя тот и предупредил, что потом вычтет из электронной кубышки. Жорик предполагал, что профессорский сынок бабосики тупо стырил, но сделал вид, что ему по барабану.

Выбрали кафе на окраине, народа чтобы поменьше. Сели за стол, где обслуживала девушка-официантка, для полноты реакций. Снимал Витёк. Жорик с Паном сделали заказ: кофе и пироженку. Пока ждали официантку, вымазали губы кетчупом, полили им же хорька и тушку выложили на тарелку. Когда девушка принесла заказ, они развернулись, урча от удовольствия и чавкая. В руках тушка в кетчупе.

Крик, звон посуды, успех в инсте — оглушительный.

Подписчики плыли косяком, электронный кошель распух, как шарик. Но народ жаждал экшена, драмы. Народ кричал, давай больше крови! Дав-а-а-й! И готов был платить.

Они поймали дуновение славы. После грызуна их узнавали в лицо в школе, это настораживало, но давало невероятную эйфорию. Артисты, не меньше. Деньги можно было снять, пощупать, потратить.

Настал день, когда Витя выложил перед ними плотную пачку купюр по тысяче. Пан послунывил палец, разложил бумажки на три кучки, всем поровну.

Жорик обменял тогда свою часть на крупные, схоронил под диваном: приклеил конверт скотчем.

Решил потратить, когда крикнет дед и они с матерью начнут новую жизнь.

Ночью снились хорьки. Окружили диван с горящими петардами в лапках, и один с мордой деда заорал, брызгая слюной: «Что, сучонок, боишься! На малолетке будешь бояться, гадёныш!»

С утра мать с опухшим лицом, растрёпанными космами, напонила про следователя. Прийти надо к двенадцати. Жорик попытался разбудить в себе жалость к матери, не получилось. Чувства подсохли, словно чернила на бумаге. Всё повторялось изо дня в день: мать вставала в состоянии зомби, будила деда, они закрывались на кухне, гремели бутылками, ругались.

К следователю не хотелось. Жорик собрался было увильнуть, но дед, не опохмелившийся, трясущийся и жалкий, прискакал на кухню, ударил костяшками кулака в кривой стол, выдохнул перегаром:

— На малолетку пойдёшь, идиот! — вопил, брызгая слюной, а Жорик вспомнил сон и улыбнулся.

— Не лыбься, впаяют лет пять. А может, тебе там и место, сучий ты выродок. У вашей породы мозгов никогда не было. Это же надо придумать: нападение с оружием на военного. Отец — кретин, и сынок — гнилое яблоко.

Кретин — так дед поминал отца, три года назад утонувшего на рыбалке. Только так и не иначе. Дед на дух не переносил отцовские удочки, спиннинги, сапоги и прочие причиндалы. Снёс барахло на помойку через час после происшествия. И рыбу никогда не ел, которую батя порой приносил. Об истинных причинах неприязни Жорик догадывался, хотя никто не рассказывал. Отца знал плохо. Тот уходил из семьи каждый раз как зацветала вишня, и возвращался — гонимый первой позёмкой. Иногда через год. А мать ждала, всхлипывая и глядя в окно.

Сейчас мать молчала. Глаза пустые, Жорик не видел в них сожаления. Энергия будто пересохла после смерти отца, как озерцо в жару, а та малость, бултыхавшаяся на донышке, пахла водкой.

Первым делом Жорик поспешил на перевязку. Двадцать минут до больницы в переполненном автобусе с костылём под мышкой показались адом. Потерпел манипуляции с йодом, бинтами, послушал оханье пожилой медсестры и брюзжанье не приветливого врача. Потом заглянул к Витьку.

Тот лежал в отдельной палате, как барин. Завтрак ему привезли на высокой дребезжащей тележке. Пока они уминали яичницу, сыр и круассаны, часы на голубой стене застыли, уперев усики в цифру одиннадцать.

Витёк рассказывал байки про больницу, про призраков из морга, а Жорик слушал и думал, как близок ему Витёк. С ним увереннее и спокойней, будто брат. Это от Пана веяло опасностью и холодом.

— Чё дальше? — переспросил Жорик, утирая салфеткой толстые губы. — В полицию неохота переться, и домой тоже. И Пан трубу не берёт.

— Не звони ему пока. Он типа — жертва. А нас отмажут, не ссы, — икнул Витёк. — Батя уже типа включился. Я ему наплёл, завяжу, за ум возьмусь. У него, знаешь, какой адвокат. Ого-го. Звезда. Всех типа порвёт. И тебя отмажем, своих не бросаем.

Жорик улыбнулся, опять у Витька сработало. Знал, когда у друга что-то не выгорало или попадал в сложную ситуацию, то не кочевряжился и звонил отцу. Говорил, что папаша извернётся, но на фамилию позора не допустит, сынка не бросит.

Витёк будто подслушал мысли, достал телефон из-под подушки, набрал номер. Шепнул Жорику, прикрыв ладонью трубу:

— Погуляй в коридоре, пошептаться надо.

В общем, с адвокатом решилось. Здоровенный чёрный джип подкатил к остановке в ста метрах от пятиэтажки в три часа дня.

Жорик стоял растрёпанный, потный, с трясущимися руками, с пунцовыми от гнева щеками.

К тому времени успел зайти в магазин купить сигарет, покурить и подстрелить голубя за гаражами.

Когда жратвы дома не находилось и желудок, словно воронка, свистел позывами и требовал хоть чего-то, Жорик стрелял голубей из рогатки и жарил. Ничего сложного. В интернете нашёл кучу видео с инструкциями. Его поразило, даже известные повара на ютубе учат правильно жарить голубей. На вкус птица напоминала курицу. Пан и Витёк сторонились подобного угощения, ну, их и дома неплохо кормили, а Жорику мясо нравилось, если не передерживать на огне.

Развести костерок Жорик не успел. Услышал знакомую матерную частушку. Выглянул из-за гаража, и ёкнуло сердце. Дед, нелепо жестикулируя, хромал по тропинке с объёмным пакетом. Тяжёлым. Судя по звуку, набитым водкой. Когда это старый хрыч нашёл клад? — подумал Жорик, — пенсию пропили как три дня, он слышал переживания матери. И тут нутро его задрожало, колени ослабели, как перед дракой, когда против тебя рослый старшеклассник и предстоит неравная битва.

Не веря догадке, он нырнул за дедом. Стараясь себя не выдать, не стучать костылём, потев и сдерживая волнение, крался следом. Дверь дед на замок никогда не запирает, и Жорик проковылял в комнату, пока на кухне радостно звенели бутылки. Бедро налилось огнём, но он не чувствовал боли.

Одеяло в стороне, матрас сдвинут. Вот, блин. Отложив костыль, Жорик лёг на пол, пошарил рукой по днищу дивана. И заплакал. От конверта с деньгами остался кусочек скотча.

В джипе человек в сером костюме и белой как снег рубашке посмотрел на зарёванное лицо клиента. Улыбнулся, сочувственно поглаживая короткую седую бороду.

— Не бойся, пацан, всё будет нормально, решим твой вопрос. Главное — без моего разрешения не говори. Искусство тишины — наше секретное оружие.

Жорик кивнул. Голова забилась другими размышлениями.

Колобов листал дело в душном кабинете РОВД и не мог осознать, как такая чудовищная шутка пришла в голову этим юнцам.

— Господи, — вопрошал он, поджимая губы, — всего по тринадцать, а жизнь уже наперекосяк. И семьи приличные, ну, окромя рыжего, и не двоечники, а ведь в какое дерьмо влезли. Чья идея, кого привлекать? Непонятно, за что? С военным дело ясное: в нетрезвом виде, оружие не сдал, двоих подстрелил... А с этими как быть?

Согласно протоколу, Колобов сходил в школу, поговорил с учителями, получил нелестные отзывы об успеваемости «звёздной» троицы за прошлый год. Задал вопросы одноклассникам, и те промолчали, то ли побаивались чего, то ли играли в солидарность.

Попытался встретиться с отцом Виктора, но профессор улетел на очередной симпозиум и просил передать, что пришлёт адвоката. Услышав фамилию юриста, Колобов загрустил. Известного полёта птица, палец в рот не клади. Но на решение плотно побеседовать с мальчишками это не повлияло. Офицер сидел под арестом, и не было ни мотива, ни объяснения.

Следователь заглянул и на квартиру Георгия Самойлова, где наткнулся на матерные ругательства пьяного старика в рваной майке.

Панькова Игоря — жертву — он уже допросил, к лежащему в больнице Виктору Катаеву доступа временно не было, остался только один подозреваемый — Жорик, — которого он, собственно, и ожидал.

Жорик плюхнулся на стул, поставил костыль напоказ, опёрся на него, уткнулся глазами в пол. Рыжая шевелюра, розовые щёки, в желудке сладко урчит. Жорика клонило в сон. Адвокат, что приехал на джипе, завернул по пути в Макдональдс, где Жорика накормили до отвала.

Бигмак, картошечка, куриные нагетсы, кофе, пирожок. Голод мучил Жорика постоянно, и при любой возможности он ел про запас.

— Ну привет, Георгий, он же Жора, — Колобов натянуто улыбнулся, кивнув адвокату. — Накрутили вы дел. Теперь слушай. Ты можешь супиться, пыхтеть и молчать, но Витя и Пан всё рассказали, сдали тебя, получается. Со всеми потрохами. Так что выкладывай по порядку. Чья идея, кто принёс оружие?

Жорик молчал. В голове колыхался образ деда, лежащего за гаражами, в его впалую грудь Жорик с ненавистью вбивал обломанный костыль.

Адвокат подал голос:

— Простите, а факты запротоколированы? Я как-то не в курсе. Вы что, получили доступ к Катаеву?

— А то, — не смутился Колобов, поправляя китель. — Ну, Жора, идею ты подал?

— Можешь не отвечать, — предупредил адвокат.

Жорик перебирал потными пальцами складки брюк. Вспомнил про дырку на колене, и не хотелось, чтобы увидел следователь.

— Не я.

— Хорошо, хотя и странно, — Колобов сделал отметку в журнале. — Оружие кто принёс? Краску, имитирующую кровь? Витя или ты?

— Можешь не отвечать, — подал голос адвокат. — Я попрошу Виктора Катаева не упоминать. У вас нет фактов, нет протокола допроса. Он пока лишь свидетель, не более.

— Будет, — кивнул Колобов. — Всё будет, не беспокойтесь.

— Когда будет, тогда и поговорим, — холодно парировал адвокат.

— Следующий вопрос, — напрягся следователь, в голосе прорезался металл. — Георгий, ты видел, как твой друг Виктор наставил макет пистолета на капитана Панькова?

— Можешь не отвечать, — подсказал из угла бородатый адвокат.

— Мать твою! Да, он может не отвечать! — не выдержал взбешённый Колобов, и в ладони хрустнула ручка. — Может! Отвечать за шутки этих говнюков придётся боевому офицеру, который сидит в СИЗО, между прочим! За что? Что два идиота напали на его сына с оружием. Сымитировали ранение, а он его спасал! Сына спасал! И применил табельное оружие! Выбора у него не было в тот момент. Потому что эти, — Колобов ткнул пальцем в поникшего Жорика, — детки, решили пошутить, с оружием и в масках. А если бы он их застрелил?

Адвокат кивнул:

— Понимаю, Сергей Сергеевич. Разрешите, я с ним поговорю.

— Это Пан, — захлопал носом Жорик, конверт рассыпался в голове пяти тысячными бумажками и исчез.

— Пан всё придумал! Он и пистолет достал, и расписал, кому что делать и как.

Жорик поднял голову, слеза сползла с пунцовой щеки и шлёпнулась на футболку.

— Он специально перед домом всё организовал! Отца хотел разыграть. Давай, говорит, проверим, насколько отец сына любит. Я, говорит, точно знаю, что нет её, любви этой. Это в армии он герой, говорит, а дома только подзатыльники, крик и матюги. Любовь, говорит, потерял, походу. Заодно, говорит, лайков поднимем...

Ошеломлённый Колобов хлопнул дело.

— Да. Набрали... блин, лайков. И отца проверили. Он теперь долго сына любить будет. Издалека. Идиоты.

К подъезду пятиэтажки адвокатский джип подрулить не смог: работяги заставили двор пыльными жигулями. Жорик пробирался по выщербленному асфальту, когда разглядел на лавочке Пана. Это был сюрприз. Поздоровались, присели. Малышня гоняла на траве мячик, ворковали голуби на козырьке подъезда, в окне наверху гремела музыка. Они закурили, долго молчали, не задавая друг другу вопросов.

Пан развернулся, его усмешка выглядела угрожающе, будто он в курсе про признание у следака.

— Ну что, Жорик, не боись, отмажут вас, точняк. А подписчики плачут. Идеи есть?

Жорик вздохнул облегчённо. Глянул на дом, где седина деда мелькнула в открытой фрамуге. Задумался. Всплыла не обыгранная до финала фантазия: кирпичная стена гаража, костыль в худом теле.

— Да есть, кстати, одна мыслишка.

Пан слушал его, покусывая ногти, потом взъерошил пятернёй волосы, достал новую сигаретку. Небо замутили облака, вечерело.

— Думаешь, прокатит? — Пан пустил дым колечком и тут же смахнул ладонью.

— Почему нет? — удивился Жорик. Зревшая не первый месяц мысль оформилась в идею так молниеносно, что и сам удивился.

— Накипело у тебя с дедом.

— Не говори. Замучил старый пень, — Жорик зло сплюнул под ноги, растёр. Про кражу решил не говорить, и остального более чем достаточно. — То пьёт, то орёт. Одно название — хрыч. А ещё подзатыльники, знаешь, как отвешивает, я ему, суке, всё припомню: и отца, и некупленный велосипед, и голодные ночи, и...

— Да хорош, — протянул Пан. — Разнылся. Задача интересная. Надо бы обмозговать. Тут аккуратность нужна.

Жорик вспомнил заковыристое слово из тетрадки, услышанное от географички.

- По фэншую надо, во.
- Наверно, Жор, наверно. Не знаю, что такое «фэншуй».

Через пару дней Пан притащил леску. Отошли в беседку, выпроводили детвору. Пан вынул из пакета диск, прошуршал внутри и развёл руки в стороны.

- Ну вот, смотри.
- Чё смотреть, — удивился Жорик. Лески не наблюдалось, только диск.
- Флюорокарбон, — ухмыльнулся Пан. — Ноу-хау. Невидимая леска.

Не вытягивается. То что надо.

- Офигеть. Не порвётся? — Жорик пометил новое для себя слово. Флюорокарбон.
- С чего ей рваться, под сто кило держит. Дед твой на пятьдесят тянет, небось,

не больше.

- Наверно. Когда, думаешь, провернём?
- А ждать нечего. Подписчики копытом бьют.

Замысел был прост, потому и сработал.

Не опохмелившийся, трясущийся дед, проклиная все режимы, царей и президентов, засобирался с утра в магазин. Нацепил пузырившиеся на коленках треники, шлёпки на босу ногу. Жорик отзвонил Пану, едва услышал протяжные стоны на кухне. Леску натянули между вторым и третьим этажами через покосившуюся батарею к перилам. Снимать должен был Пан.

Колобов с утра пораньше обошёл соседей двадцатой квартиры по вопросу ночных гуляний. По стечению обстоятельств, в том же подъезде. Не торопясь спуускался, предвкушая последний день перед отпуском. Вчера сгрузил все дела помощнику, получил отпускные. Ждала его Волга-матушка, рыба, заводи, восходы-закаты.

Он услышал даже не вскрик, а короткий матерный вопль, и что-то покатилося кулём по ступеням. Следовательно рванул вниз, леска сверкнула серебром в лучах солнца. Инстинкт рыбака со стажем спас от падения.

А вот радостный Жорик, жуя зачерствелый хлеб с подсолнечным маслом, выскочил из квартиры невовремя.

Жорик сидел и боялся. По улицам растекалось бабье лето, в автозаке духота. Машину трясло, и подростки, сидя впритык, подпрыгивали. И выглядело это не смешно. Капли пота собирались у Жорика на лбу, пухлые конопатые ладони на коленях вздрагивали. Он исподлобья разглядывал соседей. Бояться ему предстояло длинных четыре года.

# Море волнуется — раз...

*Стихи для детей и не только*

*Эгвина Фет*

## Петралиада (отрывок из поэмы)

Интересно.  
Интересно.  
Как сказал однажды Фет,  
«где находится то место,  
где рождается рассвет».

Я когда-то был на Ниле,  
на Ниле у меня спросили:  
— Сколько времени в России,  
сколько времени в Москве?  
— Где-то полдень.  
— А в Сибири?  
— Там, пожалуй что, обед.  
— На Камчатке?  
— На Камчатке,  
на Камчатке гасят свет.

Собеседник оживлённо,  
вёсла бросив, заключил:  
— Лишь представьте,  
как огромен  
в том пространстве человек.

На ресепшнеспросили:  
— Кто вы будете таков?  
— Я приехал из России.  
Пётр Сеевич Платков.

---

*Эгвина Фет* (псевдоним; настоящее имя — Марина Григорьева) — поэт, редактор, издатель. Родилась в 1984 году в Ставрополе. Окончила пединститут Пятигорского государственного лингвистического университета, кандидат политических наук. Редактор литературного журнала «Балкон» (с 2017 г.). Автор книги стихов «Последних полевых букетов шапки» (Ставрополь, 2018). Живёт в Ставрополе.

— А какой язык в России?  
— Больше сотни языков.  
Пушкин, Чехов, Достоевский,  
Грибоедов и Толстой.  
— Лишь представьте,  
безграничен  
там, должно быть, человек,  
чтоб владеть таким богатством.  
Это ясно, что огромен  
в том пространстве человек.

Вот вхожу я в ресторан.  
Скатерть белая из льна  
на столе, и со стола  
лебеди глядят в окошко,  
и ковровая дорожка  
в виде красного блина.  
— Что в России вы едите?  
— Я бы съел сейчас слона.  
— Вам придётся подождать.

Очень долго ждал я ужин.  
Повар, видимо, загружен.  
Итальянец ждёт лазанью,  
немец — шницель,  
англичанин ждёт бифштекс,  
француз — лягушек,  
Пётр Сеевич — свой ужин.

По дорожке едет блюдо  
в направлении его.  
Так огромно это блюдо,  
Что за этим блюдом — чудо,  
что не видно никого.

Поднимают крышку блюда,  
где-то так с аэродром.  
А под крышкой, а на блюде  
восседает целый слон.

И конечно, все сбежались,  
чтоб на чудо посмотреть.

— А откуда он приехал —  
Пётр Сеевич Платков?  
— Из России.  
— Из России?

— Как всеилен  
там, должно быть,  
как огромен человек,  
что за ужин одолет

он огромного слона.  
Лишь представьте,  
что, должно быть,  
за огромная страна!

Пётр Сеевич при этом  
угостил своих соседей:  
и французов, и германцев,  
англичан и итальянцев,  
повара, официантов  
и прохожих угостил.  
Потому что — как же можно  
было всех не угостить?!

И сидели до рассвета  
в ресторане за фуршетом.  
И когда уже рассвет  
наступил,  
им стало ясно,  
что сказал однажды Фет.

## Артеми́й Семичаевский

### Родственные связи

кошка собаку ударила лапой,  
кошке за это затрещину папа  
всыпал, как горсточку дробы в карманы,  
мурку жалея, истерику мама  
папе устроила, выгнала прочь,  
маму за папу затюкала дочь,  
сделала выговор дочке за это  
мамина мама и жарить котлеты  
тут же заставила, дочкин супруг  
с бранью на бабу набросился вдруг,  
но среагировал дед ветеран —  
парень расквашенный нос вытирал,  
деда за драку обхаяла внучка,  
внучку ждала от брательника взбучка,  
брата за этот поступок, однако,  
больно за ногу схватила собака,  
кошка шипела и злобно мурчала:  
всё началось в этом доме сначала

---

*Артеми́й Семичаевский* родился в Южно-Сахалинске. Автор двух поэтических сборников: «Революция розы ветров» (2002) и «Весна вдаль за горизонтом» (2008). Живёт в Москве. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Ольга Лапенкова

## На небе не одно, а сорок солнц

\* \* \*

Россия — царство необъятное.  
Избрал для жительства мой муж  
места не самые опрятные,  
да своенравные к тому ж.

Холмы, бугры, засилье ельника,  
зимой дубарь, а летом зной:  
живая пристань понедельника,  
где только лисам рай земной.

Что ни дорога — грязь и впадины,  
тела раздавленных лягух.  
Дом — туша дремлющей громадины —  
гремит и стонет скорбный дух.

Но — снова скрылась Златоглавая,  
и, бойким пламенем дрожа,  
кричит и радуется бравая  
приглуповатая душа.

Чего, казалось бы, заходится,  
что не поётся ей в Москве?  
Ответов не даёт, как водится:  
в Россию можно только ве-

\* \* \*

Как будто не ноябрь, но апрель:  
летучий снег, насыпавшийся за ночь,  
растаял, как под кистью акварель, —  
и нежный наш сосед Иван Степаныч  
скользит, ступая в сланцах на крыльцо,  
чеканит непечатное словцо.

Как будто поломался ход вещей:  
узор, что звёзды выложат над домом,  
наличие ужей, мышей, клещей  
теперь определяется рандомом.  
Проснёшься завтра утречком, и — бомц! —  
на небе не одно, а сорок солнц.

---

*Лапенкова Ольга Леонидовна* — поэт, прозаик, драматург. Родилась в 1996 году в Москве. Окончила в 2018 году Литературный институт им.А.М.Горького (семинар драматургии В.Ю.Малягина). Автор сборника стихов «Москва — Чильчаги» (2021). Живёт в Ярославской области. В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

Как будто пару дней ещё назад  
господствовали в мире боль и ссора —  
но вот уже насажен райский сад,  
куда ни глянь — ни стражи, ни забора:  
спеши туда любой весёлый сброд —  
и рви что хочешь, хоть запретный плод.

\* \* \*

Наш сосед собрался помирать,  
чтобы руки больше не марать  
об июльский разноцветный зной,  
о февраль с его голубизной.

Белый свет отвечает ему:  
«Нынче не положено во тьму.  
На сегодня план совсем другой:  
тёплый дождь с последующей дугой».

А природа просит у сынка:  
«Хочешь в виде за?мка облака?  
Хочешь в мае летнее тепло?  
Град, землетрясение, гало?»

А потом к нему приходит тьма:  
«Что во мне — не знаю я сама.  
Ты не трусь, дурашка, я вернусь:  
подожди, пока не разберусь».

*Иван Удальцов*

## Шпага, шеврон и шинель

\* \* \*

Много хороших словечек на «ша»:  
Шпага, шинель и шеврон.  
Пьеса к финалу ползёт не спеша,  
И приближается *он*.

Снимет он шубу из меха шиншилл,  
Сядет в широкое кресло:  
— Ну-ка, скажите, друзья-малыши,  
Что вам об *этом* известно?

---

*Иван Удальцов* родился в 2002 году в Москве. Студент факультета международной журналистики МГИМО. Публикации в журнале «Юность» и «Учительской газете». Живет в Москве. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Что вам известно о сущности сил,  
Что — о шуршании шёлка  
Или о том, кто среди отчих могил  
Семки солёные щёлкал?

Что вам известно о лёте планет,  
Что — о материях скучных?  
Дети, забудьте сей выпренный бред,  
Это — удел малодушных.

В мире всё просто, всё в мире на «ша»,  
Даже закат и апрель.  
Вслушайтесь только, как жизнь хороша:  
Шпага, шеврон и шинель.

*Татьяна Кизиченко*

## Играют дети в мире взрослых

\* \* \*

Плавают рыбы в глубокой воде,  
Плавают рыбы и смотрят печально,  
Льётся из глаз их любовь... Изначальным  
Кажется свет их мерцающих тел.

Рыбы безмолвно плывут и плывут,  
Их плавниками взволновано море,  
Море волнуется — раз, значит, вскоре  
Чьи-то фигуры на месте замрут.

Чьи-то фигуры на месте замрут,  
В преодоление — навстречу, в безбрежность,  
Море волнуется — два, это — нежность,  
Трепет впервые коснувшихся рук.

Море волнуется — три, что-то будет,  
Зло и добро повторятся сначала,  
Плавают рыбы ни много, ни мало  
Тысячи, тысячи лет...

---

*Татьяна Кизиченко* (наст. фамилия — Касьянова) родилась в г. Усть-Илимск Иркутской области. Живет и работает в г.Ставрополь, в краевой детской библиотеке им.А.Е.Екимцева. Руководитель литературной студии «Изысканный жираф». В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

\* \* \*

Изображая самолётик,  
Кружится мальчик по паркету.  
Его война не там, не где-то,  
А здесь, в пяти шагах от лета,  
В кривом ряду забытых стульев,  
Пропахших пылью старых штопок...  
На разлинованном узоре  
Он видит бой... И входит в штопор.  
Из класса танца наблюдает  
Ресницы, взгляд как-будто мимо,  
Волнение вся... и ожидание  
В косичках рыжих балерина  
Им пятилетним не знакомы  
Большие, сложные вопросы  
Он предстоит ответ искомый  
Играют дети в мире взрослых  
Картинка первая сложилась,  
Фрагментов много соберётся,  
Когда без сил... когда по силам,  
Он в бой уйдёт... Она дожждётся

Ирина Краева

# Мама. Мыла. Раму

Повесть

Тане Мучкиной

## I

Ушла Анастасия на тот свет — и сын её Елисей растерялся.

В тот год ему исполнилось двадцать два года. С виду парень был средней крепости, а документы свидетельствовали: инвалид. Всякая болячка, большая и малая, липла к нему как к родному. На второй день, как Анастасия принесла Лесю из роддома, он захеркал, выталкивая из ротишка ржавую слюнку. К врачам мать не бросилась, до судорог испугавшись: вдруг затеют отобрать сына у недогляды-одиночки. Выпросила у подруги-медсестры ампулы пенициллина, сама ставила уколы в крошечную попку, строго через каждые шесть часов. И на коленях Анастасия била поклоны перед иконой Богородицы, умоляя, чтобы ни человек, ни смерть не разлучили с сыном. А в другой комнате, где не укоряли печальные глаза девы Марии, неистовым шёпотом заклинала «уходить сегодня, приходите вчера» могущественную ведьмачку Марью Иродовну — так научила столетняя соседка. И спасла ведь сыночка, спасла. Всё Лесино детство Анастасия, с остервенелыми, вечно вытарашенными глазами от ужаса потерять золотишку, выживала сына из соплей, выгребала из поноса, выталкивала из душного жара к жизни. А когда у Елисея-подростка врачи нашли болезнь суставов, обеспечивавшую инвалидность и, соответственно, «белый билет», Анастасия перекрестилась: на военной службе всякое бывает, иногда и не враг — враг, а с хворобами сына как-нибудь уж договорится...

Не желала она ни с кем делиться Лесей. Её был сын, только её — с рождения, от пяток до последнего волоска — тонкого, но крепкого, удивительно чистого золотого свечения. С первой недели жизни из макушки Елисея, а после совершеннолетия из щёк и подбородка словно били солнечные лучи — казалось, и ночью с таким человеком фонарь лишний.

---

*Ирина Краева* (Пуля Ирина Ивановна) — прозаик, автор художественных произведений для детей, журналист, педагог. Родилась в 1966 году в Кирове. Автор десяти книг, в т.ч. «Дети неба, или Во всём виноваты бизоны» (2018). Лауреат ряда литературных премий (имени Владислава Крапивина, имени Александра Грина, «Согласование времён», «Новая детская книга» и др.). Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 12.

Мальчик оказался не без способностей. «Художником станет?» — озадачилась как-то Анастасия, увидев, как Леся простым карандашиком вырисовывает трёх богатырей — будто студёным ветром пахнуло и храп лошадей услышала. Отвела за ручку в кружок рисования. Три года Леся там проучился. А потом педагог начал чёртом выскакивать из кабинета и расхваливать точность руки мальчишки, обдавая Анастасию самогонным душком. Чему пьянь научит?.. Леся не противился запрету на занятия в кружке. Ведь краски у него остались — ещё и лучше, вольнее мог рисовать. Матуся (да, матуся — по-другому мать Елисей не называл) всегда подсказывала, как сделать интереснее «картинки», и переделывал — и ведь правда, те становились лучше. С ними Леся на конкурсах всевозможных побеждал не раз.

А вот с музыкой никакого триумфа не вышло. Учитель пения позвал смиренного Лесю в расплзающийся школьный оркестр, вручил солидный баян. Но когда малец из-за своих хвороб стал пропускать занятия, принялся на него вусмерть ругаться — без Лесиного баяна в мелодии из обшарпанных скрипок и мандолин не хватало живого осмысленного напора. «Это ж ему хлеб даю, — орал и на Анастасию учитель пения, — хлеб, понимаешь ты или нет? На свадьбах сколько потом заработает, а он вторую неделю на справке!» От худосочной, камнем застывшей в свирепости Анастасии ругань отскакивала горохом, однако чтобы кто посторонний лютовал на сына — этого она не стерпела... Лесе и в голову не пришло тосковать без полюбившихся мелодий. Нет, так и нет. Несуразный и податливый, водоросль речная, он привык быть в доверчивом подчинении у взвинченной матери, готовой, кажется, и куснуть какую вражину. А вскоре Анастасия купила на базаре у армянки, притащившей на продажу залежалый скарб с чердака, тяжеловатую дуду: есть талант, так выдуешь его, сынок, и отсюда, играй, только играй. Елисей быстро разобрался, что в руках у него благородный дудук, нашёл в библиотеке и книжку, по которой можно было научиться «дудуть». Ему нравилось опускать короткую трость из двух пластин в стакан с водой, затем продувать, изгоняя застрявшие капли, ждать, когда щёлочка в трости откроется правильно, затем плотно вкручивать подготовленный «мундштук» в шоколадную трубку из абрикосового дерева... И являлся такой надрывный, такой завораживающий звук — где-то в океане рыдал о родном берегу огромный корабль, может быть, четырёхпалубный даже. Почти год Леся только этим воплем и упивался.

Иногда какая-то радость взбурливала в парне, и в такие минуты он брал в руки кисточку или дудук. Но в основном его радужная энергия уходила на чтение. Вместе с матерью он пристрастился к фантастическим романам, на них они тратили каждый свободный рубль. Жили, конечно, бедно. Анастасия по служебной лестнице не поднялась выше должности секретаря зернозаготовительной конторы. А после инсульта, случившегося на сороковом году жизни, только тёрла полы — где подвернётся такая возможность. Леся всегда таскал вёдра. Помогал матери и кур ощипывать, поздравления на заказ сочинять — копеечный заработок, а пригодится. С училищем у Леси не сложилось: когда надо было проходить вступительные испытания, он заболел, а пенсия по инвалидности и вовсе усыпила их с Анастасией стремления получить хоть какую-то «корочку», тем паче, что найти стоящую работу — с дипломом или без, — не особо светило. Родственники помогали. По праздникам Анастасия регулярно поздравляла по телефону две-три семьи или посылала открытки с самодельными стихами не очень в рифму. Это давало ей возможность при острой нужде занять тысячи три — конечно, с отдачей. Жили на живую нитку, но соки и тортики покупали по праздникам. Со временем даже стоящий компьютер приобрели. И старый их дом своим видом не позорил хозяев перед соседями. При необходимости Елисей и крышу

перекрывал, и оконные рамы менял. Так и необъявившийся отец наградил его мастеровитостью. Ноги парня подводили, иногда шага не мог сделать без вскрика, но в руках-то сила кипела.

Сокровенная их жизнь с Анастасией начиналась ближе к вечеру, когда ложились на диван голова к голове и раскрывали тома в пёстрых обложках. Вслух читала обычно матуся, тихим, с улыбкой голосом, никем не слышимом, кроме сына. Леся вытягивался возле неё в струночку. Свет от настольной лампы падал лишь на страницы, сумерки съёживали углы комнатёнки, и волшебные нежные воды обступали мать и сына. Всё страшное становилось не страшным — в книге и в жизни. От людоедских драконов несло сырым мясом и опалённым огнём железом, рассыпались высокие замки и взрывались планеты, коварные маги вселялись в тела людей, падали на колени герои и выпивали яд их возлюбленные... Но ведь всё обернётся другой стороной, доброй, и не будет свербеть и ныть в коленях, и дышать станет легче, и очередной сосуд не лопнет у матуси в голове, потому что конец любой страшной истории можно перепридумать. Часто так они сочиняли, со смешочками, в два голоса.

После пятидесяти лет Анастасию ещё сильнее придавили болячки, но она рассчитывала пожить хотя бы лет семь, и поэтому не заморачивала Елисея наставлениями: «Вот когда меня не будет, ты должен...» А ушла в магазин за кефиром и не вернулась, её сбил на переходе заезжий экспедитор, ищущий торговые точки, в которые можно было пристроить на продажу палёную водку.

Вернувшись с кладбища и перетерпев поминальный стол, накрытый соседскими тётушками, Елисей упал лицом в подушку и наконец-то заплакал. И во сне скулил, если бы только кто слышал. Присел утром на кровати — лицо по-прежнему тяжело тянуло вниз, и внутри студнем распласталась тоска. Он снова повалился на скомканное одеяло...

Спустя пару дней всё-таки начал шевелиться, запаривать овсянку, как делала матуся, варить лапшу — остался мешочек самодельной, поджаристой, вкусной. Если кто на улице выражал соболезнование или о чём-то спрашивал, Елисей виновато кивал в ответ, пряча в поднятый воротник оскудевшее лицо. Сосед по забору сказал с участием: «Только жизнь начинается, парень... Глядишь — женишься. Мать бы тебе не дала, слишком любила». Тогда до икоты обдало стыдом — за мужика и за себя вместе с ним, особенно за себя...

Елисей знал точно, что матуся и после смерти не бросит его, глухой разлуки не стерпит. На сороковой день она приснилась ему — радостная, с помолодевшим лицом. Прежде невиданная им у матери серебряная цепочка струилась-сверкала в вырезе платья, на белом поле которого качались, как живые, красные головки маков. Обычно немногословная, матуся не могла наговориться с Лесей, что-то смешное рассказывала... И он вдруг, прямо во сне, понял: вот, оказывается, какая её настоящая душа — молодая и вольная.

Елисей очнулся от сна с улыбкой от уха до уха, пришлось несколько минут устаканивать в голове мир вокруг, чтобы вспомнить: на самом деле матуси ведь нет. Так, с блуждающей улыбкой, дошагал до кладбища в надежде на продолжение приснившейся радости. Постоял пнём у могилы, над которой сиял крест, как вылепленный из застывшего липового мёда. Но тут матуси не было и не могло быть...

Анастасия навещала Елисея нечасто, не каждый месяц. Чтобы приблизить встречу, чтобы быстрее выкликнуть мать из небытия, Елисей пробовал пересматривать фотографии. Нашёл в альбоме снимок, где он первоклашка с длинными гладиолусами, матуся держит ранец... Вот она в актовом зале школы, в первом ряду — пришла

на концерт. А это фото, наверное, сделал кто из соседей: приبلудился котёнок, и мать подсовывает ему молоко на полиэтиленовой крышке... Везде матуся — испуганная, напряжённая, окостенелая... Не из сна, не та, совсем ненастоящая. Елисей засунул альбом в шкаф, под стопку старых изжитых вещей.

Он пробовал перечитывать любимые их с матерью книжки. Однако все слова вдруг оказывались пресными, неряшливо провисали, будто только голос матуси надувал их, круглил, приводил в движение. Леся отступил от привычных книг, вдруг понравилось читать другое: биографии известных людей, стихи...

Иногда он за полночь засиживался перед компьютером, пробиваясь в разверзшуюся жизнь, от которой теперь не было защиты, читал всё подряд, иногда смотрел фильмы. Его мало что трогало, потому что всё казалось неглавным, злобным по преимуществу, не имело к нему отношения. Ни на что он не мог повлиять, ни в чём не хотел принять участие...

Как-то случайно Елисей наткнулся на странный ролик в интернете. Люди в белых и оранжевых балахонах выпевали короткие и непонятные слова. Они выпевали одни и те же слова всё быстрее, всё восхищённее, вскидывали руки и содрогались телами — будто огонь, болький и сладкий, жёг их изнутри. Чернокожий дядька, то и дело отводя от лица наползающие змеями дреды, дирижировал этим всеобщим удовольствием полными руками. Что-то завораживающее было во всём этом действе и стыдное. «Чёртова секта», — определил Елисей и свернул ролик. Чтобы перебить ощущение брезгливости, избавиться от него, Елисей грохнул кулаками по столу. А треснуло будто что в груди. Он походил по комнате, туда-сюда ворочая затёкшей шеей, отряхиваясь.

Но уже через минуту метнулся к монитору, замер с робкой улыбкой, вглядываясь в чёрный бликующий экран... И белые крылья за его спиной взволновались...

...Одноклассники относились к Елисею так, будто с ними рядом находился гигантский хрупкий кузнечик, который от неловкого движения — раз и поломается, а отвечать им придётся. Так уж настропала их с первого класса учительница, загнипнотизированная взыскующим взглядом матери Леси. Витька Мариков как-то поинтересовался у Елисея: «А ты на каком уроке погрёшь?» Тот подумал и ответил: «Могу только на математике». Два года Витька на каждом уроке математики оглядывался на Лесю, пока вконец не разочаровался: живёт и живёт сопливунчик, не помирает. Никто из ребят в классе так и не сдружился с Лесей — мешал сияющий вокруг него ореол величия убогого нездоровья. А со Светой Ромашинной он познакомился в больнице, где им обоим удалили воспалившиеся аппендиксы, — как-то на полднике они за одним столом лопали яблочное пюре из баночек и расщебетались. Затем всю последующую школьную жизнь Света Ромашина приходила к Елисею домой, чтобы подтянуть по разным предметам и просто попить чаю с оладьями. И так вышло, что не только одобрительное её слово, но и простой кивок по любому поводу, ценились Лесей и Анастасией высоко и сердечно.

И когда всё сложилось в голове Елисея, когда он, наконец, всё главное определил для себя, к кому он мог пойти за одобрением, даже за благословением, что ли? Только к Свете Ромашинной. Не пойти, а поехать. Потому что Света уже несколько лет жила в областном центре, окончила педагогический университет, вышла замуж за электрика Серафима и родила Петюню.

— Ну ты даёшь, Лесечка! — ворковала она, осторожно перекладывая один разрисованный ватманский лист за другим. — Всё сам нарисовал?

— Ах, бабушка, ваш господин дядюшка едет жениться зимой. Иван Иванович кланяется ласково Маше, Наташе, Оле, Поле... Свет, а чего? Ну я это, я, — волновался Елисей, вгрызаясь ухом в каждый звук Светиноного голоса.

— Это карикатура, что ли? — спросила она. — Это ж красная планета — Марс, да? А в скафандре Анастасия Сергеевна? Вижу — она, её родинка на щеке... Тюльпаны поливает. Из лейки...

— С-скажешь тоже, к-карикатура, — пфыкнул Елисей, сжёвывая досаду усмешкой. — На матусю, знаешь, как зелень зеленела? Хоть помидоры. Хоть гладиолусы. Лишь бы она их только похвалила — цвели. На Марсе не только тюльпаны, розы для неё расцветут!

— Ага! — Светлана таращила глаза на новую картину и вежливо продолжала: — Название: «Мать-родина»... Здесь тоже она — твоя матуся. Но теперь уже не космонавт, а Колхозница... Как на памятнике Веры Мухиной, да? Только где Рабочий-то?

На картине Крестьянка — явно Анастасия Сергеевна, только не худенькая и, как часто бывало, сердитая, а могучая и вдохновенная — с весёлым карапузом в правой руке вместо серпа, возвышалась над домишками, утопающими в весеннем роскошестве сирени и яблонь, и в каждом дворе играли ребяташки — белоглазые в основном, были и смуглые узкоглазые, и даже трое негрятят. Справа от Крестьянки парила в виде облака Эйфелева башня, слева — кремлёвская башня с Курантами.

— Лесь, правда, где Рабочий-то?

— Да сбежал Рабочий, как всегда, сбежал! — метался по комнате всклокоченный Елисей. — Не всем же везёт с Серафимами. А мать любая — Колхозница! Пашет. Вот мы и всходим цветами. Пусть каждой матери всё, понимаешь, всё будет доступно: над Москвой, Парижем летать, до Марса добраться. Вот хоть так — в наших фантазиях. А что, плохо нарисовал? Убого, скажешь? Ты дальше смотри! — И Лесья сцапал новую картину, расстелил на груди, прибив ладонями по верхним углам.

Пёстрая толпа разгуливала по городской площадёнке, мальчишки шныряли, дымил на прилавке самовар со взбитой кудрёй — связкой сушек...

— Наша площадь? Праздник какой?

— Узнала, молодечик, Светка! Узнавай наших!

— Да вон с портфелем — Бухтияров, директор школы.

— А ты себя найди-ка!

— Подожди-подожди... Да вот я! С Петюней! За ручку! Большой уже какой! Ой, а тут и двойня! Коляска-то на двоих, да?

— А вот, чтобы ещё сестрёнки для Петюни родились, — застенчиво засмеялся Елисей.

— Знаешь, мне в роддоме одна мамочка сказала, что когда третьего родишь, то уже все дети своими кажутся... Это же счастье, наверное, а?

— Откуда ж мне-то знать...

— Я хочу ещё двоих родить, — произнесла очарованно Света.

— Вот и роди. Роди, пожалуйста, — вздохнул уставший от переживаний Елисей. — Ладно... Найди тут матусю.

— Сейчас... Картина — читаю — называется «Радость. Мама танцует»... Но ведь нет же её! Ну ведь, правда же, нет Анастасии Сергеевны! — воскликнула Светлана.

— А это? — Елисей ткнул пальцем в картину — алые, с бантиками, туфельки притулились возле первой ступеньки лестницы, ведущей к танцплощадке.

Светлана кивнула.

— Ну да, помню. Она только их и носила летом. И что, значит, туфельки есть, а...

— А! — передразнил Елисей и осёкся.

— А она убежала танцевать на сцену босиком, — догадалась Света. — Скинула их и убежала, да? Только сейчас её никто...

— Никто не видит, — кивнул Елисей. — А она танцует. Никогда не танцевала. Не с кем было. А сейчас она танцует. Здесь и сейчас.

— Ага! Солнечный снег, ну то есть светлые пятнышки повсюду... Это и есть её танец... Я уж думала, ты вообще краски забросил, — вздохнула Света.

— Я сделаю выставку своих картин! — зашепшил, затараторил Леся. — Знаешь, знаешь, как начну презентацию? — Он совсем засмушался, говорил с усмешкой, как будто подыздёвываясь над собой. — Выйду в белой рубашке и белых штанах, босиком, ага — весь чистый такой, умытый, и заявлю: «Мама мыла раму». И так раз сто скажу — по-разному. Вначале, так — как вскрикну, будто неожиданно увижу её издалека, будто сам не верю глазам своим: «Мама?! М-мыла? Р-раму?» Потом спокойнее повторю. Спокойно уже. Ясно. Когда мама моет раму — это же всегда хорошо. Это значит, что скоро Пасха, пора солнышко в дом пустить. Потом совсем-совсем горестно так, протяжно, студёно-ветрено скажу: «Мама мыла раму». Ведь её уже нет. Моей нет на этом свете. И у многих нет уже матерей. А потом опять громко, во весь голос, будто сейчас мать, матусю мою, удостоверяю навсегда для этого мира: «Мама. Мыла. Раму». А потом дудук — слушай! Песня матери. Чтоб вот схватило всех. Чтоб вот каждый сразу почувствовал: она там, *там* за тебя молится, на коленях стоит, все колени в кровь истоптала... Мы же не знаем, как *там* оно и что...

Елисей метнулся к притулившемуся возле письменного стола рюкзаку, выхватил дудук, прикрыл отверстия пальцами...

— Тише, Петюню не разбуди, — остановила Света. — Ты скажи — что это, зачем? У тебя, что ли, религия какая-то особая?

— Никакая не религия, — хмыкнул Елисей. — Не религия вовсе. А если хочешь — материя. Матери-ализм.

— Зачем это всё и... как вообще? Босиком... Мама мыла раму... Городским сумасшедшим хочешь заделаться?

Елисей вздохнул горестно.

— Скажешь, конечно. Городской сумасшедший — это же роль, великая! — Воздел палец к потолку и тут же опустил. — А я что? Я малахольный, чуток самый. Меня самого ещё нет почти... Едва-едва проклянулся... Во мне матери больше, чем самого себя. Но ведь и мне к людям хочется, но не просто так, не просто толкаться проходим, а чтобы — с добром. — Елисей опустил на стул, раскачивая золотой головой. — Про матусю говорить могу. Надо. Как думаешь... получится у меня, чтобы... у всех... з-затрепетало?

...Они ещё долго обсуждали, что да как со всем этим случившимся «материализмом» делать. Света уговаривала Елисея босиком не выступать, вдруг сквозняки какие, — белые кроссовки вполне подойдут. А показывать выставку картин стоит в сельских библиотеках, в другие не соваться, пока картин двадцать Леся не нарисует, да, хотя бы двадцать, и пока не обзаведётся хоть каким-то документом, удостоверяющим его принадлежность к художественному цеху. «Ты потом станешь известным, а сейчас заплатят тысячу — уже гонорар, — рассуждала Светлана, — не заплатят, так хоть ватрушками накормят, библиотекари — народ благодарный».

Ну так и что — спустя ещё полгода отправился Елисей по сельским библиотекам. С сшитой из холстины сумой, набитой папками с картинками, потрохал на самодельном электровелосипеде. Иногда загодя звонил в библиотеку и договаривался о выступлении.

Иногда заявлялся собственной персоной без предупреждения. Отказов практически не случалось. «Сын своей матери» — так окрестил Леся «презентацию картин». Тема вполне подходила библиотекарям для отчётов. Да и просто, от души, им хотелось приветить этого бравенького, немного блаженного парня. Представлялся он иногда просто — Елисеем, иногда как-то художественно-витиевато: Лесей-Анастасием. По-разному. Закреплял на леске особыми прищепками картины, нарисованные гуашевыми и акриловыми красками, и, когда собирался немногочисленный народ, заводил в белых одеждах трепетным голосом: «Мама. Мыла. Раму». Слушали. Слушали и смотрели во все глаза, с лицами удивлёнными и растерянными — такие бывают у разбуженных малышей, которые после сна не вспомнили ещё, что вчера их привезли к бабушке. Матуся раз за разом чисто-начисто мыла раму и стёкла. И вместе с ней мыли их и матери тех, кто собрался в зале, и сами они тоже мыли — пенными губками или скомканными газетами — и удивлялись, что ведь жив, жив в душе тот весенний стеклянно-прозрачный праздник.

Пирогоми Лесю угощали всегда, а то выплачивали и гонорар. Иногда тётушки из зрителей передавали ему яблоки и сливы: «Это для вашей матуси гостинец», не беря в расчёт, что её уже нет. Нечасто, но бывало, люди звали его в свой дом, чтобы нарисовал мать-бабушку, не обязательно на Марсе, а как есть хотя бы. Леся соглашался за сколько не жалко.

Особенно много он тратил белой, жёлтой и красной краски, терпеливо их смешивая, чтобы залить, согреть солнцем обиходную жизнь разных женщин. Елисей обращался к ним почтительно-ласково: матушка Татьяна, матушка Ольга, матушка Пелагея... Компотом художника потчевали, тушёными кабачками, рассказами...

Не то чтобы Леся со временем устал от «гастролей», не то чтобы рука его утомилась вырисовывать женские лица, но вот он уходил, окончив работу, и, так получалось, уже ни с одной из матушек потом не встречался. Они продолжали жить своею жизнью, отдельной от него. То ли какая печаль всё чаще выюжила в нём, то ли неполнота жизни тяготила его... При этом каждый новый портрет выходил интереснее предыдущего — чем именно, никто бы не объяснил...

Эта история случилась на втором году «живописных гастролей» в селе под названием Малые Жеребята. Библиотека, где Елисей выступал со своей «презентацией», располагалась на первом этаже дома культуры. Окна зала были распахнуты, сквознячок обдувал зрительниц — пятнадцать взволнованных женщин от сорока пяти до восьмидесяти лет.

Никто из них и не заметил, что возле библиотеки за стволом высоченного тутовника коченела Несчастливая Зинаида. Бог знает, кто дал ей такое прозвище, и вряд ли оно было дано из сочувствия к странной старухе. Чаще всего в пересудах говорили с досадливой опаской — Несчастливая Эта Зинаида. Она то ли освободилась из заключения, то ли выпустили её из психинтерната... Зинаида отсутствовала так долго, что селяне призабыли, в чём состояла вина этой чокнутой старухи в белом платке, повязанном на затылке крепким казённым узлом. Помнили лишь, что с ней связана какая-то тёмная история с убийством. Детей Зинаида не имела, других её родственников не было в живых, обитала она в своём доме, долгие годы простоявшем пустым, — никто не позарился на халупу-развалюху. Глядя на узкое лицо старухи с глазами будто вывернутыми белками внутрь, на всю её скелетообразную фигуру, обвеваемую двумя враз напыленными халатами, люди чуяли беду, опасное для себя. Завидя Зинаиду, школьная малышня вмиг перепархивала на другую сторону улицы и сбивалась упругой кучей, взрослые же шептали: «Господи, помилуй».

В тот день Зинаида стояла за широким стволом тутовника, беззвучно шамкая: «Мама... мыла... р-раму». Старуха выстояла всё выступление Леси, не шевельнувшись, не поднимая на художника, хорошо видимого в распахнутом окне, страшных своих глаз.

Елисей расчувствовал, растрогал женщин, и они зазвали его приехать в Малые Жеребята во второй раз, чтобы вновь утешить душу переживаниями уже вместе с кем-нибудь из родни и подружек. И он появился в селе вновь. А потом, в третий раз, в библиотеке вместе со взрослыми слушала художника и ребятня из школьного летнего лагеря...

Зрителем этих «презентаций» была и Несчастливая Зинаида, всякий раз коченеющая за толстым стволом тутовника.

...Подсолнухи как раз вымахали, разжелтелись, и Елисей после выступления решил не седлать электровелосипед, а пройтись, полюбоваться ближайшим жар-полем. Он шёл к нему по лесополосе. Пусть и непросто было волочь велосипед через траву-мураву и корни кустарников, но Леся любил, когда по лицу и плечам скользят быстрые зелёные тени и обнимает тёплый травяной дух.

Потом кто-то из селян, проезжавший мимо в тот момент на автомобиле, вспомнил (и это было занесено в уголовное дело), что по лесополосе за парнем, одетом в белые рубаху и джинсы, тащилась Зинаида. Она несла некий предмет. Предметом, по всей видимости, был топор, который со следами крови на обухе впоследствии был найден в лесополосе оперуполномоченным Максимом Кипарейкиным. На том же самом месте Кипарейкин обнаружил признаки борьбы двух человек: возле куста бузины со сломанной веткой тесно клубились рифлёные следы от мужских кроссовок и следы, едва различимые, от ношенных женских тапок. «Похоже, здесь и "потанцевали" с топором, — размышлял опер. — Вот и трава до сих пор примята, как будто по ней кого волочили». Другой вопрос: кто жертва? Зинаида Петровна Мунгузова шестидесяти трёх лет, бывшая осуждённая и прошедшая принудительное лечение? Или художник Елисей, с которым старуху видели в последний раз? Первая сгнула, и второго нигде не могли сыскать.

Кипарейкин был молод, жаждал разгадывать ребусы преступлений. Но ребусы, как правило, попадались незамысловатые, так себе были ребусы, сотворённые мелкотравчатыми мазуриками без фантазии и страсти. В случае же с окровавленным топором Кипарейкин почуял настоящую тайну. Из всех оперов, занимавшихся раскрытием этого дела, Максим был самым старательным. На предмет выяснения мотива возможного смертоубийства он опросил едва ли не половину Малых Жеребят. Люди морочили ему голову диковатыми соображениями. Особенно выделялась фантазиями одна библиотекарь, пожилая, с яркими глазами. Она утверждала, что Елисей этот, может быть, гений, а гений и ангел — почти одно и то же: не от мира сего.

— А Несчастливая Эта Зинаида — что? Вокруг неё же черти кружили, — горестно развела тётушка руками. — Вот их трагически и притянуло друг к другу. Что уж между ними случилось — бог весть. Мать Елисея забрала их на небо. Из великого своего милосердия — парень-то вон какой великой родительницей её изобразил...

— Мистика, значит?! — воскликнул Максим Кипарейкин с азартом, несколько избыточным для расследователя.

— Не мистика, а обыкновенное чудо жизни, — возразила библиотекарь. Для неё самой такое утверждение было чудным, и она несколько раз повторила его про себя, оценивая. Кипарейкин угостил её яблоком на прощание.

Он с ног сбился, чтобы выйти на художника-ангела, на которого ему, после всех слов, услышанных от селян, очень захотелось взглянуть, и который, чувствовал он, всем своим оперским нутром чувствовал, жив. Однако усилия были тщетны — художник представился в библиотеке Елисеем-Анастасием, фамилии не назвал, документов, где следовало бы указать свой адрес, не заполнял, да и в разговорах не обмолвился про место проживания. Район, к которому относились Малые Жеребята, прочесали — художников нашли немало, но среди них не было ни одного Елисея, и никто ничего про него не слышал. Дело таки повисло.

## II

Только через четыре года Кипарейкин узнал правду о том, что случилось в лесополосе поблизости от Малых Жеребят. Всё открылось ему благодаря девчонке лет пятнадцати, явившейся в районное отделение полиции насквозь мокрой от июльского оглашенного ливня. Она, видимо, не решалась постучать в дверь кабинета, распахнул её сам Кипарейкин, как раз спешивший по вызову начальства.

— Эт-то ч-что такое? — На Максима летел яблочный снег от неожиданной посетительницы.

— В-вы Кипарейкин Максим Борисович? Здравствуйте.

Девчонка двумя руками прижимала к груди целлофановый пакет, кажется, с книжкой.

— Кипарейкины мы, Кипарейкины! — Максим едва сдержал забулькавшую в нём придурашливость.

— Дедушка вам просил передать... После своей смерти... Семён Петрович Сигарчук. — Девчонка втокнула в руки оперуполномоченного пакет. Глубоко вздохнула и сказала с упрямством в голосе: — Он всё равно был хороший.

— Тебя как звать? Ты откуда? — вдогонку припустившей по коридору девчонке крикнул Кипарейкин. Русский хвост на её голове лишь быстрее замотался из стороны в сторону.

Поздно вечером Кипарейкин скинул с души всех мазуриков и, усмехнувшись, открыл пухлую коричневую тетрадь на пружинке, ту самую, принесённую утром яблоневою девчонкой. Не книжка всё-таки оказалась в пакете, тетрадь.

На первой странице круглились старческие каракули: «Просьба раба греха». Эти слова, написанные чёрной шариковой ручкой, подчёркивала резкая линия, задранная вверх. «Просьба? Раба греха? Что, поп я ему, как его там... Сигачуку? Я-то тут при чём?» — затосковал Кипарейкин. И ещё больше затосковал, когда, перелистнув страницу, прочитал: *«Всякий, делающий грех, есть раб греха. Грешники суть враги своей жизни.* Эти слова обо мне, Сигарчуке Семёне Петровиче, бывшем невропатологе, на момент написания этих слов — пенсионере. На краю своей жизни, находясь в твёрдой памяти и ясном сознании, я хочу высказать Вам, Максим Борисович, одну просьбу. Чтобы Вы лучше прочувствовали смысл моего прошения, мне придётся сделать признание».

«Экого пафоса нагнал. Типичный мазурик да ещё и самовлюблённый, — Кипарейкин заглянул в конец тетради — последняя страница оказалась сплошь забита клубящимися словами. — Помер ведь вроде? Так успокойся. Нет, лезет в душу!» Оперуполномоченный плюнул бы и пошёл домой спать, оставив ознакомление с тетрадью на неопределённое «потом», но вновь вспомнил о девчонке, вновь усмехнулся и стал читать дальше.

Во всех грехах, которые я совершил, виноват только я сам, никто больше. Угол своего бревна, хоть сучок маленький перекинуть бы на плечо другого, но не в праве и не в силах. *Мои язвы, мои раны, по собственной воле сотворённые, а не от чего-то другого происшедшие. Никто в них не виноват, ни человек, ни дух, ни тело, ни что-то другое, но моё нерадение.* Все эти слова мои не от гордыни, заставляющей и ничтожеством своим козырять, а от *сокрушенного сердца.*

Исповедь эта предназначена не моему духовнику, а вам, оперуполномоченный М.Б.Кипарейкин, и потому не стану каяться в каждом грехе, ныне во мне стонущем, а сосредоточусь на двух главных преступлениях своей жизни. Расследованием одного из них занимались Вы, М.Б.Кипарейкин, занимались честно, но безуспешно. Чувствую долг распахнуть перед Вами всю трудную истину и милость произошедшего. А потом и сердечную просьбу Вам выскажу...

Святые отцы учат каяться, не смущаясь стыда перед выслушивающим тебя, ибо *этот стыд — часть тамошнего мучения, на Высшем суде, и стыд этот может облегчить будущую муку.* Но этим не могу утешиться. Ещё сильнее горю стыдом от восхищения двумя людьми, перед которыми виновен. Речь о художнике Елисее и бывшей жительнице моего села Зинаиде Петровне Мунгузовой. Конечно, Вы, Максим Борисович, помните странное их обоюдное исчезновение, произошедшее четыре года назад.

Предполагаю, что, расследуя дело, разговаривая с жителями села Малые Жеребята, Вы узнали об Елисее главное. Этот молодой человек чист, как промытое стекло, сразу изумляет прекрасным своим простодушием, которое поди-ка сыщи сейчас, когда мы все обозлены и нашариваем фигу в кармане даже у того, у кого и карманы-то не нашиты. Далее я подробно напишу об Елисее, и Вы убедитесь в ясном его естестве. Что же касается Зинаиды Петровны, то известные вам факты её биографии поверхностно говорят об этой страдальце. Многие обстоятельства её жизни известны, увы, только мне, ибо я их проклятая причина.

Грех делает своим рабом, покоряет не только того, кто его совершил, но превращает в своего раба и того, кто от греховного действия пострадал. Таким образом, вина грешника, первым совершившего непотребство, метастазно разрастается. Таково дьявольское предназначение греха. Так я понял, разбирая анамнез своего тщедушия.

Только в первой беде Зинаиды я неповинен. Она уехала из родительского дома в Малых Жеребятах, выйдя замуж за человека из станицы Дивной в Краснодарском крае. Родили они в счастье Андрея, а затем Анну. Когда мальчику было пять лет, а девочке три года, дети погибли. Играли в доме одни, добрались и до спичек, а газовый неисправный баллон уже сочился газом...

Обернётся к тебе эта молодая женщина — и ты узнаешь ту, которую звал в первом, мальчиковом ещё, напряжении, ту прекрасную, которая предназначена тебе на всю жизнь. Ветер поднял её волосы, струятся они и сияют, как река в отдалении. Прихватила одной рукой цветную косынку, накинутую на белые плечи, стан через облако-платье просвечивает солнечным теплом. Стоит молодая на плато, по нему волнами ходит рыжий ковыль. Молодая высоко стоит, далеко глядит — а степушка, пёстрая, с красными звёздочками маков, простёрла плодородное лоно с ложбинками и возвышенностями. И обе они сильны — молодая и степь. И небо голубит и голубит их одинаково — молодую и степь.

Зинаида от рождения была женщиной-степью. Такой Зинаиду Петровну изобразил Елисей на своей картине. Вдохновился художник фотографией её в молодости.

Той самой фотографией, которую я ему потом уже, потом принёс. Пришёл я в уже пустой дом Зинаиды и только эту фотографию и вынес, да ещё Зинаида Петровна тогда просила книгу сказок Пушкина, и я захватил. Елисею надо было её такой нарисовать, женщиной-степью, и Зинаиде надо было себя такую вспомнить. Но об этом я ещё далее напишу.

С любой бедой справилась бы Зинаида, но только смерти своих детей не могла вытерпеть. Её муж сам привёз, со слезами привёз несчастную, тронувшуюся разумом, к матери в Малые Жеребята. Тамара Исаевна, женщина робкая, от рождения смущённая перед людьми, годами держала свою дочь-«дурочку» затворницей, лишь летом, по ночам выпускала искупаться в речке — та неподалёку течёт от их дома, только спустись с крыльца — и вот уже берег. За медицинской помощью они единожды обратились ко мне, невропатологу (32 года проработал я в больнице Малых Жеребят), пришли на приём. Тамара Исаевна застыдилась диагноза, который я поставил Зинаиде после осмотра. Больше они у меня не появлялись, и в район не ездили к психотерапевту, к которому я их направил. Лучше бы и совсем не приходили...

В ночь на 17 июля 1999 года на берегу, возле камышей, как раз напротив дома, где жила Зинаида с матерью, произошла трагедия. Л.Я.Сбигнева отказала в интимной близости М.А.Артомонову, и он в порыве отчаянного негодования оттолкнул её от себя. Девушка покатила по склону, смертельно ударилась о Гремуч-камень, он до сих пор на своём месте. Артомонову и Сбигневой не было и двадцати лет. М.А.Артомонов являлся сыном А.М.Артомонова, моего шурина, иначе брата моей жены Л.М.Сигарчук. Они вдвоём — Алексей Михайлович и Людмила Михайловна — мне и предложили спасти от тюрьмы Михаила, сына и племянника, для чего в качестве свидетеля происшествия я должен был оговорить З.П.Мунгузову. Резон в их словах был таков: тюрьма сломает парню жизнь, а Зинаида и так уже сломанная «затворница». Этот резон был подкреплён Алексеем Михайловичем многотысячной суммой денег мне в карман.

Не трус, а умный *страшится зла и бежит от него*. Не убежал — увязнешь по уши. Оговорил я безумную Зинаиду на суде. Якобы видел её ссору с Л.Я.Сбигневой, закончившуюся гибелью последней. Я сказал и о шизофрении Мунгузовой (запись в карточке предъявил), и о том, что многие страдающие этим заболеванием слышат голоса, побуждающие их к самым опасным спонтанным действиям — вплоть до убийства. Мои слова, слова доктора, оказались убедительны для суда. Сыграло мне на руку и обывательское неграмотное убеждение: каждый психически больной — потенциальный преступник. М.А.Артомонов же уехал из села спустя два дня после смерти Л.Я.Сбигневой в неизвестном направлении, и больше про него я никогда ничего не слышал.

На суде мать Зинаиды, Тамара Исаевна, была в горячечном горе — до обмороков, даже «скорую» вызывали бедной женщине два раза. Доводы в поддержку дочери, которые она излагала сбивчиво, не рассматривались всерьёз. Сама же Зинаида на заседаниях суда не расставалась с книгой сказок Пушкина. То читала её шёпотом, то листала с полуулыбкой, будто показывая картинки кому-то невидимому. А на вопросы отвечала одними междометиями. Это убеждало всех в реальности её сумасшедшей вины едва ли не больше моих слов. Я почти не смотрел на несчастную, глаза мои бежали в сторону от её фигуры за решёткой, однако ж запомнил и книгу сказок, и безучастие Зинаиды к своей судьбе. Несчастная сокрушительно не противилась наказанию. В итоге и вынесли ей приговор о принудительном лечении.

Если задуматься, из числа мужчин или женщин грешники более грешные, то я скажу: из мужчин. Не потому, что они безжалостнее убивают и грабят, а потому что они грабят, убивают, предают своих жен и детей, но не помнят об этом. Впавшая в грех женщина — отвратительнейшее зрелище на земле. Она потому так сугубо отвратительна, потому что помнит о грехе своём, сознаёт себя грешницей и своей нарочитой отвратительностью уже судит и наказывает себя, уже измучивает своё естество ещё до Высшего суда. Мужчина же стремится забыть о своём грехе, несёт его, как необременительный рюкзак за плечами, — руки у него свободны. Что диктует ему так вести себя? Тестостерон? Присущая мужскому естеству воля воина, который всегда должен побеждать? *Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.* Мужчина отделяется от греха, уверяет себя: грех творит непотребство через него, но не он сам, сам он почти что чистый, так только на коленки сор налип. И ещё больше от этого становится рабом греха, но без малейшего осознания, идёт и посвистывает.

Так и я. С глаз долой — из сердца вон. Увезли Зинаиду со сказками Пушкина в руках, стиснутых железными браслетами. Уехала следом горестная её мать, чтобы, как говорили в селе, носить дочери передачки. И я почти сразу успокоился. Смеялся со своими детьми, глядя им в глаза, дарил женщинам цветы, гордясь собой, и по-прежнему тягал сазанов и ершей из той самой речки, на берегу которой произошла трагедия. Если и налегала на душу скука, то смывал её подлой водочкой. А вскоре вот что случилось. Шурин и жена моя возвращались на «Опеле» Артомоновых от матери, живущей в соседнем селе. При въезде в Малые Жеребята от автомобиля МАЗ, следующего им навстречу, вдруг отцепился гружёный прицеп и въехал на большой скорости напрямик в «Опель». Шурин и жена моя сгорели в считанные минуты... Вы думаете, я испытал содрогательный страх перед карой Божьей, перед настигшим их возмездием, — и ведь я, значит, на очереди? Нет, я почувствовал окончательное облегчение. Потому как не осталось на земле свидетелей моего предательства человека Зинаиды. Никто больше не помнил о том моём оговоре. А раз так, то и я теперь совсем мог о нём забыть...

Один раз грехом пророешь ход в своей душе, и другие незаконности, большие и малые, ловко катятся по уже проторённой дороге, не подпрыгивая на камушках раздробленной совести... Подлостей я накопил много, Максим Борисович...

Пять лет назад я уверовал в единого Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом. Превратился, так сказать, из Савла в Павла. Мне так казалось.

Многие из нас припадают к иконам по малодушию. Но при этом не признаются, что только загораживаются Христом от могильного червя. Бежим от червя, жаждем неба в алмазах. Заболел я, нашли у меня опухоль мозга, — вот, спотыкаясь от спешки, и приволокся в храм. *По вере тебе воздастся.* Уверуй, и будет дано исцеление. Видели бы Вы меня, уважаемый Максим Борисович, как истово я крестился. Занимал место исключительно напротив алтарных врат, рывком, высоко над головой воздевал собранную в шепоть длань и торжественно опускал на взмокший от старания лоб, широким махом крестил утробу и плечи. Видишь, Господи, верую, верую, пожалей же меня, награди продлением жизни! Будто на самой высокой горе стоял один и орал, размахивая перед Ним руками. Пятилетний сынишка нашего батюшки как-то подшиб меня, как мяч кеглю. Шустрый малец — даже по храму бегал затылком вперед: уже пробежал, а любопытно ему рассмотреть, не пропустил ли чего. Как взорвался я,

толкнутый ребёночком, и кучей пыли осел на пол храма. Да не увидел в казусе насмешливого вразумления. С тем же ложным восторгом читал и Библию, толкования мудрецов и так же кланчил: Господи, смотри, как стараюсь для тебя, учти, учти каждую осиленную мной строку, и уж не забудь наградить. И нравилось мне читать мудрости, правда, нравилось, выписывал, заучивал показавшиеся особенно красивыми... Но при этом я сохранял равнодушие к своим грехам, не вспоминая о них поимённо. Самому сейчас и удивительно, и страшно. Вот написал я, что сейчас удивляюсь, и Вы вслед за мной удивились, Максим Борисович. Почему же сразу мы не понимаем того, что так просто, ошеломительно просто?

Сделали мне операцию, лечили, втягивали доктора заново в жизнь, а я читал это так: то награда от Него за мои молитвы.

И сохранял я равнодушие души, пока вновь не увидел Зинаиду Петровну. Она вернулась, отбыв наказание, в ещё более плачевном состоянии, чем прежде. Когда выводили её из зала суда в наручниках, она была Царь-девицей — *Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит* — её красота, сиявшая отстранённо от помутившейся болезнью личности, опалая. А через много лет вернулась в Малые Жеребята старуха с пустыми глазами, навидавшимися человеческого нечеловечества. И вот тут ожгло меня. Испугался я. Зинаида не то чтобы помнила о моём оговоре, она стала физическим воплощением моего греха и персональной, под мой зад раскалённой сковородкой. И тут уж я дошёл до какого-то исступления, ведь здоровье моё и так было расшатано. Она ходила по селу, никого как бы не видя, в том числе не распознавала и меня, но мне казалось, что однажды она нападёт на меня и убьёт. Я стал поджидать её, караулить, как привязанный шёл за ней сзади, чтобы только она не опередила меня, не застала врасплох. Я негодовал: как могли её выпустить из психоневрологического учреждения? Стучал кулаком по столу участкового: дескать, такие больные, оказавшись на воле, не принимают прописанные препараты, отчего могут причинить вред окружающим. Верните Мунгузову, требовал, в больницу или специнтернат. Участковый разводил руками и ссылался на препятствующий этому закон.

И что же? Вскоре сбылось то, что наговорил я про Зинаиду на давнем суде. Но сбылось особенным, пронзительным для меня образом, Вы позже поймёте мои слова.

Явился в наше село Елисей с картинами и словом о своей матери. Явился и потряс до самых глубин Зинаиду Петровну, чьё естество было и есть — мать. Естество это, крепко-накрепко замурованное в ней болезнью, оставалось чистым и сильным. От глубочайших переживаний, вызванных золотым Елисеем, все мысли и чувства в Зинаиде Петровне пришли в хаотическое движение. Говоря медицинским языком, у неё усугубился катастрофический распад процессов мышления и эмоциональных реакций.

В тот роковой день я, как всегда, вышел на улицу в полдень, в это время Зинаида чаще всего ходила в магазин (подвозили свежий хлеб), и увидел, что она спешно идёт, только не к магазину, а в обратную сторону. Последовал за ней. Я не видел топора в её руках — она несла его замотанным в полотенце, свёрток и свёрток. Несла его легко, уже одержимая. Я двигался за ней, когда она вышла за пределы села. Только там я окончательно понял, что она идёт не сама по себе, а за Елисеем. Про то, что это художник, да ещё какой-то необыкновенной доброты, я знал со слов своей дочери Светланы, присутствовавшей на его выступлениях. Я двигался за Зинаидой Петровной примерно на расстоянии 150—200 шагов. Елисей шёл вольно, весь белый в трепете зелени. Вдруг Зинаида ускорила шаг, выпростала топор и побежала к Елисею, что-то

неразборчиво крича с повышенной эмоциональностью. Он обернулся. Зинаида Петровна находилась ко мне спиной, что не давало детально разглядеть происходящее. Мне показалось, она ударила Елисея топором по правой руке. Елисей вцепился в топор, который она не выпускала, и, защищаясь, ткнул им, отпихнул нападавшую. Налицо — попытка убийства и в ответ самозащита. Толчок топором, произведённый Елисеем, мне показалось, был той же убийственной силы, что и Зинаидин удар. Она упала на бок, замертво. Я и возликовал. Подскочил к поражённому Елисею, в крови и с топором замершему над старухой. Закричал: «Парень, ты убил!» Но тут Зинаида застонала, пошевелилась. Вот бы мне и организовать доставку обоих к нашему участковому — налицо доказательства моих медицинских предостережений. Но я, взвихренный, измученный, слишком спешил избавиться от Зинаиды, и вдруг, безумный, решил: можно так повернуть, что сегодня я посмотрю на неё в последний раз, а потом она сгинет, навсегда для меня сгинет. Стал наступать на Елисея: «Натворил бед, вот и расхлёбывай. Знать, покаяние такое тебе выпало, парень. Ты где живёшь?» Приказал ему, ошеломлённому, никуда не двигаться с места. Подобрал полотенце, крепко замотал Елисею руку, стараясь остановить кровь, и побежал в село за своей машиной. Через 23 минуты вернулся на колёсах. Елисей сидел, опершись спиной о ствол берёзы, продолжая безотрывно смотреть на Зинаиду, едва шевелившуюся, всё так же лежавшую на боку. Вместе мы перетащили её в мою «Нексию», сгрудили в багажник электровелосипед и двинулись, не зная того, что в новую для каждого из нас жизнь.

Елисей с переднего сиденья всё оглядывался на старуху, приговаривал: «Жива, жива...» Вдруг припадал ко мне, упрасивал везти её в больницу. Я, вцепившийся в руль, откидывал его плечом, язвил: натворил бед, а теперь в кусты? А сам ликовал: избавлюсь, во второй раз избавлюсь от своего греха, окончательно. Думал, безумный: доведу старуху и скину на парня, забуду о ней навсегда.

С Зинаидой я быстро управился. Осмотрел уже на кровати в доме Елисея, понял, что у неё, хотя и сильный, но неопасный ушиб, вколол заранее (заранее!!!) подготовленные успокоительные препараты, комбинация надёжная была подобрана. Зинаида погрузилась в сон. А вот с Елисеем была беда. Большая потеря крови, прежде всего, и перелом руки. Обращаться в травмпункт — значит, выдать себя, надо было действовать самолично. Промыл рану перекисью водорода. Смешно сказать — двумя штaketинами из палисадника зафиксировал кость. Ни платка, ни шарфа Елисей не мог сыскать, пришлось повесить его раненую руку на наволочку — большущую, не для сегодняшних подушек. Пока ехали, пока лечились — прошло часов пять. Но самое главное, я понял, что поутру Елисеюшка мой выставит свой наволочный парус — и полетит в полицию на заклятие. Он уже порывался складывать в холщовую суму воду и трусы — ведь сразу, говорил, посадят. Ему и в голову не приходила возможность малейшего оправдания своим ответным действиям на топор Зинаиды Петровны. Пришлось вразумлять, успокоительное и ему колоть да чай заварить. Всё делал я твёрдо, покрикивал. Мне надо было нагнуть парня в подчинении. И нагнул, подчинил себе, можно сказать, с лёгкостью, потому как более чем за себя Елисей беспокоился за старуху. Я ведь его убедил, что она может умереть в любую минуту. Он заходил к Зинаиде в комнату беспрестанно, шёпотом спрашивал: «Воды? Вам тепло?» А она-то спала беспробудно.

Чтобы прочно приклеить её к Елисею, я решил сыграть на его чувстве вины. В подробностях живописал парню тюремный расклад жизни в психоневрологической

больнице, куда больную и отправили бы во второй раз. «Этого хочешь?! — напускался на Елисея. И ещё постарался сыграть: — Или трусишь, заячья душа, жить с такой под одной крышей? Так спрячь нож под подушку — вдруг пригодится». Елисей тогда ответил: «Хлеб и так отломить можно. Лучше из дома все ножи уберу».

Ухаживал я за Елисеем и Зинаидой, а всё оглядывался, по-звериному изнюхивал каждую мелочь в доме, прикидывал — чего опасаться, или что мне на руку будет. Дом небольшой — три комнаты, кухня. Старый, но опрятный. Все пылинки были подобраны мужской, неуютящей рукой, но тщательно — так уж мать приучила Елисея, как я потом понял. Занавески на кухне — сатиновые, с красно-синим узором, пылают белым огнём, нарядные. Под таким же полотенцем — бумажная икона с выцветшими розами из пластмассы. Не для молитвы она тут висит, понял сразу, а по традиции, как давно было принято. Я перед иконой торжественно поклон отбил, «Отче наш» громовым голосом пророкотал, чтобы ещё ярче впечатлить Елисея. Крестным знаменем себя омахивал, а чувствовал, как на груди выкровливает слово: *преступник*. Но скатывалось оно по тоннелям моей души и тут же бесследно всасывалось моим болотом.

Зинаида на следующее утро пришла в себя, проснулась, но боялась и пошевелиться. Лежала бледная, едва душа в ней теплилась. Головка маленькая, морщинистая, белый платок на ней — как на раненой. Когда приспичило, присела на кровати, не поднимая головы, прошептала: «А на двор куда?» Елисей её отвёл. Куриный супец разлил по тарелкам (в пять утра сварил, самого в жар кидало, начиналось воспаление в руке, а сварил: как же, в доме «гости»), но старуха и ложку не взяла, вновь легла молча. Я не заговаривал с Зинаидой Петровной и морду от неё отворачивал, хотя мой страх перед ней весь вдруг закончился. Смущение чувствовал. Дотронься-ка до немощного — невольно чего-то устыдишься. Таков закон человеческого тела. *Человек ведь не только душа, человек — и душа, и тело*.

Три дня я прожил у Елисея в первый раз. Лечил, но не нянчился. Поощрял Елисея в ухаживании за старухой: «Она теперь — твой крест и забота». Ни денег ему не дал, ни продуктов не купил — хотел застолбить в вине, которую только ему и избывать, по справедливости. Уехал я. Думал, что навсегда уезжаю. Таблетки успокоительные для Зинаиды можно было и по почте посылать — да, это взял на себя как обязанность, плату за спокойствие.

По первости, и правда, неистово блаженствовал в освобождении. С глаз долой — из сердца вон. А через десять дней как раз пришёл срок ехать мне к докторам на проверку. Приехал, а они рецидив заподозрили. Тюкнул меня страх. Нахлобучилась смертная усталость. И вдруг к Елисею меня бросило. Омертвевшая душа искала, где она может утешение испытать... И ведь почуяла, где, у кого её найдёт, прежде ума распознала.

Толкнул незапертую дверь — Елисей и Зинаида завтракали на кухне. Он сидел спиной ко мне, она — лицом, под иконой, ложку ко рту тянула медленно, трудно, будто в ней свинец, а не пшёнка. Елисей обернулся лицом умученным, осоловелым, золотая бородка сползла набекрень. «Вот, так и живём, — зашептал с непонятной усмешечкой. — Вот так Зинаида Петровна кушает. Кашу сейчас съест, потом и тарелочку, и стол с клеёночкой, а потом и за меня примется...» Эх, думаю, парень, не за тем к тебе ехал. Выгреб его из-за стола, встряхнул: «Нажрался, дрянь такая?» Он вдруг трезво вздохнул: «Представляюсь только. Боль не унять — собирался водки выпить, да не стал». Из наволочки высовывались малиновые, как со сдёрнутой кожей, пальцы. Тут же я набрал на мобильнике номер знакомого, хирурга из соседнего городка.

Был у него должок передо мной, в ту минуту я уместно про то вспомнил. Попросил, чтобы принял от меня паренька, не сильно расспрашивая о чём-либо. Дал инструкции Елисею, куда ехать, что говорить, отслюнил денег на дорогу и благодарность доктору. Зинаида ещё до наших переговоров убралась в «свою» комнату, улеглась под одеяло. «Она почти всегда спит», — пояснил Елисей.

В одной комнате обитала Зинаида Петровна, в другой Елисей, а третья была «галерея». Во время первого приезда я в неё сунулся — мольберт и картины. Закрыл дверь, не до картинок было. А в этот раз сразу туда пошёл, чтобы время убить...

В глаза мои и душеньку полилось топлёное молоко, топлёное-тёплое, оранжевое. С портретов на меня смотрели женщины, почти все в годах. Портретов было много — потом узнал: Елисей делал копии с самых дорогих для себя картин. А на портретах женщины были, как из одной семьи: сёстры, матери-бабушки друг дружке. И походили друг на дружку не чертами лица, а общим настроением: радостью через одолённую печаль. Разная была на женщинах одежда — платья, кофты, но из-под материи солнцем просвечивали будто безгрешные их тела. Все эти тётушки смотрели-смотрели на меня, ласково, не различая моих грехов. Благостью прельстившись, перекрестился даже. А потом взъярило: знали бы, на кого своё добро тратите, слепшары.

И вдруг одна картина меня остолбенила. Весенняя синь, ели-берёзы мокрые, и речка меж ними щебечет, а через мгновение — из веточек и листочков проступает лицо женщины, склонённое к её округлому, утяжелённому ребёночком животу. И тут же лицо и фигура рассеиваются — глаз вновь видит только ели, берёзы, речку... А женщина эта, которая была и исчезла, — моя Света, дочь моя. Узнал я её — и по лицу, и по рукам, обнимающих живот, — Света часто так свою ещё неродившуюся дочку нянчила. Только с ними, дочкой и внучей, душа во мне живет. Да разве знал художник мою Светочку? Или явление её мне — какое-то наваждение? Фокус зрительный? Метнулся я на кухню, чайник ополовинил, умылся. Возвращаюсь к картине — и снова из берёз и осинок выступает лицо Светочки.

Простоял у картины долго, потом стул поставил и, на нём сидя, продолжал смотреть. Сил ещё совсем недавно никаких не было, а теперь они воссияли во мне. Всех мыслей и чувств описывать не стану, вдруг да подумаете, Максим Борисович, что себя крашу. Главное постараюсь передать. Я вместе с дочкой, с семьёй её живу. А тут неожиданная встреча — в доме, где я преступление совершаю. Я вдруг почувствовал, что больше всего я перед дочерью и внучей виноват, хотя для них, родимых, изо всех сил стараюсь, каждый день окружая благополучием, лаской и весёлостью, насколько могу. Содрогнулся: грязный ведь я, и их, моих девочек, мараю. Не достоин я этой любви к ним, любовь эта моя к ним — есть грех. И уже ничего не исправить, потому что вскорости мне в могилу.

Что было делать? К вечеру картошку сварил, нашлось пять клубней. Зинаида не поднималась, тихонечко лежала, пока Елисей не вернулся, в темноте уже. Смешного росточка парень, рука загипсованная на лангете — того и гляди, перевесит самого этого мотылька, и он кувыркнётся на пол, носом тукнется. В общем, по всему своему виду нелепый. А на лицо его взглянул — захотелось обнять Елисея, притулиться к нему: под бровями врзлёт стоят большие серые глаза, сосредоточенные и какие-то совестливые, с кротким участием ко всем человекам. Я кивком спросил, дескать, что и как? У меня язык к нёбу присох, так я был растерян из-за смятённости чувств. Говорит: хирург сказал, что ещё надо будет приехать — нерв в руке повреждён, рука может до конца не восстановиться. «Ничего, — говорит мне, успокаивает меня, — это ничего, образуется. Сколько я вам за всё должен? — спрашивает. — Не сейчас, потом

отдам, сразу, когда будет». — Тогда я повлѣк Елисея в «галерею». «Картинкой расплатишься, да хоть этой, например». Понятно, на какую картину я небрежно указал. — «Она недоделанная ещё», — заупрямился Елисей. — «Мне и такая подходит». Парень снял картину со стены, в папку специальную вложил. Потом вывел к столу старуху. Она так же не поднимала головы, подбородком упиралась во фланелевую грудь. Молча поужинали картошкой с постным маслом. Мало было еды, а насытились. Приказал я Елисею калитку и входную дверь запирать, а то вдруг старуха «погулять» пожелает, и уехал, кивком попрощавшись, без каких-либо обещаний.

А когда дома картину достал, то Светы на ней не было. По-разному смотрел, все лампы включил в комнате, но дочка ко мне не вышла. Потом уже у Елисея спрашивал про женщину на картине, а он не подтвердил её существование и не опроверг. Так ответил: «Что видишь, то и твоё». И в ту же ночь, когда я картину у себя рассматривал, мысль ко мне пришла: «Нельзя дочку жилья лишать». Понял, что картину верну на место — надо вернуть, и что уж после этого третьего посещения Лесиного дома я часто там буду бывать.

Вскорости и поехал бы к ним, но отправили меня в ковидную больничку. Самому удивительно, что быстро выкарабкался. Только начал очухиваться — и засвербело тревожное: не выдал ли Елисей себя, а значит, и меня; как с Зинаидой справляется, ведь таблетки, что я им оставил, на исходе. Набрал номер. Елисей отвечает: рука у него заживает, Зинаида спокойна, а насчёт таблеток — он как почувствовал, что с ними может быть задержка, дозу уменьшил несколько дней назад. Добавил особо, что разговаривать начала Зинаида, а про случай в лесополосе, видимо, совсем ничего не помнит.

Ещё ветром шатало после больницы, когда отправился я в дом художника. Калитка опять не была закрыта. Елисей тюкал топориком во дворе, а дальше, на участке, Зинаида копошилась под яблоней, усыпанной красными плодами, собирала в жёлтый таз упавшие на землю. Мы зашли с Елисеем в дом. Он молча принял возвращѣнную мной картину, разобрал пакеты, что я привѣз, убрал мясо в холодильник. «У нас дружба с матушкой Зинаидой началась. С мороженого, — огорошил он меня. — Я у неё каждый день спрашивал, что поесть хочет. Молчала. Однажды смотрю: на бумажке нацарапала слово "пломбир". Купил. Она сразу не стала есть. А утром, когда овсянку варил, достала из холодильника брикет, бумагу долой, а ледяную сладость — в кастрюльку. Впервые улыбнулась, когда я кашу с мороженым попробовал и сказал: вкусно. Теперь раза два в неделю так варю — с пломбиром. А в понедельник тоже варю кашу, кукурузную, Зинаида Петровна больше всего кукурузную любит. Губы намордил, варю. Каша густая, с маслом, пахнет сладко, а мне, может быть, плюнуть в неё хочется. Мешаю ложкой варево: "Ну что за жизнь такая? И с рукой беда, и Зинаиду кормить надо, и ведь неизвестно, что да как с нами будет". И слышу, из комнаты Зинаида окликает: "Ты соль-то купил? Без соли кашу есть не приучена". Я задохнулся от этого — солью, видишь ли, озаботилась. И тут она сама выходит. Смирная такая. "Не обиделся? Пошутила я". Соль эта всю наморденность-то мою и растворила, расхохотался даже. И мысль: "Вот накормлю я Зинаиду — и это правильно. Созреет в душе что для рисования, я и зубами кисточку возьму, а нарисую. Кашу варить для Зинаиды и матушек рисовать — одинаково хорошо". Я потом понял слова Елисея, потом...

Зинаида Петровна вошла, таз с яблоками двумя руками держит. Уже рот распахнула, чтобы что-то произнести, а увидела меня, голову вниз дёрнула — то ли так поздоровалась, то ли, чтобы не видеть меня, глаза спрятала — оставила яблоки (ух и

пахли, хотя несладкими оказались) и ушла в свою комнату. Так она от меня глаза долго прятала, ни конфетки, ни мандаринки от меня не брала, только если через руки Елисея.

«Что за тряпье на ней надето?» — спросил его. Он дал Зинаиде одежду матери, но ей всё оказалось мало, она перешивала вручную — из трёх халатов пара хламид получалась. «Может, ей чего надо из дома? Поспрашивай ненароком», — велел я Елисею. А зачем? Что, тревожило меня, как Зинаида выглядит?.. Елисей вскоре позвонил, говорит: «Ничего она не просит. Только про сказки Пушкина вспоминает. Есть у неё такая книга, наверное. Особенная для неё».

Дом стоял опечатанный. Как войдёшь? Исхитрился — ночью через задки огорода, потом через хлипенькое окошко... вполз. Старьём, мышками пахло, как в сарае. Фонарик включил. На вешалке куртка — её взять, скоро ведь холода? Да такая она была замызанная, что человека в ней представить срамно. В шкаф заглянул — не смог себя перебороть, чтобы чужое белье ворошить. На круглом столе, смотрю, лежит большая книга в измахратенной суперобложке: сказки Пушкина. То что надо, — прихвачу. К комоду подошёл, отодвинул верхний ящик. Вдруг документы какие обнаружу. А под руку — альбом с фотографиями, старый альбом, обложка малиновая, плюшевая. И мать с отцом Зинаиды Петровны там присутствовали — жених и невеста, и сама Зина-девчонка, и дети её — Андрей и Анна «на радость бабушке», крепенькие, серьёзные, в мать были дети, в её породу... Из непролистанных страниц выскользнули две фотографии, крупные, раньше в деревнях редко кто такого размера делал. Видно, профессиональный мастер по какому-то случаю снимал. На одной фотокарточке девушка стоит спиной, придерживает накинутую на плечи косынку, на степь смотрит. А на второй — та же девушка, уже в анфас. Улыбается, красивая. Красота её несколько почти и не пострадала оттого, что какой-то ребёнок-баловник фломастерами ей губы красным нарисовал и глаза — голубым. Ну совсем Мэрилин Монро. И вдруг я узнал в ней Зинаиду, ту, которая «*Месяц под косой горит*». Дай, думаю, возьму фотографии. Не мог больше вором в чужом жильё шариться. Вложил фото в книгу Пушкина и через окошко выполз.

Фотографии я Елисею отдал: «Сличай с той, в кого превратилась». Он долго смотрел на них, потом спрятал. А книгу Пушкина я никому не показал.

Они долго с опаской друг к другу относились, без дружбы жили, поспешил тогда Елисей про дружбу сказать. А как иначе, когда топор между ними был и не избылся?.. Елисей со своим простодушием весь умучился. Признаётся мне: «Слабый, наверное, я. Сбежать хочется. Трудно из одной жалости жить с человеком. Мне полюбить Зинаиду надо». А Зинаида первая его полюбила.

Еду она не готовила, оправдывалась: забыла, дескать, как это делается. Зато поднималась с петухами, в огороде возилась. С верхками-корешками ей, конечно, сподручнее было, чем с человеком. Только Елисея это не устраивало. Он что удумал: на неделю, на день бюджет составляет — и Зинаиду Петровну привлекает к этому, советуется. Она отстранялась вначале, а через месяц таких «упражнений» начала поддакивать. Елисей попробовал и картины свои ей показать. Поначалу она стыдилась даже: куда ей, дескать, до такой красоты. Елисей то же, что и мне, ей говорил: «Когда на какую-нибудь картину смотрю, то захожу в неё, как в комнату или, допустим, в настоящий лес. Представляю, что ствол нарисованного дерева, как живой, глажу. Есть на картине человек — представляю, что здороваюсь с ним за руку, да, обязательно за руку подержу...» Зинаида стеснялась таким словам внимать — не для её, дескать, глупых ушей. Тогда Елисей потихоньку, невзначай

принялся про матусю свою рассказывать и про матушку Тамару, матушку Пелагею, матушку Александру... С матушки Александры всё и началось. Она вместе с мужем поначалу в Армении жила. Во время того, страшного, землетрясения у них дети пропали. Самой Александре рухнувшими в доме перекрытиями ноги разможило, потом их ампутировали по колена. Вот она и нырнула в водку, по маковку. Год, а то и больше не просыхала, и муж её так же. Детьми они спаслись. Молодые ещё были, родили сына и дочку, решили новую жизнь начать на новом месте, в наши края перебрались. За малышей держась, поднялись на ноги. Зинаида будто и не слышала этого рассказа Елисея, тряпкой пыль стирала с подоконника. А потом стала наведываться в «галерею», не только когда художник звал. Матушки и вразумили её на любовь к Елисею. Услышал я как-то: она с ними разговаривает, с портретами. Вошла в «галерею», дверь прикрыла, а я через щёлочку слушаю: «Матуся, матуся, Анастасия Сергеевна, прости меня Христа ради, что не ты свои одежды носишь, а я; прости, что не с тобой, а со мной твой сыночек разговаривает; что не о тебе, обо мне заботится. И ты, матушка Александра, прости меня. Ты матерью оказалась, а я только ею казалась. Ты достойная женщина-родительница, смогла после горя жить и заново родить. А я и топор на себя поднимала, только Господь моей смерти не принял. Неужели ж я ещё пригожусь?» Мысль меня прожгла: да убивать ли Елисея она шла? Не хотела ли на глазах художника милосердного — светоча — суд над собой совершить за детей своих погибших, да не управилась с топором? Ведь матушкам-то врать не станет. И уже немного погодя полностью уверился в таком предположении. Раньше-то я по-своему всё понял, как себе было выгодно. И Елисею голову так задурил, что он глазам своим не поверил. А если не убивать Зинаида шла, то, может, и голосов не слышала? Но, повторяю, необходимо было время, чтобы я разобрался... Рассказал об этом Елисею. А он говорит: «Нарисую Зинаиду, обязательно надо нарисовать».

У него и свои мысли про неё роились. Елисей ведь как думает — красками, пока его кисточка что не нарисует, он сам это и не поймёт. А как рисовать, если рука плохо работает?

Долго же Елисей над картиной мучился, не один месяц. И правда, сам я видел — не только правой, но и левой рукой он кисточку держал, и в зубах, отчаянно зажатой, в лист тыкал. Вываливался из «галереи» чумной, перемазанный зелёным и красным, хлебал воду на кухне, вздыхал. «Что, не выходит каменный цветок, Данила-мастер?» — от какого-то своего отчаянья нарочно я его злил. Но обида в нём не родится, совсем безобидный он человек. «Не выходит, — соглашается. — Не могу фотографию скопировать, дрянь получается». А именно про фотографию сам он и решил: Зинаида, доскать, должна вспомнить себя молодой — той, какая была запечатлена на фотографии. Меня он расспрашивал, что про неё знаю, я рассказал про погибших детей и случившееся потом безумие — якобы на завалинках об этом судачат...

Через мучительное рисование Елисей угадал в старухе женщину-степь.

Приглашает нас как-то с Зинаидой в «галерею», подгадал под мой приезд. Вхожу я в комнату — и вижу: стоит на плато молодая Зинаида в ковylie, степь плодородная перед ней дышит. Небо обеих голубит и голубит. Елисей фотографию точно воспроизвёл, только ещё лучше получилось — он с восхищением перед женской красотой рисовал, с мужской робостью даже, и с виной своей нынешней, неизъяснимой. «Это я? — задыхнулась Зинаида. Потом говорит: — Тогда маков было меньше. — Испугалась, заполошилась: — Красиво, красиво всё». Слёзы у неё — кап-кап, слышно, как об пол стучают. И глаза, смотрю, у Зинаиды вдруг синии-и, как небо на картине. Елисей стоит, левой рукой с кисточкой кружит перед картиной, не успокоится. Стерпеть я не мог,

вышел. Мы потом компот разлили по хрустальным рюмкам, как раз три нашли, и Елисей тост произнёс: «За матушку Зинаиду». Тогда Зинаида Петровна стала матушкой.

Когда тебе смертельный диагноз поставили, главное — не умереть прежде смерти. Это трудно поначалу — жить как ни в чём не бывало. Просто невозможно. Для чужих глаз — возможно, но не для себя. По крайней мере, я не смог. Тянет тоска, обездвиживает. Потом думаешь: «Ведь не завтра умирать», — и начинаешь потихоньку копошиться. А если вылечился вроде, а потом рецидив, тогда уже думаешь: то самое «завтра» уже и наступило. Во второй раз тяжесть тяжелее, но и сам ты сильнее — к тяжести такой руки привыкли, ноги привыкли, спина привыкла — болят, но несут тебя, несут. Только минутами отчаянье злее. И вот тогда надо с кем-нибудь разбить его, развеять, чтобы не умереть живым ещё. В семье я не сказал, что у меня опухоль вновь проснулась. Стыдно мне было перед дочерью рассупониваться. И Елисею беду свою не открыл. Только не мог уже без него и Зинаиды жить. Часто стал наведываться, прямо от докторов — к ним.

Приезжаю как-то под вечер — играют в лото, дали и мне карточки. Елисей банкет. «Ну, с Новым годом вас, господа хорошие!» — поздравляет. Я соображаю: «Март же сейчас!» А матушка Зинаида уже пуговицей клеточку закрыла и хихикает: «Есть тридцать один». Елисей говорит: «Белеет парус одинокий», — а она тут же единицу нашла. Про то, «что Остап и Киса искали», я не догадался о двенадцати. Да вы сами, Максим Борисович, догадались бы, что под фразой «На Большом каретном» прячется цифра семнадцать? Вот! Только на «Антоне Павловиче собственной персоной» я про «Палату № 6» сообразил. А матушка Зинаида со всеми загадочками весёлыми справлялась хоть бы тебе хны. «Зинаида Петровна у нас в передовиках, потому как книжки любит. Библиотекарем сколько лет проработала?» — Елисей от удовольствия подпрыгивал на стуле. «Ой, а девятки у меня и нет», — растерялась она. — «Попалась, голубушка, — хохотал Елисей, — а ведь я просто спросил!» Рукou на них махнул, раз такие умные — играйте сами, в сторонке посмеюсь. Млел я, на них гляючи. Тихонечко сидел, смиренно руки сложив на коленках. Я не я будто был. И был ли или не был — не знаю. Часы тикают, люди смеются, чай горячий. Вот это только и есть. Люди смеются, чай горячий, часы тикают. Тик-так. Тик-так. Так. Так. Я — не я, а жизнь вот она, жизнь, естественная. Течёт себе, добрая. Пора уезжать. Выйду из дома. Тишина на весь мир. Только под лампочкой над крыльцом мошкара бузит, шебуршит по стеклу крылышками. Леся выйдет провожать, выйдет с дудуком своим шоколадным. Светлое выдует мне на дорожку. И удивительно мне, что во мне, во мне, тоже такое отзывается. Светлое поёт светлomu. И какие-то фантастические фиолетовые розы под окошками дома так утешительно, так обнадеживающе пахнут лимоном. И даже умирать мне совсем не страшно. Так хорошо, что не жалко умирать.

Света всегда удивлялась, когда я возвращался от Елисея и Зинаиды Петровны: «Папа, ты чего такой странный? Где гулял? По степи?» — «Ой, по степи, ой гулял-гулял», — прикасался губами легко к её лобу. Тогда мог так — легко. И специально губ ещё не отниму, а уже благодарственную молитву Богomатери мысленно читаю: *...Христову кротость и любовь вкорени и духом милосердия и сострадания сия утверди...*

О чём-то совсем простом мне в доме Елисея думалось. О совсем простом, свободно. Как раньше, совсем давно... Как-то соседская девочка принесла яйцо в трещинках: «Из него цыплёнок ещё может родиться. А дед говорит — на яичницу. Дядя Елисей, спасай!» Поставили на огонь бидон, в крышку на марлечку яйцо

приютили. В тепле, может, и подумает цыпа, что всё-таки стоит ей вылупиться. Пообещали девочке отдать ей птенчика. Матушка Зинаида над тем бидоном вспомнила про любимую курицу Катю с правой лапкой, вывернутой назад, эти подружки каждый день вместе до школы топотали. А я в ответ рассказал про кошку Юту, белую, слепую, от укуса гадюки погибшую. Полвека про неё не вспоминал, а вдруг прежние мальчишеские слёзы потекли. Зинаида меня не раз понуждала вспомнить что-то такое, будто бы пустяшное, но от чего сердце переворачивается. Мы с ней вместе жизни свои переглядывали заново, так получилось. Елисей однажды посмеялся над нами: «Ай, лепота! Здоровый образ мысли ведёте».

Зинаида и Елисей оба несуетливы, успевают разглядеть, так сказать, подробности жизни, на вкус их попробовать. Да, на вкус. Елисей простудился, зачихал. Матушка Зинаида просит меня: «Хорошо бы шепшины ему доставить». — «Что за зверь такой?» — удивляюсь. — «Да шиповник же это», — она тоже удивляется, что этого не знаю. — «А, значит, серберика, — говорю, — у нас в селе так эту ягоду называют». И тут спор возник, какое название лучше. Елисей, конечно, сходу на стороне матушки, но и меня старается не задеть: «Серберика? Нет, наверное... Пожалуй, бубенчиками в бубне слишком гремит для трудового шиповника». — «Серберика — потому что раскуси ягодку, она язык косточками дерёт, серебрит-серберит», — умным пытаюсь казаться. — «Ну, до ягодки поди доберись, — а Зинаида всегда в сторону Елисея смотрит, — через шипы руку-то попробуй протяни — шипшина и есть». — «Вы тут ещё поговорите, — кудахчу смехом, — а я пока за шиповником на базар пошёл». Радостно мне было что-то хорошее для них сделать, сил было немного, а я летал. Я — не я был, честное слово.

Зинаида уже через год округлилась, порозовела. Никаких отклонений в психике, хотя таблетки не принимала (доставать их мне стало труднее). И вовсе не чудо произошло. Называется: спонтанная ремиссия. Похорошела Зинаида Петровна. Да, не молодая женщина, и красота ушла безвозвратно, но свободна Зинаида в движениях и словах. Я как-то цветной платок ей купил. Она будто и не заметила, что его протягиваю. Тогда Елисей повязал цветной платок прямо на её белый, она уже не противилась.

Через год с небольшим Елисей снова отправился в какую-то библиотеку со своими картинами. Денежки-то надо зарабатывать. И выйти ему в мир хотелось, матушек своих тоже надо было вывести подышать. Направление он выбрал в противоположную от Малых Жеребят сторону. Я с Зинаидой Петровной остался. Она возится с рассадой, расставленной на подоконнике, знатный растениевод-мичуринец. От меня упёрто отвернулась, чувствует ведь, что давно поговорить хочу. Отстраняется. И я молчу. Только на стол за её спиной сказки Пушкина положил, ту самую книжку. Ушёл на кухню гороховицу варить. Ухом ситуацию контролирую. Возится, землю рыхлит в одноразовых стаканчиках, водичку льёт. Обернулась, два раза мимо книги прошла, не заметила. Я ложкой о кастрюлю постукиваю, как бы ничего не слышу, никого не вижу. А даже спиной всё вижу. Наконец увидела она книжку, развернула, как пришлось. Лицо ею загородила. Вдохнула, дышит страницами. Потом на кровать села, но так, чтобы и меня видеть при желании, хотя на меня не смотрит. И говорит молча, не разжимая губ, молчит, а всё равно я её слова слышу: «Узнала, узнала я тебя, Семён Петрович. Не сомневайся даже». — Я от кастрюли ей так же молча отвечаю: «Прощения у тебя не ишу. Просто знай, что на коленях стою и стоять буду». — «Стой, пожалуйста, тебе это надо... Но без тебя, чёрта, и радости бы моей сегодняшней не было», — говорит прежним образом. — И я так же: «Без тебя и я бы

всего себя не узнал». — «Я ведь не такой уж дуручкой тогда, на суде, была, — говорит. — От матери хотела избавиться. Она, бедная, робкой с людьми была, а меня, ту, что ещё больше умалила её, провинила перед ними своим безумством, наказывала за это каждый день. Думала я, нигде хуже не будет, даже в тюрьме. Оказалось, может быть. Там я совсем из себя вышла... Ты облысел, круги под глазами зелёные. Ничего не говоришь, а ведь помирать собрался, Семён Петрович?» — «Доктор пару месяцев дал». — «А сам гороховицу варишь...»

И вдруг слышу её настоящий голос, не «мысленный»:

— Лук хорошо прожарился? — озабоченно спрашивает. — Елисей любит, чтобы до коричневой корочки.

— Сейчас-сейчас, — засуетился я, — прожарю.

Такие мы с ней, петушок с курочкой, для цыплёнка своего вдруг расквохтались.

А я вновь молчком спрашиваю: «Мы ведь ничего про тот суд не скажем Елисею? Или как? Как прикажешь, так и сделаю». Матушка развернула книгу, которую на коленях держала, погладила страницы.

— Унеси, чтобы Леся не видел, — ответила вслух. — Лишнее это всё для него.

И я книгу в сумку покорно спрятал.

Не два отпущенных мне месяца прожил, и даже не два года, а гораздо более. И пишу ведь эти строки всё ещё живой. А вот что за это время произошло. Как-то не успел куртку снять, а матушка Зинаида в меня вцепилась прямо.

— Вот ты, Семён Петрович, что больше жалуешь, арбузы или дыни?

— Арбузы, — пожал плечами.

— Всё-таки можно с тобой дело иметь, — одобрила. — Арбуз — честный, он для светлого дня. А дыня — вечерняя ягода, притворная, с обманом.

Оказывается, двоюродный брат Елисея предложил ему стать фермером, бахчу развернуть рядом с домом — поле-то пустовало. Елисей тут же откликнулся. Он давно в деле хотел себя попробовать, мужицком, за деньги стоящие. А брат чем ещё его вдохновил: арбузы, сказал, будем выращивать и жёлтые, и без семечек, и квадратные. Зинаида поддержала Елисея. Покатилось дело. Через колдобины, через кидалово, долги и обманы — без этого у нас никуда. Но плодоносит бахча. Её уж и по телевизору показали. Елисей с «презентациями» ездит с осени до весны, а летом работает на бахче, за прилавком стоит. Матушка Зинаида не в стороне от арбузов, прикармливает их как-то по-своему, шаманит над ними. Там и другие работники есть — трое, а то и четверо сразу. Никуда ей не деться — пришлось вспоминать, как борщ варить, котлеты жарить. Я её подучил. Жизнью они теперь обросли со всех сторон. Жизнь сама к ним льнёт. По-другому и быть не могло. Если у людей *руки в локтях не сгибаются*, да *вилки длинные*, то есть к себе не умеют грести, только другого накормят, то и живётся им со спасительной радостью, можно мир разглядеть в подробностях и с любовью. Любовь ведь *все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит*.

А мне уже что? Точно — на выход.

Страшно ли? Страшно. И грехи горят во мне. И ещё страшнее от этого, потому что помню их теперь поимённо. И ещё больнее они горят, потому как знаю, что есть на свете художник Елисей и матушка Зинаида. Но есть теперь во мне и равновесие, и оно тоже от этих естественно простодушных людей. А в их земном простодушии что-то всеохватное. Если возможно это простодушие *здесь*, то будет и *там*. И я теперь знаю его и буду искать повсюду.

А вот теперь и просьба моя к Вам, уважаемый Максим Петрович. Наконец и до неё добрался. Житейская просьба. Помогите оформить Зинаиде Петровне документы,

чтобы получать пенсию и бесплатную медицинскую помощь. К кому бы я с этим мог ещё обратиться, как не к Вам? Наверное, можно было бы паспорт состряпать и за мзду, но таким документом матушка и Елисей побрезговали бы пользоваться. Очень прошу Вас помочь, но, конечно, оставляю за Вами решение. Потому не указываю точный адрес дома, где они проживают. Но при желании Вы, конечно, найдёте их по тем меткам, которые я в этой тетрадке разбросал. Желаю Вам крепкого здоровья и радостей! На сём и откланиваюсь. Аминь.

Первый раз Кипарейкин с бахчой промахнулся, заехал не в тот район. Вторая попытка увенчалась успехом. Бахча оказалась небольшой, без размаха, но затейливой. Пройтись к раскиданному, ещё созревающим ягодам зазывали на входе деревянные богатыри в шлемах из половинок арбузов. Тут же, под соломенной крышей, располагался прилавок, за которым стоял золотобородый фермер. Рядом с ним высокая старуха протирала губкой арбузы. Кипарейкин попросил выбрать пару без семечек, долго и введливо мучал Елисея расспросами про непривычные ягоды — вплоть до того, откуда тот берёт семена. Вежливо поговорил и с матушкой Зинаидой, обругал жару, спросил о здоровье. Потом Кипарейкин наведлся в полицию и налоговую, там навёл справки о владельцах бахчи. Сведения, видимо, вполне его удовлетворили.

Меньше, чем через месяц, он подъехал к небольшому дому возле бахчи. Перед тем как выйти из машины, посидел минуту-другую, сердито жуя губами, стараясь додумать какую-то мысль. Рывком вытащил из старого планшета коричневую тетрадь, спрятал её в бардачок. Ещё раз заглянул в нутро сумки, хотя только что видел содержимое. И, прихватив её, наконец, вышел из машины. Калитка была не заперта. А стучать в дверь дома Максим постарался особенным образом, будто выбивал какой-то весёлый мотив. Он волновался, конечно. Пока не увидел куст фиолетовых роз, которые, и правда, пахли лимоном.

---

*Анна Шипилова*

## Улыбаясь про себя

*Рассказы*

### *Дети отца Ярослава*

— Мои родители — послы, — говорит Саша и вяло машет бледной худой рукой, когда автобус отъезжает от памятника Долгорукому. — Мы живём тут, в Газетном переулке, а дача у нас на Николиной горе, рядом с Михалковым. Смотрел «Утомлённые солнцем»? — Он поворачивается к соседу.

Сосед пожимает плечами.

— Он мой двоюродный дед, это значит, что мой папа его племянник, — продолжает Саша, вытягивая ноги. — Родители завтра собираются в Кабо-Верде, а меня решили отправить в лагерь, потому что у них там лихорадка денге, а у меня аллергия на комариные укусы.

Саша внимательно разглядывает соседа: у того крашенные волосы, яркий бомбер, рваные джинсы и кеды с разноцветными шнурками.

— Родители разрешают тебе красить волосы? — спрашивает Саша.

— Мне мама сама их покрасила, когда год закончился, — гордо отвечает сосед. — Сказала, что летом всё можно.

— Я Саша, в честь Александра Македонского.

— А я — Игорь, как в «Слове о полку Игореве», — увидев Сашины округлившиеся глаза, он со смехом добавляет: — Да я не знаю, в честь кого, я приёмный.

Они жмут друг другу руки.

Соня, сидящая рядом с водителем, встаёт и ещё раз пересчитывает всех по головам. Поздно спохватилась: переписывалась. «Расстаётся с Димой на три недели, — записывает она голосовое сообщение подруге, — ждала его, даже отправление автобуса задержала, а он проводить не пришёл. А когда он на сборы уезжал, я к нему приезжала в часть в Кострому, зимой каждый день готовила домашнюю еду и носила ему в контейнерах. Снимала комнату у какой-то бабки, которая не разрешала его ночью водить, — выгоняла. А я зачем сняла тогда, просто так? Кострому посмотреть?»

---

*Шипилова Анна Константиновна* родилась в Москве в 1989 году. Окончила ВГИК им.Герасимова. Рассказы печатались в сборниках издательства «Эксмо».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 2.

Водитель всю дорогу крутит колёсико радио: «Швеция выиграла Чемпионат мира по хоккею, у России — бронза, погода на выходных обещает быть жаркой, сезон шашлыков уже начался, передаю привет моей любимой жене и дочурке, спикер Государственной думы выступил на совещании, на “Евровидение” от России поедет...» — чем ближе они подъезжают к лагерю, тем слабее сигнал.

— Наша задача — каждым делом удивить ребёнка, — объясняет на общем собрании старший вожатый Сергей Степанович.

Ему лет тридцать пять — Соня разглядывает его и думает: «Почему в таком возрасте он работает в детском лагере?» Выданная футболка ей велика — она завязывает узел на животе, чтобы футболка её не наполнила, и ловит неодобрительный взгляд медсестры. Соня подворачивает широкие рукава, открывая красивые руки, вытягивает длинные ноги в проход ей назло и обмахивается памяткой по безопасности — жарко. Сергей Степанович говорит заученно, но в то же время проникновенно:

— Нужно вожатской работе отдать всё: ум, способности, силы, здоровье, годы. И вспоминать её потом с удовольствием. Это должна быть не работа, а дело жизни. Нельзя относиться к ней спустя рукава.

Соня, зевая, ставит Тиндер и смахивает фотографии то влево, то вправо. Увидев, что Женя, соседка по комнате, тоже смотрит, Соня показывает ей поближе фотографии «Иван, 33»: в лифте, на рыбалке, на шашлыках, за рулём квадроцикла. Женя качает головой, и Соня смахивает влево.

— А я из пистолета стрелял, — заявляет Саша, и когда никто не реагирует, повторяет громче: — У водителя моего папы табельный.

Их отряд учат стрелять из лука в лесу по мишени на дереве.

— Макаров? — спрашивает Кира.

Саша кивает. Его стрела улетает куда-то в кусты.

— У моего папы тоже такой есть, но он мне не разрешает его трогать, мы в тир иногда ходим. — Стрела Киры попадает в десятку.

Игорь восхищённо смотрит на Киру и подаёт ей новую стрелу, она не глядя берёт и кладёт оперение на тетиву, вскидывает лук и прищуривается. Саша отходит к Жене и раздражённо говорит:

— Дайте мне другой лук. Мой кривой, я из-за него попасть не могу.

По телевизору в изоляторе целый день идут сериалы. Игорь лежит на кровати с температурой: померили и решили на всякий случай отправить на карантин, чтобы никого не заразил. Медсестра утром поставила на тумбочку его завтрак — остывший блин манной каши из столовки, — включила телевизор и ушла. Показывают «Отца Ярослава»: молодой священник расследует похищение начальника ЖЭКа; потом сразу вторая серия: отец Ярослав распутывает дело об убийстве и выясняет, что известный спортсмен участвовал в подпольных боях, — но тут Игорь засыпает и просыпается на другом сериале: какие-то крестьяне в колхозе не могут достроить коровник, а доярке не разрешают развестись с мужем, говорят, что у них же дети. После новостей снова сериалы: то инженер из маленького города уходит от жены к своей школьной любви, которая живёт в столице, то девушка приезжает из провинции в Москву и выходит за бизнесмена, но он оказывается ревнивым и избивает её за яркую помаду.

После обеда в соседнюю палату приводят Киру с вещами — Игорь выглядывает в коридор и слышит разговор:

— Только не говорите маме, что я заболела, — просит Кира. — У неё истероидное расстройство, ей нельзя волноваться. И папе тоже не говорите, а то приедет и заберёт, повезёт на рыбалку или на охоту комаров кормить и «Ленинград» слушать.

Кира заходит к Игорю, приносит запрещённые в лагере карты, садится на кровать с ногами, выигрывает у него несколько партий в дурака, а потом залезает под колючее одеяло и показывает фото в телефоне:

— Это я была с родителями в Турции, а это была вечеринка у бассейна в отеле, а это моя сестра. У тебя есть сёстры или братья?

Игорь мотает головой.

— Я не знаю, со мной в детдоме никого больше не было.

— А у меня старшая одна сестра, но у нас разные отцы, она от маминого первого брака, неудачного.

— А второй брак удачный? — спрашивает Игорь.

— Да не особо, по-моему, — немного подумав, отвечает она.

— А моя мама не замужем, — говорит Игорь, — ей даже сначала меня не хотели отдавать, говорили, зачем матерей-одиночек плодить, потом пособия всем выплачивать.

— А ты маме сказал, что ты в изоляторе? — спрашивает Кира.

— Да, я ей сразу написал. Она ответила, чтобы я не волновался, она заберёт меня, если станет хуже.

— А я своим не хочу говорить, — Кира накрывается одеялом с головой. — Будет грандиозный эль скандал, если мама сюда приедет. Лучше пошлю им вчерашние фотки.

Она отправляет фото со стрелой в центре мишени в семейный чат, папа присылает в ответ «палец вверх». Кира вздыхает, откидывает одеяло и шлёпает босыми ногами по прохладному полу в свою палату.

Женя ищет на складе подушку не из перьев, щупает каждую и ругается сквозь зубы, когда колется чем-то острым. У Саши из её отряда аллергия на воду — поэтому он не может купаться, аллергия на солнце — поэтому он не гуляет и не загорает, аллергия на цветение — поэтому ему нельзя в лес, а теперь оказывается, что ещё и на животный белок — и поэтому он не может спать на выданной ему подушке. Она слышит, как он говорит кому-то за дверью:

— Я не думал, что подушки из перьев ещё кто-то использует. У меня дома уже давно гипоаллергенные, и во всех отелях, в которых мы бываем с родителями, — тоже.

После отбоя Соня вылезает через балкон на дорожку, чтобы не проходить мимо вахтёрши, — за ней приехал полицейский уазик. Она объясняет Жене, что «Иван, 33» ей попался ещё пять раз, и она, наконец-то, его лайкнула, потому что больше здесь никого нет.

— Ты уверена? — спрашивает Женя, поднимая брови.

Соня отмахивается.

— А что? Он же мент, чо он мне сделает, его же уволят потом. Покатаемся с ним, потом поплаваем, он обещал показать красивое место. Запошущу фотки, и Дима быстро прискачет.

В выходные Сашу неожиданно навещает бабушка. Первым делом она заходит к вожатым узнать, где холодильник, чтобы положить яйца и шмат сала. Женя язвительно интересуется, нет ли у Саши на сало аллергии.

— Аллергии? — удивляется бабушка и отрезает: — Не выдумывайте.

Бабушка заходит к Саше в палату, всем жмёт руки, проверяет, как заправлена его кровать.

— Я же тебя учила, ты меня не позорь тут. — Бабушка глуховата и говорит громко. — Веди себя хорошо, мне бесплатную путёвку в собесе дали на тебя. В следующий раз не дадут, если будешь хулиганить. На что у тебя аллергия-то? Ты же на деревенском молоке рос, всё натуральное, никакой аллергии ни на что у тебя нет.

Бабушкины пирожки Саша забрасывает под кровать, где они ещё долго тухнут.

Кашляя и пошатываясь, Саша приходит в изолятор и жалуется, что заболел, — медсестра смотрит на его бледное лицо, выдаёт градусник, он незаметно нагревает тот на солнце до тридцати восьми, сев около окна. Когда его приводят в палату, он кивает смотрящим телевизор Игорю и Кире. Игорь пожимает ему руку, Кира улыбается: про его бабушку они ещё не знают. Саша попадает на интересную серию: в тёмной подворотне драка, отец Ярослав вступает за кого-то, а утром ищет нападавших, в следующей серии расследует пропажу дорогой иконы, в серии после новостей — самоубийство, а узнав, что это было убийство, сам отпевает жертву. Полиция каждый раз арестовывает не тех, и отцу Ярославу приходится искать настоящих убийц и воров.

— Вырасту и тоже буду священником, — решает Саша. — Буду расследовать преступления.

— Священники не расследуют, это кино, — отвечает Кира, шмыгая носом.

— А я буду священником и полицейским, — настаивает Саша. — Сначала окончу полицейскую академию, а потом священническую.

Во время прощального костра Соня плачет — Сергей Степаныч неодобрительно смотрит на неё, потом отводит и выговаривает, не отпуская её локоть:

— Нельзя показывать своё плохое настроение детям. Вожатый должен всегда быть жизнерадостным и являться примером.

Вернувшись к костру, Соня шепчет Жене:

— Ваня сказал, что женат и ему не нужны отношения, а Дима со мной расстался, увидев наши фотки...

Женя смотрит на Киру и Игоря: они о чём-то тихо разговаривают, до неё доносится:

— Ты можешь приехать в гости, мама написала, что будет рада моим друзьям.

Кира кивает и приваливается к плечу Игоря.

Саша сидит на бревне поодаль, рассказывает младшему отряду:

— Я буду расследовать преступления так: ко мне все будут приходить и исповедоваться в них...

Сергей Степанович берёт гитару и с деланой хрипотцой запевает: «Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так...» Женя слушает и улыбается: «А голос у него очень красивый». Девочки смахивают слёзы, мальчики молча смотрят в костёр, а огонь поднимается всё выше и выше, стреляя искрами высоко вверх над кронами деревьев.

## Заросли

— Никогда не брей ноги, — говорит ей мама, — иначе волосы станут чёрными и жёсткими, как борода у папы, — на, возьми пинцет, выщипывай.

Она закрывает дверь в ванную, и Настя садится на табуретку, согнав кота, который обычно дотягивается с неё до раковины и пьёт воду из-под крана. Она ставит на бортик ванны ногу и разглядывает её под тусклой лампочкой: бледная шелушащаяся кожа, синие вены, красные прыщики, волоски покрывают голень и даже торчат на фалангах пальцев, — она вспоминает фильм про хоббитов. Морщась от боли, выдёргивает парочку волосков, ещё несколько — только растягивает и, отложив пинцет, берёт папин станок. Он железный и с ржавыми подпалинами — папа по старинке пользуется опасной бритвой, а станок лежит в мыльной луже на полке. Вспомнив, как папа взбивает пену для бритья в специальном стаканчике помазком с жёстким кабаньим волосом, Настя выливает гель для душа на ногу и размазывает его пальцами — мыльные пузыри уходят в сток. Проводит станком несколько раз — сначала снизу вверх, потом сверху вниз. Появляется струйка крови.

Никита открывает Насте пиво, смотрит на её руки: она в лёгком свитере, открытые плечи в мурашках от холода.

— Какие у тебя руки волосатые, ты что, не ухаживаешь за собой? — спрашивает Никита, брезгливо кривя губы. — Но жопа у тебя — как орех.

Настя стоит в растерянности, пытаюсь придумать ответ, но Никита уже смеётся с друзьями — ей кажется, что над ней. Она подсаживается на лавочку к подруге, та, отхлебнув из её бутылки, наклоняется и рассказывает на ухо, что познакомилась в приложении с парнем, и он спросил, выбрита ли она «там».

— А надо? — спрашивает Настя.

Подружка кивает.

— Он пишет, что любит, когда там всё выбрито.

Стоящая рядом одноклассница Насти со знанием дела кивает и говорит:

— Все кусты надо состричь, иначе дорогу не найдёт.

«Ты выбрита? — думает Настя о себе во втором лице, а иногда в третьем. — У тебя там выбрито? У тебя там гладко?»

Волосы появляются в местах, где их меньше всего ждёшь. Она моется в душе, проводит уже своим, розовым пластиковым станком по ягодицам и обнаруживает, что лезвия покрыты тонкими и короткими серыми волосками. Настя вычитывает в журнале про «пушок», который сбривать не надо, но не понимает, пушок это или уже «волосня»? Проведя станком по пояснице, Настя обнаруживает волосы и там — хотя в зеркале их не видно. От станка остаются порезы, и после душа она шлёпает по кафелю, оставляя кровавые следы и потёки, даже не замечая этого.

— Кровь свою замой, — кричит ей мама. — Стыдоба! А если отец увидит?

Потом, не постучав, заглядывает к ней в комнату и говорит злым шёпотом:

— И прокладки свои не раскидывай везде, закапывай поглубже, не клади сверху в ведре.

— Что, папа прокладок никогда не видел? — спрашивает Настя. — Испугается вида крови?

— Не выдумывай. Я тебе всё сказала!

Хлопнув дверью, мама уходит.

Настя лежит на диване, разведя ноги, — прижав её сверху, ритмично двигается Никита. Она незаметно для него проводит рукой по ноге: достаточно ли гладкая?

не отросли пеньки? Никита выходит из неё, трясясь, кончает на грудь, вытирает член полотенцем, ложится рядом, улыбается, прижимает её к себе. Сперма, остывая, неприятно холодит кожу и стекает на простыню, заставляя Настю ёжиться.

— Какая ты у меня гладенькая. — Он щиплет её лобок, отчего на коже появляются красные пятна, и поднимает руку выше. — А дорожку к тёще твою надо выбрить. — Он проводит пальцами по своему животу. — Видишь, как у меня.

Настя смотрит на дорожку волос, уходящую в заросли, к опадающему члену. Ничего, кроме зуда между ног и боли в мышцах, она не чувствует.

— Придёшь завтра? — спрашивает Никита.

Настя понимает, что если выбриться завтра, то раздражение точно усилится и опять появятся вросшие волосы.

— Не, завтра надо к англишу готовиться, — отвечает она.

На уроке Настя пытается вспомнить, брила ли утром ноги, опускает глаза и разглядывает свои икры в колготках — чёрных, сорок ден, — есть ли волоски и видно ли их. Она пропускает вопрос учительницы и на всякий случай убирает ноги глубже под стул.

Подаренных на день рождения денег как раз хватает на восковую эпиляцию.

— Ну ты и отраслила, — говорит ей косметолог. — А у меня следующая запись через полчаса. Ну, будем успевать!

И начинает быстро размазывать горячий воск шпателем по коже, оставляя ожоги, и сдирает так больно, что Настя не может сдерживать слёзы. Когда косметолог просит Настю лечь на живот и развести руками ягодицы, она с ужасом думает: «И там тоже?»

В холодном белом свете ламп в туалете торгового центра Настя впервые замечает в зеркале растительность над верхней губой, на щеках, между бровей и, приподнявшись, торчащие из ноздрей чёрные волоски.

Каждый день она осматривает своё тело, проверяет его на ощупь — удаляет жёсткие, как папин помазок, волоски из родинок, выдирает волос, растущий на подбородке, как у Бабы-яги из кино, проходится станком по ногам, рукам, под мышками, по лобку и животу, раз в неделю — кусачим электрическим депилятором по спине, плечам и ягодицам. Волосы вместе с потоком воды утекают в сток, и Настя думает, почему с таким же упорством и силой они не растут у неё на голове: она моет жидкие пряди лошадиным шампунем, выжимает хилый хвост и сушится феном, стоя вниз головой, чтобы придать укладке объём. Никита любит схватить её за волосы во время секса и потянуть на себя или в сторону — и Настя почти слышит, как они ломаются у него в руках и он торопливо отряхивает руку.

— Ну ты и линияешь, конечно, пипец просто, — говорит он. Настя испуганно оглядывается через плечо. — Как ты ещё не облысела, непонятно.

Никита постоянно следит за временем: боится, что их застанет его мама, — едва отдышавшись после секса, начинает подгонять Настю, не даёт запереть дверь в ванную и говорит в щёлочку:

— Не намывайся там, давай по-быстрому.

Она оскальзывается, ударяется локтями и коленями о раковину и стиральную машину, бежит мокрыми ногами по холодному линолеуму к дивану, достаёт завалившиеся за подушки трусы и даже толком не успев вытереться, быстро одевается, отчего приходит домой в сыром белье.

Настя размазывает по ногам белый, пахнущий чем-то сладковатым крем: вычитала, что после него неделю не растут волосы. Через двадцать минут смывает, но волосы начинают пробиваться через два-три дня, а на коже появляются незаживающие красные волдыри. Настя идёт в кожно-венерологический диспансер, думая, что заразилась СПИДом, потому что они занимались сексом без презика, и теперь она умрёт. Пока ждёт в очереди, размышляет, как сообщить об этом Никите и сообщать ли: вдруг он решит, что это она его заразилась. Врач долго слушает её сбивчивые оправдания и говорит, что это химические ожоги.

Летом Настя идёт работать в магазин косметики, два через два, на выходные ездит к бабушке на дачу, с Никитой почти не видится, и звонить он перестаёт. Бабушка мажет её голову яичным желтком, смешанным с крошками чёрного хлеба, укутывает полотенцем и говорит:

— Завтра горчицей намажем, и на ночь оставишь.

Настя загорает на дачном солнце, волосы на ногах и руках отрастают и выцветают, и она перестаёт их замечать. Гоняет на велосипеде до сельского магазина, где по вечерам собираются только деревенские алкоголики, — кроме них, продавщицы, бабушки и соседок, её никто не видит. Волосы между ног можно заплетать — лёжа по вечерам на кровати, она иногда играет с ними: то тянет, то зарывается пальцами, прикидывая, сколько времени займёт отрастить их такой же длины, как на голове. Нюхает подмышки: вечером они пахнут потом, а отросшие волоски становятся жирными. Настя ногтями тянет их по одному, но вырвать не получается, они выскальзывают из пальцев. На работу она надевает форму: футболку и брюки чёрного цвета, они закрывают подмышки и ноги, и никто не замечает, что она не бреется. Взяв любовный роман с полки в туалете и разложив полотенце около грядок с клубникой, чтобы позагорать, Настя читает о жаре тел и водоворотах страсти и думает: «Почему с Никитой было не так?»

Приехав к бабушке в конце июля, она видит, что на их участке Лёша, сын соседки, которого она помнит с детства, копает яму для погреба. Бабушка, не дожидаясь её вопроса, объясняет, что Лёша на даче у своей бабушки прячется от армии: не поступил, а денег купить военник у родителей нет. Настя выносит стакан воды, наклоняется и протягивает ему. Он берёт его грязными от земли пальцами, коснувшись её пальцев, она смущается, и он говорит:

— Приходи вечером на пруд, искупаемся.

Лёша целует её ногу, а мурашки разбегаются по рукам и плечам.

«В темноте не видно, что там всё заросло, но на ощупь он сейчас всё поймёт», — в панике думает Настя. Она начинает извиваться и выворачиваться, но Лёше, кажется, всё равно: он пробирается внутрь неё сначала пальцами, потом языком. Настя лежит, глядя на звёзды, одной рукой вцепившись в Лёшины кудри, а другой упираясь в землю, — они съезжают с покатога берега всё ниже и ниже к воде.

На следующий день Лёша, разглядывая её ноги, говорит:

— Красота в естественности. Нет ничего красивого ни в каблуках, уродующих женские ноги, ни в гладко выбритой коже — сила в волосах, в информации, они помнят всё.

Настя качает ногой в такт музыке из его магнитофона; он привёл её в свою комнату на чердаке с удобным отдельным входом по приставной лестнице — не надо подниматься и спускаться мимо его бабушки. С артритом и варикозом та ни за что не полезет по шаткой лестнице, с дороги за дубом их не видно, так что Насте спокойно и уютно.

Мамины предостережения, похоже, оправдались, и волосы после долгого бритья растут с удвоенной силой. Насте кажется, что она зарастает шерстью, как животное, но это уже не беспокоит: Лёша любит играть с её волосами, сворачивая их в колечки или заплетая в короткие косички, пока она гладит его мокрые плечи. Целыми днями они сплетаются и расплетаются на колючем пледе, которым накрыта его кушетка. Утомившись, засыпают, склеившись спермой, застывающей у Насти на животе. Спустя короткое время Настя просыпается, слушает Лёшино посапывание, улыбается тому, как иногда он во сне дёргается всем телом. Идёт мыться в тёплый летний душ — из чёрной бочки, нагретой за день: мыльные потоки, смешиваясь со спермой, стекают по животу вниз, повисая каплями на волосках между ног.

Лёшу забирают в армию случайно — ловят без билета в электричке. Денег у него нет, его отводят в полицию, а оттуда — сразу в военкомат.

Настя покупает в аптеке напротив работы один за другим тесты на беременность, каждый раз отказываясь верить результату. Вернувшись на предпоследней электричке на дачу, говорит бабушке:

— Мама меня убьёт.

Бабушка твёрдо отвечает:

— Вырастим. Поживёшь у меня в квартире, поспишь пока на раскладном кресле, а потом посмотрим.

Бабушка учит её вязать, и зимой Настя под бубнящий телевизор вяжет пинетки и шарфы, шапочки и кофточки из светло-серой шерсти со своей спины, рук и ног. Бабушка подслеповато присматривается к пряже и спрашивает:

— Собачья шерсть, что ли? Или верблюжья?

Иногда Насте снится, что она плетёт кокон для себя и ребёнка, наворачивает всё новые слои шерсти, укрепляя его стенки, — где-то на кухне телевизор бормочет, что человеческие волосы выдерживают вес в несколько тонн. Во сне ребёнок у неё на руках полностью покрыт шерстью, Настя гладит его мягкое тёплое тельце, как кошку. Проснувшись, она разглядывает себя в зеркале в ванной, взвешивает в руках потяжелевшую грудь, гладит большой живот и представляет себя львицей или обезьяной из передач про животных. Вспомнив Лёшу, мастурбирует флакончиком дезодоранта, изогнувшись и подперев ногой дверь в ванную, чтобы бабушка не могла зайти: шеколда не закрывается.

Мама, придя к ним и поставив продукты в холодильник, кладёт на комод крестильную рубашку, постельное бельё и полотенца из Настиного приданого, останавливает взгляд на животе дочери и говорит:

— Перед роддомом побрейся там, а то санитарки станком на сухую будут скрести. Я на выписку отца твоего приведу, может, он тебя простит, когда ребёнка увидит.

Настя берёт два стула из кухни и ставит их в прихожей перед большим зеркалом в деревянной раме. Наполняет эмалированный тазик тёплой водой и, стараясь не расплескать, приносит его из ванной и ставит на стул. Намылывает волосы между ног и садится на другой стул. Разводит ноги пошире перед зеркалом и, споласкивая станок в тазике, долго всё сбывает — чёрные волосы, сворачиваясь в колечки, плавают на поверхности воды, серая мыльная пена, растворяясь, тонет. Настя выливает таз в туалет, смывает один раз, потом второй, смотрит, как волосы уносит в воронку канализации.

Медсестра в роддоме спрашивает первым делом, зайдя в палату:

— У тебя там выбрито?

Настя кивает, улыбаясь про себя.

---

*Галина Данильева*

## Два детских дебюта для взрослых

### *Дебют под музыку из тюремного окна*

Мама собирала чемодан. Большой. Я — маленькая. Тёмный (дерматин) снаружи, светлый (бумага) внутри. Хотя и соединял он в себе множество запахов (колбасы, печенья, сухарей, сухофруктов и ещё чего-то типичного для не больничной передачи, кроме махорки-папирос — папа не курил), но главенствовал, забывая все остальные, запах земляники. Чрезмерный и густой, немножко, как мне казалось, пластмассовый — так пахли «голыши» из целлулоида — запах земляничного мыла. Много-много кусочков-кубиков с весёлыми земляничками на обёртке.

Мы собирались к папе. В Куйбышев. Слово «тюрьма» не произносилось. Произносилось: «папа работает». Как работает? Бывшим военным? Се-кре-та-рём парт-ко-ма. Кабинет. Кожаные диван и кресла. Москва III. Резерв проводников. Северная железная дорога: Москва — Владивосток. Это словарь моего детства, юности, то есть из разряда того, что запоминается навсегда.

Да и родилась я поблизости, в Марьиной роще. Мама приехала получать деньги за предродовой отпуск в тот же Резерв проводников восточного направления (кажется, точно вспомнила, хотя дорога всегда называлась Северной), схватки, «скорая», ближайший роддом. И вместо желанного, жданного сына — дочь-лягушонок. Да ещё слепая — так показалось маме, — ни зрачков, ни белков. Открыла глаза — две фиолетовые лужицы. Записка, почти извинение, папе. И его не-укор — утешение, радость, принятие.

Каждый день после работы приносил он своему Галчонку новый чепчик. День — чепчик. Чепчиков много. Дней мало. Арест. Мамины хлопоты. Письма. Фотографии. Мамино отсутствие — работа, работа. Мамино присутствие: тепло, уют, баловство, праздник.

Вот уж точно про тогдашнюю мою жизнь — «животное полосатое». И не очень-то ручное.

---

*Данильева Галина Алексеевна* — поэт, прозаик. Родилась в Москве. Окончила в 1971 году МГТУ им.Баумана. С 1994 года работает в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве; старший научный сотрудник. Печатается с 1989 года в журналах «Грани», «Юность», «Литературная учёба» и других. Автор пяти книг стихов, среди них «Между встречей и встречей» (2012), «Бабочка — меж рам» (2014). Лауреат многих литературных премий. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Мучительный отрыв, попытка укрыться на третьей полке, в подушках-матрацах. Поезд Москва — Владивосток, «первый», который, возвращаясь, превращался в «двойку». Извлечение обманом — дядей Колей, мужем тёти Дуси, папиной сестры. Дядю Колю любила, жалела по-детски, понимая и не понимая, за что. Жизнь-ожидание с бабушкой Марфой возвращения мамы. Сетка, в которую при свете рыжего абажура собирала своё богатство. «Богачество» девочки, которая, услышав, как соседка-учительница назвала её сироткой, говорила о себе, склонив бритую голову к плечу, с печальной, с какой-то старушечьей интонацией, отчаянно картавя, и потому получалось не что иное как «селёдка»...

И вот мы с мамой едем к папе! «Селёдке» осенью исполнится целых четыре года. Конец лета или середина? Жарко. Беленькое платьице с крылышками. Соломенная шляпка с вишенками, ромашками и васильками на бритой, но явно белобрысой голове. Ликование: к папе, которому на маминых письмах уже делала свои приписки печатно-крупно с буквами Р и К, написанными зеркально. Папе нравилось. Он в письмах к маме, бабушке и всем, тогда многим домашним писал слова ей, только ей одной на свете, своему птенцу ненаглядному, позднему и единственному. «Галчонок, когда мама скажет тебе, что это — папа, не иди к нему на ручки, пока не увидишь орла на груди. Первым делом попроси показать орла, если покажет, значит, верно, это я, твой папа». Стараюсь припомнить точно. Письма, к сожалению, не сохранилось, но мама столько раз его мне читала, и ещё больше раз мы вспоминали то, что было потом — исполнение наказа!

Вагон помню хорошо. Судя по всему, он был плацкартным. С ребёнком всегда (и почти всегда охотно) общаются взрослые попутчики. А я так смешно картавила. И с такой готовностью отвечала на извечные вопросы взрослых: «Как тебя зовут? А как зовут маму? А куда вы едете? А сколько тебе годиков? А как зовут папу?» С лёгкостью — на все вопросы и даже на тот: куда же мы едем и где наш папа? — Да, папа работает. У него кабинет с большими окнами. Я буду прыгать по кожаному дивану и прятаться за огромными креслами.

И вновь слово «тюрьма» не произносилось. Но взрослые как-то не очень уверенно покачивали в знак согласия и удовольствия головами, какую-то печаль, жалостливую печаль я видела в их взглядах и тихо, про себя, недоумевала. Поглядывала на маму, будто требуя поддержки, надеясь на неё, её взыскаю. Мама молча кивала, улыбалась. Вероятно, она попутчикам, не скрывая по своему прямому и смелому характеру, характеру безыскусному, папину «работу» назвала истинным словом.

Мы сняли комнату? Угол? Может, даже просто кровать одну на двоих у какой-то доброй, светлой, ласковой хозяйки. Домик с живыми сумерками от окружающего его сада. С домоткаными половичками на чистом полу, кружевным подзором (как у бабушки!), огромными (я могла поместиться целиком на одной из них) и воздушными подушками.

В ту пору не только деревья были большими, большими, почти до неба (уж точно до крыши дома!), были цветы. Под ними-то (подсолнухами, георгинами?) меня и сфотографировала хозяйка. Карточки прислала нам по почте — маленькие, туманные, даже не чёрно-белые, а какие-то молочно-призрачные. На них улыбающаяся кроха будто из Лилипутии в стране Гулливера: ручка не толще стебля огромного растения, которое зонтиком цветка склонилось над моим бритым не-высочеством...

День встречи с папой — сви-да-ние! День моей первой в сознательной жизни встречи с папой, которого полюблю так сильно, мучительно-радостно, будто предчувствуя краткость нашего земного «вместе». Он погибнет у меня на глазах, когда

мне не исполнится ещё и девяти — в октябре исполнится, а он уйдёт в июле, 28-го. Я пойду в четвёртый класс без него. Да, в четвёртый, потому что в первый (с ним!) я пошла, когда шести не было.

Воспоминания о дне встречи с моим папой исключительно чёрно-белые, не очень контрастные, будто всё запорошено серым. Но не тускнеющие с годами, поверьте. Даже в хозяйкином саду цвета цветов, *того* цветка, что на фотографии, не назову. Помню запах, запахи. Они цветные.

Дом, где заключённым разрешались встречи с близкими, тоже видится серым... Длинный. Приземлённый. Точно не каменный-кирпичный, а деревянный, барачный. С пахнущими сыростью вымытыми полами. Много народа. Звука нет. Немое кино. Молчаливое ожидание? Шёпотом переговариваются? Или я *так* жду *папу*, что слышу только звук своего нетерпения (сердцебиения?), идущий из глубины моего тщедушного существа? Стол. Длинный. Пустой. Кажется, что пришедшие из лета (наша с мамой сторона) — только женщины (детей не запомнила), а те, кого мы ждали, вошедшие из дверей, что с другой стороны, — только мужчины. Возгласов не помню. Помню: мы сели, папа — через стол, напротив.

Мама: «Галинка, это твой папа».

Я: «Покажи орла».

Папа молча, из раненого глаза — слёзка, улыбаясь, расстёгивает китель без погон с блестящими пуговицами. Под кителем — ничего.

Папа так и ходил до самой своей ранней смерти (в сорок пять) только в военной одежде. Без погон, но с орденскими планками. Его любимый габардиновый плащ? пальто? — последнее, что они с мамой купили. Одежду папе они всегда покупали в Военторге, что на Знаменке, ведущей теперь к Новому Арбату, которого тогда и в помине не было. Был, как, впрочем, и теперь остаётся пострадавший от перемен внешних больше, чем от тяжести времени, единственный и неповторимый московский Арбат — Рабат — горбат...

Орёл парил, расправив крылья, на папиной груди. Красивый. Совсем не пугающий, не противный, тщательно и не слишком ярко прорисованный. Когда он появился на папиной груди? Где? Вероятнее всего, здесь и появился, исполненный несомненным умельцем. Папа, прибывший к военной службе сызмальства — участвовал в Финской войне мальчишкой, — рассказать успел мало из-за краткости нашей совместности и моей девчачьей малости. Что его сподвигло поселить орла на груди, — не знаю.

Увидела и... уснула. Мама рассказывала, что меня — спящую — передала папе через стол (позволили!), и всё свидание я проспала на его руках впервые после периода «чепчиков».

Вот и вся встреча. О чём они говорили с мамой, и говорили ли, — я не знаю. Как мне спалось под крыльями папиного орла? Наверное, так, как никогда раньше в моей огромной четырёхлетней жизни.

Видимо, папа рассказал маме, как отыскать окна его «кабинета», и они условились о ещё одной встрече на прощание, перед нашим отъездом в Москву. И мы пошли к папе ещё раз. Какой-то ров или насыпь. Тюрьма — большое серое здание, скорее широкое, чем высокое. И много-много окон. Окна большие, с решётками — явными, чёрными, но не мелкими, а с расстоянием между прутьями таким, что не только машущие руки проходили, а, мне казалось, подними меня мама, протяни папе на руках, я бы тоже протиснулась и оказалась бы в «папином домике». Но руки должны были быть не только крепко-надёжными, а ещё и длинными-предлинными.

Мы увидели в одном из окон какого-то срединного этажа папину голову и приветствующую руку. Мама показала мне, куда надо глядеть. Я тоже стала махать сразу двумя руками, совсем как глупый, пытающийся взлететь птенец.

Мама: «Галинка, покружись для папы, потанцуй».

И начался этот детский, нелепый, неповторимый танец вне жанра, вне ритма, вне времени.

Рядом с папой, с папиными разделёнными решётками хлопающими ладонями появилась незнакомая голова, потом эта голова — чёрная, кудрявая, красивая (я всё разглядела, даже танцую) — переместилась к другому окну. Это был человек с аккордеоном. Он как-то примостился, может быть, на выступе подоконника, и заиграл. Музыка было хорошо слышно, будто во всём мире, а не только в городе Самаре — Куйбышеве, все другие звуки затаились, примолкли.

Бритая девочка в платице с крылышками танцевала для своего папы, для всех пап, которые были отделены от мира с его временами года, от чуда детства своих детей, от ласки и тепла любимых, усталых, исстрадавшихся от разлуки женщин, от разлуки, почему-то вновь выпавшей им, пережившим горе разлучённости войной.

Аккордеон выводил мелодию, похожую на солнечный дождь. Этот дождь, я знала отродясь, называется «Царевна плачет»: слёзы сквозь улыбку или наоборот. Девочка кружилась, теперь уже подчиняясь музыке. Рук за решётками становилось всё больше и больше. Это было иначе, чем аплодисменты. Я понимала, понимала даже тогда — это был дебют, дебют под музыку из тюремного окна. Первое публичное выступление, которое и дало отваги на жизнь, что была впереди.

## Дебют на венском стуле

Куда уйти? Уйду лицом в ладони.

*Белла Ахмадулина*

Не уйду лицом в ладони от смущения — расскажу — напишу. Ведь столько раз — с этого началось моё припоминание жизни — было уже рассказано в ласковых посиделках vis-a-vis или домашних застольях. Впервые — случайно, а позже — уже по просьбам — рассказом грустно повеселить. Бывает так? Да может, только так и бывает в этом грустном и прекрасном мире. Давно живу в согласье с Буниным, сказавшим: «Как ни грустно в этом непонятном мире, он всё же прекрасен». Одно бы слово изменила: *непонятном* на *непостижимом*. А может, и ещё одно — *грустно* на *печально*... Нет, всё-таки *грустно*! Конечно же, лишь *грустно*, потому что — грустно-радостно... А печаль, печаль — отдельная страна.

Ещё одна причина *уйти лицом в ладони*: классика править принялась! Хорошо, что вовремя опомнилась... Но ясно же, что это не правка — додумывание по-своему, dorastanie до понимания, встав на колени.

И чтобы не возвращаться к оправданию смущения и бесконечного откладывания написания того, что, по сути, было или должно быть первым в цепочке припоминаний, объяснюсь.

У Ариадны Эфрон, дочери Марины Цветаевой и абсолютного вундеркинда, я прочитала следующее: «...Знаю лишь, что в пятилетнем возрасте я, естественно, не была ещё знакома с любовной лирикой Блока...» Известно, что чтением стихов любимейшего из любимых поэтов своей гениальной матери Алечка просто ошеломила,

практически испугала Илью Эренбурга, но это было несколько позже, в начале 1920-х годов. Следовательно, Ариадне тогда было *уже* больше восьми лет.

Той же, что читает «Незнакомку» и «Стихи о Прекрасной Даме» в этом повествовании, не было пяти лет. Конечно, это надо отнести к издержкам воспитания и особенностям судьбы, а вовсе не к вундеркинизму, но скрупулёзно ведя пересчёт и сведение дат, стараясь не слукавить в каждой из моих попыток сказать жизнь, по-другому не получается. Именно по этой причине я отступала и отступала от давно обещанного написания «Дебюта на венском стуле». Отступить некуда. И некогда...

Итак, этот рассказ-воспоминание и был в начале. В начале не хронологическом, а в начале той цепочки моей малой прозы, которая возникла из озвученных фрагментов, а позже — из желания написать Детство во всей правде, которую позволяет память...

\* \* \*

Была зима. Первая моя деревенская зима. С невиданно близкими — ослепляюще близкими — звёздами, с эверестами сугробов, инеем в размер детской ладошки, с белыми от жаркого дыхания на морозе усами лошадей и собак, непугаными птицами (их говор в тишине деревенской жизни порой казался во всю мощь звучащим оркестром, дирижируемым временем суток), деревьями до седьмого неба, дымом из труб — туда же, земным разломом (не меньше!) оврага, служившим горкой... Разве всё перечислить? Но ничего не забыть...

Январь или февраль 1953 года. В марте умрёт Сталин и освободят папу, как и многих-многих других невинно осуждённых. Осенью мне исполнится пять. И папа будет с нами. Сейчас его нет. Мамы тоже нет — в поездке. Я по причине бездомья и половинного сиротства оказалась в деревне у бабушек Александры и Анны, а привезли — прихватили с собой, обольстив де-рев-ней, — дядя Ваня и тётя Лида. И было это в первые дни сентября 1952-го — без месяца четыре годика девочке, а зимой, как ни считай, только — пятый.

Белая шубка из кролика. Вместо шапочки — белая шаль (не помню, чья), белые валенки, рукавички на резинке (как и шапочка, из кроличьего пуха; рукавички остались, а шапочка — больно по-городскому — отвергнута)... Мама всю мою экипировку подвезла вслед за мной: уехала-то в чём была... Мама приезжала, привозила всего-всего, прибирала дом бабушек, превращая его в рай, как, вздыхая, говаривали мои Васильевны, и уезжала вновь. А без неё меня «обряжала», в основном тётя Лида.

Бритая. И очень маленькая не только возрастом, но и ростом. Потому ясно: всё вокруг — гигантское, необъятное, и ужас затеряться — не то в сугробах, не то в звёздах или живых тенях ивовых ветвей — насылает мурашки больше, чем от мороза.

Ранние зимние сумерки, фонарь перед домом дяди Вани (председатель!) светит тускло и спокойно — неживой (электрический — это слово я уже знаю), звёзды — ярко, тревожно. Они живые, насмешливые и близкие. На скорую руку к небу пришиты — так и кажется, что сейчас начнут осыпаться и засыплют вместо снега (или вместе с ним) и дом, и горку, и эту маленькую девочку. Для её возраста уж больно одинокую...

Ах, вот здесь — ошибка! Той зимой электричества в деревне ещё нет! Но фонарь, я так отчётливо его помню...

Я помню этот ужас — потерялась! Но не хнычу, не кричу — остолбенело стою возле санок, крепко примёрзнув рукавичкой к жёсткой от мороза верёвке, и плачу.

Деревня — на двух уровнях. Вдоль них друг на друга глядящие — сверху вниз и снизу вверх — дома. Перед домами с обязательными палисадниками — дороги, верхняя и нижняя.

Склон верхнего уровня и есть наша (моя огромная!) горка. Наверху — дом дяди Вани, тёти Лиды, Тамары и Вити — моих двоюродных сестры и братика (он — младший). Дом четырёхстенный — так, кажется, называются два дома под одной крышей. Во второй половине — бабушки: Александра, Анна... Сёстры. Собственно, моя бабушка Александра, отдав свою половину дома сыну Ивану с семьёй, переселилась к своей сестре Анне. А потом и вовсе уехала к дочери в Загорск, доживать свой век на пятом этаже дома, что окнами аккурат на Лавру. Летом приезжала в деревню — тосковала по водице родниковой, по молочку пенному, парному, по воздуху... В том же Загорске, у строгой и по-христиански правильной своей племянницы, закрывает глаза и Анёнка, нянька, как все её, мал и стар, кликали в семье сестры... Анна Васильевна так и останется с девичьей фамилией — Дёмина. Александра Васильевна жизнь проживёт Мальцевой. Это девичья фамилия моей мамы.

Я живу... У кого же я живу? Приехала — сбежала от бабушки Марфы из Мамонтовки — с дядей и тётей, день — у них: играем, прячемся на печи, сообща читаем книжки, едим вкусную стряпню тёти Лиды — моей хохлушки, Бульбы — как её величает Иван Николаевич. К тому же, Бульба — это её девичья фамилия! Сплю у бабушек. У окна, за которым — шатром — лиственница (Анёнка посадила!) и звёзды над белыми задергушками.

Деревня — лишь для меня — целое государство; а мой дядя Иван Николаевич Мальцев, офицер-фронтовик — председатель, властелин колокола, что живёт молча на столбе посреди деревни и оживает лишь по велению дяди Вани. Маленькая деревня. Очень красивая. Сказочная во все времена года...

\* \* \*

В деревне сразу же все узнали, что председатель привёз дочку сестрину, Танюшкину. Обсудили. Потужили. Дом-то у неё сторел перед рождением девочки, а муж, муж сидит за что-то и где-то — в Куйбышеве, что ли. Сама мотается по железной дороге да прихварывает частенько, но инвалидность не берёт: дочку подымать надо, да и мужа в беде не бросает. Бедовая Танюшка. Помнят её в деревне, хотя и рано уехала в город — в техникум сельскохозяйственный поступила, пчеловодом стала, даже старшим зоотехником в совхозе-миллионере под Клином. Совсем девчонкой ещё, перед самой войной... А отец-то её Сорванцом да Свистуном кликал, всё свистульки привозил — любимицей отца была...

Помнила маму и её учительница — Зинаида Николаевна. Всех в деревне учила. Всех знала. И хотя давно уже по возрасту школу покинула — передала (в ней теперь служила её преемница Валентина Николаевна Евстигнеева — моя первая, прекрасная, незабываемая учительница из деревенской школы!), но осталась всеми уважаемой и почитаемой.

Она тоже услышала о Танюшкиной дочке...

Какой была Зинаида Николаевна? Строгая, значительная, неулыбчивая. Ласковости и тепла, какое часто исходит от старых людей, не помню. Любили ли её? Не знаю. Но местным божеством она, несомненно, была. Точное слово — авторитетом, но в нынешние времена слово это слишком часто и очень привычно употребляется в другом контексте...

Сегодня я бы сказала, что мамина учительница просто сошла с картин Петрова-Водкина — будто с неё писались. Абсолютно его персонаж, только сухошавее (возраст!), просто худее, легче. Старческая лёгкость, почти бестелесность и от этого — изломанность, угловатость линий всего облика.

Седые волосы в скобку, на голове — пионерский галстук (помните на картине Петрова-Водкина красную косынку уголочком на голове героини?), какая-то рубашка, почти мужская косоворотка, чёрная юбка, ремешок-подпояска, кофта с полами, оттянутыми карманами, валенки — пожилые люди часто в деревнях дома в валенках ходят... Я очень хорошо, безошибочно помню, что на голове учительницы был галстук. Мама тоже мой старший, уже отслуживший, на голову повязывала, и я сразу же вспоминала Зинаиду Николаевну...

Лицо... Лицо светлое, бледное, наверно, и тоже — без какой-нибудь плавности, округлости черт: нос с горбинкой, острый; губы — линеечкой, не улыбочные, а голос — поставленный жизнью деревенского учителя? — внятней, ясный, без старческого дребезжания, чеканящий слова...

Быть может, она спросила про девочку своей бывшей ученицы и ей рассказали — пересказали то, что услышали от тётки Лиды, — женщины же не могут без общения! На ферме, где моя тётка работала, а может, и дома, когда к председателю заходили. Или посудачили у колодца домиком с родниковой водой — ключи там повсюду бьют из глубины, из сокровищницы земной одаривают людей чистой радостью и здоровьем. Недаром Гремячий Ключ, что неподалёку, в статус заповедника теперь входит, а в то время там выгон был и любимое место праздники деревенские — престольные, и советские отмечать — *справлять*, как тогда говорили...

Дядя Ваня меня тоже примечал, поглядывал серьёзно и внимательно, не обижая племянницу, ласково посмеивался... Он очень уважал папу и как человека, и как старшего по званию. И, видно, они с женой хотели не на словах, а делом помочь маме, а значит, — и папе, и мне...

А ещё дядя Ваня меня пугал! Он получил ранение в лицо — нос был вылеплен как-то косо, но вполне на месте и смотрелся, пожалуй, по-особому значительно. Верхняя челюсть пострадала, и поэтому у него был впервые мной виденный протез, которого я до обморока боялась... Этот страх перед вставными протезами-челюстями остался у меня до сих пор. Стыдно признаться, но...

Была и ещё одна игра-страшилка. Дядя Ваня, отложив свои амбарные книги с подсчётами «палочек»-трудодней, глядя на меня без улыбки, к удовольствию домочадцев провозглашал: «А кто это у нас тут без прописки проживает? Надо срочно милицию вызывать!»

Без прописки была только я. Ну, может, ещё сверчок за печкой, овечки, корова с телёнком, куры-утки (кот — тот точно с пропиской!), но все они явно были защищены какими-то большими и другими — хозяйственными, домашними правами, а я... Не было у меня никаких прав, никакой прописки ни у меня, ни у куклы Светки, ни у Мишечки не было... И мама — в поездке.

Я бледнела, а может, краснела и начинала движение-сползание с лавки под стол: может, обойдётся — не заметит милиционер?!

Дядя Ваня, конечно, этого, как и всего другого, не мог рассказать Зинаиде Николаевне, кстати, у которой и он учился. Да и когда, да и зачем? А вот тётка! Она своим звонким, весёлым голосом и поведала деревенским: «Девчонка-то Танюшкина чудная такая. Вроде тихая, послушная, от сказок плачет, сама с собой разговаривает: стоит у окна и разговаривает... Не то что с куклой, а и с ивой здоровенной, той, что у пруда, гладит её и шепчет, шепчет — и вправду, как есть, чудная! Но слышали бы вы, как она стихами строчит! Всё про даму в перьях! Я спросила: что это она такое рассказывает? Сказки Блока, говорит. Как начнёт, так и стрекочет без продыху — смешно и не всё понятно: картавит больно! Прямо артистка, как есть картавая

артистка». Раз рассказала, во второй — с подробностями, со строчками, которые ей запомнились, всё — со смехом, но и с изумлением. Вот ей и посоветовали это чудо картавое Зинаиде Николаевне, учительнице, показать. Она уж рассудит, что к чему.

\* \* \*

Откуда я знала стихи Блока? Как запомнила? И почему именно эти — «Незнакомку» и «Стихи о Прекрасной Даме», — выпущенные в другой, совсем другой России, когда Александру Блоку не исполнилось ещё двадцати пяти?

Первый сборник стихотв. Москва. 1905. К-во «Грифъ». I рубль.

На обложке значилось: СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ .

И стояла точка. В конце имени книги стояла точка... А ещё — буква, которой в моей азбуке не было, не могло быть...

Эту книгу, уже школьницей, я держала в руках в доме бабушки Марфы. Чудом сохранившуюся. Распавшуюся на листки, в пятнах не кабинетной или библиотечной, а самой что ни на есть будничной, домашней, затрапезной жизни.

Знала я и некоторые строфы стихов из книжицы «Снежная маска», но больше всего жгуче-сладко помнила (и помню!) «Незнакомку».

Итак, откуда — почти понятно. Как? Вычитала у Андрея Белого в «Глоссоластии»: «...Самосознание звука в нас есть: но оно, как младенец, — едва открывает глаза в необъятность безобразно вставшего мира...» И сразу же выплыла из памяти «Незнакомка» и, не испрашивая права, соединила *самосознание звука и младенца*, образовав какое-то подобие объяснения необъяснимому.

Марина Цветаева сказала яснее ясного: «Разъяснять ребёнку ничего не нужно, ребёнка нужно заклясть. И чем темнее слова заклęcia — тем глубже они в ребёнкарастают, тем непреложнее действуют...»

Просто произошло в моей жизни, случилось в её начале *заклęcie* Блоком...

В одном из последних классов школы мне было подарено очень важным и дорогим человеком голубое собрание сочинений Александра Блока. Восемь томов под общей редакцией В.Н. Орлова, А.А. Суркова, К.И. Чуковского. Тёмно-голубые томики, на небе обложки серебром выведено имя — Александр Блок...

Это была не радость, не ликование, это был священный и одновременно жуткий восторг предвосхищения встречи, которая была назначена (началась!) в таком раннем детстве! Я читала и находила — радовалась давно присвоенным строчкам, для меня написанным поэтом по имени Блок. Узнавала те, что запомнились точно, изумлялась тем, которых не узнавала — не знала — не помнила. Интересно, что заученные на слух, затверженные с ошибками стихи мне и теперь трудно цитировать правильно — упорство памяти. Памяти детства...

Точности и справедливости ради надо назвать синий том стихов, который пришёл до собрания. Этот том был первой по-настоящему моей книгой стихов Александра Блока. И долго-долго оставался самым любимым, необходимым — переносимым с одного рабочего места к другому, он был форточкой, которую можно было открыть в минуту затишья или удушья в годы моей послеинститутской службы.

Книга эта была чужой, кем-то разборчиво подписанной — синими буквами, почти печатными, выведена вторая строфа из стихотворения «Всю жизнь ждала. Устала ждать...»:

Мир не велик и не богат —  
И не глядеть бы взором чёрным!  
Ведь только люди говорят,  
Что надо ждать и быть покорным...

Стояла подпись: А.Блок, и всё — посвящения или какой-то владельческой отметки не было. Книгу кто-то оставил в поезде, и её мне принесла мама, как и многие, многие другие, — книги часто берут в дорогу и очень часто по окончании пути (там, в дороге, на дороге) оставляют. Теряют? Забывают? — Спешат...

Блок синего тома, который был отдельной книгой, и тёмно-голубых томов собрания сочинений пришёл уже следом за Блоком звука. Душа ребёнка была завоёвана раз и навсегда, зачарована на слух, а может быть, и укачана — укачивала в прямом смысле этого глагола музыка голоса самой поэзии.

«Живую душу укачала...» Это Блок. А у Цветаевой: «Поэт: определённый духовный строй и определённый словесный дар. <...> Область поэта — душа. *Вся душа*».

Лепит ли поэзия души? Наверно. Не знаю. Но волнует, завораживает — тревожит и успокаивает одновременно — малых сих, ещё многого (ох, как много!) не понимающих в жизни, осиливших лишь лепет на родном языке и этим, быть может, стоящих ближе к «невнятице» (Марина Цветаева) поэтической речи...

Девочка засыпала то под реплики карточной игры в клубах папиросного дыма, стремящегося к куполу рыжего абажура, так не любезного Блоку, то под ворожбу его стихов и звуки рюмок-бокалов, когда карты убирались, уступая место застолью. Вот тогда-то и были навсегда присвоены девочкой эти стихи... Или стихами — навсегда — девочка?

У поэта Светланы Кековой есть такие строки, которые я не могла пропустить:

Уснул давно тебя воспевший Блок,  
и злые духи топчут потолок —  
я их разглядывать не стану...

Я и не знала тогда, засыпая, что Блок «давно уснул», но следы «злых духов», которые и вправду «топтали потолок», я различала, и мне так хотелось уйти из «пространства без свободных углов». Куда уйти? В наш дом, который скоро будет у нас с мамой и папой? Конечно, но... Я хотела уйти и уходила, уводимая словом поэта, уходила за ним и даже — с ним рядом! Ох, надо признаться, что уже тогда с первого слуха я считала, перефразируя С.Кекову, что Блок не *давно уснул*, а *давно тебя* (читай — меня) *воспел*... И это абсолютное подтверждение афоризма Станислава Ежи Леца: «*В театр каждый* приходит со своей акустикой». Применительно к поэзии: «*В стихотворение каждый* приходит со своим содержанием». Последняя цитата из поисков и находок Евгения Александровича Ламихова...

Ребёнок стихи услышал? Услышал то, что и есть Поэзия: музыку, сказанную словами. И это больше смысла.

Для полнозвучия картины надо назвать и то, что затвердила память накрепко: разноголосицу патефона. Он звучал многими голосами, но, не допуская и малой ошибки, называю Надежду Плевицкую с её «Помню я ещё молодухой была»... и, конечно, бабушки Марфы любимицу — Лидию Русланову. Вот здесь-то, видимо, и пролегла граница между выбором внучки — моей двоюродной сестры Татьяны, дочери тёти Дуси, — её гостей и бабушкиным.

Надо сказать, что кроме папы, обладавшего необыкновенным, профессионально признанным голосом (приглашали петь в ансамбле — боюсь ошибки, не запомнила точно названия), в папиной семье все любили и умели петь. Бабушкин голос — сильный, раздольный — просто сливался с голосом Руслановой до полной иллюзии дуэта, когда она подхватывала «Валенки, валенки...». Мне особенно нравилось, что

«по морозу босиком к милому ходила...». Мурашки восторга. Лёгкость понимания и принятия — а то как же, как не босиком?

Гостей под абажуром помню как-то вообще, но двоих выделила и уберегла память — они были «своими» и приходили всегда. Собственно, гостями были курсанты Школы Усовершенствования Командного Состава (ШУКСа). Располагалась она до самого последнего времени на горочке, к которой подводила улица Октябрьская. Бабушкин дом оставался в стороне от проезжей части и у подножия того, что называлось Кудринкой. Сохранилась ли Школа сейчас, не знаю. Как и все, мы с мамой в мои школьные и студенческие годы ходили туда голосовать на всевозможные Выборы, оставались на неприменные концерты в Клубе, покупали в буфете какие-то деликатесы советской эпохи в виде бутербродов и булочек-пирожков. Мама вспоминала, что сюда во времена послевоенные и даже во время войны дамы всех возрастов бегали на танцы...

Вот такими бравыми шуксистами, поскрипывающими португееми и начищенными сапогами, были гости нашей неотразимой Татьяны, а значит, и нашего общего в то время дома в одну комнату с кухней.

Есть фотография, где я сижу на коленях — на одном колене — у очень красивого военного. На том снимке я даже не бритая, а с огромной — до глаз — чёлкой, лицо прикрываю веточкой сирени. Да и сидим мы на скамье возле стола под огромным кустом сирени, в садике, что перед домом. На моём лице — явное смущение. А у Татьяниного «ухажёра» — грусть-печаль. Разгадываю её легко: я же слышала разговоры взрослых. Ухажёр нравился всем — не мог не нравиться! — и Татьяне (влюблена!), и бабушке, и тётке Дусе. И даже — дяде Коле, отчиму Татьяны. И мне — мне, конечно! Но соединиться — пожениться, значит, — они не могли: он был женат, и у него была где-то далеко, в другой жизни, вне пространства ШУКСа, дочка. Его семья. К ней он и вернулся. Татьяна грустила. Но недолго.

Главным же, самым заметным и жданным гостем вечеров под абажуром был дядя Яша. Яков, а отчество я не помню, хотя и слышала, — его величали по причине значимости и возраста. Он был блистателен! А по годам, вероятно, был ближе к тётушке. Весел, остроумен, утончён — целование рук я тогда впервые и увидела. А ещё у него были усы. Они щекотали щёку при поцелуе, и это было совсем не неприятно, потому что пахли не отвратительным — каким-то кислым — папиросным табаком, а трубочным, который имел правильное название, но все называли его «табаком Якова».

Дядя Яша — усы, трубка, пробор в «лакированных», будто всегда влажных волосах, негромко, но густо звучащий голос, переходящий почти в шёпот, когда он радовал собравшихся очередной байкой или анекдотом...

Голос... Может быть, этот голос и принёс, донёс до меня, как доносит ветер, «Стихи о Прекрасной Даме»? Потому что женского голоса, говорящего стихи, я не помню. Может быть, ещё и потому, что когда дядя Яша шуточно церемонно склонялся к моей руке... ручонке, то говорил: «Галчонок, дайте вашу ручонку, — и, выпрямляясь, глядясь своими карими, смеющимися глазами в мои, добавлял, — поведайте-ка нам, о будущая Прекрасная Дама, что видели во сне, когда почивать изволили?» А когда я, всерьёз воспринимая вопрос, сердясь за слово «будущая», начинала лепетать ответ, он уже целовал ручки бабушке, тётке и, конечно, Татьяне. Других дам не помню... Кстати, кажется, именно Яков был крёстным отцом Татьяны — его, помнится, ещё и родственником называли. Он почти всегда, в отличие от других, приходил в дом с подарками, которые, даже пустяшные, непременно торжественно и поочерёдно вручались. Не могу пожаловаться: я была балованна

и задарена всеми по причине моей малости и единственности. Угол столика у окна (вероятно, это была закрытая ножная бабушкина швейная машинка, знаменитый «Зингер») всегда украшала горка конфетных коробок — во искупление задымления и других недетских трудностей моего детства...

Это он, дядя Яша, конечно же, он, уже с порога начинал «Вступление» Блока к «Стихам о Прекрасной Даме» да и своё — к предстоящему вечеру:

Отдых напрасен. Дорога крута.  
Вечер прекрасен. Стучу в ворота.

Дольнему стуку чужда и строга,  
Ты рассыпаешь кругом жемчуга.

Терем высок, и заря замерла.  
Красная тайна у входа легла.  
.....  
Ты ли меня на закате ждала?  
Терем зажгла? Ворога отперла?

Мама... Мамочка моя. Почему не пишу здесь о тебе: не помню? Ещё как помню. Навсегда помню. Как бежала за тобой, вырываясь из всех удерживающих рук, как срывая горло, отчаянно кричала... А ты, плача, прячась, убегала на свою долгую службу — «в поездку». Как я ждала тебя... Как кидалась навстречу... Как твоё присутствие, твоё тепло заслоняло, отодвигало, отчуждало всех других, и как каждый раз я слышала: «Всё, никто не нужен — мама приехала...»

Просто я не помню тебя под абажуром. Какие карты!?! Едва приехав, ты начинала чистить гнездо, в котором (хотя и временно) должен жить ваш с папой Галчонок. Татьяна — устроительница — это про тебя. Гора стирки — на всех. Пол, окна, кастрюльки-сковородки... Твои чайники, всегда кипевшие на плите, во все времена моей-твоей жизни я помню сияющими...

Тётя Танечка — трудяжка — так тебя будет звать Володя... Это он подарит мне голубые томики собрания сочинений Блока... Это будет потом. А там, тогда, усталая до темноты в глазах, ты, укладывая меня, укладывалась сама в нашу кровать с кружевным подзором и такими же спинками в «детское» время, когда и собиралось общество за столом под абажуром.

Я помню. Я не забуду, как они шутили. Мама всегда ложилась рано и очень рано, до всех, вставала. Усталая, засыпала крепко. В карты, если и играла, то со мной, а потом и с нашим сыночком, её внучонком Денисейкой, в дурачка! Какие тогда карты?! И вот картёжники маме спящей красили губы, чтобы утром разыграть меня: «А мама-то от тебя ночью уходила в театр. Смотри-ка — губы накрашены. А ты, дуручка, думала, что она с тобой спит...» Я смотрела, и доказательством — след губной помады на подушке — лишняя стирка для мамы. Я начинала, ревнуя, подозревать маму в обмане, глядела на взрослых со всей пристальностью ребёнка. Мама успокаивала меня, без скандала, но жёстко укоряя их, и я верила, конечно, маме, вскипая недетской ненавистью к *другим*.

Уйти? Куда? Некуда! И с кем оставлять ребёнка? Надо было терпеть. И не столько мне, сколько моей маме...

\* \* \*

Всё это припоминание — извлечение оттуда, где сладко и больно бьётся сердце (как я давно твержу эти слова, как я с ними сжилась!) вовсе не «миф как анамнез», по определению Александра Блока и Вячеслава Иванова. Не-миф. Но — анамнез... болезни, которая обречена, и имя которой — жизнь...

Прошу поверить. Для этого и припоминала, и плутала. Иначе как же всё-таки набраться смелости и вернуться в моё допятилетие, в первую деревенскую зиму. В бездомье, сиротство, бритость, картавость и любовь... к Блоку, к слову, к невозможному тогда, к навсегда невозможному.

Говорящую стихами девочку «обещали» Зинаиде Николаевне и её домочадцам — куда деваться? И — им, и — мне...

Звёзды. Мороз. Хрусткость чистейшего — деревенского! — снега, огоньки в уютных окнах, дым из труб, ленивые, но звонкие на морозе голоса собак-сторожей. Небесный пригляд. *В воздухе порхает и звездится снег*. Синее небо. Голубой снег. И снег хрустит? Не знаю. Но хрустит — это несомненно!

Закутана, вдохновлена: «К маминой учительнице идёшь, не оплошай!»

Идём налево от дома дяди Вани, сначала по верхней дороге, а потом, за «пятакком», спускаемся к нижней, к дому, что недалеко от школы, почти напротив. Всё *недалеко* в маленькой деревне.

Сени. Другой, новый запах. Большая комната — «зала» — тёплой, немного угрюмой избы. Знакомые задергушки на окнах, герань, синяя шторка в аленький цветочек у белёной, царствующей в доме печи, печурки с рукавицами и рукавичками, кот бело-чёрный, спина горбом, как на картинках в книжках сказок... Почему-то ясно, что кот... Иконостас с лампадой, как должно, как у всех (и у дяди Вани — тоже, правда, в спальне), в правом (красном) углу. Стол большой, крытый скатёркой. Лампа-молния (как у нас) в одном простенке, между окнами, а в другом — обязательное зеркало в резной раме, точнее — с резным кокошником и полочкой — подзеркальником. На подзеркальнике в вазочке искусственные (бумажные?) цветочки. Такие же — в божнице перед Спасителем и Богородицей. У стола — лавка по окнам, а с другой стороны — венские стулья. Несколько стульев — у стен. На стене — ходики. Мирные и усталые, потому что негромкие. Еловые шишки гирей. Что же ещё? Половичок! Ах да, половичок-дорожка, домотканый, как у бабушек, а нынче — вполне шведско-магазинный, например. Очень похожи...

Снег одним взмахом стряхнули. Шубку — на гвоздик. Осталась в белых валеночках, а скрипучие галошки и тёплые шароварчики — мягкие, с начёсом — сняли. Тётя Лида «представляет» Танюшкину дочку. Все чужие и большие, поэтому кажется, что народу полон дом. Пришли ли с нами мои двоюродные — не помню. Да и Витя тогда был совсем маленьким, меня моложе... Вообще, в тот вечер не помню детей. Все как-то расселись. Двигалась бесшумно и деловито к печи и в другие пространства дома женщина в переднике и платке. Не знаю, кем она приходилась Зинаиде Николаевне, и возраст её тоже не берусь обозначить: тогда она казалась мне лёгонькой, ещё полной сил, но бабушкой.

Несомненно, главной в этом собрании (кроме Луны в окне! О как я помню, как ощущала её — Луны — присмотр и присутствие!) была Учительница. Хочется произносить не Учительница, а Учитель. Так, думается, и было. Зинаида Николаевна почти для всех моих «зрителей» той зимой, в тот вечер, в её доме и была Учителем.

Разве только кроме меня, ещё не ученицы (пойду в школу, помнящую её, через полтора года, шести не исполнится) да моей тётушки, пришедшей с Украины.

Учительница-Учитель и повелела начать действие — чтение стихов этой бритой девочкой из Мамонтовки.

— Послушаем-ка.

Я не помню, чтобы она хоть как-то меня поощрила лаской слов или улыбкой. Нет. Был лишь спокойный, внимательный взгляд светлых глаз поверх очков, что присели на носу, и дымок, отлетающий в сторону от лица из несомненной «козьеи ножки». Я слышала это название и сразу поняла, что Учительница курит не белые, бело-серые прямые папиросы, да и запах дыма от папирос я, к сожалению, уже хорошо знала, а что-то совсем другое — резкого излома дымящийся журавлик... Досталось же мне в раннем детстве табачных облаков! А ведь ни папа, ни мама в нашей маленькой семье никогда не курили...

Зинаида Николаевна негромко, но внятно велела поставить девочку не на табуретку (упадёт!), которая точно где-то жила в избе, на венский стул (у него — спинка, держаться будет). Кто-то, легко подняв «цыплёнка» — была и вправду худышкой, — так, что я чуть не потеряла валенки в миг отрыва от пола, водрузил меня на сиденье стула. Оно было шоколадного цвета, чуть вогнутое и от этого походило на неглубокое, но большое блюдце. Стояла «артистка» достаточно уверенно и поэтому, едва коснувшись гнутой спинки стула, спокойно опустила руки.

Я могу легко описать эту мизансцену и сейчас, потому что — помню точно! — уже тогда умела это делать: видеть себя, окружающее и окружающих, будто со стороны, будто оторвавшись, отделившись, покинув себя — выйдя из себя или взлетев над собой и над этим мигом реальной жизни...

На венском стуле стояло очень маленькое существо в белых невысоких валенках, из которых свободно выростали две тоненькие ножки в чулочках. Тогда не было ни колготок, ни леггинсов, да и ползунов не было. Были чулки, коричневые, в резиночку и на резинках. Резинки держал «лифчик» — белая короткая хлопковая маечка на пуговицах (на моём «лифчике» пуговицы были на спине). Резинки спереди и сзади держали чулочки металлическими зажимами. Можно ли всё *это* сегодня где-нибудь отыскать? Если и можно, то в каком-то очень запылённом — нет, не сундуке — дерматиновом чемодане очень советской эпохи, давно забытом и совершенно не нужном. Никому.

Помню и платице. Их мне ловко из остатков и лоскутков сочиняла бабушка Марфа. Всякие нарядности тоже были — их привозила или просила привезти мама. Поездки через всю страну на Восток давали такую возможность «импорта». Были подарки и от папиных сослуживцев (кукла Светка, например), которые после войны ещё надолго задержались, но уже на Западе. Помню и платица, и пижамку «на вырост», соломенную шляпку и белые фантастические (как у взрослых!) бурочки...

А платице было явно маловато — коротенькое и уже после попытки удлинить, — по подолу была пришита одноцветная коричневая каёмка. Само платье — в неяркую довольно крупную клетку, которая едва уловимо проступала на общем коричневом фоне. Спереди под горловиной в кокетке была светлая вставка — лоскут светло-бежевого цвета с заметно прорисованной клеткой. На пуговички застёгивались отделанные баской горловина и рукава — мне приходилось просить их застёгивать, а бабушка Александра трудно управлялась с этой задачей, и я частенько ходила с расстёгнутыми рукавчиками. Они были коротковаты, и ручонки легко и неприкаянно выныривали из них.

Стрижена «под ноль», но уже с некоторой дымкой обещания кос. Лоб огромный, потому что не просто большой, а являвший половину круглого лица, которое вытянется, но тогда это было трудно представить. Помню, что про мой лоб говорили «ленинский». Даже тогда я понимала, что комплимент сомнительный, но как-то смирялась, ведь:

Когда был Ленин маленький  
С кудрявой головой,  
Он тоже бегал в валенках  
По горке снеговой...

Сразу после лба — глаза (обозначения бровей не помню), тоже большие, заметные и создававшие впечатление, что, кроме лба и глаз, на этом, с позволения сказать, лице ничего не было.

Существо. А когда *оно* с поощрения тётушки заговорило, вначале тихо и раздумчиво, не столько вспоминая, сколько приноравливаясь, будто пробуя воздух места на вкус, а потом, отчаянно картавя, набирая вместе с воздухом и наступившей — обступившей — тишиной скорость, это было...

— Занятно. Кто же это тебя *такому* выучил?

— Во чешет! Чудно...

Тишина была. Слушали. И даже кот сиднем сидел, не двигался и только хвостом чуть-чуть подрагивал, как бы сдерживая желание в такт скорочтению ритм отбивать.

А существо смотрело не на учительницу, как будет делать потом, в годы ученичества, чтобы угадать по поощрительным кивкам правильность выбранного пути ответа или наоборот, а, слегка набычившись, разглядывало высвеченный лунной квадрат окна. Лунная тень лежала подле «сцены» на пёстрой домотканой дорожке. Дорожка приглашала убежать: она растянулась от стола к двери, за которой царствовал колючий, но такой вольный дух зимы.

Убежать отчаянно захотелось, как только расслышала среди оценивающих фраз, произносимых в основном с улыбкой, некоторое спокойное, но явное неодобрение выбранного ребёнком «репертуара». Неодобрение исходило от Зинаиды Николаевны. Но было и то, с чем соглашались все. И это было самым главным для странной девочки, читавшей взрослым Блока в деревенской избе зимой 1953-го года...

Нынче я не могу не цитировать Марину Цветаеву, и здесь мне хочется вспомнить это: «Дети *в с е* — безумные, оттого они и не сходят с ума».

— С ума сойти — как это такая малая тарахтит и тарахтит, будто и не по-русски вовсе и будто что-то понимает про незнакомок разных... А ведь что она понимать-то может?

Это и были главные слова взрослых, после которых мне стало даже не обидно, а скучно — невыносимо, нестерпимо захотелось уйти от этих... Да, тут было слово «дураков», произнесённое и про себя картаво — «дуяков». Может быть, картавость извиняет невежливость?

Ну как, ну как же они не видят, что:

И веют древними поверьями  
Её упругие шелка,  
И шляпа с траурными перьями,  
И в кольцах узкая рука...

Это же мне, обо мне!? И вздрогнуло возмущенно страусовое перо над обнажённым плечом Незнакомки, и в кольцах узкая рука оскорблённо обронила веер (тоже из страусовых перьев), и воздух, наполненный ароматом тумана её духов, взметнулся и поплыл за уходящим, исчезающим шелестом платья самой Звезды. Оставив в дураках и Поэта, и Звездочёта (не узнали — потеряли), павшая с неба Звезда, воплотившаяся лишь для того, чтобы опять исчезнуть, и исчезала — уходила бесшумно и безвозвратно...

Всё это я, конечно, прочитаю в четвёртом томе моего голубого собрания в Предисловии Александра Блока к сборнику «Лирические драмы», но... «Дети не поймут! Дети слишком понимают!» — Марина Цветаева.

Средь этой пошлости таинственной,  
Скажи, что делать мне с тобой —  
Недостижимой и единственной,  
Как вечер дымно-голубой?

Существо, видимо, понимало «слишком». Что делать? Уйти, конечно же, уйти от этих слепых, глухих, чужих людей, как... блоковская Незнакомка (правда, это лишь в моём воображении!).

Оно (существо), и она же девочка (без бантов и без кос) спустила ножонку с венского стула, — валенок попытался опередить её, но был вовремя пойман, почти налету. И тут Незнакомка (она же — Прекрасная Дама) так ясно увидела, что одна из резинок её «лифчика» расстегнулась, чулок сполз, и под ним, чуть ниже краешка короткого подола платья, беззащитно белела голая ножка ребёнка... В такую деревенскую, а значит — настоящую, стильную и яркую от звёзд зиму...

Где теперь эта зима? Этот снег? И эта девочка?

Я знаю: Ты здесь. Ты близко.  
Тебя здесь нет. Ты — там.

---

*Алексей Колесников*

# Недоразумение

*Рассказы*

## *Дымоход*

Осень теперь, поэтому я вспомнил.

Самое первое Первое сентября. Родители нарядили меня в костюм-тройку, дали гладиолусы, показали, где держать, чтобы не сломались, и отвели в школу. На линейке выступал директор, потом какой-то мужчина в тёмных очках и, наконец-то, из колонок такие же дети, как я, только более талантливые, затанули: «Учат в школе». Здоровенные одиннадцатиклассницы, одетые, как певицы в клипах, провели нас вокруг стадиона и ушли курить за тир. После состоялся первый урок, на котором не заставляли писать и читать; учительница рассказывала о значении книги в жизни каждого человека.

— Серёжа, скажи нам: для чего нужно читать?

Мальчик долго не решался, скручивая в валик край пиджака, а потом наконец-то сознался:

— Не знаю.

— Может быть, для того, чтобы становиться лучше, Серёжа, а? Как думаешь? Серёжа, подними голову. Ну, подними! Чего ты испугался? Не бойся, Серёжа. Ты согласен со мной?

Серёжа тихо заплакал, вжимаясь в пиджачок.

Мне было жаль его, и я тоже не знал, зачем читать книги.

После урока нас отпустили домой. Я очень устал из-за жары, пережитых впечатлений и узких туфель. Хотелось поесть и посмотреть телевизор. Я заметил, что встречные разглядывают меня внимательно и ласково. Сняв бабочку, я сунул её в карман — не задохнётся, не настоящая. Пыль липла к туфлям, пахло прелой травой.

Дома шла работа. Родители тогда ещё строили дом, поэтому повсюду сновали друзья отца — строители. Сам он сидел на крыше и со свистящим звуком прибивал шиферный лист.

---

*Колесников Алексей Юрьевич* родился в 1993 году в Белгороде. Образование высшее юридическое. Печатался в журналах «Новая Юность», «Нева» и др. Живёт в Белгороде.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 9.

Это был наш дом, то место, где я должен был вырасти, а родители состариться. Главная точка на земном шаре.

— Ученик пришёл, — объявил один мужик, закуривая.

— Иди ешь, — позвал меня отец. — Мать картошки поджарила.

Есть не хотелось. Я сел на перевёрнутое ведро, положил пиджачок на колени и стал следить за работой. Вскоре отец слез с крыши, о чём-то поспрашивал меня и ушёл к мужикам, которые в тени сарая стояли толпой над деревянным стулом. Из их угла пахло свежим огурцом.

Пора поесть и мне. Я направился в наш дом с одной-единственной готовой комнатой, как слышу — плач. Я замер и прислушался: не плачь, а писк. Кошка!

Я обошёл дом, заглядывая под всякие тропки, ведра с присохшим раствором и всё такое, — ничего. Сходил в погреб, осмотрел сливную яму, корыто с водой, вышел на огород. Вернувшись в исходное место, я вновь прислушался. Мужики говорили громче и матерились. Это мешало и сбивало, но я всё равно разобрал кошачий плач.

— Кошка где-то плачет, папа.

— И пусть.

— Она сильно плачет.

— Где?

— Не могу найти.

В тот день отец выложил дымоход из красного кирпича. Он торчал над крышей, как палец великана. Кошачье существо плакало оттуда.

Здрав головы, мы смотрели на дымоход. Кошка кричала со дна, где-то на уровне наших глаз, вернее, глаз мужиков — я-то был крошечный.

— Только разбирать.

— Может, крюком каким подцепить и вытянуть? А ну, дай верёвку!

— Нет. Только разбирать.

Начались споры. Большинство считало, что ломать дымоход из-за кошки глупо. Мужики толковали. Горячились, курили, рисовали палками по песку. Отец просил их не материться:

— Не ругайся! — прикрикивал он на того или иного.

Работа остановилась. Они пробовали совать в дымоход верёвку в надежде, что кошка вцепится когтями, искали способ вынуть нижние кирпичи, но всё сводилось к тому, что или разбирать дымоход, или, как сказал один седой мужик, мешок бензином облить, в дымоход палкой затрамбовать и спичку бросить.

— А снизу нельзя? — спросил я, услышав это предложение.

— Никак.

— Может, подождать, пока сама вылезет как-нибудь?

— А нервы?

В общем, я всерьёз подумал, что кошку или сожгут, или она там будет долго плакать, умирая от голода. Я всё стоял под яблонькой и ждал решения. Его принимал отец. Я видел это по сосредоточенному, расстроенному лицу.

— Ты иди, — сказал мне он в который уже раз. — Обедать давно пора. И переоденься.

— Ага, сейчас, — соврал я, заподозрив плохое. — А дымоход долго разбирать? Это дорого?

Он посмотрел на меня и ничего не ответил. Высокий, сильный, в драных джинсовых шортах, с широкой, густо поросшей чёрными волосами грудью, смуглый и пыльный, с густыми капельками пота на лбу.

Все мужики занимались покрытием крыши, а отец возился с дымоходом. К вечеру, когда солнце, и само измучившееся и измучившее нас, уплывало за дубовый лес, отец вынул замусоренного чёрного котёнка, ещё вчера, видимо, слепого. Тот недовольно пищал и царапался. Мать напоила его молоком, а один из мужиков предложил половинку котлеты. Котёнок полизал молоко, понюхал какую-то травку и улёгся спать. Целые сутки, кажется, спал.

Пошёл дождь. Котёнка я отнёс в дом, мужики разошлись. Особенно долго отцу пришлось выпроваживать того мужика, который предложил идею с мешком. Он был очень пьяным и всё обещал, что скоро поднимется и пойдёт. Не уходил тем не менее.

Разобранный дымоход выглядел как разбомблённый, как сломанный зуб, как лишний элемент, как неумелая работа. Он не походил на памятник гуманизму.

Утром отец приступил к его восстановлению.

Теперь осень, и дымоход уже дышит. Вернее, наш дом дышит через него вот уже двадцать лет. Сколько было всего в этом доме.

Отец постарел. О маме молчу.

Я посещаю этот дом едва ли раз в месяц. В нём уже практически нет меня и моего. Он меня отпустил, понадеялся, что я справлюсь. На хорошее во мне.

А котёнка, его судьбу, я не помню совсем. Столько их передохло от клещей и собачьей ненависти. Их в деревне никто не считает.

## Снежинки

Много знаю про снег. Про снежинки мало.

Об этом впервые думаю, пока воспроизводится плохого качества видео на старом компьютере: частный кусочек моей жизни. Скользит родительский дом, раскорячившийся фонарь, потом дубовый лес с тарзанкой на ближнем дереве, и вдруг движение камеры прекращается: снимаю снег, который просеивается сквозь луну.

Родители говорят, что в детстве я плакал и просил, чтобы весь снег съели собаки. Видимо, он мешал каким-то детским радостям.

А потом отец повёл нас с собакой в лес, где снега было полно. Помню тот огромный сугроб под дубом, в котором я тонул и всерьёз боялся, что задохнусь в нём. Пёс от напряжения горбился, а потом летел к ручейку, который почему-то не замерзал.

Выходили на лёд. Я расчищал снег ботинком и видел мутное небо под ногами. Холодное небо в царапинах.

Когда-то летом я видел снег. Трудно в это поверить, но теперь, когда я впечатлениям доверяю охотнее, чем памяти, кажется, что действительно в дорожной колее у соседского забора сохранился снег, а я разглядывал его в одной рубашке.

Какой-то упрямый снег, не пожелавший вовремя стаять. Бунт неразличимых снежинок.

Мало знаю о них.

Помню, как вернулся домой, и бабушка мне обметала снег веником с ботинок. Я — ростом чуть больше веника, потный и алый. Вмёрзший в варежки снег выдёргивал зубами и ел вместе с шерстяными ворсинками. Чтобы варежки не терялись, их связывали резинкой с множеством узелков.

Где теперь эти варежки?

Потерял.

Помню, как яростно сыпал снег в ту зиму, когда я только пробовал сигареты. Серым утром выходил из дома, тайком прикуривал от спички и брёл в школу, скользя по нечищенной дорожке сквозь пейзаж нашего унылого посёлка. Жирные вороны следили за мной с замороженных деревьев, а я их уже не боялся. Мне было очень много лет, серьёзный возраст — пятнадцать зим. Уже тогда я ждал окончания школы, чтобы уехать в город в новую взрослую жизнь, не понимая, что жизнь одна — детская. Остальное — недоразумение.

Городской снег отличается от сельского. Он грязный, с реагентом и пахнет выхлопами. Его сгребают в унылые горки. Слежавшийся снег, лишённый сказочного движения, — пошлый. Но этот, который сыпет — нежный, молодой, мокрый, — очень хорош. Особенно, если ещё и туман расплылся и вечер без ветра.

Жёлтые окошки многоэтажек (одно обязательно фиолетовое — масонское), серые двери подъездов... Разминаясь во время снегопада, люди немного жмутся друг к другу, как влюблённые.

Я видел птичьи следы на снегу — суетливые; видел птичью кровь в проталинках — жирная.

Снеговики не кажутся мне красавцами. В мультфильмах они пропорциональные, а я почему-то встречал только каких-то бугристых уродцев с пивными крышечками вместо глаз.

Говорят, что каждая снежинка уникальна. Какое расточительство природы! Как неэкономно она расходует свой творческий потенциал!

Иногда я представляю себе планету, на которой не осталось ни одного человека. После ядерной войны, например. Идёт снег. Заметает пустые проспекты, тропки в лесах; снег валит в навсегда открытые окна наших домиков... И в этой тишине и пустоте только безразличные, изуродованные радиацией редкие звери встречают снегопад, задирая к небу морды.

Даже писать об этом жутко.

Любой прожитый день напоминает снежинку своей уникальностью, своей незаметностью и бесполезностью. Всё сложнее видеть дни, всё чаще видны сразу годы. Оттого и страшно, что много знаю про снег, а про снежинки мало.

## *Смерть Антона Телегина*

На первом курсе Антон Телегин делал сорок три повторения на перекладине. Помню: в манеже спортивного комплекса на физре мы сдавали подтягивание молодой преподавательнице, сочетавшей полосатые спортивки с длинными красными когтями. Было утро, первая пара, пахло пылью. У одного пацана во время выполнения упражнения начали топорщиться шорты. Преподавательница побурела, а пацан уставился в потолок, держась за перекладину самым узким хватом. Сделав девять-десять раз, он спрыгнул, убрал руки в карманы и отошёл за спины. Девять-пятнадцать раз — все мы так. А Антон ровненько выполнил сорок три повторения. Думаю, он мог бы и больше, но не стал.

Почему-то я вспомнил об этом, бросая три горсти на крышку его коричневого гроба. Маслянистый чернозём казался съедобным. Я проголодался и ждал поминок, как все живые.

Человек решает умереть — это понятно. Но когда это решение принимается им? Когда мой приятель Антон Телегин решил умереть? Мне известна только часть из его двадцатисемилетней жизни.

В самом начале первого курса на общепотоковой лекции по философии, которая проходила в громадной университетской аудитории, я спросил у Вани Жакова, рыжего парня с носом, как у чертёнка:

— Пацан, который дофига подтягивается, из твоей деревни?

— У нас посёлок, пгт, между прочим, — ответил Ваня. — Знаешь, какое у него погоняло? Педофил.

— У посёлка?

— У Телегина!

Классический, в душном свитере и с острыми залысинами, препод философии попросил не мешать, рассказывал об «Эстетике» Аристотеля. Обычно он орал: «Горите в аду!» — когда злился. Это впечатляло.

После лекции Ваня объяснил, почему в пгт Платоновка Антона Телегина называют педофилом.

У них там три школы. Антон учился в самой ущербной, на окраине посёлка. В центре, где памятник Ленину, церковь, здание администрации за елями и милиция, располагался рынок. Как-то летом после девятого класса Антон поехал туда покупать чёрные слим-джинсы. Родители впервые выдали ему деньги и пустили одного.

Только начав загибаться в глобальной России, эмо-мода добралась до Платоновки. Антон отпустил волосы, спрятал одежду всех цветов, кроме чёрного, и вот купил джинсы, больше напоминающие колготы. (Чтобы это было смешно сейчас — пришлось любить это тогда.) Пытаясь не выглядеть, как все, мы выглядели, как все, кто не хочет выглядеть, как все. Нам нравилось ощущать себя хрупкими, одинокими и обречёнными. Мы прокалывали губы, носы и языки, подводили глаза тушью; верили исключительно в любовь и смерть. Девочки были трогательными в своих чёрно-розовых юбочках, а мальчики на фоне противоборствующей культуры — гопников — отыгрывали роль печальных романтиков, страдальцев за право на стиль. Очередной последний извод декаданса...

Антон тогда решил умереть?

Помню, как взрослые боялись нашего суицида, и в метафизическом смысле мы — первое поколение постсоветской России, его совершили: нас нет.

В ожидании автобуса, вместе с джинсами в шелестящем пакете, Антон решил прогуляться по парку. Там он обнаружил крошечную брюнетку в чёрном платье и красных палёных конверсах. Она смотрела на зарастающий тиной пруд и ела чипсы. Будто не найдя другого места, Антон уселся рядом. Она заговорила первой, спросила, едят ли рыбы картошку? Оказалось, её зовут Яна, ей пятнадцать, и почему-то у неё нет мобильного телефона. (Он тогда уже был у всех.) Яна не разрешила проводить себя до дома, стеснялась говорить о родителях и школе. Никакую совсем не слушала музыку, хотя музыка в те времена была для нас главным маркером: свой или чужой.

— Мне это не интересно, — часто повторяла она.

А чаще, вместо ответа она улыбалась и пожимала плечами. «Инопланетянка», — думал Антон и был практически прав.

У них началось. О встрече с Яной невозможно было договориться. Каждый вечер Антон преодолевал пять километров в надежде встретить её. Гуляли они только в пределах парка. Заметив редких прохожих, Яна хватала Антона за руку и просила:

— Пойдём к огородам, а то идут.

За парком была протоптанная тропинка вдоль рядов с картофелем и бузиной. Здесь Яне было спокойно. Желание спрятаться от людей Антон относил на свой счёт. (Долговязый, бледный, лопухий.) Он задавал серьёзные вопросы, но она лишь улыбалась и тёрлась носом о его плечо, а чаще приступала к долгому поцелую, напоминающему трапезу. Ещё ей нравилось кусаться: губы, щека, шея и даже коленка. До крови, кислой и пугающей.

В конце августа Антон объявил Яне:

— Теперь будем видеться только по выходным.

— Почему? — удивилась она.

— Школа же. Я не буду успевать к тебе.

Внезапно Яна расплакалась. Её лицо стало каким-то плотоядным. Она сказала, что хочет в туалет, ушла в кустики сирени, а потом вернулась до того суровой, что Антону стало тревожно. Захотелось уйти домой. И ещё показалось, что рано он начал серьёзные отношения — мальчик, по сути, ещё.

Утром к Антоновым родителям пришла милиция с обвинением в изнасиловании «лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии». Мать, зачем-то придерживая Антона за руку, уверяла вежливого лейтенанта, что сын — девственник, и просила сонного мужа подтвердить. Батя кивал, но Антона всё равно увезли сдавать анализы.

— Она, в общем, больная на голову была, — Ваня заканчивал свой рассказ в курилке, которая располагалась в те времена прямо во дворе университета. (Года через три начнётся борьба с курением, как при Гитлере. Меня даже оштрафуют.) — Не прямо на всю голову, — объяснил Лёха, — но на полбашки точно. Особенно осенью и весной у неё фляга свистела. В остальное время более-менее. А сейчас, кстати, она в маразме круглый год. В школу, естественно, не ходила, жила с матерью. В тот вечер у неё случилась истерика, поэтому мать решила, что дочь изнасиловали. С чего она это взяла — непонятно. От обиды стуканула в ментовку, естественно. Да и был похожий случай: какой-то дядька подозрительный раньше за Яной ходил и целовал её, что ли.

— Так Антон насиловал или нет?

— Нет, конечно. Просто мамаша шороху навела. Весь посёлок гудел, помню. А когда она узнала про их любовь, то даже обрадовалась. Не поверила только, что Антон ничего не знал про её состояние.

Я спросил, действительно ли эта Яна была красивой. Ваня заверил, что в том возрасте очень даже, а сейчас растолстела и пахнет ацетоном, хотя местные алкаши ходят к ней с бутылками, иногда сразу по двое. Мать умерла.

— Если не насиловал, то почему его называют педофилом? Тем более он сам был малолетним.

— Ну вот так назвали, — ответил Лёха. — Для простоты.

Может, в этом было всё дело?

Спустя год, на втором уже курсе, в очередную пьяную ночь на моей прокуренной кухне Антон сам рассказывал эту историю. Я имитировал удивление.

— Это была моя первая любовь, та самая, о которой потом всю жизнь помнишь. У неё были чёрные глаза, как у тюленя, лёгкая пигментация на смуглом лице и высокая такая грудь, твёрдая, как у взрослой девушки. И пальцы рук были в морщинках.

Запивая водку вишнёвым компотом, он уверял, что и подумать не мог, будто Яна больная.

— Знаешь, я теперь нормальными девушками не способен заинтересоваться. Кажется, что если девушка без придури, то она обычный кусок мяса, издающий тоскливые звуки. Я, наверное, поэтому девственником был до восемнадцати лет.

Ещё он рассказал, что менты были дружелюбными, бесконечно плакала мама, у отца изменилась манера говорить, и было больно, когда скребли на анализ эпителий из члена.

Уже под утро Антон прочёл стих, посвящённый Яне. Стих был бездарный, но я запомнил две строчки:

Давай это сделаем, чтобы успокоиться,  
Так принято у людей — они это любят...

Дальше «успокоиться» рифмовалось с «роется», а «любят», естественно, с «губит».

В банальных историях о любви только смерть мешает возлюбленным быть вместе. Антон Телегин оказался персонажем новаторского драматургического хода: оба любят, но один сумасшедший. Это меня впечатлило тогда.

Он спал на моей кровати, натянув капюшон, а я сидел на подоконнике, курил, наверное, тридцатую сигарету и следил за наползающим на город рассветом. Была весна нашего второго курса. Мы учились на *никого*. Каждый новый день казался возможностью, а утро имело колоссальный смысл.

На занятиях в то утро мы не появились, хотя и отличались прилежанием. Пошли за пивом и именно в тот день научились похмеляться. Я зачем-то всё это помню.

И помню, как, сидя в тени клёна у городской реки, Антон рассказывал о своём посёлке: о разрушенном сахарном заводе, о химической вонючке с птицефабрики, о ямах от бомб в лесу, о белоснежном скелете собаки в кустах тёрна, стоящем на четырёх лапах и привязанном к кусту бечёвкой.

К вечеру того дня, когда уже алкоголь не пьянит, но обещает тяжкое раскаянье, он стал презентовать свои стихи. Шёл дождь. Я чистил картошку, а Антон, сидя к столу вполоборота, курил и читал с телефона. Да, стихи были бездарными. У них было два явных порока.

Во-первых, было ясно, что Антон вообще их не редактирует. Как написало — так и читал.

Во-вторых, было очевидно, что он даже не пытается высказать что-то своё, а только повторяет чужое. Антона Телегина, за редким случаем, в его стихах не было. Какой-то оккупант вещал из него и требовал внимания. Изредка вспыхивала живая строчка, но её тут же тушила последующая — мёртвая.

Вскакивает ночь и говорит из сна,  
Всё время твердит про своё. И курит.

А далее нечто беспомощное и очень тупое.

Помню, я поставил на стол сковороду, вымыл руки и подумал: может, следует объяснить Антону, что не стоит ему тратить на это время? Он склонился над сковородкой, сделав немислимый глоток пива. Поколебавшись, я так и не решился.

Может, нужно было?

Проснувшись как-то у бабушки, в возрасте, быть может, одиннадцати лет, Антон наелся вареников с вишней, выпил стакан компота и уселся возле телевизора. По каналу «Культура» показывали человека, который читал стихи. У него были

зачёсаны назад волосы, бесцветные глаза смотрели куда-то за камеру, ворот рубашки был расстёгнут на три пуговицы. Красная шея с толстыми венами и скачущим кадыком вызывала отвращение. Это был актёр, который теперь уже не снимается в кино, а только рекламирует всякую дрянь вроде кредитных карт. А тогда он был молод и неподдельно страстен. Вышагивая по сцене, он читал стихи Есенина так, будто никакого Есенина не существовало, а сразу был он — актёр, читающий есенинские стихи. Губы актёра были влажными, глаза в слезах, зубы блестели. Он поднимал к потолку руку со сжатым кулаком и тяжело дышал. Антон испугался, что актёр умрёт прямо сейчас, на его глазах, но этого не случилось. Передача закончилась, и грянул симфонический концерт.

Антону до смерти захотелось писать стихи. Не для славы, не за деньги, не ради искусства. Просто чтобы перехотелось и стало легче. С тех пор он испещрял школьные тетради и прятал их в рукаве пальто. Чуть позже он найдёт в домашнем шкафу перестроечное издание Есенина и выучит всё наизусть. Издание было крошечным и очень дешёвым. Стихов там было немного.

А может, в проклятом 2012 году он и побрёл навстречу смерти?

Да, тогда мы учились на втором курсе, по телевизору шли митинги. Мы смотрели репортажи вместе с ныне покойным дедом, рождённым в 1941 году, и ничего не понимали. Выступали какие-то люди, чего-то требовали в нереальной для нас, провинциалов, нашей Москве. Их лица были незнакомы, и это тянулось чудовищно долго.

Не помню, чтобы мы с Антоном в те годы обсуждали политику. Мы занимались молодостью, опасаясь, что это невесомое состояние внезапно закончится. (Закончилось, кстати, внезапно.)

Насколько я могу судить, Антон активно практиковал тогда беспорядочные сексуальные связи (затянувшееся целомудрие). Любви он тогда не знал. Мальчишкам моего поколения внушали потребительское отношение к девочкам. Отечественная культура постаралась особенно. Каждый из нас срывал кожу этого заблуждения в индивидуальном порядке. Те, кто этого не сделал, оказались в полной растерянности, когда стукнуло тридцать.

Помню, как два весенних месяца Антон собирался стать отцом. Его убедила в этом какая-то дура, уже в те времена забитая с ног до головы мелкими татуировками. (Чёртики, кошечки, иглы, скрипочки, копытца.) Целую неделю он, помнится, почему-то жил у меня. Утро начинал с молитвы о выкидыше. Насколько он был серьёзен — не могу сказать. Далее он делал гимнастику: отжимался три раза по тридцать, приседал три раза по двадцать, стоял на руках минуту и растягивал ноги, высоко упираясь ими в стенку. Далее он съедал варёное яйцо с куском хлеба, и мы шли на занятия. Алкоголь почему-то бы под строжайшим запретом.

— Я не могу быть отцом. Чтобы быть отцом, нужны деньги и смысл жизни. У меня сейчас этого нет.

— Ты же стихи пишешь.

— Какие там стихи. Ерунда всё это. Хотя пишу, да.

Вдруг он пропал на неделю. В университете не появлялся. Потом позвонил как-то вечером и сказал, чтобы я ждал, что приедет скоро. Я не мог его принять. Тогда он попросил займы тысячу рублей. У меня не было. На утро он позвонил и сообщил, что беременность была пошлым спектаклем, но всё выяснилось и теперь он свободен. Я очень обрадовался и поздравил, пригласил в гости. Он не пришёл и опять исчез куда-то на месяц, а потом началась летняя сессия — время, когда он встретил Олю.

Неужели в этот, быть может, самый счастливый период своей жизни он думал о смерти?

Оля была именно мечтой неумелого поэта. Недостижимым идеалом бездарности. Они познакомились в университете на общефакультетском мероприятии. Выступал поп с лекцией о бесноватости. Они сели рядом случайно. В перерыве Оля с подружкой пошла в курилку, а Антон увязался следом, хотя очередной раз бросал.

Потом, опаздывая на экзамены, он часто бродил по коридору университета в надежде встретить её как бы случайно и иногда встречал. Их местом был буфет на третьем этаже, где продавался растворимый кофе в пластиковых стаканчиках, сникерсы и жирные котлеты в тесте.

В тот год Оля выпустилась, а Антону ещё предстояли два года. Летом он даже сумел её подзабыть, но, встретив как-то ночью у клуба, где она с подружками (пьяная, конечно) ждала такси, он вдруг почувствовал, что это та самая девушка, которая ему предназначена. Он много раз потом повторял это слово — «предназначена». Осенью между ними началась переписка. Примерно тогда появилась возможность дёшево обмениваться сообщениями, используя быстрые приложения. Отныне личная жизнь людей почти полностью превратилась в текст. Сексуальное возбуждение, ненависть, любовь и верность имели конкретное словесное выражение. Часто не оригинальное, но, как казалось, единственно возможное. Как доказать свою любовь? Написать об этом сообщение.

Вечером Антон ложился на матрас, который служил ему на съёмной квартире ложем, и начинал выпрашивать у Оли всё. Любой вопрос, — только бы это продолжалось. Она охотно отвечала, реагировала на комплименты романтическими смайликами и загадочными многоточиями. Любовь отупляет, чтобы особи расслабились и сделали своё дело, но часто этого недостаточно.

Оля ни в какую не соглашалась встретиться. Уверяла, что Антон ей нравится и то, что она ему кажется «неземной девушкой», — тоже здорово, но даже проводить её от офиса, где она работала кем-то, — нельзя.

Она действительно была хороша. Такая девушка, которая всем кажется красивой. Влюбой немногочисленной группе других девушек, — так, пожалуй, точнее. Мужчины всех возрастов смотрели ей вслед — так, пожалуй, понятнее.

Она была выше Антона. Осветляла кончики русых волос. При ходьбе чуть заваливалась назад и вправо. Серые глаза с персидским разрезом шурила и поигрывала тоненькими каштановыми бровями. Спустя пару лет она купит себе огромные очки-велосипед, которые вновь войдут в моду. Этот простой аксессуар аутентично будет смотреться на её мелком личике с носиком, будто вырезанным маникюрными ножницами, и тонкими губами большого рта.

Считаю, что Антон влюбился не во внешность как таковую и не в то, что по сути она была доброй и покладистой (большая редкость). Полагаю, его прельщало врождённое, чуть-чуть даже какое-то графское изящество Оли. (Поселковые парни от этого с ума сходят.) Изящно на ней смотрелась недорогая одежда, ела она изящно, изящно улыбалась при приветствии, изящно обижалась, ни одним движением стараясь не выдать обиду. Птичка, а не девушка. Такая, про которую никогда не поверишь, что она может вступить в собачье дерьмо.

Антону она действительно подходила. Он знал это наверняка, не сомневался, что они предназначены друг-другу. От этого и страдал, как страдает прирождённый певец, которому нитками заштопали рот какие-нибудь фашисты.

В октябре 2013 года, в двадцать лет, Антон впервые отправил два стихотворения в литературный журнал. Без подписи, без сопроводительного письма — просто два стихотворения в теле электронной почты. Ему не ответили.

Думаю, там что-то было про Олю, но, к сожалению, одна только любовь не создаёт литературы и вообще красоты. Только в груди больно и глаза сверкают. Больше ничего.

Выяснив, что Оля работает в офисном центре на улице Гагарина, Антон поджидал её вечерами, чтобы, как обычно, случайно встретить. При этом, укрываясь от дождя под навесом банкомата, он писал ей свои обычные сообщения и получал ответы. Темнело, осенние листья, словно мультяшные монетки, горели в свете фонарей, а Оли не было. Она будто отправлялась домой по воздуху, как птичка. Он попросту не узнавал её в осенней куртке морского цвета. Натянув капюшон, она перебежала дорогу, садилась в автобус и уезжала незамеченной. Это было странно, ведь Антон из каждодневной переписки знал самые, как ему казалось, мелкие подробности её жизни. Знал, что её мать занимается йогой, что отец закодирован пятый год, что у неё на правом бедре шрам от осколка бутылки, что она мечтает завести собаку — добермана, что у неё есть игрушечный заяц с криво пришитыми ушами, которого она купила из жалости, и даже то, что летом под матрасом у тётки она нашла поцарапанный вибратор.

Продрогший, голодный и злой, Антон писал ей, вернувшись домой: *«Долго работала сегодня?»*

Оля отвечала: *«До шести, как всегда. А как твоя учёба? Не верится, что ты ещё студент. Мне иногда кажется, что это ты старше меня на два года, а не наоборот».*

Злость пропала, и Антон отвечал длинным, стыдным, стопроцентно приятным сообщением.

Однажды, в воскресенье, в один из выходных, когда Антон не поехал в деревню к родителям на побывку, в самом грязном макдональдсе города, у туалета, они встретились. Оля была с подружкой, которая уже уходила домой, а Антон впервые пришёл сюда, чтобы, в том случае, если он окажется здесь с Олей, не опозориться из-за дезориентации. Рядом тёрлись школьники, фрики, лесбиянки, геи и иностранцы. Утопия: всем всего за дёшево и понемногу.

— Я тебя точно провожу сегодня до дома! На улице темнота, как у меня в глазах, когда тебя не вижу.

— Да, — согласилась Оля. — Темно. Подожди только, пока я с подружкой попрошаюсь. Не хочу вас знакомить. Побудь на улице. Давай через дорогу — у церкви, окей?

Уже случились первые заморозки. Воздух был ледяным, чернели в ночи облака. Пахло бензином от проезжающих машин, музыка редела с рекламного монитора супермаркета, ветер заползал через раскрытый ворот за пазуху и облизывал грудь. И было так, как бывает в детстве, когда почему-то задержался в школе до темноты и через весь посёлок один возвращаешься домой. Антон пытался назвать как-то это состояние, чтобы сделать из него стихи, но не смог. Очень просто это называется: любовь. Со всяким было. Кто не стоял под фонарём ночью в ожидании? Даже Ницше стоял, наверное.

Оля предложила пойти через гаражи, вокруг парка. Они говорили так, будто не было между ними бесконечной переписки. Оба в тот вечер поняли: вдвоём им очень хорошо. Легко до невозможности.

Через три недели выпал первый снег. Антон снимал квартиру с двумя пацанами: Денисом и Романом. Где он их нашёл — не помню уже. Денис был красивый, толстый и румяный, всё время пытался шутить на табуированные темы. Он учил меня, что, приходя в новую компанию, прежде всего следует спросить: пидарасы здесь собрались или постмодернисты? Себя он считал последовательным постмодернистом и, кажется, не зря. Церковь он посетил единственный раз (венчание старшего брата), но носил огромный серебряный крест, при этом утверждал, что в бога не верит, а крест ему необходим, чтобы не обижать отца, резко уверовавшего после пятидесяти. А ещё он соблюдал Великий пост, чем изводил всю квартиру. Заставлял не хранить в холодильнике мясо, яйца и сыр. Чтобы как-то справиться с тягостями поста, он каждый день напивался и блевал потом фонтаном, лёжа на полу. Утром, собирая последствия ночного извержения в миску, он удивлялся: откуда всё это, ведь он ничего не ел. Напившись, он жрал колбасу с пельменями и потом как будто этого не помнил. На третьем курсе отец подарил ему старую десятку. Во время поста он ездил на ней по городу и ел свиную шаверму. Любопытствующим объяснял:

— Путникам можно.

Никто на свете не требовал от него соблюдения поста, никто его не контролировал. Это было нужно ему самому. При этом самые скабрёзные анекдоты на религиозную тему я узнал от него же. Ещё он терпеть не мог Советский Союз, но очень нахваливал почему-то Андропова; не переносил рэп, но сам на кухне записал два альбома. Любил мать, но всегда ей грубил. Ненавидел отца, не боялся его, не слушался, но звонил каждый день. Мечтал уехать в Германию, голосовал за «Справедливую Россию», сейчас работает в полиции. Он подтвердил мне, ссылаясь на экспертизу, что Антон Телегин умер самовольно.

Второй — Роман — был помешан на спорте, бизнесе и шмотках. На занятия он не ходил, а только «тренился», смотрел лекции о том, как построить бизнес и какие ошибки рискует допустить начинающий предприниматель. Все родительские деньги он тратил на джинсы и модные в те годы футболки с глубоким декольте. Алкоголь его почти не интересовал, но он часто сидел с нами на кухне, покуривая что-то запрещённое. В такие вечера Рома делался добрым и разговорчивым. Мне он сообщил, что за неделю до смерти у Антона началась бессонница. Он бродил всю ночь по квартире, и это мешало Роману спать. (Денис от них к этому времени съехал в ипотечную квартирку.)

Может, именно атмосфера их квартиры, бедной, протекающей, скрипящей, осыпающейся, липнущей квартиры довела Антона?

Помню вечер, один вечер, я был у них. Мы пили пиво и играли в козла на мелочь. Денис выигрывал, поэтому смеялся до слёз и иногда подбегал к холодильнику, вытаскивал водку и опрокидывал рюмку, не предлагая нам. Водка была его личная, какая-то очень дорогая. Роману, наоборот, не везло. Он разменял у меня сто рублей. Антон сыграл две партии, проиграл и углубился в телефон.

— Снег пошёл, — заметил я.

Вдруг Антон оживился, спрыгнул с подоконника и убежал в общую комнату. Через пять минут он вернулся одетый и сказал, что ему нужно уйти. Заняв у Дениса рублей пятьсот, он покинул нас.

— К кошке своей побежал, — сказал Денис. — Блюдец вылизывать.

— Мне она совсем не нравится, — помнится, заметил Роман.

Без Антона я почувствовал себя лишним, собрался и ушёл. На улице я позвонил Антону. Он не ответил.

На следующий день он рассказал мне про минувший вечер.

Девушки любят внезапные праздники. Мужчина, способный устроить такой праздник, большая редкость. Нужно уметь за один короткий вечер девушку накормить, рассмешить и не утомить. При этом ей должно быть тепло, уютно и бессовестно. О мужчинах, способных на это, вспоминают всю жизнь.

Антон поехал к Оле на такси. Тогда ещё такси стоило дорого. Нужно было звонить по специальному номеру.

Спустя полчаса он стоял с розами под фонарём у третьего подъезда хрущёвки на улице Преображенской. Укрывая цветы от снега, он приступил к самому важному: следовало угадать, в какой квартире живёт Оля. Задача была не из простых. Она требовала концентрации, логической безграничности.

Антон бодро приступил к анализу. При этом он не забывал отвечать на Олины сообщения, тиликающие в кармане. Переписка их всегда вертелась вокруг нескольких тем: как спалось, что на завтрак, удалось ли отдохнуть за выходные, зябко ли на улице. Сюда же вплетались описания каких-то крошечных событий: поход в магазин, стирка старого свитера к морозам, поездка к родителям. Ещё, в порыве нежности, они хвалили друг друга. Ведущим был Антон. В ироничной манере он как бы не делал комплименты, а показывал их. Оля, быстро к ним привыкнув, изображала смущение и вполне искренне отмечала их изящество. Чтобы не нарушать баланс, особенно веские подачи она отбивала фразами: «ты тоже», «аналогично», «в этом мы похожи». Иногда она проявляла самостоятельность. Вдруг могла написать: «Мне очень нравится твоя опрятность. Я никогда не видела тебя в помятой одежде или в нечищенной обуви». Или: «Я помню, как ты в универе девушкам двери открывал. Это у тебя получалось естественно. Джентльменство большая редкость в наши дни». Читая подобное, Антон улыбался, как сельский дурачок. Самая горькая и вместе с тем приятная тема их диалогов сводилась к выяснению отношений, возникших между ними. Они так и не смогли придумать для *этого всего* рабочего определения. Пользовались неудобными конструкциями, вроде: «то, что между нам происходит» или «наше общение».

Иногда он показывал отдельные куски их переписки. Помню такой комплимент от Антона: «Если бы я был автором энциклопедии, то проиллюстрировал бы слово “женщина” твоей фотографией». Оля посылала в ответ амбивалентные смайлики. Антон вопрошал: «Долго у нас это продлится, как думаешь?» Оля изображала непонимание, начинала прояснять значение отдельных слов. Это блаженное самоистязание заканчивалось естественным выводом: им хорошо вместе, а во что это выльется, когда закончится и на сколько это настоящее — непонятно.

Вот и в тот вечер, переходящий в ночь, стоя у подъезда, Антон писал:

«Первый снег. Он такой сильный, можно сказать, яростный. Я очень хотел бы провести этот вечер с тобой. Было бы здорово. Мне так легко в твоём обществе... Надеюсь, это не случайно, надеюсь, это продлится долго. Чем ты там занимаешься?»

Олины ответы были просты:

«Мне тоже с тобой хорошо. Снег действительно клёвый. Я ничем не занимаюсь, телевизор смотрю, а ты?»

Антон решил подготовить её — написал, что «сквозь снег летит к ней на встречу». Это было воспринято в метафорическом смысле.

Итак, судя по опубликованным Олей фотографиям заката, её квартира находилась не ниже первого и не выше четвёртого этажа. Окна выходили на железнодорожный вокзал, что позволяло отыскать нужную дверь в случае, если удастся угадать нужный этаж.

Антон размял челюсть, выкурил сигарету и нажал цифру «1» на домофоне. Спустя несколько гудков, ответил недовольный мужской голос.

Имитируя интонацию человека, ненавидящего свою работу, Антон произнёс:  
— Лейтенант Телегин, шум в сто первой квартире. Откройте дверь, пожалуйста. После некоторой паузы, голос переспросил:

— Что надо?

— Полиция! — крикнул Антон. — Дверь откройте, к соседям твоим нужно!

Домофон приветливо зачирикал, дверь открылась. Антон вошёл в тёплый подъезд с языками рекламных листов, торчащих из сжатых губ почтовых ящиков. Стряхнув снег с цветов, он отправился искать нужную дверь.

Он знал, что Оля живёт в съёмной квартире, значит, дверь должна быть самой дешёвой на площадке, со старинным глазком и ободранной ручкой. Искомая дверь на каждом из трёх выбранных этажей была именно такой. Звонить по очереди в каждую опасно: можно наткнуться на бдительную старуху, любительницу жаловаться в полицию. Действовать стоило наверняка. Крадучись, Антон прислушался к двери на втором этаже и услышал за ней детский плач. Ликуя, он поднялся на третий этаж и прислушался — за дверью было тихо. Тогда он взбежал по лестнице на этаж выше и приложил ухо к двери — работал телевизор. Это то что нужно! Распахнув пальто и обнажив широкую грудь, обтянутую серым свитером, как у Хемингуэя, Антон нажал кнопку звонка. Раскрылась дверь, за которой стоял бородатый парень в джинсовых шортах и клетчатой рубашке. Он имел круглое лицо, круглые кулаки и добрые серые глаза. Тёмные, начавшие редеть волосы были взъерошены, на белой груди курчавился островок рыжих волос. Уставившись в этот островок, Антон сказал:

— Прошу прощения. Я доставщик цветов. Мне нужна Анна Изряднова. Она здесь проживает?

— Нет, — ответил парень с явным облегчением.

— Ошибся, — разочарованно произнёс Антон, предвкушая, как будет рассказывать эту занимательную историю Оле. — Бывает такое, да? Двери все похожи, а время не детское. Простите меня!

— Да и согрелись вы немножеко, верно?

Антон вдохнул и признался, что выпил слегка, чтобы не замёрзнуть. И добавил:

— На качество моей работы это не влияет. Эта промашка не в счёт. Извините, ещё раз и... — он не закончил, потому что за спиной улыбающегося парня появилась Оля в таких же джинсовых шортах и маечке с мультяшным чертёнком на груди.

— До свиданья, — будто проглотив лом, выговорил наконец-то Антон и ушёл.

Снег между тем превратился в дождь, фонари во дворе погасли. Антон вышел из двора и, проваливаясь в мокрый снег, побрёл домой, обгоняемый редкими автомобилями. Денег на такси не было. Холод оккупировал город.

Антон держал руки крест-накрест, прижимал подбородок к ледяному воротнику, и думал о том, что им там хорошо. Что Оля подальше убрала телефон, чтобы не мешали сообщения, и получает удовольствие. С ним, с Антоном, ей интересно, а с этим мужиком ей хорошо кончаться. Прямо сейчас она вертится на горячей и влажной кровати, кричит, а потом будет улыбаться и в знак благодарности шептать ему какие-то нежности. Прежде Антон не мог уразуметь, почему она так рано прощается и уходит спать, а потом, минут через сорок, опять появляется в сети. Такое случалось три-четыре раза в неделю. Теперь ему всё было ясно.

Может, тогда в нём появилось чувство смерти? Стал наполняться котлован небытия?

*«Антон, это не мудака, а мой парень. Мы встречаемся с ним с семнадцати лет. Через два месяца у нас свадьба. Я не говорила, потому что ты не спрашивал. Конечно, я могла бы сказать сама, но боялась тебя испугать. Прости. Мне правда хорошо с тобой. Я не знаю, как так вышло».*

Засыпая, усталый и продрогший, Антон ответил:

*«Понятно».*

И не писал Оле до весны.

Всё это время он разбирался со стихами. Нужно было понять: как писать?

В первую очередь он решил, что стоит прекратить строчить по наитию. Следует выбрать тему или поймать определённое настроение, которое обеспечит единство всех слов в стихе. Лучше не писать вовсе, если этого не получается. С этих пор он стал искать тему. Так первый раз случился месяц, когда он ничего не написал. Он перечитывал стихи Есенина и понимал, что все темы уже разработаны, а для него ничего толкового не осталось. Иногда он вскакивал с кровати ночью в надежде записать какие-то важные словосочетания, но сон был настойчив и бумаги не было под рукой. Терзаясь, утром он ничего не мог припомнить. Опять начинал думать о теме. Пил пиво, чтобы отдохнуть. Внезапно, в одно похмельное утро, он родил сразу два сиротливых стихотворения. Какая у них тема, он понять не смог и определил себе её как «одиночество». С тех пор он пересмотрел свою тактику. Решил писать исключительно в мгновения, когда очень хочется. Теперь он мог заниматься сочинительством в автобусе, на лекциях, во время обеда и особенно — под алкоголем. Всё произведённое он отправлял во всевозможные журналы и на поэтические конкурсы. Ниоткуда не было ответа. Несколько стихотворений он разместил в интернете на приспособленных для этого площадках, и у одного из них собралось около ста лайков. Какой-то человек под ником Джокер написал:

*«Уважаемый поэт Антон Телегин! Давеча я ознакомился с Вашим творчеством и оказался просто безумно изумлён той поэтической силой, которой Вы, дорогой друг, обладаете! Чувствуется, что Ваши строчки пропитаны слезами и собраны из капелек крови. Хочу Вам прямо заявить, что они прямо хватают всей пятернёй за душу и не отпускают. Желаю Вам громадных успехов, творческих сил и понимания! Верую, что Ваш талант распознают и оценят. Говорю Вам это как непризнанный поэт. Я не так, увы, талантлив, как Вы, поэтому не надеюсь на чудо признания. А вот Вы обязаны прогреметь на всю нашу многострадальную Россию. Жму руку, коллега! Да здравствует поэзия и поэт!»*

Сначала Антон почувствовал почему-то отвращение. Он долго не мог понять, в чём дело. К вечеру это чувство уступило место жалости. На улице был лучший период весны — пахло сладкими цветочками на деревьях. Воздух был влажным и повсюду появлялась сочная листва. Антон бродил по городу в одиночестве и думал. А за полночь вернулся домой и открыл Олину страничку. Там появились свадебные фотографии. Антон их внимательно рассмотрел: увеличивал, вертел, пролистывал по несколько раз. У неё действительно была ангельская внешность, и именно для таких девушек придумали свадебные платья.

Неужели смерть таилась в этом ангельском образе?

К вечеру он написал ей длинное ностальгическое сообщение о том, что вот прошло несколько месяцев, она уже вышла замуж, а он всё помнит её. Оля ответила через секунду. Она тоже скучала и ждала письма.

У них всё началось как бы заново: переписка, тайные редкие прогулки в тёмных частях города. Был даже один протяжный поцелуй. Большого она не позволяла.

Ревность Антона к другому мужчине, имеющему на Олю все права, пресыщенному ею, сменилась азартом. Теперь почему-то было не противно, а интересно. Их встречи были для обоих как глоток воды после кросса. Стихов отныне Антон не писал. И вообще, казалось, он совершенно ничего не делал. Даже не пил и не гулял по городу. Лично я считаю, что это и было началом умирания.

Так прошёл целый год. Антон говорил, что не знает, как жить. К чему стремиться. Он плохо выглядел. Почему-то полнел. Сложнее всего выпутываться из западни, в которую загнал себя сам. Что-то должно было случиться, любая драматургия имеет свой предел. Думаю, Антон уже просто ждал финала.

Вскоре всё разрешилось. Оля уехала с мужем на месяц в Санкт-Петербург. Побродить по музеям, фонтаны посмотреть, в Неву бросить монетку. Вернулась она беременной, на второй неделе. Антон ничего умнее не изобрёл, как написать для неё стих о своих страданиях. Стих был чудовищным, как берд сумасшедшего. Это уже писала сама смерть. Оля уверяла, что ей понравилось.

Они решили больше не видеться. Антон устроился уборщиком подъезда. По утрам, часов в пять, он мыл лестницу, пол и стены. Это очень не нравилось Денису: собираясь на работу, Антон будил его. Роман вообще презирал подобный труд.

Я звал Антона к себе, предлагал выпить, но получал отказы. Он сторонился нас и огрызался. Был где-то там.

Прошло много времени. Кажется, полтора года. Ничего в жизни Антона не менялось. Единственным содержанием его жизни стала уборка в подъезде. В остальное время он механически ел, спал и что-то нам всем говорил. Я встретил его однажды в магазине. В руках болталась огромная бутылка очень дешёвого лимонада. Я потащил его в парк. Мы сделали кружок и разошлись. Он говорил со мной, но всё как-то с одолжением. И располнел сильно. С бородой он напоминал дикого кабана, сдуру прибежавшего в город.

А потом как-то я прочитал о нём в городских новостях: выпал из окна. Не из квартиры, а как раз из окна в подъезде. Там давно уже отвалилась решётка. Взлётная полоса была свободной. Антон оставил после себя вымытую лестницу с первого до своего последнего этажа.

Тот, кто не способен жить на суше, может улететь, но что делать тому, у кого не выросли крылья?

Думаю, решение — умереть — Антон принял задолго до шага из окна. Котлован наполнялся смертью капля за каплей. А в тот день он лишь вышел из берегов. И дело тут, конечно, не в несчастной любви. Всё сложнее и проще. Бывает так: человек решил умереть. Жизнь такая бывает, что смерть доступнее.

Оля теперь уже многодетная мать. О смерти Антона она, кажется, ничего до сих пор не знает. Ждёт, быть может, сообщения, надеется на внезапную весть.

Не хочется, чтобы Оля всё это прочитала. Ей незачем. Она живёт, раз живётся. И пускай.

---

*Анна Кавалли*

# Междумирье

*Рассказы*

## *Рапунцель, сбрось свои косы*

В детстве я любила возвращаться домой. Теперь я бываю там раз в несколько недель, «наездами и набегам», шутит мама.

Телефон вибрирует. Смс. От мамы — от кого же ещё.

«Нашла твои детские фотографии, почему-то сижу плачу».

Буквы, пробелы, стикеры, вибрация телефона, загоревшийся белым экран, — целая цифровая бездна между нами. Заслон, за который, кажется, живым не пробиться. А вот мёртвым — без проблем.

Девочка с найденных мамой фотографий приходит чаще других мертвецов. А вместе с ней — запах дома из прошлого, от которого мутит. В мамином — тогда ещё нашем — доме пахло то лекарствами, то ладаном, то резким запахом новых маминых духов. Я не могла отделаться от ощущения, что мы каждый день отпевали мертвеца.

Тринадцатилетнюю меня? Мать? Нас? Это как в том романе: по кому звонит колокол, лучше не думать — возможно, по тебе.

\* \* \*

У мамы нет ни страшного воскового лица, ни лысой головы, ни севшего от криков голоса. Сразу после того, как мне исполнилось тринадцать, я уехала на летние каникулы, и за эти три месяца мама становится красива какой-то потусторонней, нездешней красотой. Глаза — форма мамина, цвет мамин, но взгляд — чужой. Две ледяные голубые бездны, не заглядывай — утонешь. Ямочки на щеках, обострившиеся скулы, почти неуловимый и незнакомый аромат от её волос. Маргарита, превратившаяся в ведьму.

Ведьма или нет, она всё ещё моя мама. Каждый вечер мы сидим на кровати в её комнате, часто — среди черновиков недописанного романа, — и рассказываем друг другу, как прошёл день. Мама каждый раз говорит, что на этот раз точно будет писать

---

*Анна Кавалли* — журналист, сценарист, переводчик с французского. Родилась в Москве, окончила сценарный факультет ВГИКа. Живёт в Марселе. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

весь вечер, но потом переносит всё на завтра. Бабушка с тётёй твердят, что «завтра» никогда не наступит, — но в нашем с мамой мире временем повелеваем мы сами.

Она медленно расчёсывает мои волосы — самой делать это сложно, они отрасли ниже поясицы — и шутит:

— Рапунцель, Рапунцель, сбрось косы!

В нашей двушке недалеко от площади трёх вокзалов пахнет бергамотом и чёрным чаем, шарлоткой — в сентябре все готовят яблочные пироги, но мамин — особенный. А ещё свечами, книгами и едва уловимо — красками: мы разрисовали все стены сценами Рагнарёка. Бледные скандинавские боги, обрушившиеся небеса, тучи, гигантский волк с горящими глазами, пылающие мечи и корабль, полный призраков.

— Какая жизнь, такая и Нарния, — смеётся мама.

Бабушка говорит, у нас сам чёрт ногу сломит. Бабушка верит: это «берлога интеллигента-алкоголика», а не дом для «тринадцатилетней школьницы и серьёзной тридцатишестилетней женщины». Бабушка причитает, что мама занимается переводами со шведского и почти не зарабатывает, а вместо работы пишет «никому ненужный роман». Бабушка говорит, что пора уже маме повзрослеть: когда тебе тридцатник, поздно думать, кем хочешь стать, когда вырастешь.

Бабушка пугается, когда мы на последние деньги покупаем торт и едим его несколько дней, пока маме не переведут гонорар. Бабушка — из Поволжья, в детстве она рассказывала мне про голодомор — всегда шёпотом, как если бы голодомор был спящим поблизости чудовищем и тревожить его было нельзя (проснётся!).

Бабушка не может нас понять.

— Всю жизнь маялась с вашим дедом, вышла за партийного, с перспективами, терпела все его выходки, прятала каждую копеечку, всё ради детей да будущих внуков, — повторяет она раз за разом. — Вот вам квартиру нажили. Почему же вы-то по-человечески не хотите? — А потом, каждый раз с театральным всхлипом, маме: — Если ты хотела быть знаменитой, не надо было рожать ребёнка. Родила для себя? Всё, теперь ты мать, какие тут книжки!

В конце концов маме надоедает, и она бросает трубку, а потом не отвечает на бабушкины звонки. Бабушка жалуется маминной старшей сестре. Тётя приезжает с продуктами. Тётя вместо воды на 80% состоит из брендов и на 20% — из «настоящей взрослой работы», какой — мы с мамой не спрашиваем: «настоящее взрослое» и мы — это разные планеты.

Тётя из другого теста. Тётя выжила в перестройку, совмещала институт и две подработки, сделала бизнес в 90-е, всё потеряла и снова построила. Тётя ничего не читает и плачет, только когда смотрит на разрушенную Тару в «Унесённых ветром».

Тётя приезжает и сразу идёт в атаку. Полунамёки — не её конёк.

— Я же дарила вам деньги на Новый год. И на Восьмое марта. И на дни рождения. Почему нельзя купить хотя бы нормальные обои? — говорит тётя.

Мы смеёмся в ответ, а мама шутит:

— Может, нам тебе ещё отчёт сдать на гербовой бумаге?

— А может, пора повзрослеть? — парирует тётя.

— И не собираюсь, — хохочет мама.

Тётя уезжает, и на две недели в нашем доме воцаряется мир. А потом снова звонит бабушка. Снова плачет. Снова причитает. Мама снова бросает трубку. Снова приезжает тётя и требует сделать хотя бы «обычный человеческий ремонт».

Но обычное человеческое — не для нас.

\* \* \*

Мама ждёт меня у школы. Это наша традиция: по прогнозам сегодня — последний тёплый день, а значит, мы будем гулять допоздна и провожать лето. У мамы в руках два пломбира. Крем брюле. Морщусь: ненавижу крем брюле. Мама привычно извиняется:

— Каждый раз думаю, что мы любим одинаковое. Как в школе?

— Получила двойку. Новая училка не оценила привычку читать под партой.

Мама хохочет:

— Ну наконец-то двойка! Ура, у меня нормальный ребёнок, а не пришелец с планеты ботаников. Отметим в макдональдсе! Хочешь хеппи мил?

— Ну мам! Я уже взрослая для хеппи миллов.

— Жаль. Была бы колдуньей, заморозила бы тебя прямо сейчас. А то вырастешь и уйдёшь от меня, — шутит мама.

Хеппи мил мы всё-таки покупаем. А ещё заказываем столько еды, что еле доносим на двух подносах до столика. Макаем картошку прямо в растаявшее мороженое, смеёмся над взглядами в нашу сторону, а я почему-то вспоминаю, как бабушка плакала на каникулах, в очередной раз поссорившись с мамой.

— Как думаешь, мы тоже возненавидим друг друга однажды? — вдруг спрашиваю я.

— Мы слишком умные для этого. И потом, я всегда хотела быть мамой. Правда-правда, что ты так смотришь? Ещё в школе по вечерам представляла, как у меня родится дочка. Как мы будем вместе смеяться, путешествовать, совершать идиотские поступки, станем лучшими подругами. Ты — моя сбывшаяся мечта, понимаешь? — мама улыбается и берёт меня за руку. От её прикосновения по телу волнами разливается тепло.

Домой идём под дождём, не раскрывая зонта, по растрескавшейся черноте мокрого асфальта. У подъезда мама дольше обычного звенит ключами в сумочке, а потом вдруг убирает их обратно. Если бы колдуньей была я, остановила бы мгновение, и мы остались бы навсегда стоять у подъезда в сырых сентябрьских сумерках, вросли бы в последний вечер нашего рая, как насекомые — в янтарь.

Жаль, я не колдунья.

\* \* \*

Октябрь и ноябрь — впервые дома без мамы. Бью себя по губам. Бестолочь, нельзя так говорить, мама же не умерла, — просто в больнице. Звоню ей каждый день. Перед школой. На переменах. После школы. По ту сторону — только гудки.

В нашем доме больше не пахнет яблочными пирогами. В маминой комнате живут попеременно то тётя, то бабушка, черновик романа убран в ящик тумбочки, в квартире порядок, на плите — «нормальная еда», а по ночам мне снится вязкая темнота и мамин голос откуда-то из глубины, кричащий: «Рапунцель, Рапунцель, сбрось свои косы!»

Может, мама всё-таки умерла, а мне так и не сказали?

Моё новое хобби — подслушивать у двери. По вечерам на кухне, на нашей с мамой кухне, тётя с бабушкой нас обсуждают. Вернее, не нас, а маму.

— Так это рак? — спрашивает тётя.

— Вроде как, — бабушка плачет. — Опухоль на месте спаек после кесарева. Врачи говорят, всё из-за родов. Её безобразно прооперировали.

— Ясно, сестра умрёт, — голос тёти звучит жёстче обычного. — Следующий вопрос. С кем останется Маня?

— Постучи по дереву, быстро!

— И не собираюсь, — тётя говорит медленно, чеканя каждое слово. — Стучи не стучи, от реальности не убежишь. Сестра всю жизнь бегала, заперлась в этой жуткой норе, и что, помогло ей? Помогло?

Дальше я не слушаю и тихонько ухожу к себе. В квартире холоднее обычного. Трогаю батареи — горячие. Может, и я заболеваю, как мама. В голове звучат голоса тёти и бабушки.

«Всё из-за родов».

«Спайки после кесарева».

«С кем останется Маня».

Надеваю свитер, закутываюсь в одеяло и звоню маме, снова и снова, пока телефон не становится совсем горячим. Но по ту сторону — только гудки. Когда телефон выключается, я встаю — кажется, у меня включился режим автопилота, — беру с книжной полки камень и возвращаюсь с ним в кровать.

Камень посверкивает слюдяными гранями, одна сторона тупая, другая острая — но недостаточно, чтобы по-настоящему серьёзно обрезать. От камня холодеют руки. Теплообмен идёт в одну сторону, это единственное, что я запомнила из физики, но тепло моих рук не греет слюду.

Кажется, это магия вне Хогвартса, один ноль в пользу камня. Чувствую подступающую тошноту, вижу берег и Белое море — кто его назвал белым, не знаю, но этот кто-то явно ни разу тут не был. Оно синее, серебряное, серое, тёмно-фиолетовое, сияющее и бесконечное, а рядом с ним мы — я и мама, две точки на фоне вечности.

Мама смеётся, я тоже смеюсь — над чем? не помню, — мы гуляем держась за руки и обнимаясь, собираем на берегу слюдяные и гранитные осколки. Мы на турбазе на острове, тут нет связи, моя кнопочная Nokia — мамин подарок — не работает, и мир как будто сузился до меня, мамы и моря.

Получается, «это» — рак, рок или смерть, можно называть как угодно, — уже тогда затаилось в ней. И «это» оставила в её теле я. Я родилась, а её убила. Простая математика.

Кладу камень на место, накрываюсь одеялом с головой и даю себе провалиться в жаркую темноту.

\* \* \*

Декабрьское утро, последний день перед каникулами. На уроках делаю вид, что слушаю. Получаю две двойки — уже привычное дело. Только теперь никто меня за них не водит в макдональдс.

После школы мы с тётей и бабушкой едем в больницу на окраине Москвы. Больница — серое прямоугольное здание с чёрными провалами окон — стоит за лабиринтом грязно-зелёных гаражей. Дальше первого этажа нас не пускают, ждём маму в холле. Молчим.

В углу холла, рядом с искусственными пальмами, стоит наряженная ёлка, забытая ещё с прошлого Нового года. На диванах сидят люди в халатах и пижамах — пациенты, и в зимних куртках — посетители. Одни пахнут лекарствами и больничной едой, другие — зимой и метро. Интересно, чем теперь пахнет мама?

Наконец, появляется она — как из нашего с ней любимого Блока, «дыша духами и туманами». Мама пахнет чем угодно, только не собой и не больницей — кажется, она вышла из какого-то другого, по-потустороннему прекрасного мира, а не из палаты. Быстро обнимает и смотрит на меня.

Надо что-то сказать. Нельзя же просто смотреть друг на друга. В голове снова звучит голос бабушки: «Всё из-за родов». Мне хочется исчезнуть, умереть, лишь бы не слышать это снова. Становится так стыдно, так невыносимо ощущать себя живой, что я отстраняюсь от мамы и не даю ей себя поцеловать.

Мать отдёргивает руку так, как будто обожглась. Отвожу взгляд и спрашиваю, как дела.

— А что, не видно? Всё хорошо, умираю по расписанию, в жалости не нуждаюсь.

Мать с бабушкой и тётёй начинают обсуждать что-то, но у меня так колотится сердце, что я ничего не слышу.

В детстве мы с мамой читали сказки про эльфов, которые крали детей и оставляли вместо них подменышей. Подменыши были внешне неотличимы от обычных младенцев, поэтому человеческие родители воспитывали лесных пришельцев как собственных дочерей и сыновей. Была бы маленькой, решила бы, что маму подменили эльфы.

Вдруг мамина рука касается моих волос, вздрагиваю: пальцы у мамы ледяные.

— Что молчишь? Тебе нечего мне сказать? — говорит мать.

— Не дави на неё, — вдруг перебивает тётя.

Мать усмехается. Так она улыбается мне впервые. Её новая улыбка почему-то пугает меня. «Всё из-за родов», — звучит в голове знакомый голос. Может, мать тоже злится на меня?

Она снова трогает мои волосы.

— Совсем потускнели. Не ухаживаешь? Без меня никак? — спрашивает она. Не дождавшись ответа, обращается к бабушке с тётёй: — Чем вы её кормите? Она больше меня. Нормальной человеческой едой, надо полагать?

В конце мать целует меня, еле коснувшись бледными губами щеки, и уходит. Я стою в холле, пока она поднимается по лестнице. Если мама обернётся, всё будет хорошо. Если мама обернётся всё будет хорошо. Если мама обернётся, всё будет хорошо.

Она не оборачивается.

\* \* \*

На январских каникулах, спустя три операции, десятки сеансов химиотерапии и ровно девяносто четыре пропущенных вызова, мать объявляет, что её выписывают. Мы приезжаем за ней с тётёй. Мама стоит на крыльце больничного корпуса и шурится от голубоватого сияния солнца.

Приталенная шуба и платье на ней висят, скулы превратились в два глубоких оврага. Как там говорят? Тает на глазах? Она точно сейчас как Снегурочка.

Хотя какая тут Снегурочка? Мне позавчера исполнилось четырнадцать, Снегурочки и магия в прошлом. Раньше мама пекла на мой день рождения шоколадный торт, мы вместе украшали его глазурью, а потом ели прямо ложками. А в этот раз вместо торта мне пришла смс. Что ж, лучше, чем ничего.

Мать делает шаг в мою сторону. Я отворачиваюсь и иду к машине, но меня перехватывает тётя и шепчет:

— Обалдела? А ну иди обними маму!

— Не хочу, — шепчу в ответ.

Тётя смотрит мне в глаза:

— Если ей станет хуже, то из-за твоих подростковых выкрутасов. Иди обнимай.

Молчу и не двигаюсь с места. Тётя бросает последнее:

— Ну как знаешь. Но ещё одна такая выходка, пешком домой пойдёшь, поняла?

Она уходит к матери. Я стою у машины. На морозе слёзы кажутся очень горячими, они текут и текут по моим щекам, а я вытираю их рукавом пуховика, и пуховик по-яблонному пахнет мамой, моей прежней мамой и нашей прежней жизнью.

\* \* \*

В хорошие дни мать почти всё время молчит. Пьёт кофе, пытается работать над романом и работать вообще, хотя переводов сейчас почти нет. Мать говорит, из-за больницы она «выпала из тусовки». Деньги нам всё чаще привозит тётя. Мать после её приездов выглядит так, будто собралась упасть в обморок.

Выжидает минут десять, потом хватается за ключи и уходит гулять. Иногда её не бывает по пять или шесть часов. Где она ходит? Что делает? Вернётся ли? Кажется, я начинаю понимать собак, которые воют у двери, пока хозяина нет.

В плохие дни мать злится. На меня. Я забываю напоминать пить таблетки, забываю покупать её любимую минералку и конфеты по акции, забываю выносить мусор, забываю целовать на ночь, забываю говорить «доброе утро», забываю рассказывать, как прошёл день, забываю спросить, что нового у неё, и вечно что-нибудь разбиваю, а главное, хожу в колтунах и совсем не слежу за волосами.

Почему-то неухоженные волосы злят её сильнее всего. Но и помимо них проблем со мной хватает. Я нескладная, неловкая, невнимательная и состою из самых разных «не».

— Привыкай, ты тут не принцесса, за тебя никто жить не будет! — кричит мать. — Что будет с тобой, если я умру, а?! Посмотри, во что ты превратилась! Специально хочешь доказать мне напоследок, что я никудышная мать?! Мол, ничего тебе не удалось в жизни, дурында, даже дочь!

Однажды, во время одного из маминых монологов, я делаю ошибку и напоминаю про звонки, на которые мать не отвечала. О чём я думаю, не знаю, но у меня вырывается:

— Если ты думаешь, что загубила себе жизнь чисто по фану из-за меня, то у меня новости: я себя рожать не просила!

Мать пошатнулась. Казалось, я её ударила. Она уходит к себе, запирается и сидит там весь день. Мать не рыдает, не разговаривает, не ходит: как будто зашла к себе и провалилась в какой-то портал. Из-за двери — ни звука. Почти сразу я понимаю, что наделала.

Стучу, умоляю открыть, плачу, злюсь, кричу, снова плачу и снова прошу открыть дверь. Я сижу под этой чёртовой дверью на полу несколько часов, пока, наконец, мать не выходит.

Она ещё бледнее обычного и кажется почти прозрачной, невесомой — так выглядят призраки в фильмах. Мать заваривает чай и садится на кухне. Я подхожу ближе.

— Мама, прости...

Рука матери обжигает щёку. Я замолкаю. Мать медленно поднимает глаза. От взгляда — мурашки по спине:

— Я потратила на тебя почти всю взрослую жизнь. Я могла бы стать кем-то другим, сделать карьеру, но выбрала быть твоей матерью — и, видимо, ошиблась. Тебе не понять. Откуда? Ты же не умеешь жить ради других.

Помолчав, она добавляет:

— И вытри слёзы. Ты знала, что у тебя очень злое лицо, когда плачешь?

Той ночью я не могу заснуть. Мне снится старый сон про темноту. Только теперь это не бестелесная мгла, а зыбучие чёрные пески, из которых ко мне тянутся белые женские руки, они хватают меня за волосы, они тянут вниз, царапают лицо, а вдалеке кто-то хохочет:

— Рапунцель, Рапунцель, сбрось свои косы!

Утром я встаю пораньше, иду в ванную и криво стригусь под мальчика.

\* \* \*

Во время ссор я больше не плачу. Когда мать опять обижается — на этот раз «со спецэффектами»: рыданиями и звонками друзьям, — я просто ухожу к себе, закрываю дверь и включаю музыку в плеере. Когда я в наушниках, плача и жалоб матери не слышно.

Хочется есть. Осторожно — лучше лишний раз ничем не шуршать — открываю пачку печенья. Можно есть сколько хочется — за книгами на второй полке шкафа спрятаны ещё три шоколадки и хлебцы, в старый рюкзак я вчера положила две бутылки воды и колу. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», запасись едой и сиди тихо до полуночи — мой новый девиз.

Выйдешь — и понесётся. Если мать ещё не успокоилась, она начнёт делать вид, что сейчас уйдёт. Говорить, что без неё мне не выжить, — она же для меня «ходячий кошелёк» и «фея на все руки». На счёт фей не знаю, но толк в чёрной магии мать точно знает.

В какой-то момент я теряю контроль, закрываю собой дверь, кричу: «Никуда не пущу!» — чёрт его знает, что мать с собой сделает. Это бессмысленно, знаю, но я уже упоминала, что теряю контроль? Мне становится холодно и по-детски страшно: маглы дементоров не видят, но парочка из них точно в такие моменты оказывается поблизости.

Мать между тем кидается отдирать мои пальцы от дверных косяков — откуда у умирающей такая сила? — бьёт по щекам и каждый раз побеждает. Я улетаю в стену или падаю на пол. От боли кажется, будто душа покидает тело, и я вижу всё со стороны. Пока я пытаюсь заставить трясущиеся ноги меня слушаться, мать убегает из дома.

Так что выходить до полуночи — глупо. В полночь все проблемы превращаются в тыкву. Мать рыдает у себя и в какой-то момент выключается, а значит, да здравствует свобода и нормальный туалет. В «осадном положении» приходится малую нужду справлять в спрятанную под кроватью банку.

Мерзко, но «зачем выходить оттуда, куда вернёшься вечером таким же, каким ты был, тем более — изувеченным?»

Вынимаю один наушник. Мать всхлипывает так, как будто сейчас задохнётся, и жалуется кому-то на мой «адский переходный возраст». Вставляю наушник обратно. Мать плачет — это хорошо. Чем сильнее истерика, тем быстрее она вырубится.

Иногда я хочу, чтобы мать заснула навсегда.

\* \* \*

Она так и не умерла. Умирала-умирала, да не умерла. Бледные скандинавские боги в огне Рагнарёка совсем выцвели на стенах нашей старой квартиры, выцвели запахи и воспоминания, выцвела и сама мать — стала худой и серой. Но не умерла.

В детстве я любила возвращаться домой. Теперь я бываю там раз в несколько недель, «наездами и набегами», шутит мама. Мы созваниваемся. Мы нормальная семья, а нормальные семьи созваниваются.

«Как дела», «как погода», «что готовишь», «что нового», «пишешь роман» — «всё ещё пишу, дочка, все ещё пишу». Сотни и тысячи мертворождённых слов — только бы не молчание на двоих. Молчание обличает. Молчание обвиняет. У молчания лицо убийцы.

Снег за окном всё идёт и идёт.

Квартира и я сама застыли в воздухе, где-то посреди снежного небытия. Девочка из прошлого убралась восвояси, но я знаю, что она вернётся.

Я переехала шесть лет назад, и все эти шесть лет она возвращается. Каждый раз. Интересно, долго ещё покойница будет захаживать в гости? Вру: неинтересно. В нормальной взрослой жизни с нормальной взрослой работой и нормальным съёмным жильём со стерильно светлыми стенами мало что интересно. Тётя мной гордится: «Ты совсем взрослая, так держать!»

Так держать.

\* \* \*

Снегопад шёл всю ночь. Утром я проснулась — а мир за ночь стёрли. Щёлкнули по delete, и всё — нет ни домов, ни машин, ни людей. Есть только снег. Снег пахнет металлом и морозом. Снег пахнет нездешностью. Никогда не замечала, что снег вообще пахнет.

Рабочие чаты молчат, соцсети повисли, интернет, кажется, отрубился. Служба поддержки не отвечает.

В съёмной квартире пусто. В съёмной квартире тихо. Так тихо, что отчётливо слышны шаги соседей наверху. В квартире как в Зазеркалье. Всё на своих местах, но — чужое. На плите стоит сковородка с остывшей картошкой. Ставлю её на стол и ем руками прямо из сковороды, запивая остатками кофе. За окном — пустота.

Возвращаюсь в комнату и, не раздеваясь, ложусь под одеяло. Холоднее ещё никогда не было. Как там говорят? Кровь стынет в жилах?

Стены квартиры вдруг становятся прозрачными, а затем рассыпаются ледяной пылью. Видимо, я уже заснула — но почему-то этого не заметила. Смотрю на свои руки. Они бледнеют, истончаются и, как и я сама следом, растворяются в ледяной белизне снега.

Мне не страшно. Мне не больно. Мне никак, ведь я — не я, а бестелесная снежная дымка. Дымка чувствовать не может.

...Наверное, я никогда не узнаю, кто додумался назвать Белое море Белым. Сегодня оно искрится серебром, вспыхивает золотом там, где соприкасается с водой оранжевое солнце, сегодня оно — гигантский распластавшийся передо мной хамелеон, а мы с мамой — крошечные точки на фоне вечности.

Морю нет дела до того, кто мы такие. А нам нет дела до моря. И до всего мира

заодно: связи на нашем острове нет, единственная возможность попасть на большую землю — дожидаться корабля с материка. Когда он придёт? Неизвестно.

Мы идём рядом по тёмному песку, отражения друг друга в одинаковых белых сарафанах, призраки самих себя, и молчим — каждая о своём.

Если бы я решила придумать для нас с матерью чистилище, оно выглядело бы именно так.

## *Час волка*

Когда ты первый раз душишь меня, мне смешно и страшно — вокруг иконы, книги, выцветшая программка спектакля «Синяя борода», мои школьные фото. Вот я мушкетёр, вот я с дельфином, а вот — с родителями, это моя квартира, здесь ничего плохого не может произойти. Ты кончаешь и отпускаешь меня, я лежу и смотрю в потолок — нестерпимо белый, вот точное определение этого цвета, — в открытые окна из предрассветной темноты вливается августовский запах яблок и прохлады, и откуда-то издали звучит твой смешок: «Теперь тебе есть, о чём писать».

Конечно, ты говоришь на французском — и твой голос звучит в моём мозгу с кривым синхронным переводом. Я не отвечаю: говорить на французском хочется меньше всего. Это мой дом, окраина Москвы, Лианозово, тут когда-то жили лучшие боевые гуси — о них, между прочим, писал Булгаков, но ты не знаешь о Булгакове — тут просто неловко и почти противоестественно обсуждать что-то на французском.

«Теперь тебе есть, о чём писать», — конечно, это ты не всерьёз. Конечно, я преувеличиваю. Это просто секс, все взрослые занимаются этим. Конечно, глупо плакать, если ты решил немножко поиграть.

Встаю, закурываю — всё как в фильмах, да? — и иду на кухню. На столе всё ещё стоит папина кружка с недопитым чаем, лежат бычки маминых сигарет в пепельнице, кажется, я ещё чувствую запах ментола. Родители на даче, тактично освободили нам на целую неделю — как современно, да? Они не видели тебя, знают только по рассказам: препод французского, путешествует по миру, был в тридцати семи странах, теперь проездом в России. «Друг по интернету», «приятель по переписке», «он», «тот, о котором я вам говорила» — у тебя много прозвищ, а настоящее имя я почему-то использовать не решаюсь.

Я люблю рассказывать о тебе больше, чем тебя самого. Раз за разом повторяю это «был в тридцати семи странах» — и как будто сама становлюсь немножко цифровой кочевницей, как будто не жила всю жизнь в одной и той же квартире с одним и тем же видом из окна в панельно-лесопарковом Лианозово, с подоконниками, заставленными кактусами, — кстати, из-за них ты прозвал меня «мать кактусиных шипов». Как мать драконов, только без драконов — я поняла шутку, хоть ты и шутил по-французски. Стала ли я ближе к тебе, если начала понимать твои шутки?

Ты приходишь на кухню, ты смеёшься, ты открываешь вино, я снова закурываю — я много курю, я ношу бижутерию, которая линяет после первого же дождя и скалится металлом под бронзой, серебром и позолотой. Я учусь во ВГИКе и пишу сценарии, и ни один из них мне не нравится, но ты улыбаешься, ты гладишь по щеке, ты говоришь, что мы с тобой не такие, как все, мы оба обязательно чего-нибудь добьёмся, и это «чего-нибудь» будет скоро.

Ты никогда не прочитаешь ничего из того, что я пишу, а я не переведу это на французский: я и говорю-то с ошибками, какие переводы? Но ты снова улыбаешься,

снова гладишь меня по щеке, снова говоришь, что я легко поступлю в парижскую киношколу, а там и до Каннского фестиваля рукой подать.

Мы смотрим до утра независимое сербское кино, и ты знаешь каждого режиссёра, каждый фильм, — а я смотрю на синяки на своей руке. Конечно, синяки — это не всерьёз, у меня до смешного тонкая и нежная кожа: прикоснёшься — и хоп, она уже синее и ноет. Глупо плакать. Синий — твой любимый цвет. А значит, и мой тоже.

Ты уезжаешь на следующий день, ты пишешь, что пьёшь кофе в Домодедово и ждёшь самолёт, ты снова шутишь про «мать кактусиных шипов» и говоришь, что парочка из них осталась в сердце. Ты так ловко всё сводишь к своему сердцу.

\* \* \*

В день твоего отъезда слоняюсь по квартире — кто я теперь? Зомби, белый ходок, призрак, тень самой себя? Кто я теперь без тебя? Я же была кем-то, определённо была, пока ты не выкрал меня у меня. Да и дом ли теперь мне мой дом? Квартира пахнет тобой, квартира помнит твои прикосновения, квартира теперь немножко ты — а я внутри, как в бетонном чреве доисторического кита.

Дома я чувствую себя чужой и простуженной, дома стены не лечат, а калечат — любимая шутка папы. Звоню однокласснице, зову её в парк, одеваюсь и выхожу на час раньше, слоняюсь по дорожкам, пока не встречаю её. Настя видит мои сине-белые руки, видит засосы на шее, Настя смеётся, Настя шутит, что ты вампир, а я, конечно, Белла. Меня передёргивает — мы с тобой считаем себя выше, умнее и тоньше такого, мы читаем римских философов и греческих драматургов, мы любим артхаус, мы другой биологический вид с изысканным художественным вкусом.

Но я молчу и улыбаюсь чужой — подсмотренной у тебя — улыбкой, а Настя говорит:

— Тебе надо купить летнюю кофту с длинными рукавами, прикрыть ваши БДСМ-штучки. Умеешь ты, мать, находить контент.

— Теперь мне точно есть, о чём писать, — смеюсь в ответ эхом твоего смеха. Если говорить твоими словами, если смеяться твоим смехом, стану ли я ближе к тебе?

Чувствую себя словом «дребезг», сказала Фредова в «Рассказе служанки», в первом сезоне, когда она уже не Фредова, но ещё не Джун. Чувствую себя словом «посередине», сказала бы я. Когда я уже не я, но ещё не ты.

\* \* \*

Покупаю синюю кофту с длинными рукавами, синий домашний костюм, синий халат. Синий — наш с тобой любимый цвет. Родители синего на белом теле не замечают. Одно из двух: или магия длинных рукавов сработала, или они пытаются быть тактичными. Мало ли какие любовные игры у современной молодёжи, правда? Как современно, да?

Мы созваниваемся каждый вечер, ты говоришь, я слушаю, я позволяю себе качаться на волнах твоего голоса и тонуть в нём, хотя и не понимаю половину — ты разговариваешь слишком сложно, ты не делаешь скидок и поблажек, ты разговариваешь со мной «как с француженкой, как с равной». Большую часть слов я не знаю, но стесняюсь признаться.

Когда я одна, я изучаю синяки на своём теле. Постепенно они зеленеют, желтеют и выцветают, и мне почему-то хочется плакать: кажется, будто это ты исчезаешь из меня. Я больше ничего не пишу, на лекциях не слышу преподав, я жду сообщений в

скайпе, фейсбуке и телеграме, я жду, что ты напишешь, — и боюсь писать сама, ведь я взрослая, взрослые не надоедают, у взрослых своя жизнь и увлечения.

Ты пишешь раз в день, у тебя нет времени, тебя пригласили преподавать французский в Албанию, в северный Шкодер. Или Шкодру — Википедия говорит, правильно и так, и так. Это город обвисших проводов, бездомных собак, проросших сквозь бетон деревьев и велосипедов, говоришь ты.

— На велосипедах тут не ездят только безногие, — шутишь и добавляешь: — и такие, как ты. Рассеянные.

Твоё лицо квадратится пикселями, и я не могу понять, улыбаешься ли ты. Спрашиваю, когда созвонимся снова, но ты молчишь. Понимаю: ты почти всегда занят.

Однажды ты присылаешь в чат обложку книжки — какой-то нонфикшн про сожжение ведьм.

— Нравится? — спрашиваешь.

Конечно, мне нравится. Я выросла на «Зачарованных»: чур, я Фиби, а ты Коул, — и «Гарри Поттере»: чур, я Тонкс, а ты Люпин, — и даже если бы ты прислал учебник по математике, мне бы понравилось, ведь это прислал ты.

— Бывшая подарила, — смеешься ты, и я чувствую, как живот крутит от боли.

Ты говоришь, что бывшую тоже позвали в Албанию, ты едешь к ней на выходные «просто так, по-дружески». Конечно, она разбирается в независимом балканском кино, конечно, она жить не может без путешествий, впечатлений и нон-фикшна, — а как ты умудряешься дышать и думать в своём Лианозово, не надоело, спрашиваешь ты, — она может прочитать книжку за вечер.

А я? Что могу я?

\* \* \*

Нестерпимо белый — такой у меня в комнате потолок, он ничуть не изменился с тех пор, как ты ушёл. Вечером он розовый, почти сиреневый, такого приторного сладкого цвета. А ночью — неоновосиний, как твой свитер, тот, который ты чуть не забыл у меня, помнишь? Кажется, в моей жизни больше нет ничего реальнее потолка, хочется не выходить из комнаты, не совершать ошибки, жить по заветам Бродского и построить баррикады между мной и всем снаружи.

— Ты собираешься сдавать сценарий? Мастер спрашивает, что с тобой, почему тебя нет в универе. Я шучу, что ты в секте, но скоро шутки работать перестанут, учти, — пишет одногруппница.

— Ты не можешь целыми днями лежать, жить за тебя будет Пушкин? — тревожно шутят родители.

— Ты что, обиделась из-за бывшей? Перестань, я же не всерьёз. Зато теперь тебе есть, о чём писать, — переводит твоё сообщение синхронный переводчик в моей голове. Я перечитываю его раз пять, кажется, что мне становится легче дышать, а ты смеёшься надо мной: «Ты вечно себе что-то придумываешь».

Мы переписываемся утром, мы переписываемся днём, мы переписываемся вечером, я засыпаю и просыпаюсь с телефоном в руках, тайком держу его под партой в аудиториях, мёрзну с ним у входа в метро — там плохо ловит интернет, а мне нужно ответить.

— Тебе бы его вшить в руку, совсем с ума посходили со своими смартфонами, — вздыхает мама.

— Приезжай ко мне в Албанию, — пишешь ты.

Денег у меня почти нет — откуда, родители дают на карманные расходы по пятьсот рублей в день, я даже кофе почти никогда не пью с одноклассниками — но в шкатулке три золотых кольца, браслет и серёжки, мне подарили год назад на 20-летие. Я закладываю всё в ломбарде, — так по-взрослому, да? Совсем как в фильмах?

\* \* \*

Покупаю билеты, чёрное платье и духи — их я разбираю в первый же день в Шкодере, в пропахшем кофе доме, в котором ты поселился, в доме, где на подоконниках желтеют в горшках увядающие цветы.

Ты смотришь на осколки, ты хмуришься — ты так ненавидишь бардак, — и я ползаю на коленях по полу и собираю осколки в блестящую красным ладонь. Кровь весело блестит леденцом, как будто это и не кровь вовсе, а бутфорская имитация.

Почему-то я извиняюсь, а ты вдруг улыбаешься и говоришь:

— Всё нормально, ты просто такая. Неуклюжая во всём. Видимо, генетический брак.

Видимо, ты прав. Я бракованная. Неуклюжая во всём. Иначе почему в Албании я постоянно всё бью? Твою любимую чашку, твою пепельницу, экран моего телефона. У меня почему-то всё время дрожат руки — как будто я алкоголичка, — и мне так холодно, что я не могу согреться под двумя одеялами. Ночью я почти не сплю, хожу потом голубокожей лунатичкой, меня шатает.

— Тупеешь с каждым днём, удивительно, — вздыхаешь ты. — Лентяйка: ничего не пишешь, ничего не читаешь. Скоро будет не о чем с тобой разговаривать, — морщишься. — Кажется, я в тебе ошибся. Мы очень разные, — закрываешь лицо книгой.

Давай сыграем в игру? Какое ты слово сегодня? Я — междумирье, сизая тень между белёсыми бинтами света на полу, я так давно не я, но, кажется, всё ещё не ты. Куда мне деваться между тобой и собой?

«Мы очень разные», — конечно, это ты не всерьёз. Конечно, я преувеличиваю. Это просто слова. Конечно, глупо плакать. Взрослые не плачут, взрослые переживают кризисы сообща.

Ночью твоё тело кажется бледным до голубизны. Ночью твои руки холодны — и я вспоминаю мёртвых женихов из баллад. Ночью ты снова душишь меня — нет, конечно, не душишь, просто играешь, — и кусаешь, а я думаю о соседке по даче, которую бил муж. Она бегала от него по всему посёлку, прикрывала синяки, а потом он неожиданно сгорел в доме. Говорят, заснул с сигаретой. Говорят, случайность.

Хочу саму себя ударить. Зачем я вообще об этом вспомнила? Мы же занимаемся любовью, я должна думать о тебе в себе, о нас, о будущем? Я должна быть счастлива, ты рядом, мы вместе, одно большое безграничное «мы», в котором утонуло мое «я».

Ты снова кусаешь, и я снова закрываю глаза, дышу — раз-два, раз-два, раз-два — и упрощаю себя: «Не кричи, дура, только не кричи, ты что, маленькая?» Что было бы, если бы я рассказала обо всём родителям? Что было бы, если бы я рассказала обо всём Насте?

— Что он тебе сделал?

— Укусил меня.

Звучит смешно. Кусаются собаки или дети, нельзя же всерьёз кому-то рассказывать, как преподаватель французского, фанат твидовых пиджаков и Камю кусает меня. Как об этом рассказать? Кому?

\* \* \*

Мне казалось, ты из тех, кто ставит пароли на компьютер. Мне казалось, ты из тех, кто умеет хранить собственные секреты. Есть ли они у тебя? Нет? А если найду? Прежде чем ты спросишь «зачем», я скажу, что ответа у меня нет. Наверное, я хотела посмотреть на тебя без меня. Наверное, мне нужен был повод проснуться. Есть ещё много разных «наверное», выбирай, что больше по вкусу.

Папку с фотографиями твоих бывших я нахожу так быстро, что мне почти стыдно. Мне кажется, ты поймал меня. Специально оставил фото на видном месте, чтобы ткнуть меня в них как глупого котёнка в лужу. «Кто это сделал, а? Кто это сделал? Чья вина?»

На всех фото я вижу себя. Лицо чужое, чужие волосы, чужие глаза, чужие ноги и руки, но это я. Узнаю себя в синеве, темнеющей то тут то там на чужих телах. Затянувшийся синий период в твоей жизни, да? Если бы я умела пошутить, придумала бы шутку про Пикассо — но ты и так считаешь меня глупой. Зачем банальности?

На всех фото твои бывшие спят — по крайней мере, глаза у них закрыты. Некстати подумалось, что мёртвого от спящего на фото отличить не так-то просто: если покойник ещё не разложился, как понять, что он труп?

Злиться за других проще, чем за себя, злиться за других как-то правильнее и честнее — и злость моя теперь шипастая и синяя, расплывается под бледным льдом кожи ультрамариновой темнотой кровоподтёков. Как река, лижущая день за днём изнутри, из ледяного склепа, свой белый панцирь, пока он не растает. Синий был нашим с тобой любимым цветом, помнишь? А помнишь кое-что другое? Как ты рассказывал, что злость во французском тоже может быть синей. Если она, конечно, по-морскому — или речному, кому как нравится — безудержная? Страх, впрочем, тоже бывает синим. Французский всё-таки занятный язык, да?

\* \* \*

В последнюю ночь в Албании я не сплю. Это я называю её последней, для тебя она — одна из многих наших ночей.

На часах 4:30, папа в детстве говорил мне, что с четырёх до пяти наступает «час волка». Час, целый час в сутках принадлежит волку-призраку, «волчку, который непременно укусит за бочок» — только в формате для взрослых. Когда-то я так боялась проснуться в это время, что часто глаза сами собой открывались в четыре утра.

Уснуть было невозможно, я шла на кухню и сидела в углу — так, чтобы видеть тонущий в индиговой ночной синеве коридор, ведущий в прихожую. Казалось, ещё чуть-чуть — и на меня посмотрят из темноты неподвижные волчьи глаза. Две белых светящихся Луны — прямиком из небытия.

На часах 4:30, я давно не в Москве и даже не в Лианозово, я за тысячи километров и я не верю в призрачных волков. Но если нет никаких волков, то что изнутри прогрызается наружу? Ты спишь. У тебя такие длинные ресницы. У тебя такие нежные губы. У тебя такое белое тело. Такое беззащитное, убаюканное жужжащей ночными жуками синевой.

Смотрю на тебя и думаю, как было бы здорово расцарапать тебе лицо, ударить по щекам, раз, два, три, взять нож на кухне — тот, что ты купил недавно, он самый острый — и...

Мне зябко, мне ознобливо — есть такое слово, «ознобливо»? Если нет, надо внести в словари. Это когда озноб трясёт без всякой причины, когда зубы сводит судорогой до ноющей боли в дёснах, это когда всё дрожит перед глазами.

Хочется разучиться думать, хочется отключить мозг — кто-нибудь, где у него выключатель? — но тёмное и большое нечто выбралось из меня, сидит в изголовье, посмеивается, поглядывает на тебя, шурит звериные глаза.

Ты так и не проснулся, когда я собрала вещи и уехала одна в аэропорт. А я так и не оставила тебе записки.

\* \* \*

Курица в тележке стюардессы заканчивается раньше, чем наступает наша очередь — моя и пары, сидящей рядом.

— Как говорится, что вы выберете: баранину или блокировку Telegram в России? — шутит парень по-русски.

Молча беру баранину. Я не люблю баранину — с детства не люблю. Даже запах почти не переношу. Но зачем-то съедаю всё до конца. Мы плывём по сахарной вате облаков, мы скользим в голубом льду атмосферы, а где-то там, в голубом и белом, прячется солнце, сверкает огромным леденцом. Мы коротаем время, как можем, мы дремлем, мы ещё не дома, но уже не в путешествии, мы ждём, когда сможем проснуться.

Мы — это я и остальные, ведь моё прошлое «мы» осталось у тебя. Возвращать не надо, оставь на память.

В самолёте в голову приходят глупые мысли. Например, я поняла: а ведь так и не придумала тебе смешное прозвище. Ну, знаешь, у всех пар такие есть, а мне ничего толкового не пришло в голову. Всё ждала — вдруг ты подскажешь? — неловко шутила, а ты молчал и ничего не говорил. Ты почти никогда не называл меня по имени, и я тебя тоже.

Давай сыграем в слова. Какое ты сегодня слово? Я — белое на синем. Я пустота. Я ещё не я, но уже точно не ты.

---

*Анатолий Валевский*

## Иду до упаду, не оглядываясь...

*Рассказ*

На улице из грязной коробки доносился тощий скулящий писк, больше похожий на человеческое: «Помогите!»

Все проходили мимо, кроме Натальи. Она остановилась и заглянула в коробку. Эльза, соседка с шестого этажа, как-то в сердцах посетовала: «Жизнь иногда такое выкидывает, что хочется остановиться и подобрать».

Наталья подобрала.

— Тебе, малыш, крупно сегодня повезло — капнула пенсия. Она у меня смешная, — Наталья подмигнула комочку шерсти и улыбнулась. — Но на ветлечебницу для тебя, надеюсь, хватит.

Ветеринарка находилась недалеко. Наталья пришла и диву далась: народищу часа на два. Бабушка с двумя пожилыми котами, девочка с хорьком, мамочка с кроликом в клетке, пышная женщина с запуганным таксиком, подспудно понимающим, зачем его привели к врачу.

— У вас что за проблема? — поинтересовался незнакомый мужчина.

Наталья достала грязный комок — очередь заинтересованно посмотрела.

— Спасительница, — коротко подытожил мужик. И громким басом на весь коридор протрубил: — Тут женщина с совсем плохой животинкой — пропустим?! — обратился глашатай к очереди.

— Но... — послышалось начальное возмущение дамы с таксиком, но её голос мгновенно утих, когда мужчина сердечно улыбнулся и сказал:

— Думаю, капля христианского милосердия нам не повредит.

— Конечно, — первой отозвалась бабушка с пожилыми котами.

Наталья от отзывчивости очереди опешила. Через час доктор ей сказал:

— Можете идти со своим чудом домой, — и протянул рецепты.

Возле подъезда Наталья встретилась с Эльзой. Та увидела коробку, с пониманием улыбнулась.

---

*Валевский Анатолий Михайлович* — родился в Новом Роздоле (Украина) в 1969 году, окончил Томский государственный педагогический университет (1997). Работает в школе. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Нева», «Крешатик». Живёт в посёлке городского типа Андра (ХАМАО-Югра).

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 3.

В квартире новый жилец радостно не отходил от своей благодетельницы. Наталья рассмеялась. Присела и принялась разговаривать сама с собой, что часто с ней происходило.

— Не смотри такими преданными и голодными глазами... Куда побежал? Стой! Буду тебя кормить.

Животинка счастливо виляла хвостиком.

— Как же тебя назвать, чтобы душа и сердце не болели и не стонали? Сама себя упрекаю: «Какая я дура, столько лет, пора бы поумнеть, хотя возраст ещё не значит, что я выросла!»

Наталья вспомнила слова Эльзы: «Иди до упаду, не оглядываясь...»

Наталья перевела дыхание.

— Назову тебя Чудом. Так тебя доктор назвал. Когда живешь с Чудом, сама начинаешь чудить. Судя по тебе, ты — безродное Чудо. Это нас роднит. Моя воспитательница из детского дома Генриетта Галактионовна, которую все за глаза звали Герой, не Мегерой, а по-доброму Герой, постоянно капала мне на мозги: «Наталья, ты ходячая головная боль, никакой цитрамон не помогает! Только наводишь хаос!» Она считала, что мой подростковый возраст не поддаётся воспитанию. Ей, блокаднице, ведь должно было быть знакомо: хаос — это нормально.

Наталья поднялась и достала из шкафчика растворимый кофе. Включила на автомате чайник. Чувствовала Наталья себя неважно ещё с ночи. Слабость, тахикардия, шум в голове. Таблетки не помогали. «Скорую» не вызывала. В больницу — ни за что. На кого оставить Чару и остальных домочадцев... Боль всё же к утру притихла. Несколько раз Наталья просыпалась, чувствуя напряжённость в душе, словно натянулась струна, которая могла лопнуть, оборваться в любую секунду от неумелого прикосновения руки или неправильного движения смычка.

И снова в голове стучало молоточком: «Иди до упаду, не оглядываясь...»

Поселившееся с ночи беспокойство усилилось. Гнетущее состояние раздражало. Наталья решила с этим покончить кардинально. Подошла к холодильнику, достала початую когда-то бутылку холодного коньяка, налила в рюмку и залпом выпила для успокоения нервов. Холодная жидкость приятным ожогом разошлась по организму.

Наталья присела, вздохнула, закрыв глаза. Незримая усталость легла на плечи. «Что такое со мной?» Но ответа не было. Наталья вспомнила дурацкий сон и досадливо поморщилась. Она никак не могла его вспомнить целиком — сплошные куски, словно оборванные страницы. Снились какие-то бесконечные двери. Они засели в голове и не уходили, усиливая беспокойство.

И всё же коньяк оказал благотворное воздействие. Наталья почувствовала облегчение — отпустило. На её бледном лице застыла умиротворённая улыбка.

Она снова вспомнила своё: «Иди до упаду, не оглядываясь...»

Фраза придала жизнестойкости.

«На чём мы с тобой остановились? На моём детстве...»

Наталья призадумалась.

«Гера права: если у ребёнка не было счастливого детства, ему трудно быть счастливым позже, потому что он просто не знает, что такое быть счастливым.

Ты вот, Чудо, с рождения оказался в коробке и на помойке, моё существование — так же "морозильная камера". Согреться в ней невозможно. Я появилась на свет в первый месяц войны, мама рожала меня в поле во время бомбёжки. Хотя в документах

и написано "место рождения Душанбе", но мама туда не доехала, родила по дороге. Хочу тебе сказать, что мир ещё не такое пережил.

Да-да, не смотри на меня такими глазами, Чудо. Рассказывать тебе дальше? Хорошо. В поисках тепла, чтобы наконец согреться, в шестнадцать лет я ушла из детского дома, но камера оставила свой след — мороз в душе.

Воспоминания разрушают человека. Гера сколько раз мне твердила, что память надо очищать от негатива. "Грабли, на которые встала, беречь не нужно!"

Ну что ты на меня так глядишь, будто я тебя не покормила? Колбасу всю сохмячил. Не волнуйся, жить будешь у меня. Я, конечно, не мать Тереза, но когда открыла коробку и увидела твои глаза...

Раньше не верила втираниям, что глаза — зеркало души, но когда посмотрела в Вовкины — услышала голос океана, увидела, как мы тайными тропами проникаем в звёздную долину, и ещё узрела красоту Северного сияния. Я ему так и сказала: "Ты моё Северное сияние"».

Наталье захотелось курить. С детства дымила, Вовка не курил. Он никогда не говорил, что ему не нравится, что Наталья курит, но она сама это чувствовала и, собрав силу воли в кулак, бросила.

Старуха Эльза, её заступница по дому, любительница «Беломора», учила: курить надо в местах, где человек чувствует себя свободно, потому что сигарета дана для расслабления.

Теперь Наталья могла себе это позволить.

«Знаешь, Чудо, чего больше всего хотелось в детдоме? Ни за что не угадаешь! Мо-ро-же-ного... Я его даже во сне облизывала.

И представляешь, Вовка покупал мне его на завтрак — ночные кошмары как рукой снимало. Однозначно, у мороженого есть положительный эффект — застывшее детство.

Угадай, где я встретила Северное Сияние? В том месте, где спокойно могла найти или подобрать тебя.

Свалка, мусорка, как хочешь называй, сути не меняет. Я из того поколения, что сдавало бутылки, когда в кармане не было ни бумажек, ни металла. Голодных и неприкаянных, как я, там промышляло много. Мы продавали, меняли то, что находили на свалке. Хватало на булочку с маслом и даже на ложечку икры баклажанной.

Плохо было осенью в промозглый день, когда со свинцового неба лил бесконечный холодный дождь. Тогда душа забиралась в картонку и тихонько дрожала.

Северное Сияние работал шофёром на мусорке. Однажды, не увидев, что я ковыряюсь в одной из ям, он меня чуть не завалил, скидывая мусор из машины.

Меня бесит и раздражает, когда человек жалуется на жизнь и хнычет, что она ему не подарила шанса. Она их предоставляет навалом, но люди ими не пользуются или чего-то выжидают. Кто не рискует — не пьёт шампанского. Кто не согласен — бросьте в меня камень, я отвечу... гранатой.

Я свой шанс не упустила.

У нас не было ни кола ни двора. Сирота сироту чует за версту. Вовка увёз меня к себе в бич-град, в двухэтажное деревянное общежитие, приютившее разный народ, но в большинстве со штампом: БОМЖ — на страничке с пропиской.

Северное Сияние взял меня одной фразой: "Я буду тебя беречь", — и я доверилась. Из приданого — картонный чемодан времён Великой депрессии с вещичками, раздобытыми на свалке. Жили весело, голодно, но с мечтой о своём доме.

На её претворение ушло три каторжных года. Маленький, крошечный, он радовал глаз. Собирались зайти в домик следующим днём после загса, а ночью нашу мечту “добрые” люди подожгли. Вот такая огненная ночь перед свадьбой. Тогда я поняла, что такое реветь белугой. Мы стояли с любимым у пожарища и оба ревели, понимая: наша мечта растаяла, как вкусное мороженое.

Грязные, опухшие от слёз пошли в загс забирать заявление, хотели позже расписаться. Нас уговорили не откладывать. В такси Северное Сияние достал два кольца. Я поняла: мы начинаем жизнь с чистого листа.

И у нас снова получилось! Я сама из Коми. У нас ходит сказание, что жили двое влюблённых: Тарас и Анюка. Настолько сильными были их чувства, что народ стал такую любовь называть «тарасанюка».

В трудные времена не страшно, когда рядом любимый. Всё у нас было хорошо: новый дом, машина и, главное, Димка, или, как муж любил называть сына, — Димитропулос. Ребёнок — это будущее! Он получился у нас идеальным с первой попытки.

Вовка говорил, что влюблён в блеск моих глаз. Ещё бы им не блеснуть.

Глаза счастливой женщины — это ворота в сердце, где живёт любовь.

Когда мои домашние засыпали, я выходила на балкон, смотрела на окна соседних домов. Я не всматривалась в силуэты. Я просто мысленно желала, чтобы все завтра проснулись и никто не заболел. Мечтала, чтобы там, где горит свет, люди просто пили чай или смотрели телевизор, чтобы между ними не было ссор и скандалов.

Знаешь, Чудо, после голодного, оборванного детства я поняла: семья — это мир! Если он царит в семье, значит, там всё хорошо.

Гера как-то сказала, что у нас с Володей глаза одинаковые. Я так удивилась: у меня карие, у мужа — серые. Гера рассмеялась. “Они у вас влюблённые”. И скажу тебе, Чудо, — это была абсолютная истина.

Жизнь с настойчивостью и мощью асфальтоукладчика уверенно катилась вперёд к новым целям. Мы ехали по этой дороге, уверенные в мастерстве водителя».

Наталья закурила. Затяжки делала глубокие, словно собиралась ими прочистить закоптевшие лёгкие. Раскашлялась, психанула и потушила сигарету.

Чудо лизнуло руку, и Наталья будто проснулась.

«Моё счастье сглазили завистники, — продолжила Наталья чуть погодя. — А может, сама виновата, что так им лучилась, что остальных слепило от нашего семейного света.

Когда Володя с Димкой разбились, нагрянуло одиночество, когда смотришь на живых — и видишь мёртвых. Раненое сердце ещё как-то можно заштопать, моё же было разбито вдребезги — восстановлению не подлежало. Говорят, время лечит, — враньё. Оно лишь расширяет пустоту, делая из неё огромную чёрную дыру.

Тогда я поняла: быть счастливой — непозволительная роскошь для мира.

Меня утешали: Гера, Марго, подруга её по жизни, и Эльза. Я им благодарна за поддержку, но они не могли понять главного: я всегда буду проклинать и ненавидеть вчерашний день, забравший у меня мой мир.

После похорон любимых я стала кораблём с огромной пробоиной в борту. Всё можно пережить в этой жизни, пока есть для чего жить, кого любить, о ком заботиться и кому верить.

Как-то ночью услышала странный голос, спрашивающий меня:

— Ничего не хочешь изменить?

— Ты о чём? — искренне удивилась я.

- О твоём одиночестве.
- Ты готова мне его заменить?
- Не знаю.

— Тогда не задавай пустых вопросов, — возмутилась я. — Когда будешь готова, тогда и поговорим, а пока не вторгайся в мою жизнь, это ранит меня. Те, кто долго живёт с одиночеством, не любят ненужной суеты.

— Ты, женщина, не поняла, с кем разговариваешь? — разъярился голос. После небольшой паузы, успокоившись, добавил: — Я — смерть!

- Не испугалась, давно жду!
- Зря! Нытики мне не нужны.
- Милосердная? — с сарказмом ответила ей.

— Иногда бываю... — И сказала слова, которые я не ожидала услышать: — Снимай траур, люби живых!

- Где взять силы?
- У себя и возьми.

И голос пропал.

Когда я ещё была счастлива, в той жизни, с нами проживала доберманша — Чара. Мы её нашли привязанной к дереву. Хозяева так жестоко решили избавиться от девочки. Мы отвязали и забрали к себе. Чара так же была чудом. Она нас полюбила, доверилась. Понимаешь, это безоговорочная любовь, любовь без размышлений, полная и настоящая!

Чара, как и я, выла, когда в сырую землю опустили моих любимых мужчин.

Однажды я на неё накричала и даже ударила по хребту. Она присела и взглянула на меня. Я увидела, что она плачет. Обняла её и зарыдала вместе с ней.

Как-то Эльза зашла с бутылкой коньяка. Откупорила, налила.

- Помянем, — сказала она.
- Кого?

— Матильду, — Эльза кремень, держалась. — Директора детского дома, в который я попала после немецкого концлагеря. Большой внутренней силы была человек.

— Сколько ей было? — поинтересовалась с сочувствием.

Эльза взглянула на меня и сказала:

— Шла до упаду.

Эльза закрутила свою беломорину и добавила:

— И ты, Наталья, иди до упаду, не оглядываясь...

Вот я и иду, Чудо... до упаду... не оглядываясь...»

Наталья достала из пепельницы остывший окурок и снова его зажгла.

«Чудо, ты удивишься, узнав, что я обожаю слушать Баха. Тебе неизвестно, что этот человек схоронил одиннадцать любимых детей, первую свою жену. Я не раз задавалась вопросом, как он смог это пережить, почему не перестал дышать, почему его сердце не остановилось? А главное — как он смог и дальше писать музыку? Самую прекрасную музыку, какую доводилось слышать миру. Знаешь, почему он смог? Он так же шёл до упаду, не оглядываясь. Еще у него были ноты. Нота за нотой и создавалась великая музыка скорби, печали, любви.

Вот тогда и я вышла на свою дорогу и пошла по ней до упаду, не оглядываясь. У Баха были ноты, а у меня — Чара, потом появился Вася: кот сомнительного обличья и соответствующего запаха. Он взял меня своим поведением. Не выпендривался, чинно прошёл по квартире, обнюхал углы, нигде не пометил территорию, вернулся

в прихожую, сел и вежливо сказал "мурррр", будто благодарил меня за то, что я его пустила в своё жилище. Истинный аристократ. Потом от дурных детишек отбила Басю. Доброта — не зубная паста, которую выдавливают каждое утро, чтобы почистить зубы. Оно им было с детства неведомо. Маленькие нехристи привязали Басеньку к металлической двери и стреляли по ней из пневматической винтовки. Ну а потом... — Наталья вздохнула, махнув рукой, мол, чего вспоминать. — Наказ Эльзы выполняю: иду, как и она, до упаду, не оглядываясь...»

«Чудо, чтобы ты знал, — двери моей квартиры всегда открыты, даже ночью. Воровать у меня нечего, сам скоро увидишь. Не закрываю, потому что боюсь, вдруг снова мне поплохеет. В тот раз я просто забыла закрыть дверь. К вечеру мне стало худо, и я рухнула в коридоре. Чара подбежала, обнюхала, заскулила, а потом лапой открыла дверь, и все домочадцы, кроме Васи — он остался меня сторожить, — побежали на шестой этаж к Эльзе. Она услышала лай Чары, открыла двери и всё сразу поняла: побежала меня спасать и таки успела. Эльза и Валерия Павловна, учительница математики с третьего подъезда, по очереди ухаживали за моими домочадцами, пока я два месяца отлёживалась в больнице после инфаркта».

«Все мы идём до упаду, не оглядываясь», — сокрушённо подумала Наталья, плотно сомкнув губы.

«Раз в месяц практикую слёзы — очищение души. Старушка Эльза так мне и сказала: "Не бойся естественных потребностей. Хочется смеяться — смейся, плакать — плачь, материться — да сколько угодно, от тебя не убудет. Сила в нашей естественности!"

Кстати, ты в курсе, что меня в доме считают сумасшедшей? Я с соседями не ругаюсь. Когда меня достают, спокойно резонирую: "Вам показать дальнюю дорогу, или сами найдёте?"

Я культурная, вежливая женщина».

Наталья решительно встала.

«Ладно, пойдём, познакомлю тебя со всеми обитателями квартиры. Не бойся, они тебя не обидят.

Чара, старушка, заходи и зови остальных... Будем знакомиться с новым домочадцем...»

Наталья продолжила свой путь до упаду... не оглядываясь...

*Ольга Сульчинская*

## Здравствуй, сколько сумеешь!

### *Родительный надеж*

острый циркуль и верный рейсфедер на (в) бархатных ложах  
постоянные жители маминых трёх готовален  
я их помню блестящих на спящих танцоров похожих  
но судьба их безвидна и царственный облик печален

мне чертёжного нет не досталось ни капли таланта  
бесполезны как датскому принцу его королевство  
оказались мне тонкие клювы стальные пуанты  
инструментов разумных и я растеряла наследство

чашка будет разбита укатится перстень с мизинца  
лишь круги разойдутся по глади офельих купален  
дорогая гертруда как тщетны труды материнства  
моя бедная мама как жалко твоих готовален

### *Прощание*

Зря не надела  
Шапку... да ладно, дойду.  
Странное дело —  
Осень в Летнем саду!  
Оксюмороном  
Выглядит этот пассаж.  
Только воронам  
Впору простудный пейзаж.  
Стынут нагие  
Статуи. Кто б не продрог?  
Боги, богини,  
Мрамор — достойный пролог  
К снегу, молчанью,  
Праву смириться с судьбой.  
Зря назначаю  
Здесь я свиданья с тобой!

---

*Сульчинская Ольга Владимировна* — поэт, прозаик, психолог. Родилась и живет в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и Высшую школу гуманитарной психотерапии. Работала редактором, переводчиком, копирайтером и преподавателем психологии. В настоящее время — шеф-редактор журнала Psychologies. Автор трёх книг стихов. Лауреат международного Волошинского конкурса.

### *Городской пейзаж*

Где верхней нотой с оперным сопрано  
Соперничает золочёный шпиль,  
В безоблачной лазури океана  
Небесного царит глубокий штиль,

Но Летний сад, как ливень говорливый,  
Летит, уже распахнутый, на нас,  
Переливаясь бирюзой павлиньей  
И ослепляя тысячами глаз.

Куда ни глянь, атланты или мавры,  
На памятниках зеленеет медь  
И надвое разъятые кентавры  
Самих себя не в силах одолеть.

Мы оказались в сердце увертюры:  
Манжеты нервно поправляет хор,  
Прицеливаясь, щурятся амурсы  
И яростно колдует дирижёр.

Что ждёт нас, я не знаю, нет либретто —  
Не спрашивай, прислушивайся сам.  
Труба зовёт, и подана карета,  
И слёзы поднимаются к глазам.

### *Список*

Жизнь состоит из фантиков поросят  
Жёлтых микроавтобусов голубей  
Из приключений два раза по пятьдесят  
Как его звали не помню вот хоть убей

Из непредвиденно вымокших папирос  
Из пустых карманов стреляных сигарет  
Жизнь состоит из вопросов большой вопрос  
Любишь ли ты меня и ответа нет

Жизнь состоит из запахов дивно свеж  
Молотый кофе рассвет за окном пейзаж  
Жизнь состоит из кофточки цвета беж  
Из очков ключей записок других пропаж

Из рентгена уколов таблеток а телефон  
Нем как хвост варёного осетра  
Жизнь есть сон всё наврал Кальдерон  
Трудно заснуть дайте валиума сестра

## *Триптих античности*

Ave, Caesar! Mori turi te salutant.

*Приветствие гладиаторов*

### *1. Фессалия, X век до н.э.*

Зачем душа? И так всему живётся:  
Тень движется, и дерево ветвится,  
И козлоногий мальчик у колодца  
Насторожил звериные копытца —  
Напиться хочет, вместе с тем боится.

Чуть скрипнет дверь, и этот звук нестрогий  
Спугнёт его, он, вздрогнув, устремится  
Прочь от жилья, а дева на пороге  
Вглядеться хочет — и глядеть боится,  
И солнце в волосах её искрится,  
И камень холодит босые ноги.

Зачем душа? Для вечности есть боги!  
А прочим смерти нечего стыдиться.

### *2. Рим, 65 г. до н.э.*

Только смерть позволяет в полный голос и с полным правом  
Говорить о радости, славить пространство мира.  
Потому что смертного делает она равным  
Богам в их бессмертье, званным гостем большого пира.  
Потому что, о Радость, здесь любой из нас — гладиатор  
И кругом повсюду, куда ни глянь, — арена:  
Лев щерит пасть, бьёт хвостом аллигатор...  
Здравствуй, Цезарь! Здравствуй, сколько сумеешь!

### *3. Западная римская империя, V в. н.э.*

Войны на всех окраинах. Душный сброд  
Просто хочет крови и даже не рвётся к власти.  
Победителям придётся кормить сирот  
Самой разнообразной масти.  
Здесь-то, в центре, практически тишина,  
Цены, правда, растут, только уксус не дорожает.  
Время от времени кого-нибудь режут, но, раз война,  
Это входит в правило, потому и не раздражает.  
Смеющийся изредка — избегает ранних морщин,  
Так что пасмурный день нам будет к лицу, подруга,  
Оденься нарядно. Пойдём посмотреть на мужчин,  
Пока они все не перебьют друг друга.

## АЛЫЙ парус ВДОХНОВЕНИЯ

### *Литературный конкурс*

Всероссийский открытый детский литературный конкурс «Алый парус вдохновения» проводится Челябинским областным отделением Союза писателей России при поддержке Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья.

Инициатор конкурса и председатель жюри — Анастасия Ивановна Порошина, поэт, член Союза писателей России, кандидат филологических наук. Организатор — Оксана Владимировна Ралкова, поэт, член Союза писателей России, кандидат исторических наук.

Первый городской конкурс, организованный на базе старейшего детского литературного объединения Челябинска «Алые паруса», начавшего свою работу ещё в 1950-х годах, состоялся в 2011 году.

В 2021 году конкурс стал всероссийским, объединив руководителей литературных объединений, учителей общеобразовательных школ, библиотекарей и, конечно, юных авторов со всей страны. В 2022 году более 200 школьников, особенно из младших классов, прислали на конкурс свои стихи, рассказы и сказки.

География конкурса охватывает почти всю страну: Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, Архангельская, Брянская, Кемеровская, Кировская области, Краснодарский край, Великий Новгород, Мурманск, Переславль-Залесский, республики Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Коми, Марий Эл, ХМАО — Югра, Пермский край, Кострома, Тамбов, Екатеринбург, Оренбург, Омск, Красноярский край. Были работы из города Алчевска Луганской Народной Республики.

Главная цель конкурса — открыть пространство для творческого общения и роста школьников России, поддержать пишущих ребят и создать крепкие связи между детскими литературными объединениями страны.

Редакция журнала «Дружба народов» поддерживает этот замечательный литературный конкурс, сердечно поздравляет всех победителей и публикует некоторые сочинения юных авторов.

Каролина Устинович

\* \* \*

Ты спишь? Скорее просыпайся.  
Уже ноябрь. Снег идёт.  
И жизнь, бегущая сквозь пальцы,  
Вот-вот замрёт.

И ты увидишь, что с рожденья  
Напрасно ждал, искал, просил.  
На все проблемы есть решение,  
Хватает сил.

И вот стоим под снегопадом,  
А жизнь, и правда, замерла.  
Ведь всё, что нам с тобою надо, —  
Добра, добра...

*пос. Севское, Калининградская область, 11 класс*

Родион Краев

Городские заметки

*Хор моих мыслей*

Мона Лиза существует? Какого размера тунец? Зачем в кинотеатрах люди едят попкорн? Почему мне приснилось, что я невкусный? Если налить кипяток в пластиковую бутылку — почему бутылка завянет? Учитель танцев Раздватрис из «Трёх толстяков» Ю.Олеши — мужчина или женщина? Если мужчина, то почему ведёт себя как женщина? Это хор моих мыслей. Моя мама говорит, что хор — это стройное звучание. А то, что у меня в голове, — это какофония.

*Домоседка*

Я с мамой люблю ходить за руку. Да, я знаю, что большой. Знаю, что большие мальчики не ходят за ручку с мамами. Но так теплее. И в это время она не похожа на важную котлету. И да, я так хожу, когда рядом никого нет, то есть когда нас никто не видит из знакомых. Тепло её большой ладони передаётся моей. И на душе тепло: так я могу маму контролировать, чтоб она шла рядом и слушала мои рассказы про танки.

А на даче, когда мы гуляем по аллеям, она прячет руки в карманы своей чёрной вязаной кофты. Я ей говорю: «Ты — домоседка». Тогда она на меня смотрит как на осложнение! Ну, она домоседка не потому, что дома сидит: её руки сидят у неё «дома», в тёплых карманцах чёрной вязаной кофты.

### *Остановка «Грязная лужа»*

Я всё время что-нибудь придумываю. Вот мы идём в библиотеку с мамой. Но просто идти скучно, надо играть. Вот я уже машинист поезда. Я бегу впереди мамы и останавливаюсь. Рядом осенние кусты. «Остановка “Засохший кустик”», — торжественно объявляю я. Бегу дальше. Важная мама идёт позади. Она не делает остановки вместе со мной. Она несёт тяжёлую сумку с книгами. Я снова бегу вперёд. «Остановка “Берёзовая аллея”!» Мама снова не делает остановки. Я продолжаю движение своего поезда. Надо успеть и попыхтеть, и издать гудок, и нажать на тормоза. Я останавливаюсь. Смотрю по сторонам. Достопримечательности отсутствуют. Ан нет... вот одна — это большая грязная лужа на нашем пути. И тогда я важно произношу: «Остановка...» И мы с мамой говорим одновременно: «Грязная лужа!» Не стовариваясь. Так само собой получилось.

Ну, вы поняли, у кого мысли-то сходятся...

### *Переизбыток красного супа у меня в животе*

«Бабушка, ты меня оборщевала!» Это значит, что я переел бабушкиного борща. Суп должен быть непременно красного цвета. А самый вкусный борщ — у бабушки. Вы не знаете, почему бабушки готовят лучше всех?

### *Когда я вырасту*

Все дети любят макароны. Однажды, придя в гости к соседям в многодетную семью, моя мама в разговоре упомянула про макароны. Тогда та многодетная мама перешла на шёпот и сказала: «Не произноси это слово». Это означало, что если бы дети слышали про макароны, — они бы попросили сварить целое ведро...

Я тоже люблю макароны! Мама сварила на обед тоненькую вермишельку. Не вермишель, а вермишельку. Спросила, будет ли есть дедушка? Он ответил, что будет, но положить ему надо на блюдечко. А ел он чайной ложкой.

Я съел свои макароны, особенно они вкусны с маслом и с мелко порезанной колбаской. Я сходил к другу Лёше, мы поиграли в танчики, и я, как старший товарищ, поддался и проиграл сражение. Вернулся домой, выпил свой чай, помог бабушке отгадать несколько слов из заковыристого кроссворда. Прошло не знаю сколько времени. Дедушка всё ещё гонял ложкой вермишельку по блюду. Туда-сюда, туда-сюда. Могло показаться, что он играет ею в футбол. Содержимое блюда за всё это время не уменьшилось. Вермишель туда-сюда. Туда, сюда. Это было летом. Вот уже несколько недель дедушка или ел очень плохо, или ничего не ел... Минувшее лето мы провели уже без дедушки. Приезжая на опустелую дачу, словно бы приезжаем повидаться с ним, где всё построено его руками.

Я стану врачом, когда вырасту, чтобы изобрести лекарство. Но тогда мне надо будет стать ещё учёным, чтобы изобрести машину времени: я хочу вернуться в прошлое и спасти дедушку.

### *Человек без души*

Меня давно интересовало: кто такой «человек без души»? Я часто слышал это выражение. И вот, наконец, я догадался. Человек без души — это искусственный интеллект. То есть это такие люди, но они совсем не люди, а роботы, и могут быть очень похожи на людей. Но у них отсутствует душа. А это значит, что когда я возьму такого человека за руку, то моей душе теплее не станет.

### *Если бы я был другом Пушкина*

Если бы я был его другом, то я бы спросил: «Александр Сергеевич, а есть ли рифма к слову “окунь”?» Вот моя мама думала и придумала только слово «шпокунь». Я поискал рифму в приложениях, которые помогают находить рифмы. Приложения не выдали созвучной рифмы. Почему у слова «окунь» нет красивой рифмы?

### *Какими дорогами ходят идеи?*

Лингвист Лев Шерба придумал такое предложение: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка». Он это придумал в учебных целях. Я, между прочим, тоже придумываю слова. Вот некоторые из них: сын коровы — «коровёнок»; уличное кафе, где кормят шашлыком, — «Свинохрюка»; шашлык женского рода — «шашлыкковина», приятель кошки — «кош», подмышки у мышки — «подлюдинки», непослушные волосы — «льюисики». Но это какие-то несурзные слова. Мама говорит, что таких слов нет в русском языке. Но они же есть в моей разговорной речи.

### *Льюисики*

Когда наша учительница заболела, ей на замену пришла другая, кудрявая и крикливая. Голос у неё такого же цвета, как её невкусная помада. Она была очень сердитая и поэтому заслужила капельку моего воображения. Когда я слышу одно слово, мой мозг связывает его с другим. Волосы — это... льюисики! Раз эта учительница кудрявая, то у неё не волосы, а льюисики! Когда она сердится, то её льюисики выпрямляются в знак возмущения вместе с ней.

### *Брутальные слова*

Вы знаете эти слова. Они принадлежат известному певцу российской эстрады. Моя мама любит слушать его песни. Наверное, вы, ваши знакомые и знакомые знакомых тоже знают и любят эти песни. И я люблю. Но самое главное, что в них есть брутальные слова. Но я не знаю, что они означают. Вот эти слова: чикипибарум, оле оле... Вы догадались, о каком певце я пишу. Ура, не только я придумываю слова.

### *Я разукрашиваю слова*

Война — чёрного цвета. Голос чужой учительницы — цвета её помады. Безумная ярость грозы — зловещего белого. Вкусный сон — сладкого цвета. Жёсткий южный палящий зной — грязно-жёлтого. Зубная боль дачного дождя — серого. Лёгкая вуаль августовского тумана — снежного. Громкая музыка сентября — багряного. Тихий шёпот надежд — нежно-синего. Поэтика ноября — музыкального цвета. Мои мечты — разноцветные.

### *Скворечник для мух*

В нашем дачном скворечнике живёт белка. Её детёныши похожи на крысят — голенькие и маленькие. А я придумал скворечник для мух.

Сестра моего друга — девочка Юля — построила из большого «Лего» домик со скворечником. Мне стало любопытно: что в скворечнике? Я туда заглянул и увидел игрушечного пони. Я взял лошадку и посмотрел на неё поближе. Первое, что пришло мне в голову, — это муха! Вот я и дал кличку этому пони — Муха. Когда я поделился своими мыслями с друзьями, они громко засмеялись: «И правда, эта лошадка похожа на муху!» Так и появился скворечник для мух.

## Елизавета Жданова

### Нежность

Письма твои получая,  
Слышу я голос родной.  
И между строчек  
Синий платочек  
Снова встает предо мной...

*Я.Галицкий, Г.Максимов*

У нас на верхней полке бабушкиного буфета между альбомами со старыми фотографиями в очень старой зелёной папке с серыми тесёмками хранились письма с фронта моего прадеда Николая. Ему был двадцать один год, когда началась война. Тогда его жена — моя прабабушка Даша — ждала ребёнка. Они поженились за полгода до войны. Николая призвали в армию в самом начале войны.

Из армии он написал двадцать семь писем — серых солдатских треугольников с номером полевой почты вместо обратного адреса. Мне разрешали их читать. Наверное, моя детская память сохранила их по-своему, что-то я позабыла, что-то приукрасила и осовременила. Но суть этих писем я сберегла...

Николай писал, что очень любит Дашу, вспоминал в письмах каждый день, прожитый ими вместе: «...Помнишь, совсем ещё недавно, сразу после Троицы, мы пошли в Летний сад? Было море цветов. Светило яркое-яркое солнце. В пруду плавала неразлучная пара белых лебедей. Мы, как всегда, пошли к Амуру и Психее. У памятника Крылову играл духовой оркестр. Я держал тебя за руки. Мы смотрели друг на друга и смеялись, смеялись, смеялись... Какой же ты была красивой в своём лёгоньком платьице в горошек... Моё сердце разрывалось от счастья. Я говорил, что схожу с ума от любви, что жизнь прекрасна и что я самый счастливый человек на свете. Ты закружилась под музыку. Оркестр заиграл песню Утёсова “Тайна”. Я снял картуз, театрально тряхнул головой и стал тебе петь, не обращая внимания на прохожих:

...Для того, кто любит,  
Грудных нет загадок.  
Для того, кто любит,  
Все они просты.  
У меня есть сердце,  
А у сердца песня,  
А у песни тайна.  
Тайна эта — ты!

Все мои тайны только для тебя, вся моя нежность только для тебя, вся моя жизнь только для тебя. Ты — моё счастье, ты — моя песня, весь мир для меня — это ты...»

Николай писал, что он уже любит их будущего ребёнка и мечтает о нём: «...Господи, как я уже хочу увидеть нашего ребёнка... Если родится сын, давай назовём Дмитрием. Дмитрий Николаевич — звучит! Мы с Димкой будем во дворе гонять в футбол и бегать наперегонки. Я научу его играть в лапту, в городки, в чижика и многому, многому другому, что должен уметь мальчишка. Конечно, больше всего на свете мы с ним будем любить тебя. А если родится дочка, то давай назовём Надеждой. Она обязательно будет на тебя похожа: добрая и ласковая, маленькая красавица. С ней к нам придёт надежда на всё хорошее, на долгую и счастливую жизнь вместе. Чтобы нам больше никогда не пришлось расставаться. Я уже чувствую, как беру её на руки, прижимаю к груди, она обхватывает своими ручонками меня за шею,

шекочет меня золотистыми кудряшками и говорит: “Папа, как хорошо, что ты приехал, я так долго тебя ждала...”»

В письмах Николай вспоминал их довоенный Ленинград: «...Как поживает наш ангел на Исаакиевском соборе? Помнишь, 7 ноября после демонстрации мы заблудились где-то между улицей Дзержинского и проспектом Красных Командиров и как-то вдруг попали на площадь Воровского. Золочённый купол Исаакиевского собора сверкал на солнце в центре площади. Мы крепко держались за руки, боясь потеряться. До нашей свадьбы оставалось около двух месяцев. Я помахал ангелу на Исаакиевском соборе и стал у него просить твоей руки. Ангел стоял, опустив голову, и внимательно смотрел на нас со своей головокружительной высоты. Ты смеялась и говорила, что видишь, как ангел нам улыбается.

После Первомайской демонстрации мы сразу с площади Урицкого через сад Горького прибежали к нашему ангелу. Я гордо показал ему обручальное кольцо на правой руке. Я кричал: “Спасибо, ангел, я твой должник на всю жизни!” Я клялся ангелу, что буду любить тебя вечно. Ты смеялась и махала ангелу рукой. В твоих глазах сияла озорница-весна, сводя меня с ума. В лучах майского солнца я увидел, как ангел опять нам улыбнулся. Нам все улыбались: незнакомые прохожие, суровые постовые и даже очень важные вагоновожатые. Мы не шли, а парили в бескрайних облаках счастья.

Сейчас я далеко от тебя, от Исаакиевского собора, от нашего ангела... Наш солнечный цветущий мир радости и счастья из-за войны и разлуки стал чёрным, как ночная мгла. Вся наша жизнь осталась где-то далеко, в другом мире, там, где светило солнце, где улыбались ангелы, где каждая минута была счастьем...»

Николай писал о том, как они простились на вокзале: «...Как-то неправильно прошло наше первое в жизни расставание. Мы не успели сказать друг другу что-то очень важное. Было понятно, что мы расстаёмся, что уже завтра я не увижу, как рано утром любопытное солнце осторожно заглянет к нам в комнату, я не смогу сказать тебе: “С добрым утром, любимая”, что не увижу твою улыбку — родную, нежную и ласковую. Я до боли сжал зубы, чтобы не закричать от ужаса происходящего. Вокруг женщины плакали, провожая своих отцов и мужей. Ты же молча и неотрывно смотрела на меня. В твоих глазах были беспомощность и страх. Никогда не видел тебя такой. Я обнял тебя, прижал к себе и не мог вымолвить ни слова. Не знаю, сколько времени мы так простояли. Всё смешалось... Я не чувствовал ни земли под ногами, ни дождя, ни времени. Только ты и я... Внезапно раздалась команда: “По вагонам!” Все побежали. Паровоз издал последний гудок и гулко вздрогнул. Кто-то стукнул меня по спине и крикнул: “Что, в штрафбат захотел?” Ты разжала руки. Я прыгнул на подножку вагона. Ты пошла рядом, потом побежала. Мы опять неотрывно смотрели друг на друга. Ещё одна минута вместе. И ещё одна... Ты стала отставать. Моё сердце сжалось, стало трудно дышать. Я еле сдержался, чтобы не выпрыгнуть из вагона. Поезд умчался, а в моих глазах ты всё бежала и бежала, хрупкая, испуганная, растерянная... Я должен был тебя как-то успокоить, приободрить, сказать какие-то правильные слова, но не сумел, не смог... Очень корю себя за это. Прости...»

Николай писал о том, как они встречали Новый 1941 год: «Как всё изменилось... На прошлый Новый год ты в первый раз пригласила меня к вам. Твоя мама пекла пирог с капустой, а ты, сильно волнуясь, готовила на новеньком блестящем керогазе куру с рисом. Всё головокружительно пахло. Сейчас мне кажется, что это был запах счастья. Я смущался и пытался что-то рассказывать. Старался произвести хорошее впечатление...

За окном шёл снег. Огромные хлопья падали, кружились. Зима заботливо, как-то по-матерински, укрыла снежным одеялом всё: дома, улицы, дворы, а у меня тогда в душу забралась весна — смешная шалуня с двумя косичками, очень на тебя похожая. Тогда я был уверен, что счастье навсегда пришло к нам. Твоя мама спросила, люблю ли я тебя, и внимательно посмотрела мне в глаза. Я сказал, что люблю больше жизни. Ей понравился мой ответ. Было видно, как она радовалась, глядя на нас.

Мы произносили тосты, загадывали желания. Потом вдохновенно и пылко отплясывали то ли фокстрот, то ли пасодобль, забыв про остывающий чай и пирог с аппетитной румяной корочкой. Патефон играл “Рио-Риту”. Мне казалась, что эта мелодия рассказывает именно о нас. О том, что мы будем всю жизнь идти рука об руку под стук кастаньет, радостно и уверенно. Я стал говорить, как мы будем жить, сказал, что куплю письменный стол и шкаф. Сказал, что у нас будет много детей и, оговорившись, сказал, что младшие будут ухаживать за старшими. Мы все рассмеялись. Я читал стихи Блока и Есенина, которые считались тогда упадническими, но мне они нравились. А потом мы с тобой пошли топить печку. Я надел большие серые варежки, розовый с оборочками передник твоей мамы и, вооружившись кочергой, разбивал прогоревшие угли, подкладывал в печку новые поленья. Ты смотрела, как я кочегарю в таком нелепом наряде, и с трудом пыталась скрыть улыбку. У тебя на щеках появлялись очень милые ямочки. Я засмотрелся на тебя, неловко повернул кочергу и чуть не устроил пожар... Дрова вспыхивали и трещали в печке, отдавая нам своё тепло.

Как всё изменилось... Теперь я с тобой лишь во сне. Родная моя, солнышко моё ясное, не печалься и не грусти. Я обязательно вернусь к тебе, надо только подождать. Мы непременно станцем с тобой “Рио-Риту”, будем как и раньше ходить в Летний сад, будем мечтать, будем любить, и будет мир, и будет счастье».

О войне Николай почти ничего не писал. Написал только, что охраняет военный продовольственный склад в Рязани. Даша всем говорила, что кому-нибудь ведь нужно охранять продовольственные склады, что без продовольствия никто воевать не сможет. Соседки над ней посмеивались и даже прозвали её рязанской провиантшей. Они до слёз переживали за своих мужей и сильно завидовали Даше. Их мужья все как один воевали на передовой. Кто-то уже был ранен в бою. Наверное, их мужьям было очень приятно писать домой о своих геройских подвигах и боевых наградах. Даша же была рада, что Николай в тылу, и не волновалась за него. Она спокойно родила дочь — мою бабушку Надю.

Когда их дочери было уже полтора года, Даша получила двадцать восьмое письмо. Это была «похоронка». В извещении (похоронке) казённо и сухо писалось, что Николай Викторович Варшавский, 1920 года рождения, уроженец города Ленинграда, 12 марта 1943 года погиб в бою за социалистическую Родину, верный воинскому долгу и военной присяге, проявив героизм и мужество. Текст похоронки был напечатан под копирку на печатной машинке, ручкой вписывались личные данные погибшего и даты.

Своё горе Даша переживала вместе с соседями. Похоронки к этому времени уже не были редкостью. Когда на душе становилось совсем тяжело, они собирались вместе на кухне и пели песни своего военного времени:

Синенький скромный платочек  
 Падал с опущенных плеч.  
 Ты говорила,  
 Что не забудешь  
 Ласковых, радостных встреч.

Порой ночной  
 Мы распрощались с тобой...  
 Нет больше ночек!  
 Где ты, платочек,  
 Милый, желанный, родной?

После войны Даша ездила в Рязань разыскивать могилу Николая, но ничего найти не смогла. В местном военкомате ей сказали, что весь архив сгорел в конце войны. С тех пор в день рождения и в день смерти Николая Даша шла в Летний сад на их любимое место к Амуру и Психее и оставляла там ему цветы. Мы до сих пор так

делаем. Летний сад всё так же полон цветов, откуда-то звучит негромкая музыка, а на пруду, как и прежде, плавают неразлучная пара белых лебедей под голубым мирным небом.

В 1974 году, через двадцать девять лет после Победы, прабабушке пришла повестка из райвоенкомата. Там ей передали орден Красной Звезды, которым был награждён Николай (посмертно) за то, что он, будучи уже смертельно раненным, смог подавить немецкую стратегическую огневую точку в бою за освобождение города Вязьмы. Он спас жизни многих наших солдат, идущих в атаку. Как выяснилось, с ноября 1941 года Николай воевал в составе артиллерийского полка 10-й Армии Западного фронта, и в Рязани никогда не был.

Конечно, мы дорожим орденом Николая, но я хорошо понимаю, что мой прадед воевал не за награды и почести, а за своих любимых и родных — за нас.

9 мая в День Победы наша семья всегда собирается вместе у бабушки на праздничный обед. Мы вспоминаем погибших на войне и поём военные песни: «Тёмная ночь», «Синий платочек», «В землянке»... Ещё мы обязательно поём довоенную песню «Тайна» и вспоминаем моего прадеда Николая. Вечная ему память.

*г. Санкт-Петербург, губернаторский лицей № 30, 8 класс*

## *Александра Ермакова*

### *Дождь*

Над полями накалялся воздух.  
Задыхаясь, умирала рожь.  
Даже месяц ночью в чаще звёздной  
Был на злого хищника похож.

Только там, за горизонтом дальним,  
В небо грозовой взвивался змей.  
Гром-кузнец, стуча по наковальне,  
Облачных подковывал коней.

День за днём, измученные зноем,  
Колоски брели на эшафот...  
О дожде молило всё живое,  
Вся земля ждала его приход.

И, конечно, дождалась! Под вечер  
Чёрной тучей смыло синий свод,  
Над полями вскачь промчался ветер  
С радостным известьем: дождь идёт!

Словно морж, отряхиваясь, ливень  
Ощетинил мокрые усы.  
Острых молний голубые бивни  
Врезались в поникшие кусты.

Вал воды, обрушиваясь косо,  
Выпятил раздувшийся живот.  
И пошёл с подскоком, с перехлёстом,  
С шумом вытанцовывать фокстрот.

Дождь прошёл.  
Смеялось солнце в лужах.  
Не спеша потягивалась рожь...  
Этой ночью, Млечный Путь утюга,  
Месяц на котёнка был похож.

*г. Переславль-Залесский, Ярославская область,  
школа № 4, 9 класс*

## Юлия Сукгоева

### Подарок

*Карина, 25 декабря*

Сегодня в школе шумно. Все носятся по коридорам, кричат, смеются. Идёт последний учебный день второй четверти. На уроках никто не слушает учителей, все хотят поскорее получить четвертные оценки и убежать домой. Я тоже с нетерпением жду новогодних каникул, ведь это мой самый любимый праздник!

По дороге из школы я представляла, как мы вместе с родителями поставим ёлку и накроем праздничный стол, а утром 1 января я найду под ёлкой свой желанный подарок.

*Кот, 25 декабря*

Как хорошо лежать в уютном мягком кресле с закрытыми глазами. Рядом греет батарея, можно подремать. В тёплые дни можно гулять на улице хоть целый день. Бывало, что я выпрыгивал через окно и бродил по улицам до вечера. Повезло, что мы живём на втором этаже. Сейчас пришли морозы, бегать по снегу неохота: лапы можно отморозить. Лучше понежиться в кресле.

*Карина, 28 декабря*

Всё почти готово! Ёлку мы поставили вместе с мамой. Я повесила гирлянду и нацепила на ёлку игрушки. Папа стал часто задерживаться на работе и приходит домой усталый.

*Кот, 29 декабря*

Кто-то треплет меня за шерсть. Не успел я опомниться, как меня потащили к входной двери и выставили в подъезд. Я стал царапать дверь когтями. Бесплезно. Оглядевшись, я нехотя поплёлся к подоконнику и прилёг. Из окна дул холодный ветер. Он страшно гудел. Бах! Хлопнула чья-то дверь. От неожиданности я подскочил и пулей прыгнул в распахнутую форточку.

*Карина, 31 декабря*

Одной дома сидеть скучно. Родители всё ещё не пришли. Неужели работа для них важнее такого замечательного праздника?

На часах 19:15. Я просмотрела уже три фильма, накрыла стол и — самое главное — спрятала под ёлку приготовленные для родителей открытки.

Спустя полчаса пришёл папа. Ещё через полчаса — мама. Было уже восемь вечера. Оба были уставшие и, кажется, очень расстроенные. Пучок на маминой голове превратился в беспорядочное гнездо, а тушь растеклась. Она позвала меня на кухню и сказала, что хочет кое-что сообщить.

— Ты уже взрослая девочка, Карина, должна понять. У меня на работе сейчас трудности, и я ничего не успеваю. Так что извини, тот подарок, который ты хотела на Новый год, не получилось пока что купить.

Тут у мамы зазвонил телефон, и она быстро вышла из комнаты.

Слёзы сами покатались из моих глаз. Недолго думая, я накинула куртку и выбежала из дома.

#### *Кот, 31 декабря*

Лапы мёрзнут. Хвост мёрзнет. Так холодно... Люди проходят мимо и не обращают на меня внимания. В окнах горит свет. Вот идёт женщина с пакетами и весело болтает по телефону. Она заходит в дом. Наверное, там тепло. Я кинулся к двери, но не успел, и та с грохотом закрылась. Я побрёл в надежде всё же найти тёплое сухое место и наткнулся на мусорные баки. В них рылась старушка. Я тоже стал искать что-нибудь съестное. Нашёл только остатки рыбы. Делать было нечего, и я пошёл дальше.

#### *Карина, 31 декабря*

Снежные хлопья летят в лицо, почти ничего не видно. Я иду сама не знаю куда. Мне так обидно, и даже не из-за подарка, а из-за того, что родители не уделяют мне внимания. Но ещё больше обиделась я на себя. Может, маме сейчас трудно, и нужно было её поддержать, а я взяла и убежала...

Неожиданно вдалеке на фоне белого снега стало виднеться тёмное пятно. Я подошла поближе и — вот те раз! Прямо на дороге сидел кот и своими большими глазами смотрел на меня. Выглядел он жалко: обвисшая мокрая шерсть, один бок запачкан. При этом кот еле слышно мяукал. Моё сердце сжалось. Не могу ведь я оставить его одного замерзать тут! Я бережно подхватила кота на руки и понесла домой. По дороге я сняла свой шарф и укутала им котика.

Забежав в квартиру, я быстро скинула ботинки и понесла моего нового друга к тёплой батарее. Налила молока в миску и взяла с праздничного стола несколько кружочков колбасы для кота.

#### *Кот, 31 декабря*

Ах, как же я рад, что снова в тепле. Девочка, которая приютила меня, такая добрая! После того как я поел, она посадила меня к себе на колени и стала ласково водить рукой по моей шерстке. Я радостно мурчал.

#### *Карина, 31 декабря*

Кот заснул у меня на коленях. Мама заглянула в комнату и с удивлением уставилась на него.

— Мама, тише... Это мой Подарок, не буди его, — прошептала я.

— Вот так чудеса!

Мама обняла нас с Подарком, и мы пошли к ёлке, где нас уже ждал папа.

Кот неожиданно спрыгнул с моих рук и подбежал к папе, который в это время цеплял вилкой рыбу.

— О, — улыбнулся папа, — у нас появился ещё один любитель рыбы!

Теперь я поняла, что лучший подарок на Новый год — это когда близкие рядом и счастливы.

Михаил Бароненко

Высота метр сорок

Перешагни, перескочи,  
Перелети, пере- что хочешь —  
Но вырвись: камнем из пращи,  
Звездой, сорвавшейся в ночи...

Владислав Ходасевич

Хриплый радиоприёмник соседа напротив — сутулого вредного старика в очках с широкой пластиковой оправой и бешеным взглядом — громко и заунывно тянул что-то про уличные фонари и сказочные сны. Страдающему инкогнито «Кашалоту», или, опуская регалии, радиохулигану Коле, в тот момент непросто было определиться, что же раздражает его больше: меланхоличный мотив или солнце, лучи которого надоедливо лезли на лоб — не отмахнёшься! Если против раскалённой звезды у этого маленького безобразника плана не было, то на мужика напротив управа непременно найдётся. Он решил действовать наверняка.

Коля согнал пылинки с радиоагрегата, соединил воедино передатчик и приёмник и, как бравый вор, вскрывающий замки, ловко подогнал частоту. Он заученным, не своим, разумеется, тембром произнёс:

— Горячий привет всем радиолюбителям!!! На связи радиостанция «Кашалот». Для всех нас сегодня звучит песня «Королева красоты»!!!

Другую песню он никогда не ставил. Действительно, что же ещё надо, если есть «Королева красоты».

Приятно начинать утро с маленькой победы. Коля будто наперёд знал, что искушённый сосед выругается в сторону недосягаемого хулигана и с досадой выключит заигравшую вместо его тоски пошлятину. Тяжёлую машину радист вернул в шкаф с торжествующей улыбкой.

Утреннее ярило соревновалось в скорости с тенью, рисуя завораживающей чёрно-белой хохломой на песчаных насыпях берегов Малки. Берегами это, конечно, сложно было назвать. Эмоциональная — да что там, просто истеричка — горная речушка во время паводка любила гулять по городу не меньше, чем сам Коля. Справа был зелёный лес, а в нижнем его ярусе колосился фиолетовый иван-чай, крохотные бутончики которого дрожали на ветру. Берёзы шептали на ушко свою шелестящую песню, а ивы-плаксы, раскинувшиеся над Малкой в узких её местах, только изредка вздыхали, но делали это так протяжно, всей своей кроной, что казалось, будто это стая кровожадных шакалов пытается выйти на след радиохулигана. Коля чихнул (работящие прохладненские пчёлы натаскали пыльцы), но тихо-претихо. Так, чтобы не спугнуть эту красоту.

Радиолюбитель провёл по лбу рукой, смахнув пот. Почесал затылок. Босыми ногами он зашлёпал по рыжему-рыжему грунту, который очень хотел попасть в глаза, задерживаясь на бровях и ресницах. Длинная шея тянулась вверх, высматривая подходящее место. На плече Коля нёс две длинные алюминиевые палки, а в руках смотанную толстую жёсткую верёвку, корабельную, но для маломерных речных судов. Папин подарок. Стой. На месте. Раз-два! Пришёл. Это было пространство с мягкой травой, которая от зелёности скрипела под ногами. Герой с силой вогнал палки в землю и натянул между ними верёвку на метр двадцать, выровняв её по засечкам

на алюминии. Отсчитав десять стоп влево и двадцать назад, он побежал, кружа в танце валявшийся внизу тополиный пух. Побежал, чтобы прыгнуть.

Отрыв, полёт, приземление. Две секунды, за которые он успел оттолкнуться левой ногой от земли, ловко перекинуть правую ногу за верёвку, подтянув туда же и левую. Коля разрезал прибрежный воздух прыжковой техникой «ножницы», воображая себя Валерием Брумелем.

Импровизированную планку — на метр тридцать. Разгон, отрыв, полёт, приземление. Взял. Коля умылся в Малке и начал кругами ходить вокруг своей прыжковой ямы, устало вздыхая и думая о том, как будет брать метр сорок. Новая высота. Новый разбег. И тут, престранное дело, остановился как вкопанный перед самым отрывом: ногой ошибся, хотел с левой махнуть! Непорядок, вконец забегался, что ноги не слушаются.

Бурлящая, как кипяток, ледяная (пронзительно ледяная) Малка обволокла потное и грязное тело. Коля нырнул в неё с головой, часто глотая воздух то ли от утомления, то ли от холода. Выйдя, он несколько минут посидел на горячем песочке, но, чтобы не расслабляться, быстро вернулся на площадку.

Верёвка как висела, так и висит. Коля поставил загоревшие ноги на ширину плеч, упёрся ладонями в колени и пристально стал смотреть на планку. Казалось, на ней тоже были глаза, которые не хотели без боя проигрывать эти гляделки. Прыгун разогнулся, выставил толчковую ногу вперёд и, чуть пробуксовав голой стопой по земле, побежал. Задел. Правая нога ещё как-то справилась, а вот пятка левой натянула верёвку, чуть не порвав её. Неудача.

Коля, обзлётно оглядываясь по сторонам, водрузил на плечи палки и верёвку и пошёл на Садовую — домой.

Город уже проснулся, вон в суете оготело толкались грузовички у гастронома: один другому мерзопакостно перегородил дорогу, а поодаль на тротуаре заигрывала с голубями чёрная кошка в белых босоножках. Она агрессивно заорала и зашипела во время очередного броска на пернатого, который дразнил её охотничьи инстинкты.

Случайная встреча на улице Ленина с Сашкой, ярким брюнетом высокого роста с пышными бровями и задорными карими глазами, немного развеселила Колю. Сашка шёл на рынок с авоськой, которая даже пустой была ему соразмерна. И Коля с исполинскими палками. Вместе смотрелись два персонажа комично, этикие некрасовские «крестьянские дети». Друг прыгуна отложил покупки, и ребята продолжили путь на Садовую.

Дом из сруба был огорожен невысокой деревянной резной изгородью, выкрашенной в голубой. Пахло печью и семейной идиллией, солнечные лучи исполосовали домик целиком. На полу лежал, подложив передние лапки под голову, Мурлул. Почувствовав шаги, он поднялся, сделал полшага вперёд, выгнул спинку, чтобы размяться, и стал с усердием тереться о ноги.

Становилось всё жарче, поэтому друзья выпили несколько кружек компота и перекусили спелыми и увесистыми, с килограмм штука, гроздьями зелёного винограда, который вчера собирали всей семьёй. Пришёл папа. Мама Наташа разогрела ему на примусе котлеты. Запах от них смешался с металлическим запахом одежды отца — он работал в литейном цехе. Отец уминал котлеты и неотрывно смотрел на ребят с детским любопытством. Закончив, наконец, он обнял Колю, и они вышли в сад. Там, под деревом вишни, стоял тёмно-синего цвета бак, в который они залезли, чтобы спастись от изнуряющей жары. Чуть поплескавшись и окатив друг друга водой, они стали соревноваться, кто дольше задержит дыхание под водой. Коля с Сашей всплывали почти одновременно, а папа всегда выигрывал у них чуть ли не минуту. Потом все трое тяжело дышали и сохли, лёжа на траве, обладаемые мягким, но горячим южным

ветром. Пришлось, правда, подняться через пятнадцать минут, ведь папа пошёл дорабатывать смену, а мама дала указание помочь со сбором вишни. Та уже налилась спелостью и была чуть тёмного оттенка. Ягода была крупная, и, если раздавить, сок из неё лился густой и тёмно-бордовый, как кровь.

Радиолобитель вновь был свободен, когда с горкой наполнил ведро вишней. Он побежал к товарищам на речку. Там они устраивали между собой безрассудные гонки против течения и другие не самые безопасные мальчишечьи забавы. На повестке дня были Шпалогрызы — шпана, жившая за железнодорожным переездом, они совсем заигрались и почувствовали полное господство над городом. По результатам этого экстренного собрания, которым, кстати, руководил Витька Механик, тот ещё кадр, было решено оказать организованное сопротивление с проведением предварительной подготовки. Завтра в девять утра они пойдут записываться в спортшколу, где их организмы укрепят для предстоящей битвы. Попрошались молчаливыми рукопожатиями.

Футбольный тренер был мужичок среднего роста и весьма упитанной комплекции (льготник, сразу видно). Он был брюнетом и с залысиной на лбу. Пацаны и Коля, почти самый маленький ростом, стояли в шеренге. Леонид Пафнутьевич надменным взглядом и орлиным носом с горбинкой смотрел на кандидатов. Он пошёл вдоль нервной шеренги, отбирая перспективных ребят, и, дойдя до Коли, взял радиолобителя тремя длинными пальцами за плечо, после чего последовали вздох и выражающие неодобрение движения губ: «Нет, не пойдёт. Хилый». Коля потупил глаза, закусил губу, шагнул назад и попятился. Он шёл домой, а ветер дул холодный, сегодня он был северный.

Станция «Кашалот» хранила радиомолчание три долгих и таких ни с того ни с сего аномально прохладных дня. Делать ничего не хотелось, да и Шпалогрызы стали просто шпалогрызами. Кому они сдались, недоумки? От злости хотелось как минимум поджечь к чертям этот стадион и пустить по миру Пафнутьевича, прямо как то чучело лисы из кабинета биологии. Печальная же ему выпала участь.

Прыгун всё же вышел из заточения спустя время. Он глубоко вдохнул и неожиданно для себя побежал, несмотря на тяжесть на душе. Мимо летели улицы, перекрёстки и дома. А он бежал, и мира не существовало. «Мы те, кто мы есть, так зачем же это отрицать? Пафнутьевич сказал, что я хилый. И пускай. На кой чёрт нужна эта сила?»

Очнулся, уже когда начало по-южному рано темнеть. Было хорошо впервые за долгое время. И теперь появилось новое занятие — бег. Коля нашёл недостающий элемент своего прыжка — разбег. Что если надо было просто бежать быстрее, чтобы одолеть этот метр сорок, будь он неладен, — это же лишь немногим меньше его роста. Бегать он стал минутами и часами, которые тянулись долго, как самый долгий урок математики. Под конец дистанции обычно было так тяжело, что от черноты в глазах ничего было не различить. Мучительнее всего — сопротивляться желанию упасть и лечь, но как это вообще возможно, если преследуешь священную цель? Прыгун бежал мимо пастбищ, а коровы по ним ходили пешком. Какое же это счастье — ходить пешком! Даже если ноги ноют после пробежки.

Когда отцвёл последний вереск и воздух налился жгучей изморосью, в пустынном, никому не известном перелеске, как обычно бегая, Коля встретил сухого мужчину в тёмно-зелёных штанах, немного поодаль, на ветке висел китель — военный человек. Мужик по-отцовски похлопал прыгуна по плечу, потом со знанием дела сказал:

«Парень, если хочешь стать выносливее, засунь в рот платок и бегай так». Другого учителя у Коли не было. И не могло быть. Где в крошечном Прохладном найти тренера по лёгкой атлетике? У него был платок. Он засунул его в рот и побежал. Стало намного труднее: лицо, несмотря на холод, заливал пот, и солёные ручьи щипали глаза, бежать можно было лишь прищурившись, и почти ничего не видно.

А потом выпал снег. В этих местах это был беспощадно короткий период абсолютного счастья. Бежать с красным от холода носом и от воодушевления яростно пинать ни в чём не повинные сугробы было незабываемо. Придя домой, отогревать ноги и удивляться, как их вообще не отморозил. Безумно, а Коле нравилось.

Серые ветки-кочерги деревьев заполнили Прохладный. Ночными кошмарами они качались и, как голодающие псы, гудели в унисон. «Никаких больше прыжков, никаких больше прыжков», — твердили они, как будто были Колиными страхами. Как они могли?

Он взял палки и верёвку. До его полянки оставалась ещё пара сотен метров. Деревья эти, окружившие радиолюбителя, гротескными рожами смотрели на прыгуна. Хотелось вжаться в землю, чтобы не видеть их. Пришёл. Поставил и настроил планку. Снял шаровары и гимнастёрку, оставшись в трико и маечке. Мама Наташа бы ему задала за такие выкрутасы в дубак.

Первый раз решено было прыгнуть «пристрелочный», для разминки. Каждое движение выверено, полёт был длинным и плавным, а отталкивание завораживало. Но нет. Никак. Вторая попытка была жёсткой, как натянутая проволока. Левая нога в воздухе даже не успела встать параллельно земле, а осталась лететь в уродском положении, будто на неё наложен гипс. Коля вскипел. Он заорал и бил этой левой ногой по дереву, пока не стало по-настоящему больно. Он схватился за голову, ведь в эти две попытки были вложены силы, безвозвратно ушедшие. Третья — финальная попытка. Сейчас или никогда.

Это был зверский разбег. Безжалостное отталкивание, которое не оставило никаких шансов. И пускай на левой ноге теперь красуется фиолетовый синяк, всё это не имело никакого значения, ведь высота метр сорок была обречена.

*г. Копейск, Челябинская область, школа № 1, 11 класс*

*Даниил Кривушин*

*De papel*

Тёплый апрель. Зефир сносит кепку.  
Солнце за небо схватилось некрепко.  
Облако — снова кораблик бумажный,  
А остальное пока что неважно.

Дождь пробежался косыми штрихами,  
Город на время сложил в оригами.  
Облако вновь притворилось жемчужным,  
А остальное пока что не нужно.

Море раскрыло волной свою книгу,  
Ультрамарин смешался с индиго.  
Облако стало фигуркой из теста,  
А остальное пока что не к месту.

Город опять весною разбужен,  
Солнечных зайцев пускает по лужам.  
Облако плачет, меняя палитру,  
А остальное пока что размыто.

*Санкт-Петербург, школа № 213, 9 класс*

## *Екатерина Щерба*

### *Тайса*

— Мама, зачем мы пришли сюда? — спросила маленькая Оливия.

Мама улыбнулась, вытащила из корзины пушистый плед в красно-синюю полоску и, расстелив на берегу пруда, достала бутерброды.

— Милая, мы ждём мою подругу, Тайсу. Я хочу вас познакомить.

— А кто она?

— Ливи, скоро узнаешь, а пока я расскажу тебе одну интересную историю, которую так любит Тайса. Я уверена, тебе она тоже понравится, — и мама начала медленно гладить дочь по золотистым локонам.

— Однажды после сильного дождя во дворе одного дома появилась лужа. Она была очень доброй и хотела со всеми дружить. Лужа кружила опавшие листочки в надежде, что кто-то заметит и заговорит с ней.

Время шло, а люди просто проходили мимо, что-то недовольно бормоча. Иногда мальчишки кидали в лужу камни и палки. Им было весело, а луже от этого становилось больно.

Тогда она стала большой, злой и грязной. Лужа постоянно ворчала, и теперь её раздражали листья, которые просто плавали в ней, а если кто-то проходил мимо, она противным голосом говорила:

— Зачем вы ходите здесь? Проваливайте!

Когда же какой-то неаккуратный прохожий, или непослушный мальчишка, вымазывали свои ботинки в грязи, лужа ворчливо радовалась:

— Ха-ха, так вам и надо!

Только её никто не слышал.

И вот однажды возле лужи остановилась девочка.

— Аккуратно, Рая, впереди большая лужа! — закричал мальчик.

Девочка подошла поближе. А посмотрев на лужу, сказала:

— Рома, какая она красивая! В ней отражается солнышко, а жёлтые листья — будто солнечные зайчики!

— Рая, ты нормальная? Лужа — красивая?! — фыркнул Рома.

— Да что ты вообще понимаешь! — и девочка обиженно посмотрела на друга. — Я хочу нарисовать её.

Мальчик посмотрел на подругу. Она всегда была мечтательной и во всём видела что-то волшебное.

— Ну, пойдём, а то опоздаем, — и Рома потянул девочку за руку.

Ребята заторопились в изостудию, а Рая оглянулась. Ей вдруг показалось, что лужа что-то недовольно пробурчала в ответ.

На следующий день девочка пришла к луже и начала рассказывать ей интересные и захватывающие истории. Лужа уже не бурчала, заслушавшись рассказами. Впервые за долгое время с ней кто-то заговорил.

— Ты прекрасно умеешь слушать! — весело заметила Рая. — Завтра я приду сюда с мольбертом и красками, чтобы нарисовать тебя.

Девочка улыбнулась и, подойдя ближе, осторожно прикоснулась к луже. В этот раз луже было приятно, хоть она продолжала недоверчиво что-то ворчать себе под нос и до самого утра не верила, что Рае действительно захотелось нарисовать ничем не примечательную и такую же, как все, серую лужу.

На следующий день девочка пришла, как и обещала, с красками и холстом в руках. Она села напротив лужи и начала выводить штрихи.

— Всё! — с радостью сказала девочка, когда небо стало ярко-алым. — Осталось ещё немного, и картина будет готова.

Девочка подбежала к луже.

— А ещё я придумала тебе имя! Если ты не против, я буду называть тебя Тайса. Тебе очень подходит это имя, — и Рая улыбнулась.

Вдруг луже стало очень-очень приятно, и она заблестела от счастья, ведь впервые у неё появился настоящий друг.

На следующий день Рая принесла картину в красивой серебристой рамке и показала луже.

— Ты такая красивая! И прекрасно получилась на картине.

Вдруг начался дождь, но девочка ничуть не расстроилась, а только улыбнулась, раскрыв яркий зонтик.

— Мне очень нравится дождь. Он всегда казался таким таинственным и волшебным. Не знаю, почему многим он не нравится. — Рая задумчиво посмотрела вокруг.

Теперь девочка приходила каждый день к луже и очень долго разговаривала с ней, делилась новостями, смеялась и вместе с Тайсой смотрела на звёздное небо.

Но однажды Рая не пришла, и Тайса заволновалась. А вдруг с подружкой что-то случилось? Только подруга снова не пришла и на следующий день.

И через день. И даже через неделю. Тайса каждый день искала её среди других прохожих. Только девочки нигде не было.

Однажды мимо проходил Рома, громко с кем-то разговаривая по телефону.

— Да, я знаю. Рае пришлось срочно уехать и, возможно, она больше не вернётся сюда. Я и сам не знаю до конца, что случилось... Да. Хорошо, я передам.

«Почему подруга ничего не сказала? Может, она забыла обо мне? Или я ей больше не нужна?» — печально пробормотала лужа.

Время шло, Тайса грустила и понемногу пересыхала. С каждым днём она уменьшалась, пока не стала размером чуть больше блюдечка.

А однажды Тайса вдруг услышала рядом знакомый голос. Это была Рая! Лужа очень обрадовалась, когда к ней прикоснулась знакомая и тёплая рука.

— Привет. Я так рада тебя видеть! Извини, что тогда ничего не рассказала. Но я вернулась, ведь не могла не попрощаться с тобой.

Тайса задрожала. Она поняла, что потеряла своего единственного друга навсегда.

— А ещё у меня есть замечательная идея, которая тебе точно понравится! — таким же весёлым голосом сказала Рая и достала из кармана небольшую колбочку. — Ты думала, что я тебя брошу, глупенькая? Ты ведь стала для меня настоящим другом. Я так боялась, что не успею и ты исчезнешь!

Присев, девочка осторожно набрала воду из лужи и закрыла пробкой.

— Там, где я теперь живу, есть большой пруд. Я вылью туда частичку тебя, и мы сможем видеться каждый день!

Мама замолчала и посмотрела на дочь, которая с восторгом слушала историю.

— Ливи, смотри, — и Рая показала на пруд, на поверхности которого начали появляться небольшие круги.

— А вот и она, моя Тайса, — весело сказала мама, взяла за руку дочь и подошла к берегу. — Прикоснись к воде.

— Привет, — весело сказала Оливия, — давай дружить.

*г. Алчевск, Луганская Народная Республика,  
Алчевская гимназия, 10 класс*

*Марк Кобцев*

### *Разные люди*

Под бескрайним синим небом  
Люди разные живут  
И зачем-то век за веком  
Войны страшные ведут.  
Все одной звездой согреты,  
Всем нужны вода и кров,  
Но ножи и пистолеты  
Льют и льют людскую кровь.  
Из-за цвета, из-за веры:  
Этот плох, а тот — хорош.  
И считается прескверным  
На других кто не похож.  
Только люди все — «другие»!  
Что ж теперь, их истребить?  
Ценность жизни несравнима,  
Важно человеком быть!

*г. Челябинск, лицей № 35, 4 класс*

*Филипп Хорват*

## Дедушкин Краскомовский

Человеческая память удивительна и уникальна по своей сути. Учёные-нейрофизиологи объяснили химию и физику процессов, управляющих памятью, но, кажется, никто так и не сумел подойти к главному, к сущностному: почему мозг сохраняет отпечатки некоторых событий, разговоров или ситуаций, а другие вытесняются, забываются, исчезают, словно никогда их не было? Кто устанавливает приоритеты для запоминания? Уж точно не человек в сознательном своём ежедневном движении вперёд, иначе бы мы, наверное, откладывали в ящичек памяти только самое приятное и хорошее, чем можно было бы наслаждаться в грустную минуту...

Очевидно, для памяти нет разделения на приятное и неприятное, важное и неважное, ведь порой остаётся в голове настолько малозначительная ерунда, вспоминаешь которую всегда с чувством досады или неловкости. Спрашивается, почему в голове засел именно этот момент, именно этот короткий диалог или чей-то мимолетный взгляд? Ничего же в таких впечатлениях особенного или поворотного для жизни нет, но вот тем не менее — они с тобой навсегда (а специально ведь не забудешь даже, так оно не работает).

Из области удивительного и те свойства памяти, которые ближе к старости выдвигают на передний план события давно минувшего, но при этом «стирают» то, что было вчера или пару часов назад. Одними процессами разрушительной возрастной деменции этого не объяснить, тут что-то другое, пожалуй, философское, заставляющее перед лицом подступающего, неизбежного ухода обращаться далеко назад и вспоминать, а вспоминая, пытаться осмыслить — была ли твоя жизнь правильной, цельной, дающей хоть сколько-нибудь значимый результат? Это по-человечески понятно, ведь мысль о том, что прожил, к примеру, свои семьдесят-восемьдесят лет просто так, без особой цели, для мыслящего, рефлекслирующего человека ужасна. Так быть не должно, и память волей-неволей сама выносит из дымки ушедшего некие образы, символы того, что всю жизнь ты делал что-то такое, за что перед лицом по крайней мере родных и близких не стыдно.

Жизнь моего дедушки, Владимира Александровича Хорвата, бессмысленной точно не назовёшь. Пример его судьбы обыкновенного советского человека, честного труженика-геолога и прекрасного семьянина, прожившего в браке с любимой и единственной женой (моей бабушкой) до самой смерти, демонстрирует путь хорошего,

---

*Филипп Хорват* — писатель, литературный обозреватель. Родился в г.Ташкент Узбекской ССР в 1983 году, окончил Санкт-Петербургский Политехнический университет по специальности маркетинг и менеджмент. Публиковался в журналах и электронных литературных медиа, в том числе в «Новом мире», «Сибирских огнях», «Бельских просторах», «Нижем Новгороде», «Авроре», «Кольце А», «Texture». В «ДН» печатается впервые.

правильного человека. Он наверняка бы мог гордиться тем, что сделал в своё время для любимой профессии, будучи ценным сотрудником Среднеазиатского института геологии и минерального сырья МГ УзССР (САИГИМС), начальником нескольких геологических партий и автором солидной научной монографии о рудном месторождении Мурунтау. Ещё больше поводов для гордости могло приносить ему осознание того, что он воспитал любимую (и любящую в ответ) дочь и помог ей встать на ноги, а затем ещё успел как-то повлиять на троих своих внуков и что-то вложить им в головы. Я сейчас не берусь судить о чувствах этого, во многом своеобразного и оригинального, человека, а спросить, понятное дело, уже не могу: дедушка умер восемь лет назад...

Однако один косвенный признак, проявивший себя на последнем десятке жизни дедушки, подсказывает мне, что внешнего лоска благополучия, осознания правильности пути ему, наверное, было всё же мало. Этот признак прямо связан с заявленной темой памяти — именно она, мятушаяся и беспокойная, подсказала дедушке в какой-то момент зафиксировать на бумаге всё то, чем он жил на протяжении семидесяти с лишком лет, в детальных подробностях описать свой трудовой и семейный путь. Так родилась обширная и монументальная рукопись под скромным названием «Воспоминания».

По мере погружения в работу, раскручивания в обратную сторону колеса памяти, расширился и замысел. Перебирая фотокарточки более чем столетней давности, доставшиеся в наследство от предков, дедушка задумался о составлении генеалогического фамильного древа Хорватов. В меру своих сил, связей с разбросанными по свету близкими и дальними родственниками эту работу он выполнил, обрисовав схематично древо от 1750 года, с момента переселения общего предка Ивана (Куртица) Хорвата, сербского дворянина и полковника австрийской службы, в пределы Российской империи. Всё это в рукописно-альбомном виде сохранилось и ждёт полноценного оформления во что-то большее. Когда-нибудь я эти записи точно превращу в настоящую, серьёзную книгу, и уж, во всяком случае, потомкам Хорватов читать её будет интересно, полезно для понимания того, чем жили предки.

Идея этого эссе, впрочем, не настолько грандиозна, чтобы распутывать огромный клубок судеб отдельно взятой семьи. Я бы хотел подсветить только одну географическую локацию, которая в памяти дедушки прочно ассоциировалась со счастливым и беззаботным детством — тем самым Эдемом, реального возврата в который, к сожалению, нет ни для кого. Это простая ташкентская улица, да и не улица даже, а скромный тупиковый проулок в центре города, проулок, которого в столице узбекской ныне независимой республики давно уже нет. Нет ни того старого советского города, ни улицы, на которой жил дедушка ребёнком, ни самого дедушки, но всё это удивительным образом живёт и сохраняется в записанных воспоминаниях — ну правда, вот же волшебное свойство человеческой памяти, изобретшей своего рода «машину времени».

Из чего большей частью состоят воспоминания о ранних годах жизни?

Если закрыть глаза и окунуться в глубины детства, то появляются самые разные смутные образы. Это прежде всего родители, братья-сёстры, близкие и дальние родственники. Затем уже всплывают образы первых друзей и подруг, дворовых приятелей и врагов, обидчиков и благодетелей, формируются в сумерках воспоминаний тени тех, в кого ты периодически «влюблялся».

Вереница первых жизненных впечатлений неразрывно связана с тем местом, где человек обитает в детстве. Родной дом или несколько таких домов, если семья большая, тесно переплетённая родственными связями между дедушками-бабушками, тётками-дядьями и т.д. Помимо самого дома, это, конечно же, и двор, а если брать шире — то улица, запомнившиеся здания на ней, магазины и рынки, парки и скверы,

в общем, все те важные и значимые для ребёнка места, которые рожают целый мир. Именно сюда, в чуть искажённые памятью сакральные уголки детства, люди часто возвращаются во снах — будто не случилось никакого взросления, не было длинной и странной, порой запутанной и непонятной жизни. И ты всё так же бродишь мальчишкой или девчонкой по знакомым, любимым местам в компании тех, кого давно уже, возможно, нет в живых. Встроенная в голову личная «машина времени» работает без сбоев по ночам, ничего даже и записывать не нужно...

Мой дедушка родился и вырос в Ташкенте в первой половине 30-х годов прошлого века. Место рождения — Краскомовский переулок, в самом центре города, рядом со старым зоопарком.

Я уже упомянул выше, что нынче эта локация в прошлом, от неё не осталось и следа, последние постройки в той местности сгнули к началу нулевых, когда прокладывали широкую правительственную трассу, названную в честь первого узбекского президента — Ислама Каримова. Размышляя об этом, я прихожу к горькому выводу: а ведь правда, рано или поздно любое место, с тобой связанное, исчезнет. Произойдёт ли это через сто, двести, тысячу лет, но это случится. В этом, пожалуй, прячется горькая ирония материальной жизни вообще: уж насколько хрупко человеческое тело, так ведь и ничто вокруг не переживёт отведённых природой пары-тройки тысяч лет. Всего лишь несколько тысячелетий, и повзёт остаться в истории знаковым именем разве только тому, кто совершит нечто грандиозное в войне, науке или искусстве (при условии сохранения развитой человеческой цивилизации, конечно же, которая всегда парит в миллиметре от гибели). Получается, что и память не бесконечна, она живёт в пределах сознательной человеческой истории...

Судьба дома из дедушкиного детства в сравнении с этими тысячелетиями мимолетна. Дедушка и сам, хоть из уже российского далёка, застал момент окончательного ухода в небытие всего, что было связано с Краскомовским переулком — как знать, может, и это косвенно повлияло на его решение засесть за мемуары.

А начиналось всё с осознания, освоения даже не малой родины, а... микрородины. Этот промелькнувший в мемуарах термин дедушка заимствовал у советского писателя, литературного критика и замредактора журнала «Новый мир» Алексея Ивановича Кондратовича: «Есть большая, малая родина. Но есть ещё, видимо, микрородина, родина памяти, родина сознания, когда ты впервые почувствовал, что ты есть на свете»<sup>1</sup>.

Действительно ведь родина памяти, сознания и момент осознания того, что ты есть и ты живёшь в определённом месте. Дедушка о своей микрородине вспоминает так...<sup>2</sup>

### *Краскомовский переулок, 19*

Только что появившийся в Ташкенте троллейбус номер «5» отходит от конечной остановки «Дархан-арык» и бежит по Пушкинской, пересекает Асакинскую (здесь на перекрёстке стояла когда-то Сиреневая церковь) и устремляется к Консерватории. Тут он поворачивает налево и держит путь по булыжной мостовой Жуковской улицы. И вот остановка — между Советской, идущей напрямиком к зоопарку, и Краскомовским

<sup>1</sup> Цитата по неоконченной книге А.Кондратовича «Нас волокно время...», опубликованной в журнале «Знамя», № 3, 2001 (<https://magazines.gorky.media/znamia/2001/3/nas-voloklo-vremya.html>).

<sup>2</sup> Далее в тексте приведены с небольшими купюрами две небольшие главы из мемуаров Владимира Александровича Хорвата.

переулком. Пора выходить, ибо в переулке мой дом, 19-й номер по левой стороне. А «пятёрочка» мчится дальше, пересекает улицы Карла Маркса, Куйбышева, Пролетарскую, сворачивает на Шевченко, и вот вокзал, вторая конечная.

Я неоднократно обращался к бабушке, просил её объяснить происхождение названия переулка. «В честь красного командира — краскома», — ответствовала она. Что ж, я соглашался, ведь есть улица Пролетарская, видимо, отдающая должное делам безымянного пролетария. Но в памяти застряли куплеты блатной песенки:

Как в Краскомском переулке  
 Кореш крикнул: «Беги!»  
 Двадцать пуль ему вдогонку,  
 Семь остались в груди.  
 На столе лежит покойник,  
 Тихо свечи горят.  
 Это был убит разбойник,  
 За него отомстят.

«Возможно, братва отомстила командиру отряда, рассеявшего банду, — фантазировал я, — и место схватки увековечили именем краскома». Но тут возникала неувязка: ведь залп вслед убежавшему разбойнику был дан в переулке, который уже назывался Краскомовским. До чего-либо путного я так и не додумался.

Многие из перечисленных улиц лучами отходили от Сквера революции, спускались к крупному арыку Салар и устремлялись на выход из города, превращаясь в шоссе и тракты. По радиальным улицам легко обозначался контур малой родины: на западе — Сквер, на севере — Пушкинская, на юге — Куйбышева. Восточная граница определялась руслом Салара, вдоль которого располагались стадион «Динамо», ПКиО им. Тельмана, зоопарк, полуразрушенный польский костёл. Они служили постоянным центром притяжения краскомовской ребятни, называвшей себя хеврой<sup>1</sup>.

А теперь о микрородине, средоточием которой являлась притупиковая часть Краскомовского переулка и родовое гнездо — дом № 19 с садом. А между крупными улицами-лучами пролегли мелкие улочки и переулки: Свердлова, Краскомовский, Ногина, Коларовский и пр. Все они были знакомы нам до последнего камешка, до последней ямки. И это тоже микрородина.

Итак, Краскомовский переулок, он же — тупик. Отходя от Жуковской, переулок заканчивался у земляного собора с кирпичной покрывкой, за которым простиралась холмистая территория, никак не освоенная, но принадлежащая, кажется, зоопарку. Мы окрестили её заповедником. Главное достоинство заповедника — окаймляющий с востока Салар, в котором тогда ещё водилась рыба.

На дороге в переулке — ни асфальта, ни булыжника. Тротуары выложены кирпичом, который в дождливое время спасал от грязи. А машинам на дороге приходилось несладко: они то и дело проваливались в глубокие колеи и ямы. Но зато весной, летом и даже осенью переулок утопал в зелени тополей, акаций, клёнов. Справа от Жуковской, между дорогой и тротуаром, бежал полноводный арык, неся свою чистую водичку до Салара. В арыке жили водяные змеи и лягушки.

Напротив нашего дома дорога поворачивала направо (на повороте не просыхала огромная лужа) и упиралась в ворота детской технической станции — монументального здания с окнами-бойницами, похожего на замок средних веков. Здесь вечерами во дворе крутили кино и собиралось довольно много народу из близлежащих домов — сидели на низеньких скамейках.

<sup>1</sup> Слово «хевра» в русский язык пришло из иврита и означает фирму, компанию. В первой половине прошлого века слово «хевра» ненадолго закрепилось в уголовном жаргоне: так обычно называли банду, преступную группировку.

ДТС принадлежал большой участок земли, террасами спускавшийся к Салару. На нём произрастали овощи и клубника — цель наших ночных посягательств. Но директор, маленький человек в сапогах и полувоенном френче, хорошо сложенный и, видимо, физически крепкий, тщательно оберегал своё хозяйство. Мы его побаивались, так как видели однажды, как сурово наказал он пойманного воришку.

Одноэтажный наш дом — такими был застроен весь переулочек — тремя окнами глядел на ДТС. Слева в кадр попадал длинный забор станции с воротами, справа — две великолепные сине-зеленые сосны, украшавшие двор моего друга Алексея Землянова.

Никольские — мои дед и бабушка — купили удобное для жилья строение. К сожалению, у них, видимо, не хватило средств отремонтировать дом, и внешний вид у него был не очень. Как, впрочем, и у всех домов в Краскомовском.

Дом начинался с остеклённой террасы. Со двора на террасу вели две двери, ещё две открывались во внутренние покои: в одну комнату и две смежные. На террасе находились большой и крепкий обеденный стол, русская печь, сундук-лежанка. Значительную часть года жизнь семьи проходила в этом светлом и удобном помещении, отсюда хорошо просматривался наш немалый придомный участок. Под террасой размещался подвал со всякой рухлядью — сырой настолько, что сюда не заглядывали даже собаки.

Зато чердак — просторный и тёплый, с обилием возившихся в пыли пауков; отсюда мы мальчишками легко проникали на крышу, откуда можно было наблюдать за уличной жизнью.

Как размещались в доме? Мы с бабушкой в отдельной комнате, мама с Михмихом (отчимом) в последней из смежных. В другой — проходной — обычно жил мой сводный брат Валентин, когда приезжал к нам. А вот как было при отце до его ареста и при деде Константине Михайловиче (до развода с бабушкой) — не знаю.

Отапливался дом дровами и углем, горевшими в высоких цилиндрических печках-голландках. Воспоминание: бабушка стоит, прислонившись к печи, греет натруженную за день спину. Водопровод во дворе, у входа в дом. Зимой в мороз всегда текла слабая струйка, чтобы не промёрзла труба. А вот «удобства» располагались на краю двора, что доставляло зимой массу трудностей.

И немного о других дворовых постройках. Были они слева, если следовать от дома, и примыкали к соседскому забору. Кладовая с зерном и сухофруктами, орехами, чуть в отдалении низкий флигель (кухня и большая комната), где временами проживали квартиранты, вплотную — банька, далее — навес на кирпичных столбах, где хранились сухие листья и травы для козы, дрова, уголь и прочее. От дома вдоль построек бежала кирпичная дорожка. Затем — арык, за которым — позже — владения дяди Юры с женой.

### *Двор? Сад!*

Описывая родительский дом, обратил внимание, что употребил слово «двор» применительно к придомовому участку земли. Да, в детстве мы, пацаны, кричали друг дружке: «Выходи во двор!» Но есть в этом слове что-то скучное, не соответствующее нашему земельному наделу. Постоялый двор, обозный двор — такой был в Краскомовском, заставленный какими-то телегами, — вот какие ассоциации приходят в голову. У нас же — настоящий сад, скажу больше: чудо-сад!

Прямоугольной формы размером соток 10—12, тянулся он от ворот в переулочке до зоопарка, от которого был отгорожен высокой глинобитной стеной. Из переулочка в сад кроме ворот вела калитка со звончком и прорезью для почты. Кстати, входные ворота при игре в футбол во дворе или в переулочке мы использовали соответствующим образом.

Лишь небольшая часть сада у калитки и ворот, напротив террасы, была свободна от цветов и другой зелени. Обычно здесь, под сенью огромного ореха, стояли большая скамья и квадратный стол, за которым сиживал Валентин. Здесь же мы стучали мячом, играли в бильярд, тут же крутились собаки.

А дальше вплоть до зоопарковой стены — деревья и кустарники, цветники, огородные грядки, массивчики густой травы-полюны. Сад не был ни диким, ни очень уж ухоженным, он был что надо. Годился для игр, отдыха, даже приносил хозяевам прибыль. Соседство с зоопарком добавляло экзотики: несколько раз на дню оттуда доносился мощный рёв хищников. Так львы, тигры встречали служителей, разносивших мясо.

К достоинствам сада можно отнести и арык, служивший для полива огорода. Его метровая ширина и достаточная глубина (до пояса) позволяли купаться, что мы и делали с некоторой опаской, так как в воде то и дело мелькали головки водяных змей. Как и арык в переулке, эта водная артерия текла по направлению к каналу Салар.

Фруктовые деревья высаживались ещё прежними владельцами, частично дедом и бабушкой, а позже и дядей Юрой. Яблоня, груша, вишня, черешня, слива, абрикос, урюк, персик, айва, орех представлены несколькими сортами. Особенно много было грушевых деревьев: от карликовой скороспелки, приносящей урожай уже в мае, до осенних сортов, чьи медово-жёлтые плоды созревали в комнатах, наполняя их незабываемым запахом.

Надо ли говорить, что мы ели фрукты всё лето, сушили на крышах флигеля и сараюшки; особенно хорош был в сушёном виде «сахарный» урюк со сладкой косточкой.

Украшение сада и наша радость — три ореховых дерева. Самое старое росло у дома, закрывая тенью игровую площадку и стол неизменно мастеровившего что-то брата. Второе — у флигеля, третье — за арыком, у зоопарковой стены. Вторую орешину ещё до моего рождения посадил дедушка, это дерево всегда обильно плодоносило, а скорлупа плодов была настолько тонкой и мягкой, что не скрывала рельефно проступающего ядра.

...Прошло более полувека, я давно уже не жил в Краскомовском. Но бывших соседей навещать приходилось — по разным поводам. На этот раз повод случился такой: отъезд семьи друга детства в дальнее зарубежье. Когда было много сказано и достаточно съедено-выпито, Марк Палагашвили увлёк меня в глубину своего сада. «Вова, посмотри на вашу орешину!» Над крышами новых строений раскинулась огромная крона дерева, густо усыпанная гроздьями плодов. Именно тот орех, что посадил мой давно умерший дед. И я, вспомнив деда, шёпотом поприветствовал своего земного товарища, бывшего свидетелем моего детства, отрочества, юности: «Послужи ещё людям, дружище!»

Орехов собирали всегда много, на террасе стоял полуоткрытый мешок — бери сколько хочешь! А под Новый год закатывали орехи в фольгу, вбивали гвоздики и вешали на ёлку.

Но не одними деревьями был богат сад. Над арыком старую яблоню увивал виноград — «изабелла», весной шикарно цвели бульдонеж и бузина. Между домом и флигелем на соседский забор взбирался экзотический для азиатских краёв хмель, а напротив флигеля вперемешку росла сирень: лиловая, белая и вся махровая. Сирень посадила бабушка.

Особым бабушкиным расположением пользовались ландыши. Они росли на огороженной полянке, куда детворе и собакам вход был заказан. Эти скромные и прекрасные цветочки выручали семью в тяжёлые военные и послевоенные времена: бабушка продавала их букетиками на Алайском базаре — люди разбирали мигом, как бы назло жизненным трудностям и невзгодам.

Других цветов росло в саду немного, помню несколько кустов роз, ирисы, нарциссы, табак. Да, и конечно, георгины!

Большую площадь — в центре сада и за арыком (пока дядя Юра не построил там дом) — занимал огород. К нему относились очень серьёзно — такое было время. Мне приходилось участвовать практически во всех процедурах по выращиванию овощей. Особенно нравился полив, так как вода текла из арыка, стоило его немного подпрудить. Сажали помидоры, баклажаны, перец, тыкву, кукурузу. Наслаждением было сорвать крепкий с пыльной помидорчик и съесть тут же на грядке. Что уж говорить о варёной кукурузе...

И ещё одна особенность сада (конечно, не только нашего) — это обилие птиц. Нашествие пернатых начиналось весной, когда запевали желтоклювые чёрные дрозды. Прилетали мухоловки (среди них и крошечные — корольковые), синицы, чечевицы, зеленушки, горихвостки; все они активно очищали деревья от тли. Однажды была замечена совсем экзотическая птица — муравьед. Ползая по стволу скороспелой груши, муравьед длинным языком-шнурком буквально сметал муравьев, охочих до сладких плодов. Летом залетали красавицы шуры — гроза ос и пчёл. А зимой и осенью оставшиеся на деревьях плоды склёвывали серые дрозды, свиристели, клесты и дубоносы. В холодные зимы прилетали сороки, галки, вороны. Последние охотились за орехами, играли с ними, подбрасывая и ловя на лету. Постоянные жители сада — вездесущие воробьи и горлинки.

Большой сад требовал и неусыпного ухода. Весной — обрезка больных ветвей, окучивание, побелка, возделывание грядок, летом — полив, осенью — сбор листьев и т.д. Сельхозработы замирали только зимой. Так прививались навыки домашней работы...

Наш сад, как и окружающие, был частью одного из зелёных оазисов старого Ташкента. Многим из них пришёл конец в 1966 году, когда после знаменитого разрушительного землетрясения развернулось строительство московского жилого квартала. Половина переулка — от улицы Жуковского и почти вся его правая сторона — была снесена. В левой части остались нетронутыми семь-восемь домов, в том числе и наш — бывший. Он был продан бабушкой по частям, из родных там до начала 1970-х проживала только семья моего двоюродного брата.

В середине 1990-х зоопарк переехал в другую часть Ташкента. Стало ясно, что остатки Краскомовского пойдут на слом, но они продержались ещё лет десять. И вот в 2005 году близкий друг привёз известие, что переулок имени красного командира прекратил существование, а с ним — и родовое гнездо. Больше всего мне жаль орехового дерева, посаженного дедом...

Две небольшие главки из рукописи очерчивают лишь общие, оставшиеся в памяти дедушки впечатления о далёкой во всех смыслах улочке его детства — это своего рода внешний контур, географический абрис, внутри которого жизнь обыкновенного ташкентского мальчишки, затем подростка и, наконец, юноши. Жизнь была наполнена многими событиями, и некоторыми из них он делится в рукописи — всё это глубоко личное, связанное с родными, друзьями и подругами, которые сыграли определённую роль исключительно в жизни ближнего круга нашей семьи.

Однако есть и ещё одна история, случившаяся в дедушкином Краскомовском переулке, — история, которая перерастает личное и превращается в общечеловеческое, важное для всех. Речь о первой подростковой влюблённости.

Эта история косвенно связана с одним из семейных ответвлений старинного дворянского рода Дуниных-Барковских, потомки которого жили по соседству с дедушкой в Краскомовском переулке. Именно у них летом 1948 года сняла несколько комнат семья Беседновых: папа, мама и скромная симпатичная дочка Инна. Впрочем, почему бы дальше снова не передать слово дедушке?

## Прикосновение любви

В начале лета в доме № 21 появились незнакомцы. Вскоре выяснилось, что две комнаты у хозяев заняла семья сослуживцев Беседновых: дядя Саша, тётя Рая и их дочь — тринадцатилетняя Инна. С той поры стройная русоволосая девочка с овальным загорелым личиком и чудесной белозубой улыбкой прочно овладела моим воображением.

Инна почти не принимала участия в наших играх — не разрешала мать. Она почему-то считала, что у меня и моих друзей — Юры и Лёши — были дурные намерения по отношению к её дочери. Как она ошибалась! Я лишь радовался каждому взгляду или слову симпатичной соседки и в основном демонстрировал перед ней умение обращаться с мячом: ногами, руками, головой. А когда мы ожесточённо сражались в футбол на улице, в окне соседнего дома за неплотной шторкой я иногда различал знакомую фигурку.

Близился к концу август. В один из вечеров, прослушав на террасе радиорепортаж Вадима Синявского о футбольном матче «Спартак» — «Крылья Советов» (Куйбышев), я вышел в сад и направился к кровати, стоявшей вблизи забора. Разбирая в темноте ещё тёплую от дневного солнца постель, удивился, заметив сквозь широкие щели, что кровать Инны по ту сторону штакетника придвинута к нему почти вплотную. Это было необычно: она всегда спала в отдалении, у открытого окна. Видела ли эту перестановку её мать?

Тихо лёг, сна не было, я лежал и смотрел на окно комнаты Беседновых, где ещё горела лампа. Внезапно щёлкнул выключатель, все погрузилось в темноту. Рассеянный свет невидимой за деревьями луны да звёзды в глубоком небе вдруг так взволновали меня, что я с трудом перевёл дыхание.

Послышались лёгкие шаги, и в белой ночнушке появилась Инночка. Миг, и она под одеялом, видна лишь тёмная головка на подушке, лицо с закрытыми глазами обращено ко мне. Я молчал, молчала Инна. «Инна, ты спишь?» — мой шёпот срывался. Головка чуть повернулась, глаза распахнулись и снова прикрылись длинными ресницами. И вдруг тонкая смуглая ручка протянулась меж досками забора. Как бережно встретила её моя рука! Я чуть сжал пальчики милой Инночки, мне было хорошо и спокойно смотреть на неё. Сердце моё билось в наших сомкнутых руках, а в небесной бесконечности неспешно передвигались звёзды. И я... уснул.

Сколько спал, не знаю, но, когда очнулся, было по-прежнему темно. Протянутая рука моя была одинокой и холодной. Инна, отвернувшись, спала. Разные чувства переполняли меня: и радость, и стыд, и надежда, и злость. «Утро покажет», — подумал я и снова уснул.

Ничего не показали ни утро, ни день, ни последующая неделя. Эпизод продолжения не получил. Инночка была приветливо-равнодушна, мой робкий намёк не был воспринят.

Вскоре Беседновы переехали в Москву, и больше Инну я не видел. У меня не осталось даже её фотографии. Лет через 15—20, когда я давно жил в другом районе Ташкента, узнал, что Инна, будучи уже очень интересной женщиной, однажды навестила Краскомовский и дом, в котором она прожила одно лишь лето. Предугадать бы тогда, может, получилась бы и новая встреча...

А то хорошее и чистое, что произошло в августовский вечер далёкого 48-го года, было моим первым прикосновением к любви.

...Эту давнюю историю я в 2000-м изложил в виде минирассказа. Он был опубликован в челябинской газете «Синегорье», а затем перепечатан московским еженедельником «Первое сентября». Последний выложил «Прикосновение любви» на своём сайте, где его прочитала... Инна, то есть Инна Александровна Беседнова,

и её дочь, оставив в комментарии всего два слова: «Рассказ прочитали»<sup>1</sup>. А я не знал ничего: ни об инициативе издания «Первое сентября», ни о том, что рассказик дошёл до героини. Чудеса...

Рассказала же мне об этом Рада Дунин-Барковская в августе 2007-го, когда мы стали переписываться с друзьями детства. Узнал, что она и Инна продолжают дружить, хотя и живут вдалеке друг от друга.

Таким вот остался в памяти дедушки Краскомовский переулочек — микрородина, исчезнувшая навсегда, но и сохранившаяся в рукописной памяти нашей семьи Хорватов.

В процессе написания этого эссе я, разумеется, полез в поисковик, вбив название старой ташкентской улицы. И по соответствующему запросу обнаружил лишь одну ссылку на обсуждение некоего то ли дома, то ли дворца князей Шаховских — здания, которое, скорее всего, в дореволюционную эпоху располагалось в районе Краскомовского.

Вся эта история с туркестанским ответвлением одного из древнейших русских родов Шаховских (они же Шемякины, они же Шеховские) довольно мифологична. В нескольких форумных ветках сайта mytaskent.uz («Письма о Ташкенте») местные активисты проводят расследование, отгалкиваясь от двух-трёх фотографий того, что предположительно относится к объекту изысканий (так называемого дворца).

Вообще, меня всегда поражали (в хорошем смысле слова) подобного рода сетевые обсуждения: энтузиасты организуют глубокие раскопки, восстанавливая по крупницам информацию, собирая обрывки сведений и свидетельств, подтверждающих или опровергающих какую-либо историко-географическую, архитектурную или любую другую версию существования чего-либо. И как же мне понятны устремления этих людей — это вот подспудное желание запечатлеть ускользающую реальность, сложить пазл воедино, восполнить какую-нибудь лакуну. Вполне можно сравнить с тем пожирающим изнутри писателей, журналистов и публицистов огнём, который так же заставляет восстанавливать картину интересного происшествия, события — вчера ли, год или сотни лет назад.

Стоит отметить, что воспоминания моего дедушки косвенно помогли подтвердить версию реального существования «дворца князей Шаховских» именно в Краскомовском переулке. Во всяком случае, внешние признаки в описании здания из рукописи могут указывать на сохранившийся до 30—40-х годов «дворец»: «Напротив нашего дома дорога поворачивала направо и упиралась в ворота детской технической станции — монументального здания с окнами-бойницами, похожего на замок средних веков». Я откликнулся под своим именем на том форуме<sup>2</sup>, приложил фото странички из труда дедушки, прокомментировал некоторые цитаты из его текста и в ответ получил благодарность от местных завсегдаев, а также — внезапный отклик от человека, который когда-то работал с моим дедушкой в геологической отрасли. Да, я тоже люблю играть в эти интернет-расследования, а уж если приходится в качестве свидетельства выкладывать на всеобщий обзор такую роскошную ценность, как страничка из дедушкиной рукописи, — о, это удовольствие особенного рода. Удовольствие прежде всего от мысли, что не зря человек старался, писал воспоминания — не только для своих потомков, получается, польза, но и для других, незнакомых, совершенно чужих людей.

---

<sup>1</sup> Этот рассказ и до сих пор доступен в интернет-архиве издания «Первое сентября» по адресу <https://ps.1sept.ru/article.php?ID=200105113>

<sup>2</sup> Ветка этого открытого форума располагается по адресу <https://mytashkent.uz/2018/08/31/eshhyo-odna-versiya-raspolozheniya-dvortsa-knyazej-shahovskih/>

Пока занимался интернет-раскопками, набрёл случайно в соцсетях на аккаунт внучки Ромуальда Дунин-Барковского — друга дедушки, которому в рукописи тоже посвящено несколько страниц. Написал ей, и после короткой переписки выслал фотографии с текстом, рассказывающем о Ромуальде, получив в ответ тёплую благодарность: эти люди тоже трепетно относятся к истории своей семьи, помнят и чтут.

Ко всему прочему прояснилась, кажется, и этимология названия Краскомовского переулка. Это действительно сокращение от «красного командира», название, скорее всего, по аналогии призвано было заместить дореволюционный Кадетский переулок — большевики просто сменили «антинародный» военный топоним на социально близкий, военно-советский, более понятный и актуальный по тем временам.

Работая над этим эссе, думал о том, что неплохо бы, конечно, и всю самодельную книгу дедушки превратить в полноценную — пускай хоть десять, хоть двадцать экземпляров сохранится для потомков в вычитанном, безукоризненном виде. Да, это частная история, охватывающая бытовые и профессиональные круги совершенно обыкновенных людей, но в ней ведь явственно проявляется общий срез жизни нескольких советских поколений. Поколений, не похожих на другие, поколений ушедших и более молодых, уже тоже уходящих, — сохранить о них память как раз и помогают такие книги.

Сейчас, пожалуй, время для дедушкиной рукописи ещё не настало. У меня железная и одновременно, конечно же, жалкая отговорка: совершенно нет времени на внимательное чтение, корректуру и редактирование. Всё же это два довольно упитанных фолианта, а есть ещё и отдельный толстый том, посвящённый среднеазиатской геологии, — это ведь тоже большая книга, которая наверняка будет интересна узким специалистам хотя бы в ретроспективном плане... Когда, как и в каком виде всё оформлю должным образом, — ума не приложу, но в том, что сделаю, не сомневаюсь.

*Мария Ануфриева*

## Портал в библиотеку

Мое детство неразрывно связано с библиотекой. В первую я записалась сама, научившись читать еще в детском саду. Это была взрослая библиотека возле дома, в которой, по счастью, работала знакомая родителей, и все действительно было по-взрослому: в фонде мне находили книги для читателей помладше, в основном это была приключенческая литература, благодаря чему «Всадника без головы» Майна Рида я прочитала в подготовительной группе детского сада.

Настал черед школьной библиотеки — пожалуй, самого любимого места в школе, откуда пятничным вечером после продленки можно было унести книгу, смакуя по дороге домой мысль о том, как побыстрее сделаешь уроки, а впереди — два дня новых открытий. И как хорошо, что рядом еще есть районная библиотека, ведь книг можно взять в два раза больше. С походом в эту библиотеку связано одно из ярких воспоминаний: зимняя темень, иду сдавать книги, но встречаю одноклассников — как не повалиться в сугробах... На пороге обнаруживаю, что пакет порвался и не хватает трех, бегу обратно, вот они: ждут меня, уже припорошенные снегом. Восторг человека, нашедшего потерю, — впервые испытала его в тот момент.

В библиотеку я всегда приходила как читатель и очень бы удивилась, узнав, что спустя тридцать с лишним лет узнаю библиотечный мир изнутри. Да, изменившийся за эти десятилетия, инновационный, технически оснащенный на принципиально ином уровне, но все же сохраняющий традиции библиотек моего детства.

### *Гений места*

23 апреля 2022 года в Центральной Библиотечной Системе Кировского района Санкт-Петербурга открылся новый Библиотечно-культурный мультимедиа комплекс «Портал». Вот уже полгода подписываюсь в мужском роде, согласно штатному расписанию — заведующий отделом детских и молодежных программ БКМК «Портал».

В первый же месяц работы стала ловить себя на мысли, что пресловутый «гений места» — не пустые слова, определенно в них есть нечто метафизическое и вместе с тем вполне материальное. В прежние времена в нашем помещении находился детский сад, закрывшийся в годы перестройки, помещение пустовало, приходило в упадок.

---

*Ануфриева Мария Борисовна* — прозаик, журналист. Родилась в 1977 году в Петрозаводске. Окончила факультет журналистики СПбГУ. Печаталась в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Урал». Автор романов «Медведь» (2012), «Карниз» (2015), «Доктор X и его дети» (2020). Лауреат премии им. Н.В.Гоголя. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза писателей Москвы. В 2023 г. на экраны выходит художественный фильм по роману «Доктор X и его дети» с заслуженным артистом РФ Сергеем Пускепалисом в главной роли. Живет в Санкт-Петербурге. Член Редакционного совета журнала «Дружба народов».

Сейчас его вновь наполнили дети — наши основные и любимые посетители, хотя библиотека не считается детской. О былой разрухе напоминают только фотографии на стене, на которых совмещены картинки того, что было и как стало. А стало действительно хорошо, семьям этой части Кировского района вернули пространство для интересных встреч, осмысленного досуга и, конечно, чтения книг.

Мы уже не детский сад, но, если зайти к нам в «часы пик», которые случаются регулярно, особенно перед кинопоказами или после мастер-классов, вас встретят детсадовцы, ученики начальной школы и их родители. Бывший садик не превратился в очередное офисное помещение, а зажил новой жизнью — благодаря всем, кто принимал участие в зарождении библиотечного, образовательного, досугового пространства. В первую очередь, это глава Кировского района Санкт-Петербурга С.В.Иванов, заместитель главы администрации Кировского района С.А.Ларченко и директор ЦБС Кировского района Е.Ю.Ястребова.

Общими усилиями давно пустовавшее помещение превратилось в два этажа современной библиотеки, которую даже библиотекой в обычном понимании сложно назвать. Неслучайно дети часто говорят: «Можно, я у вас останусь?», «Я хочу тут жить». Однажды перед закрытием подслушала разговор заигравшихся ребят, они выключили свет в одной из комнат и устроили совещание:

- Давайте спрячемся тут на ночь.
- Но ведь они закрываются на два дня! Как же без воды?
- Так на кухне кулер стоит.

Юные заговорщики не знали про систему сигнализации, датчики движения, а я живо представила, как посреди ночи мчусь вызволять читателей, решивших устроить себе квест на манер фильма «Ночь в музее», — и теперь сотрудники бдительно осматривают все укромные уголки перед уходом.

Взрослые посетители удивленно присвистывают:

- В нашем детстве такого не было!

В моем тоже. Наверное, и я была бы не прочь спрятаться и остаться в такой библиотеке подольше.

### *Виртуальная реальность и гримёрка... в библиотеке?*

Концепция новой библиотеки изначально предполагала упор на реализацию досуговой и мультимедийной составляющей. В результате Библиотечно-культурный мультимедиа комплекс располагает множеством нетипичных для библиотеки помещений и зон.

Просторный компьютерный зал легко трансформируется в лекторий, обустроенный для проведения семинаров, в концертный зал и в кинозал с широким экраном, специально для кинопоказов на окнах есть блэк-аут шторы, так что проводить киносеансы можно даже в дневное время. Есть в библиотеке уютная коворкинг-зона и выставочное пространство, в котором успешно проходят выставки современных художников, фотографов, учащихся художественных школ. Для детей оборудован игровой уголок с искусственным покрытием и пуфиками. Подростки любят проводить время в изолированных домиках: снял обувь, залез, улегся на подушку — и читай книжку, а чтобы зрение не портило, в каждом домике есть светодиодные светильники. В комнате для мастер-классов удобно и детям, и преподавателям: можно помыть руки после занятий в замысловатых техниках (например, любимый нами тай-дай того просто требует), можно хранить материалы — зона оборудована как симбиоз учебного класса и современной кухни.

Самое большое удивление у новых посетителей, для которых мы обязательно проводим обзорную экскурсию, вызывает собственная гримерка, как в настоящем театре. А самый искренний восторг — комната виртуальной реальности с фотозоной и 3D-очками, воспользоваться которыми может каждый желающий.

Безусловно, техническая оснащенность — сильная сторона современных библиотек, что позволяет привлечь посетителей дополнительными возможностями и активностями, а затем увлечь, приобщить к чтению. По моим наблюдениям, практически 100% пришедших на мастер-классы, в кинозал или на концерт пользуются и библиотечным фондом.

### *Очаг культуры на Гутуевском острове*

Конечно, центром притяжения детей и взрослых мы стали не по мановению волшебной палочки. Новая библиотека с широким спектром досуговых возможностей заполнила собой лаунжу, существовавшую в этой части Кировского района прежде.

Мы находимся на одном из тридцати четырех островов Северной столицы — Гутуевском острове, где жилая застройка соседствует с основным предприятием — Морским портом Санкт-Петербурга, ведущим свою историю с открытия Морского канала в 1885 году. Во времена СССР жизнь на Гутуевском острове кипела, строилось жилье для работников порта, а культурный досуг семей портовиков обеспечивали сначала ДК Водников, а после Великой Отечественной войны построенный на его месте ДК Моряков — прекрасный образец сталинского ампира с впечатляющим убранством. Как и многие другие ведомственные Дома культуры, в перестроечное время он пришел в упадок и перестал функционировать. На расположенном рядом Канонерском острове есть хорошая школа с бассейном, детский сад, но та ниша, которую раньше занимали ДК, тоже оказалась пустующей.

Поэтому неудивительно, что Библиотечно-культурный мультимедиа комплекс стал долгожданным для жителей Гутуевского и Канонерского островов. Не скрою, некоторые посетители, особенно поначалу, так наш «Портал» и воспринимают — как своего рода «клуб по интересам», место для отдыха и развлечений, тем более что дизайн интерьеров со всеми «плюшками» в виде пуфиков, домиков, мультимедийных экранов для игр, картин на стенах тому способствует. Один из постоянных вопросов, который задают почему-то преимущественно папы, звучит так:

— Можно я у вас ребенка оставлю и через три часа за ним приду?

Но часто можно увидеть и другую картину: мама или бабушка устраиваются рядом с младшим ребенком и вслух читают сказку, пока старший занимается в зоне виртуальной реальности.

За минувшие полгода сложился основной костяк постоянных читателей, которые регулярно берут на абонементе книги, проводят у нас свободное время по субботам на занятиях с детьми и в «Семейном кинозале» и даже советуются по житейским вопросам. По улице, на которой находится библиотека, невозможно пройти без того, чтобы не увидеть знакомого человека и чтобы с тобой не поздоровались. Догадываюсь, звучит оптимистично, но вместе с тем доказывает, что расширение функционала библиотеки и развитие направлений деятельности, априори ей не свойственных, работает на результат — популяризацию чтения и возрождение культуры посещения библиотек, во многом утерянной в перестроечные годы, когда нивелировались многие ценности.

### *Куда не ступала нога экскурсовода*

Многие городские и районные библиотеки проводят собственные пешеходные экскурсии по интересным с краеведческой, исторической, литературной точки зрения маршрутам. Легко библиотеке в центре города: на какую улицу ни сверни, каждый камень хранит историю. Ту часть Кировского района, где открылся наш «Портал», как-то негласно было принято считать промышленной, да чего уж греха таить —

депрессивной, словом, не представляющей особого интереса для посещения организованных экскурсионных групп.

Конечно, Гутуевский остров связан с морской славой России. Считается, что именно у его берегов 18 мая 1703 года Пётр Первый одержал первую победу над шведской эскадрой в Северной войне. Помимо стратегической ценности, эта победа оказалась важна и для поднятия духа Петровского флота, позволила поверить в свои силы: русские солдаты взяли на бордаж шведские суда «Астрильд» и «Гедан» лишь при помощи мушкетной стрельбы. Дата этой битвы в устье Невы считается Днём создания Балтийского флота, с 1996 года отмечаемого как всероссийский праздник.

В последующие столетия бывший безлюдный, поросший кустарником шведский остров Витсасаари, получивший впоследствии название Гутуевский (по имени олонецкого купца-сахарозаводчика Конона Гуттуева), развивался как рыболовецкая, а затем индустриальная окраина, всю специфику которой обуславливала близость к Финскому заливу: Морской порт и гражданские службы, связанные с обеспечением его работы, морские образовательные учреждения. Наверное, поэтому экскурсии водят в расположенный рядом старинный парк Екатерингоф, на Канонерский остров, а Гутуевский обходят стороной. По крайней мере, я не нашла ни одного действующего пешего маршрута по нашему острову и столкнулась с мнением, что «смотреть тут нечего», — с чем тут же мысленно не согласилась.

Возможно, сказался прежний журналистский навык: в каждом вопросе докопаться до сути. Тем более тут она была на поверхности: ну не может жизнь на Гутуевском острове — без малого четыре века российской истории — не иметь своего уникального лица, зафиксированного в документах и книгах.

Кто ищет — тот всегда найдет. Помогли краеведческая литература из фондов ЦБС Кировского района, которую заказала из центральной библиотеки, и материалы сотрудников музея «Нарвская застава», который так же находится в нашем районе. Даже на этом общедоступном уровне, без посещения архивов, удалось найти большое количество интересной и, что немаловажно, достоверной информации для подготовки к авторской экскурсии.

Определила точки на карте, разработала и выверила маршрут с учетом логичности знакомства с историей острова и его достопримечательностями, которых якобы нет, выверила время.

Экскурсия приурочена к празднованию 105-летия Кировского района, которое широко отмечается всеми учреждениями культуры в 2022 году, поэтому начинается она неизменно в самой библиотеке у большой карты нашего района. Примечательно, что многие экскурсанты не только путают Канонерский и Гутуевский острова, но искренне удивлены тем, что вообще находятся на острове, поскольку, с одной стороны, с «материковой частью» его соединяет небольшой мост через реку Екатерингофку (а в Санкт-Петербурге мостами через реки и каналы никого не удивишь), с другой — со следующим Канонерским островом соединяет тоннель. Некоторые слышали, что есть такой Гутуевский остров, но, где он, и не представляют. Мы выполняем этот пробел.

Рада, что новая экскурсия оказалась востребованной и популярной. Хоть в экскурсовода переквалифицируюсь... Если в июле я начинала походы по субботам с пятью-шестью экскурсантами, то уже в октябре число участников увеличилось до двадцати с плюсом и добавились будние дни, причем не только благодаря обязательным анонсам на сайте ЦБС, но самому действенному способу рекламы — сарафанному радио. Играет роль и то, что, в отличие от многих других экскурсий по городу, наша бесплатная.

Мы уже не зазываем, наоборот — вынуждены вести предварительную запись, чтобы регулировать число желающих посетить экскурсию. На нее специально приезжают из других районов, с другого конца города. Много и местных, они — наш бесценный актив: старожилы добавляют интересные подробности, вспоминая события полувековой

давности и дополняя рассказ, и одновременно узнают новые для себя факты о знакомом с детства месте.

Что еще важно — именно сейчас меняется демографический и социокультурный облик Гутуевского острова: из промышленного приморского района, где в советское время получали жилье преимущественно работники порта и их семьи, он постепенно становится привлекательной и открытой для всех городской территорией. Сдаются новые жилые многоквартирные комплексы, в которые заселяются не только петербуржцы из других районов, но и новоселы из разных регионов России. Знаю не понаслышке, поскольку многие уже записались в библиотеку сами и привели детей (или дети, узнав о наших возможностях, привели родителей). Смею предположить, что для многих из них сразу после переезда знакомство с Петербургом начинается не с Дворцовой площади и Летнего сада, а с территории вокруг дома на Гутуевском острове, имеющем свою уникальную историю.

Помимо высокого спроса на экскурсию, в качестве одного из первых откликов профессионального сообщества я получила приглашение выступить на мероприятии городского масштаба «Краеведческая лаборатория» в ЦРБ им.Мамина-Сибиряка в г. Пушкине с докладом об особенностях стартапа краеведческого проекта в новой библиотеке.

Ладность жизненной инженерии — в Кировский район Санкт-Петербурга я переехала именно из Пушкина (Царского Села) и при переезде искала для себя аналог загородной идиллии в городе. И нашла: мой нынешний дом в составе восстановленного мастерской Шретера комплекса зданий руинированной больницы им.Фореля в годы ВОВ входил во вторую линию обороны Ленинграда (3—4 километра до линии фронта), как еще несколько объектов: Авиагородок, дамбы Морского канала и Морской порт Ленинграда на Гутуевском острове. Именно с любви к утопающему в зелени и одновременно изнутри похожему на бункер дому с его высоченными арочными потолками и метровыми, хранящими абсолютную тишину стенами начался мой интерес к исторической застройке Кировского района. Мне даже экскурсию по нашему анклаву, ведущему свою историю с XVIII века, когда этим участком земли владел сподвижник Петра Первого адмирал Головин, предлагали делать, потому что материала и по усадебной истории, и по находившейся здесь позже, в XIX веке больнице «Всех скорбящих радости», в восстановленных корпусах которой теперь жилые квартиры, и по истории образовавшегося после войны Кировского жилгородка, собрано достаточно.

Может, и нет в этом противоречия, что дальше судьба повела меня по другим историческим адресам и вывела на Гутуевский остров... Наверное, это счастье, что даже сейчас, благодаря работе, умудряюсь чувствовать себя спокойной: золотая осень, и я из точки А «Форели» еду по облетающим багряной листвой улицам в точку «Б» на Гутуевский остров. Даже дорогу эту полюбила всем сердцем.

Мне кажется, как ни банально это прозвучит, очень важно знать и уважать историю того места, где тебе довелось проводить много времени — жить или работать. Именно поэтому, оказавшись на Гутуевском острове, о котором раньше, как и многие, не знала ничего, я решила развивать экскурсионное направление, помимо других важных и обязательных для библиотеки проектов. Сейчас я прямо в режиме реального времени вижу, как с каждой экскурсией информации становится все больше: продолжаю искать необходимые материалы, уточнять детали, расспрашивать старожилов.

Очередная наша экскурсия немного отличается от предшествующей, и я счастлива, что с появлением библиотеки богатая на события история Гутуевского острова обрела свой равноправный голос.

## *Чужих детей не бывает*

БКМК «Портал» — общедоступная универсальная библиотека. Точно так же, как наш фонд состоит из взрослых и детских книг, и мероприятия предназначены разным возрастным группам.

В скором времени откроем курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Они востребованы и проводятся многими библиотеками. Мы уже набрали две группы, и запись продолжается. Интересуются даже не столько работой на компьютере, сколько обучением обращению со смартфонами. Жалуются: внуки подарили модный телефон, а как им пользоваться, показать некогда. Вот и идут к нам со своими смартфонами: кому объяснить, как звонить, кого на Госуслугах зарегистрировать или помочь оформить номерок к врачу по Интернету, потому что по телефону в поликлинику не дозвониться.

Сотрудничаем с Советом ветеранов, в который входят и жители блокадного Ленинграда. Приглашаем их в Музыкальную гостиную «Клуб любителей винила»: коллекционер виниловых пластинок Игорь Леонидович Чудновский подбирает программу, приносит свои пластинки и проигрыватель.

Ретро-вечера соседствуют с мастер-классами по танго: на волонтерских началах удалось привлечь опытного педагога-тангейро, с которой летом мы даже провели танцевальный опен-эйр в парке Екатерингоф. Можно удивляться, зачем все это библиотеке, но факт остается фактом: после танцевального марафона на открытом воздухе у нас появились постоянные читатели, которые узнали о «Портале» именно там, и теперь активно посещают мероприятия в стенах библиотеки и приходят за книгами.

Ставший традиционным субботний «Семейный кинозал» собирает детей и родителей на просмотры мультфильмов. Конечно, мы тщательно подбираем репертуар, исходя из ценностей, которые должна нести библиотека.

Сейчас я понимаю, что даже возрастная маркировка «6+» не означает, что детский фильм будет воспринят всеми на ура. Однажды мы смотрели фрагменты такого детского, очень красивого и доброго фильма, в котором, тем не менее, есть сцена, где охотники ранят собаку, по ошибке приняв ее за дикого зверя, ворующего овец. Этого краткого момента хватило, чтобы вызвать истерику у семилетнего Славика. Его старший брат и другие дети семи-восьми лет остались смотреть фильм, а мы с мамой вывели захлебывающегося от рыданий мальчика из зала. Он все повторял одну фразу:

— Они в нее попали! Они в нее попали! Они в нее попали!

Никакие доводы о том, что в фильме четыре серии и «собачка еще всем успеет надоест», не действовали. Вроде успокоится, и опять:

— Вы не понимаете, они в нее ПОПАЛИ!

И тут я понимаю, что уже не могу сдерживать слезы. Не помню, когда плакала в последний раз, и вот мы уже ревом вдвоем. Девочки-библиотекари потом неделю вспоминали, как заведующая плакала вместе с мальчиком.

Славика мы в конце концов успокоили: переключили внимание, отвели на кухню, напоили чаем с пирожными. Возвращаться в зал он отказался категорически, несмотря на все заверения, что собачку уже давно вылечили, и она продолжает помогать людям. Оказалось, что он очень любит собак, и дома у него тоже есть собака...

После этого случая мы сделали оргвыводы. Дети настолько разные, что самое безопасное — показывать мультфильмы, так что Славик внес свой вклад в репертуар нашего «Семейного кинозала».

Я переживала, что он запомнит этот случай и не захочет возвращаться. Однако все произошло с точностью до наоборот. Вместе с братом они приходят несколько раз в неделю — участвовать в мастер-классах, смотреть мультики, выбирать новые книги. Но первым делом Славик бежит на кухню. Кухня — служебное помещение, для сотрудников, но этому мальчику теперь можно. Славик интересуется, осталось ли мороженое, которым его угощали в прошлый раз, согласен на пирожок, в крайнем

случае — на печенье. И когда выясняется, что вся кухня испачкана заварным кремом от пирожного, я говорю: «Не удивляйтесь, это наш Славик спешил на мастер-класс».

Все лето ребята постарше, десяти-двенадцати лет, оставшиеся в городе и шатающиеся по двору без дела, приходили в библиотеку коротать время. Естественно, нам надо было их занять, чтобы не сидели перед компьютером с утра до вечера. Наши сотрудники принесли из дома настольные игры, оказалось, дети никогда в них не играли, с сомнением уселись за стол... Так прошло несколько дней, а после выходных утром подхожу к дверям библиотеки, на крыльце перед закрытой еще дверью мнетя наша дворовая ватага:

— Во что сегодня играть будем?

Играли они у нас даже в прятки. Подхожу к рабочему столу, а из-под него голос:

— Не выдавайте, что я тут спрятался.

А друг его бегаёт, ищет, взмок весь. Наиграются, уйдут домой обедать, к вечеру приходят вновь. Всех ребят я знаю по именам, уже стали как родные.

Проблема видна невооруженным глазом. Когда ребенок не занят кружками и секциями, нет организованного досуга и хобби, неприкаянность и скука, незнание, чем и как себя занять, как раз и приводят к бесцельному шатанию по улице в поисках приключений или уходу в компьютерную реальность. Приходящие в «Портал» мальчишки оказались рады любому вниманию взрослых. Одна из наших библиотекарей догадалась занять их чтением вслух: разлягутся на подушках и слушают с таким благодарным вниманием, что невольно возникает мысль, а читали ли им родители в детстве перед сном? Если нет, лучше поздно, чем никогда. Сейчас еще хоть как-то можно восполнить этот пробел.

Сотрудничаем с расположенными в округе детскими садами и школой, отсюда к нам приходят организованные группы, и сами ездим к ним на мероприятия. Например, сейчас совместно с отделом пропаганды ГИБДД готовим квест для старшей и подготовительной групп детского сада по основам безопасности для пешеходов. Восторг у детей вызывают любые интерактивные мероприятия. Нам удалось даже начать их знакомить с редкими музыкальными инструментами: известная в городе арфистка Марина Аркан из дуэта «Арфография» выступила с детской программой. Дети смогли сами сравнить звучание струн классической и кельтской арфы и потанцевать под старинные мелодии.

Для оказавшихся в сложной жизненной ситуации ребят из Центра социальной помощи семье и детям Кировского района СПб провели Экогостинию. Основу программы составляла выставка настоящих птичьих гнезд, любезно предоставленная нам музеем Детско-юношеского центра Петродворцового района «Петергоф». С ним у нас много планов: привезти на Гутуевский остров выставку минералов и окаменелостей, выставку советских игрушек и предметов быта народов России.

Еще одно направление работы, кажущееся мне важным и перспективным, — сотрудничество с известным проектом «Дети Петербурга», который занимается адаптацией детей трудовых мигрантов и организует в библиотеках города занятия по русскому языку и подготовке к школе. На базе одного из филиалов ЦБС Кировского района уже идут такие занятия, мы обратились к руководителю проекта с предложением стать еще одной площадкой.

Мой рассказ не затронул и половины той работы, которую ежедневно ведет наш коллектив для того, чтобы библиотека с современными возможностями стала настоящей точкой роста для юных читателей и местом, объединяющим людей разных поколений, в котором каждый может найти для себя что-то интересное. В поиске идей для новых проектов, составлении программы мы опираемся и на свой родительский опыт: провести мероприятие надо так, как если бы ты готовил его для своего ребенка.

В тенденции наращивания функций библиотеки в соответствии с теми задачами, которые ранее выполняли другие учреждения культуры, я вижу специфику и сложность работы, но не проблему. Все, что помогает привлечь детей в библиотеку, приветствуется. Недавно Даня — мальчик из летней ватаги, слушавший, как им читают, но ни разу не бравший книги домой, — был замечен у книжных полок. Стоял, разглядывал — и не знал, что выбрать. Попросил дать что-то интересное. Предложила ему книги, которые читала своему сыну.

Максим Гуреев

## Будьте как дети...

Главы из книги \*

Он умеет играть на валторне и фисгармонии, умеет петь, танцевать чечётку и рисовать, осведомлён в показывании фокусов и игре на бильярде, умеет выступать на эстраде, ходить по перилам балкона на последнем этаже Ленинградского Дома книги, летать в небеса и там застревать, у него неплохо получается изображать муху и своего несуществующего брата Ивана Ивановича, ещё он, разумеется, умеет писать стихи, рассказы и пьесы, придумывать философские трактаты, наконец, он умеет придумывать псевдонимы, лазать по деревьям, напяливать шляпу так, чтобы она весьма комично ложилась на оттопыренные его уши, как на жестяной карниз, умеет закатывать глаза, изображая покойника.

Одним словом, Даниил Иванович Ювачёв-Хармс умеет всё, за исключением одного: он не умеет любить детей — этих «жестоких и капризных старичков».

— Вот те раз!

— Как же можно не любить этих милых малышей, этих славных карапузов? Да это просто невозможно, ей-богу! — звучат возгласы и вопросы. — Это просто уму непостижимо!

Однако Даниил Иванович твёрдо рассуждает на сей предмет: «Все вещи располагаются вокруг меня некими формами. Но некоторые формы отсутствуют. Так, например, отсутствуют формы тех звуков, которые издают своим криком или игрой дети. Поэтому я не люблю детей... Травить детей — это жестоко. Ночто-нибудь ведь надо же с ними делать!» — и далее: «...с улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казнь. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что ещё целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я напускаю на них второй столбняк, и они все околевают».

Известно, что дети бывают злыми, жестокими, но сами того они не понимают, потому что им не ведомы слова философа Христиана Томазия: «Не делай другим того, чего не желал бы для себя».

«Эх, Томазий, Томазий...» — мыслится.

А тем временем эти жестокие дети растут-растут, конечно, но не вырастают.

Они никогда не становятся взрослыми, потому что не хотят ими стать.

Все они желают лишь одного: быть похожими на Питера Пэна, у которого есть молочные зубы.

---

\* Книга «Даниил Хармс. Застрявший в небесах» готовится к выходу в издательстве АСТ.

У Даниила Ивановича, разумеется, уже давно выпали все молочные зубы, и он ни за что на свете не станет причинять детям зло на деле, но с удовольствием будет воображать себе их мучения, потому как уже давно пребывает в полной уверенности, что его подобные страсти никогда не постигнут...

\* \* \*

У младшей сестры Даниила Ивановича — Елизаветы Ивановны Ювачёвой (Грицыной в замужестве) — было двое детей: мальчики Кирилл и Владимир. С ними она была строга, даже груба, а порой и сквернословила в их присутствии.

У Надежды Ивановны Ювачёвой-Колобакиной (мамы Дани Хармса) было четверо детей. Она была своенравна, несдержанна, деспотична.

У Натальи Ивановны Колобакиной (тёти Даниила Ивановича) не было детей. Даня знал её доброй, терпеливой, улыбчивой (по крайней мере по отношению к себе). Причём это отношение к нему не изменилось и тогда, когда он вырос и перестал быть ребёнком. А может быть, Хармс вырос, но не перестал быть ребёнком? Как ему представлялось, остался им чудесным образом, ведь сказано у Святого Евангелиста Матфея: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царствие Небесное», — и после него не должно было быть детей вообще, этих «в лучшем случае, жестоких и капризных старичков».

А в худшем?

А в худшем:

Меня закинули под стул,  
Но был я слаб и глуп.  
Холодный ветер в щели дул  
И попадал мне в зуб.  
Мне было так лежать нескладно,  
Я был и глуп и слаб.  
Но атмосфера так прохладна,  
Когда бы не была-б,  
Я на полу-б лежал беззвучно,  
Раскинувши тулуп.  
Но так лежать безумно скучно:  
Я слишком слаб и глуп.

Слабость и глупость всегда вызывают раздражение и брезгливое к себе отношение. Другое дело, что Даниил Иванович уже давно перерос это чувство к самому себе (если оно вообще было), усвоив, что он «лучше всех <...> умнее всех <...> может быть, на Марсе есть и умнее меня, но на земле не знаю».

Это абсолютно нормальное для ребёнка самопозиционирование, что он умнее всех, особенно, когда ему, в отличие от других детей, удалось выбраться из-под стула, куда его запихнули взрослые (настолько он им надоел своим бесконечным нытьём, капризами, идиотничаньем), и тем самым он заслужил их (взрослых) уважение: мол, какой молодец, какой умник.

И вот теперь Д.И. в свойственной ему высокопарной манере, видимо, изображая своего вымышленного брата, приват-доцента Ивана Ивановича, говорит: «Я не люблю детей, стариков, старух и благоразумных пожилых».

С детьми, стариками и старухами всё более или менее понятно, потому что они похожи друг на друга, потому что они стоят в начале и в конце жизни как привратники, как кустодии (стража) при вратах Иерусалимского храма, а, стало быть, знают что-то такое, что неведомо остальным, посему и вызывают ненависть, а также неосознанное желание уподобиться им.

Что же касается до «благоразумных пожилых», то ничего, кроме горькой усмешки, эти существа вызвать не могут, ведь лукаво притворяются «благоразумными разбойниками», «волками в овечьей шкуре» ли, посвящёнными, якобы знающими ответы на все вопросы, якобы различающими тайные помыслы, как об это сказано у Святых Отцов Церкви в «Добротолубии».

Там же в «Добротолубии» Хармс вычитал слова святого Василия Великого о детях, «ещё не навывших порочности», и впал при этом в противоречивое смятение, ведь всякий человек, будучи рождённым во грехе, априори подвержен скверне порока, и ребёнок в этом смысле ничем не отличается от взрослого, разве что первый порока своего не ведаёт, а второй осознаёт его и тешится этим знанием.

— Да как же такое возможно? — восклицают писатель Колпаков, вслед за ним Вера, Надежда, Любовь и мать их София и, наконец, господин Дандан (перечислены псевдонимы Хармса), — Да что же это на самом деле?

Действительно:

Да что же это в самом деле?..  
Такая вялость в теле,  
Мучительно ежесекундно чувствовать своё бессилие  
Стихи совсем не сочиняются.  
И каждый день мои пороки  
С утра нахально начинаются.  
Нет, жили иначе пророки!  
Морщины изрезали мои руки.  
Я целый день по комнате брожу от скуки.  
Во мне не стало силы воли  
Я начал пухнуть от душевной боли.  
Оставьте меня сознания мухи!

Пороки, пророки, морщины, мухи сознания, муки сознания, сублимация собственного инфантилизма, подросток-аутист, который видит в своих ровесниках соперников или врагов, переросток, уверенный в том, что самым умным ребёнком является именно он, чтение вслух, страх, душевная боль, переходящая в душевную болезнь.

Перечисление как способ нагнетания обстановки, как психологический приём, необходимый для создания ощущения безнадёжности и бессмысленности всего сущего, когда слова можно просто наудалую записывать в блокнот безо всякой уверенности в том, что они когда-либо пригодятся. И тут происходит парадоксальное: невыносимое, когда хочется наложить на себя руки, бросить всё, проклясть всех, вдруг становится желанным.

Итак, в ноябре 1927 года Даниил Хармс познакомился с редактором детского журнала «Новый Робинзон» и одновременно редактором детской редакции Госиздата (впоследствии — «Детиздата») Самуилом Маршаком. Для многих писателей того времени (Борис Житков, Виталий Бианки, Евгений Шварц, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Николай Олейников) встреча с человеком, по сути, стоявшим у истоков советской детской литературы, стала судьбоносной.

Даниил Хармс не стал в этом смысле исключением.

В конце 20-х — начале 30-х годов Д.И. (его друзьям по литературному цеху в том числе) стало ясно, что зарабатывать на жизнь тем видом творчества, которым они занимаются и которое проповедают, невозможно в принципе (более того, небезопасно по идеологическим соображениям). Становиться же пропагандистами, «агитаторами, горланами, главарями» перечисленные выше литераторы не могли хотя бы потому, что не имели к тому ни таланта, ни призвания, ни склонности характера, а говорить

об их желании совершить над собой такой дикий эксперимент, думается, просто бессмысленно.

Интуитивный поиск писательского поприща (читателя в первую очередь), который ведёт всякий писатель, привёл Самуила Яковлевича Маршака к пониманию того, что именно дети в стране победившего социализма являются единственным бесценным и безусловным богатством, ради которого даже самые твердокаменные и кровожадные большевики пойдут на всё, потому что дети — это их будущее, без которого невозможна ни идеология, ни государственность, ни великие свершения (во имя Ленина, Сталина... не так важно).

В 1926 году об этом громко, зримо, броско (в своей манере, разумеется) заявил «лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи» Владимир Маяковский:

Нам  
дорога  
указана Лениным,  
все другие —  
кривы и грязны.  
Будем  
только годами зелены,  
а делами и жизнью  
красны...  
Старый мир  
из жизни вырос,  
развевайте мёртвое в дым!  
Коммунизм —  
это молодость мира,  
и его  
возводить  
молодым...

Уже в 1933 году при активном участии А.М.Горького было принято постановление ЦК ВКП(б) об организации Государственного издательства «Детгиз» в Москве и Ленинграде. Изначально Алексей Максимович был против разнесения работы издательства между двумя городами (основные административные и производственные мощности тогда находились в Москве), но не мог не признать, что в Ленинграде сконцентрировано «наибольшее количество работников по детской книге». Назначение С.Я.Маршака на должность руководителя ленинградской детской редакции («Этот человек знает и любит детей» — А.М.Горький) заставило поменять Алексея Максимовича своё мнение (до конца своей жизни он будет поддерживать ленинградцев и защищать их от яростных нападков столичной партийно-писательской номенклатуры).

В 1934 году Самуил Маршак выступил на Первом Съезде советских писателей с программной речью о необходимости создания детской литературы в СССР на государственном уровне: «У наших поэтов и прозаиков есть всё, что нужно для создания замечательной сказки, великолепного фантастического романа, героической эпопеи, какой ещё не бывало. Каждый день исправно поставляет нам героические сюжеты. Сюжеты можно найти и над землёй, и под землёй, и в школе, и в поле, и в настоящем, и в прошлом, и в будущем, потому что будущее нам открывается с каждым днём, а на прошлое мы смотрим новыми глазами. Как ни высоки героические дела сегодняшнего дня, — завтра их обгоняют другие, ещё выше... Юный читатель любит молодых героев. Вспомните, как увлекались мы когда-то подвигами юного Роланда и приключениями пятнадцатилетнего капитана из повести Жюль Верна. А разве мало у нас молодых героев, чьи биографии кажутся поистине сказочными? Мало ли у нас водителей кораблей, самолетов, мало ли замечательных людей, прошедших подлинно героический путь от беспризорщины военных лет до командных постов в науке, технике, искусстве?

В нашей стране может возникнуть превосходная детская литература ещё и потому, что у нас превосходный читатель. Найдите другого такого читателя, который был бы способен отшагать десять километров туда и десять обратно, чтобы принести из районной библиотеки "стуящую", как он говорит, "книжечку".

У нас растёт сильное и одарённое поколение. И писать детские книжки — великая честь для наших литераторов».

Итак, путь от детского журнала «Новый Робинзон» до Всесоюзного детского издательства был пройден довольно быстро (на самом верху услышали товарищей Горького и Маршака), а игровой посыл ОБЭРИУТов самым неожиданным образом пришёлся ко двору, получил новое профессиональное применение, о котором ещё несколько лет назад никто из «чинарей» и подумать не мог. Вдруг выяснилось, что праздничный балаган, к которому всегда тяготел Хармс, яркий хеппенинг, шутки, загадки, словесная *заумь* и каламбуры легализованы и востребованы, другое дело, что основным потребителем такого рода литературного продукта отныне являются дети Страны Советов. Более того, профессия детского писателя оказалась весьма привилегированной и достаточно хорошо оплачиваемой.

Как к своему новому назначению отнёсся Даниил Иванович, можно только догадываться, но в результате произошло то, что свойственно человеку с мозаичным шизофреническим сознанием: невыносимое, ненавистное и даже отвратительное стало желанным, причём абсолютно искренне, без «фиги в кармане», и это была своего рода перверсия, но уже наоборот.

Шёл по улице отряд —  
сорок мальчиков подряд:  
раз,  
два,  
три,  
четыре  
и четырежды  
четыре,  
и четыре  
на четыре,  
и ещё потом четыре.

В переулке шёл отряд —  
сорок девочек подряд:  
раз, два,  
три, четыре,  
и четырежды  
четыре,  
и четыре  
на четыре,  
и ещё потом четыре.

Да как встретились вдруг —  
стало восемьдесят вдруг!  
Раз,  
два,  
три,  
четыре,  
и четыре  
на четыре,  
на четырнадцать  
четыре,  
и ещё потом четыре.

А на площадь  
повернули,  
а на площади стоит  
не компания,  
не рота,  
не толпа,  
не батальон,  
и не сорок,  
и не сотня,  
а почти что  
МИЛЛИОН!

Раз, два, три, четыре,  
и чегырежды  
четыре,  
сто четыре  
на четыре,  
полтора  
на четыре,  
двести тысяч на четыре!  
И ещё потом четыре!  
Всё.

Поверить в то, что это написал человек, ненавидящий (по его уверению) детей, трудно. Но, с другой стороны, кто может написать о себе подобных так точно, иронично и с такой симпатией, сделать это как бы изнутри (ведь всякий взрослый пишет о детях и для детей априори свысока), а все недомолвки, обиды оставить при этом за кадром, забыть на время, чтобы потом вновь их вспомнить и снова забыть... Всё как у маленьких читателей.

В 1928 году у Д.И.Хармса вышли сразу три детские книги: «О том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил», «Озорная пробка» и «Театр». На следующий год было опубликовано ещё четыре книги Хармса, и он по праву стал одним из наиболее востребованных и популярных детских писателей.

Впрочем, подобная творческая плодовитость Даниила Ивановича, столь ярко выступившего в новом для себя амплуа, у многих его коллег по литературной «песочнице» вызвала сомнения, зазвучали обвинения в халтуре, в работе спустя рукава.

Показательно, что во время нахождения в ДПЗ (дом предварительного заключения) на Шпалерной, признаваясь в своей «антисоветской деятельности», Хармс каялся и в том, что относился к своим обязанностям детского писателя несерьёзно, халтурил, чем обманывал советских детей. Теперь-то мы понимаем, что это был самый обычный и хорошо узнаваемый алгоритм детской самозащиты — «это не я, я больше так не буду».

Но это будет только через три года, а пока... погружение Даниила Ивановича в детскую литературу стало необычайно глубоким и серьёзным. Можно предположить, что он был в ней изначально, просто сам об этом не догадывался. Ему удавалось то, что было не под силу взрослым писателям, и это, разумеется, у некоторых из них вызывало зависть, которая в тридцатых годах, как известно, многим сломала судьбы и сгубила жизни.

Конечно, помнил Даня Ю., как прятался за классной доской и отбивал чечётку, стараясь попадать в ритм громогласным каблукам словами, которые разбрасывал, как горох, как камешки, и они барабанили по деревянному, выкрашенному масляной краской полу. Разве такое можно забыть? Выработывал таким диковинным образом вещество своего текста, шёл от звучащего в голове ритма, от настойчиво повторяющихся букв и слов, упорно теснящих друг друга.

И это уже потом он узнал, что в своей книге «Маленькие дети» Корней Чуковский доказал, что для детей принципиально важен ритм, но не смысл. Сами того не ведая, юные читатели разрушают законы традиционной логики (у них своя логика), противопоставляя ей нелепицу, абсурд, который и считают нормой.

«Страсть к разрыванию связей между предметами доказывает, что нелепицы усиливают в ребёнке ощущение реальности», — пишет К.И.Чуковский.

Ритм, рождающий поэтическую мистирию, фантазийный хаос, игру в слова и смыслы, в придумывание хеппенингов и смешных гэгов — вот, что привнёс Хармс в детскую литературу!

Каждая встреча Дандана с детьми производила фурор. Ведь, кроме чтения стихов, вот таких, например:

— А вы знаете, что СО?  
А вы знаете, что БА?  
А вы знаете, что КИ?  
Что собаки-пустолайки  
Научились летать?  
Научились точно птицы, —  
Не как звери,  
Не как рыбы, —  
Точно ястребы летать!.. —

Даниил Иванович показывал детям фокусы, играл на музыкальных инструментах, пел и, разумеется, танцевал.

Художник Борис Семёнов вспоминал: «Читать им (детям) вслух было для Хармса одной из любимых его игр. Он давал отлично поставленный маленький спектакль, где всё было импровизировано и всё точно рассчитано. Тут Хармс демонстрировал, как он умел управлять массой разгулявшихся, невообразимо буйных детишек. Вот он поднимается на сцену среди страшного гомона — длинноногий, чопорный, спокойный. Не машет руками, не кричит: “Тише, дети! Перестаньте шуметь!..” Даниил Иванович молча выходит на середину сцены, поправляет манжеты и становится ещё выше ростом. Как это у него получается, непонятно. Загадочный вид, необычный костюм, трубка в зубах (хотя она сейчас и не дымит) сами по себе действуют успокаивающе. Шум затихает, все повернулись к сцене и уставились на молчащего человека. Не торопясь, он вынимает из нагрудного кармана красивую записную книжечку в сафьяновой красной обложке с золотым обрезом, быть может, у самого дедушки Крылова была ещё такая книжечка, и говорит негромко, не напрягая свой красивый голос:

— Сейчас, дети, я прочитаю вам стихи...»

Как всё-таки хорошо, что никто из его юных слушателей (Хармс выступал перед детьми на Путиловском заводе) не знал, что в комнате этого смешного гражданина в шляпе, клетчатом пиджаке и брюках-гольф висела надпись: «Здесь убивают детей».

Каких именно детей?

Каким способом убивают?

Почему именно здесь?

За что?

Никто, да и сам Д.И., не знал ответов на эти вопросы. Скорее всего, он, начертав эту вывеску, помышлял лишь об одном лопухом мальчишке по имени Даня Ювачёв, не мог скрыться от его простого и открытого взгляда, в котором таилось что-то хармсовское — «вот как такого негодника не убить?!» С этим вопросом к самому себе и выбегал на улицу, шёл быстро, «немного сутулился. У него был тик. Он как-то очень быстро подносил обе руки, — вернее, два указательных пальца, сложенных домиком, к носу, издавая такой звук, будто откашливался, и при этом слегка наклонялся и притоптывал правой ногой, быстро-быстро... Видимо, для детей в этом его облике

было что-то очень интересное, и они за ним бегали» (из воспоминаний второй жены Даниила Хармса Марины Малич).

Решающая роль Самуила Маршака в этом победоносном вхождении Дандана в детскую литературу рубежа 20—30-х годов XX столетия безусловна и неоспорима. «Учителями своими считаю Введенского, Хлебникова и Маршака», — запишет Д.И. в своём дневнике в 1929 году.

Конечно, Маршак понимал, что имеет дело со своеобразным человеком и необычным поэтом (он был старше Хармса на 18 лет). Оказывая ему покровительство, а порой и материальную помощь, Самуил Яковлевич не стеснялся сам учиться у Даниила Ивановича той детской врождённой лёгкости, непосредственности и удивительно музыкальному чувству языка, когда из брошенного наудалую словесного гороха, бессмысленных на первый взгляд речевых камешков и верно найденного ритма рождаются стихи, которые невозможно придумать, «вымучить».

Так, в соавторстве с Хармсом Маршаком были написаны знаменитые «Весёлые чижи»:

Жили в квартире  
Сорок четыре  
Сорок четыре  
Весёлых чижа:  
Чиж-судомойка,  
Чиж-поломойка,  
Чиж-огородник,  
Чиж-водовоз,  
Чиж за кухарку,  
Чиж за хозяйку,  
Чиж на посылках,  
Чиж-трубочист...

Прозаик и драматург Евгений Шварц так описывал влияние Даниила Ивановича на Самуила Яковлевича: «Очистился от литературной, традиционной техники поэтический язык. Некоторые перемены наметились и в прозе. Во всяком случае, нарочитая непринуждённость как бы устной, как бы личной интонации, сказ перестал считаться единственным видом прозы».

С другой стороны, разница в возрасте и «устройстве головы», разумеется, давала о себе знать. Например, Хармс с известной долей иронии относился к чрезмерному осторожничанью Маршака, который ревностно соблюдал правила той игры, в которую играли советские писатели (сам он был членом правления СП СССР). Самуил Яковлевич безжалостно вымарывал из сочинений своего подопечного сомнительные шутки и залихватские намёки на известных политических современников, ему было важно сохранить талантливого детского писателя для литературы и для читателей.

К сожалению, этой затее Маршака не суждено было увенчаться успехом.

В 1931 году Д.И.Хармс и А.И.Введенский были арестованы.

В очередной раз возвращаясь к этому событию, стоит добавить, что во время допросов Даниил Иванович, весьма активно и даже искренне сотрудничавший со следствием, не сказал ни слова о Маршаке, хотя вопросы о нём, разумеется, были. Уже спустя годы выяснилось, что вся эта операция, затеянная ОГПУ против «чинарей», была направлена на персону куда более значимую и влиятельную в советских литературных кругах в целом и в детской литературе в частности — С.Я.Маршака: изначальный конфликт между Москвой и Ленинградом продолжал тлеть.

Безусловно, молчание Хармса спасло Самуила Яковлевича.

И не только его...

Лишь в 1937 году детское издательство в Ленинграде удалось разгромить окончательно. До этого момента оно продолжало работать, активно публикуя ОБЭРИУТов, приговор которым, впрочем, был уже вынесен...

Утверждение, что уничтожение «детписовской» деятельности «чинарей» произошло потому, что она носила категорически аполитичный и радикально антисоветский характер, лежит на поверхности и потому едва ли имеет отношение к действительности.

Мыслится, что настоящие причины этого трагического погрома кроются в другом, а броские формулировки типа «сочувствие троцкистско-зиновьевской банде», «шпионаж в пользу Германии, Польши, Японии» (на выбор), «антисоветская пропаганда», «монархический заговор» были призваны скрыть истинную подоплёку данной спецоперации ОГПУ-НКВД.

В 1925 году в Ленинград по направлению ЦК ВКП(б) из города Бахмут (ныне Артёмовск) Донецкой губернии приехал ответственный секретарь газеты «Всероссийская кочегарка» Николай Макарович Олейников. Было известно, что он происходил из зажиточной семьи донских казаков, после революции перешёл на сторону красных, по доносу родственников был схвачен белогвардейцами, подвергнут жестоким пыткам, избит до полусмерти, однако выжил. Также ходили слухи, будто бы он убил собственного отца, что в годы гражданской войны было событием чуть ли не ядовитым.

В Ленинград же он прибыл по партийной «целёвке» на работу в газету «Ленинградская правда», но обстоятельства сложились таким образом, что Олейников оказался в детском журнале «Новый Робинзон», где и познакомился с Маршаком.

Самуил Яковлевич, привечавший ярких, харизматичных персонажей, не мог пройти мимо Николая Макаровича — незаурядного полемиста, самобытного поэта и удалого остролова. Человек без образования, с весьма скромным опытом работы в провинциальных печатных органах стал душой «Нового Робинзона», а затем и детского отдела Госиздата, известного как «Академия Маршака», создателем детских журналов «Чиж» и «Ёж», которые именно ему были обязаны особой непередаваемой атмосферой непрекращающегося праздника, постоянных шуток и шарад, без которых не обходилось ни одно редакционное собрание.

Писатель и переводчик, сын Корнея Чуковского, Николай Чуковский писал: «Весь этот пятый этаж ежедневно и в течение всех служебных часов сотрясался от хохота. Некоторые посетители детского отдела до того ослабевали от смеха, что, покончив свои дела, выходили на лестничную клетку, держась руками за стены, как пьяные».

И в центре этого нескончаемого балагана всегда стоял Николай Олейников, у которого, как и положено в этой компании, был псевдоним — Макар Свирепый.

Кто я такой? Вопрос нелепый!

Я — верховой Макар Свирепый.

Странный псевдоним, право...

Особенно, если не знать, что Макар Олейников донёс на собственного сына...

Евгений Шварц, хорошо знавший Николая Макаровича, вспоминал: «Он как-то предупредил меня <...> что если ему будет нужно, то он и меня уничтожит <...> Да, он, вероятно, мог убить, но при случае и не в свою пользу <...> Он был умён, силен, а главное — страстен. Со страстью любил он дело, друзей, женщин и — по роковой сущности страсти — так же сильно трезвел и ненавидел, как только что любил. И обвинял в своей трезвости дело, друга или женщину. Мало сказать — обвинял: безжалостно и непристойно глумился над ними. И в состоянии трезвости находился он много дольше, чем в состоянии любви или восторга. И был поэтому могучим разрушителем. И в страсти, и в трезвости своей был он заразителен. И ничего не прощал... Олейников брызгал во врага, в самые незащищённые места его, серной кислотой».

А если учесть, что Олейников был ортодоксальным большевиком, разумеется, членом партии, участником гражданской войны, то «особенности» (сказано мягко) его характера не замедлили проявиться в коллективе людей творческих, амбициозных, тоже, следует заметить, очень непростых и беспартийных.

Так, негласное соперничество Николая Макаровича и Самуила Яковлевича в результате закончилось их полным разрывом, что привело к брожениям в ещё совсем недавно дружном коллективе детской редакции. Выступая в качестве, говоря современным языком, трикстера, Олейников рассорил Бориса Житкова и Евгения Шварца, «столкнул лбами» Николая Заболоцкого и Николая Харджиева — писателя и коллекционера. Открыто смеялся над Хармсом за то, что тот гордился своим отцом Иваном Павловичем Ювачёвым — революционером-народовольцем и сумасшедшим «богоискателем». Неизбежным также стал конфликт Николая Макаровича с Александром Ивановичем Введенским, которого крайне раздражал большевистский задор Олейникова.

О том, почему всё происходило именно так, мы можем лишь строить предположения, выдвигать гипотезы.

Гипотеза первая. Испытания, выпавшие на долю Николая Олейникова в молодости, бесспорно, не могли пройти для его психики бесследно. Вечная борьба за выживание, за идею, за власть сформировала у него манию гипертрофированного доминирования, он просто не мог не вступать с окружающими его людьми в конфликты, не мог не унижать их, потому что только таким образом имел возможность доказать (себе в первую очередь) собственное превосходство, самоутвердиться, реализовать комплекс провинциала, поставленного руководить столичными «расслабленными» интеллектуалами. При этом он был совершенно уверен, что поступает абсолютно правильно, во благо дела, идеи и творчества. Недаром над входом в его квартиру в писательском доме на Набережной канала Грибоедова 9 висела табличка: «Поэт и светлый гений».

Гипотеза вторая. После программной речи С.Я.Маршака на Первом Съезде СП СССР в Москве в отрасли (детской литературе) появились значительные деньги, без которых не могли обойтись даже самые рьяные большевики. Следовательно, борьба за власть и финансирование обрела нешуточный размах, когда писательская профессия в СССР обрела статус высокооплачиваемой. Специально провоцируя и разжигая конфликты среди литераторов (и без того склонных конфликтовать), Олейников расшатывал писательское сообщество изнутри, сбрасывая тем самым «попутчиков».

Бесспорно, Николай Макарович действовал по классической схеме «разделяй и властвуй», и до определённого момента это работало. В частности, показательно, что первая волна арестов ОБЭРИУТов-«чинарей» 1931—1932 годов его не коснулась никоим образом, хотя имя Олейникова фигурировало во всех судебных документах и показаниях обвиняемых.

Кто был этот человек, приехавший по партийному направлению с Дона в Ленинград, по большому счёту не знал никто. А сам Николай Макарович любил повторять, «что близких людей нет у него», подчеркивая тем самым свою закрытость.

Но время шло, и первый звонок раздался в 1935 году, когда коммунисту Олейникову Н.М. пришлось каяться на писательском партсобрании в своих прегрешениях: «Я до сих пор не могу понять, каким образом я, член партии с 15-летним стажем, мог докатиться до тех высказываний, какие имели место <...> Уже с первых шагов в этом направлении я должен был остановиться и понять, в какую тину засасывает меня моя юродствующая юмористика. Но я ничего не замечал <...> Суровая и беспощадная критика не сразу была осознана и понята мною. Мне становится страшно при мысли, что я навсегда буду лишён возможности быть в первых рядах строителей социализма».

Поводом к разбирательству послужила публикация абсолютно пустяшного (в литературном смысле, откровенно говоря, тоже) стихотворения «Муха»:

Я муху безумно любил!  
 Давно это было, друзья,  
 Когда ещё молод я был,  
 Когда ещё молод был я...

Скандал, разгоревшийся вокруг несчастной «Мухи», явно послужил предлогом, прецедент был создан, и тучи над Николаем Макаровичем начали стремительно гущаться.

Следует заметить, что к этому времени Ленинградская редакция Детгиза была уже на грани закрытия, большинство её сотрудников лишись работы, Самуил Маршак был окончательно отодвинут Олейниковым, в руках которого сконцентрировалась как редакторская, так и административно-хозяйственная власть, смерть же А.М.Горького в 1936 году окончательно подвела черту под деятельностью редакции.

Стало быть, работа была сделана и в услугах Н.М.Олейникова больше не нуждались, хотя сам он этого, конечно же, не понимал, просто не мог поверить, что он больше не нужен.

В 1937 году ЦК ВЛКСМ была проведена ревизия деятельности Ленинградского отделения Детгиза, по результатам которой оно было закрыто.

В этом же году Николай Макарович Олейников был арестован и как участник «контрреволюционной вредительской шайки врагов народа, сознательно взявшей курс на диверсию в детской литературе», был казнён в числе 50-ти «японских шпионов» на расстрельном полигоне Левашовская пустошь.

Откуда в этой истории взялись «японские шпионы» понять ещё можно — Н.М.Олейников дружил с театральным критиком Лидией Жуковой и её мужем — известным японистом и востоковедом Дмитрием Жуковым, который тоже был расстрелян в тридцать седьмом.

А вот что показала ревизия Детгиза (*ревизия — проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений или должностных лиц за определённый период; основной метод финансового контроля*) — растраты, воровство, взятки? — мы, думается, не узнаем никогда...

Хармс сидит за столом и пишет: «Я иду в лесок. Вот кустики можжевельника. За ними меня никто не увидит. Я направляюсь туда.

По земле ползёт большая зелёная гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю её пальцем. Она сильно и жилисто складывается несколько раз в одну и в другую сторону. Я оглядываюсь. Никто меня не видит. Лёгкий трепет бежит по моей спине.

Я низко склоняю голову и негромко говорю:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь...

На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась».

Даниил Иванович откладывает рукопись в сторону, встаёт из-за стола и подходит к окну.

Какое-то время Хармс стоит неподвижно, но потом вдруг резко подносит указательные пальцы, сложенные домиком, к носу, откашливается, наклоняется вперёд и начинает быстро-быстро притопывать правой ногой.

Очевидно, что это тик, который сколь быстро приходит, столь же быстро и отступает.

Когда приступ заканчивается, Даниил Иванович выглядывает в окно и видит стоящих на тротуаре детей, которые машут ему руками и кричат: «Чармс, Чармс, выходи гулять!»

*Ольга Балла*

## И это будет наш мир

**Руслан КОЗЛОВ. Stabat mater: Роман о милосердии. — М.: Изд-во АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022. — (Большая проза);**  
**Шамиль ИДИАТУЛЛИН. Возвращение «Пионера»: Роман. — М.: Изд-во АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022. — 349, [3] с. — (Другая реальность);**  
**Дмитрий ИСАКЖАНОВ. Толкование прошлого: Роман. — СПб.; М.: RUGRAM\_Пальмира, 2021. — 407 с. — (Пальмира — проза)**

Что объединяет все три этих романа — сколько бы ни было различий между их авторами, между видением ими мира, их повествовательными манерами? Ближайшим образом — общий тип происходящего в каждом из них: попадание людей в ситуацию, в которой непонятно, что и как делать, для которой нет заготовленных правил и моделей поведения, правила приходится угадывать, нащупывать, изобретать (не совсем, конечно, с нуля — всякий раз на основании некоторых априорных ценностей, которые как таковые не проблематизируются, что, кстати, способствует нахождению решений). Но это еще не все: существенным элементом в каждом из случаев оказывается детство, начальная пора жизни и соответствующее ей человеческое состояние.

\* \* \*

Руслан Козлов, много лет работающий в детском хосписе, в своем романе соединил этот, сам по себе невыносимый, опыт с коронавирусной ситуацией, доведя ее тем самым до предела — чтобы было еще невыносимее, чтобы тем сильнее действовало. В мире разражается пандемия, по всеохватности подобная той, что устроил нам COVID-19, — с той разницей, что новой болезнью, синдромом Гувера-Джонса (СГД), болеют только дети. И смертность от нее — стопроцентная.

Козлов моделирует предельную ситуацию, априори безнадежную (из заболевших детей в его мире не выздоравливает никто) и безвыходную (лекарств от болезни — и даже сколько-нибудь внятного понимания ее природы — у медицины нет; все, на что она способна, — делать чуть более выносимыми последние страдания). Медицина здесь возможна лишь паллиативная, надеяться практически не на что. Или все-таки есть на что?

(Знающий работу и жизнь хосписов изнутри автор показывает эту жизнь со всеми ее техниками и практиками так, как способен только инсайдер: как своего рода рутину и, как ни трудно такое вымолвить, — норму.)

Вопрос о возможности надежды Козлов на протяжении романа — при всей отчаянности описываемого положения — оставляет настолько открытым, что это создает надежду само по себе. Прошу прощения за спойлер: небеспочвенную.

Роман, собственно, не совсем о детях как таковых. Куда скорее он — о взаимоотношениях взрослых (которые сами по себе и трудны, и грешны, и раздираемы страстями) друг с другом и с самими собой в почти неразрешимой ситуации; в пределе же — о борьбе добра и зла, света и тьмы. (Это одновременно — психологический и «достоевский» роман идей с монологами, диалогами, спорами о ценностях.) Здесь есть отчетливо, без переходов и полутонов, положительные и отрицательные герои, причем положительность никоим образом не предполагает идеальности, «правильности» и не требует ее. Тому, чтобы оказаться на стороне добра, не мешает ни личная сложность, ни слабость, ни обремененность грехами, ни раздираемость страстями. Ни центральная героиня романа Ника (с характером, трудновыносимым даже для нее самой), ни второй центральный герой, Иван Николаевич, не идеальны ни в малейшей степени (последний же мало того, что терзаем фобиями, но из-за этого, хотя и поневоле, в детстве оказывается причиной смерти собственной матери — по существу, собственными руками ее убивает). При этом оба они — герои сильнее-положительные. Для того, чтобы встать на сторону добра, достаточны — и необходимы — два условия: сознательный ценностный выбор и способность к состраданию (и напрямую следующему из него милосердию). Даже, собственно, одни только, неразделимые, сострадание и милосердие (разве что еще любовь, но она, кажется, состраданию и милосердию тождественна): они, если есть, приводят к правильному ценностному выбору безошибочно. Даже если ты трус и (невольный) убийца, — ты и тогда можешь быть хорошим человеком.

Но да, без детей тут ничего бы не получилось.

Дети тут прежде всего прочего — точки уязвимости: не только для своих родителей, но для всего взрослого мира в целом. Они — те, от чьих страданий взрослым больнее и мучительнее всего, — испытание взрослым на способность к милосердию и достойному поведению. Не все выдерживают.

Активно действующий герой-ребенок там один-единственный (скорее, активно присутствующий; действовать ему почти невозможно, он болен и на протяжении основной части романа прикован к постели), но присутствует он настолько активно, что оказывается в числе центральных персонажей: мальчик Алеша. Это он разговаривает с ангелом — который, в свою очередь, разными способами подтверждает своему маленькому собеседнику собственную реальность. Кстати, указывает он и на то, что из катастрофы есть выход, — правда, не говорит, какой именно. Это людям предстоит выяснить самостоятельно.

Все остальные дети присутствуют скорее фоном, упоминаниями, — за исключением, правда, пары влюбленных друг в друга пациентов хосписа, Риты и Лени (странная мысль: случайно ли имена их повторяют имена Леонида Аронсона и жены его Риты Пуришинской?). Рита с Леной действуют там вполне активно, но дети они только по своему юридическому статусу — и по уязвимости для болезни. Вообще-то они уже подростки, претерпевающие гормональный пожар, и живут по взрослым моделям. Можно еще один спойлер, совсем небольшой? Рита в конце концов беременеет и оказывается второй, после Алеши, пациенткой хосписа, сумевшей пережить смертельную до тех пор болезнь. Жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом.

Это одновременно антиутопия и утопия. Антиутопия — потому, что мир Козлова в некотором смысле беспощаднее нашего: мало того, что смертность от болезни там стопроцентная, но еще и государство, порешившее закрыть хосписы и отправить детей умирать по домам, без помощи, в ничем не ослабляемых муках, жестоко расправляющееся с теми, кто сопротивляется такому решению, соперничает в свирепости с тем, что досталось нам в историческом опыте. Утопия же — потому, что выход, хотя и, по существу, сверхъестественный, там в конце концов почти обретается (или даже не почти). Однако он не найден усилиями как человеческое решение, —

он фактически дается чудом. Еще точнее говоря, спасение буквально послано Небесами, — человеческим же вниманием, усердием и самоотверженностью оно лишь уловлено и пытается закрепиться.

А выход оказывается в возможности принимать на себя чужие страдания. Буквально, физически, — хотя и метафизически тоже.

(К вопросу об именах: вряд ли случайно мать Алеши — вторая героиня после Ники героиня романа, у которой обнаруживается эта целительная способность — оказывается тезкой матери Христа. Ее зовут Мария Акимовна, а Богородица, как мы помним, была дочерью Анны и Иоакима.)

Представления об устройстве мира в целом и о природе пронизывающих его закономерностей у автора, несомненно, христианские (у его героев — сложнее). В этом мире есть бессмертие — во всяком случае, некоторое посмертие, — лишенное, впрочем, отчетливо-христианских черт и, по крайней мере в начальной своей области, в точности, до подробностей воспроизводящее земную жизнь.

(В романе есть и еще одна линия, параллельная основной: Кириона, богослова II века, чудесно спасшегося вместе со всей своей христианской общиной от казавшегося неминуемым растерзания львами. Трактат его о том, зачем Богу нужны наши страдания, Иван переводит с ликийского языка для отца Глеба, священника церкви при хосписе. Назначение этой линии — не только в том, что именно перевод текста Кириона втягивает Ивана в жизнь хосписа, где он в конце концов становится одной из ведущих фигур разворачивающихся событий, но прежде всего в том, чтобы подчеркнуть христианский смысл происходящего в основной части романа.)

Кроме того, это еще и (мягко-)альтернативная история. До некоторого момента исторические обстоятельства в этом мире почти совершенно (ну кроме разве болезни, принявшей пандемический характер) совпадают с нашими — и только на последних страницах с ними расходятся. В мире Козлова события, связанные с пандемией и протестами против закрытия детских хосписов, заканчиваются социальным, а там и правительственным кризисом, который в конце концов сметает со своего поста главу государства, прозрачно именуемого Б.Б. У нас же... ну, сами знаете. Их мир оказывается, в конечном счете, спасен. А наш?

\* \* \*

В романе Шамиля Идиатуллина (не просто фантастическом, между прочим, но научно-фантастическом, с тщательно и эффектно продуманной наукообразной основой — редчайшая птица по нынешним временам) все и того невозможнее: в 1985 году троих подростков (почти детей — ни одному из них еще нет четырнадцати) в рамках наисекретнейшего проекта отправляют в космос, чтобы сбить с курса комету Галлея, грозящую Земле гибелью. Отправляют их на корабле, устроенном особенным образом: он перемещается по пронизывающим Вселенную космическим струнам — наикратчайшим путем, иначе не успеть. Сверхъестественные силы на помощь уже не придут — в этом мире их нет. Все приходится делать собственными силами — неокрепшими, детскими — и на свой страх и риск, без помощи даже взрослых. Корабль-то взрослые разработали и запустят, но их участие в полете невозможно физически.

«...Разработанный Кукаревым корабль приводится в действие магнитным потоком, активная частица которого называется “монополь”. Ее существование до сих пор считается недоказанным, однако Кукарев умудрился не только впрячь эту частицу в двигатель, но и заставить ее вводить корабль в резонанс с суммой всех электромагнитных, слабых и сильных взаимодействий космической струны — и на очень короткое время становится ее частью. То есть частью складки, пронизывающей Галактику и одновременно существующей в разных уголках Вселенной <...> После вступления в резонанс со струной полет становится практически неконтролируемым, подчиняясь

при этом правилам и законам, о которых мы ничего не знаем». И еще более того: «...Выдержать работу монопольного двигателя могут только здоровые, физически крепкие люди <...> младше шестнадцати-пятнадцати, а лучше четырнадцати лет». Позже нельзя: «начинается ураганное выделение гормонов, которые привычны у взрослых, а у детей особо не выделяются. Причем неравномерное: у одних органов резко ускоряются биочасы, за секунду проходит год, через минуту орган считает, что ему пора умирать, а у других темп медленнее».

Вся эта изящная в своей многосложности конструкция оказывается необходимой единственно затем, чтобы забросить троих юных героев — со всей подростковой бескомпромиссностью их отношения к жизни — из их обжитого, уютного и понятного советского настоящего в наше с вами сегодняшнее будущее и увидеть его их глазами. (В этом смысле яркий, драматичный, но совсем небольшой по объему эпизод битвы с кометой, образующий композиционный центр книги, имеет исключительно служебное значение.) Перемещение в космическом пространстве оборачивается еще и путешествием во времени — куда более дальним, чем предполагалось изначально (как объясняли ребятам перед вылетом, «полет для членов экипажа длится пару минут, а на Земле проходят месяцы»). Вылетев из июля 1985 года и прожив в космосе, в собственной реальности, что-то около суток, Инна, Олег и Линар возвращаются на Землю спустя тридцать шесть лет. То есть в 2021-м.

(Так и хочется сказать: повезло еще, что не годом позже.)

Роман очень кинематографичен. И в смысле виртуозно выстроенного сюжета — с умелым нагнетанием и сбросом напряжения, с выстроенными бестрепетной рукой эмоциональными американскими горками, с четко — и неожиданно — расставленными паузами и точками перелома, с захватывающими погонями и уходами от неминуемой, казалось бы, гибели в наипоследнейший момент; и в смысле практически готового зрительного ряда, в том числе изображающего, казалось бы, непредставимое — перемещение во времени-пространстве по космической струне («Багровый мир стал бесконечным и многообразным, будто я смотрел в бездонный колодец, наполненный подрагивающими алыми, бурыми, оранжевыми и розовыми слоями, а слева, справа, вверху и везде с этим колодцем смыкались другие колодцы, провалы, залитые свернувшейся кровью карьеры и красные океаны...»). В нем очень неплохо воссоздана подростковая психология и подростковый сленг середины восьмидесятых. Но вообще-то он — прямое, почти (да почему почти?) публицистическое высказывание (примерно такое: мы погубили жизнь, которая могла бы быть совсем другой). По крайней мере в последних, посткосмических главах. Можно, пожалуй, сказать и так, что роман вполне отчетливо распадается на собственно научно-фантастическую и публицистическую половины.

(К достоинствам романа безусловно стоит отнести то, что в нем — при несомненной расставленности акцентов добра и зла — нет однозначно «положительных» и «отрицательных» героев, все они, включая юных космонавтов, — люди сложные и способные обернуться в принципе какими угодно. Совершенно так же, как в романе Козлова, в борьбе света с тьмой, которая здесь тоже происходит, на той или иной из противоборствующих сторон возможно оказаться, сознательным усилием заняв соответствующую позицию.)

Наша реальность предстает перед позднесоветскими подростками как крах всего, в чем в 1985-м они были совершенно уверены, на что они чувствовали возможным надеяться, — да, пожалуй, и как своего рода антиутопия. Не то чтобы автор занимает просоветскую позицию — вроде бы нет (тем более что нынешнюю жизнь со всеми ее дикостями он показывает как прямое, хоть и разрушительное, продолжение советской). Но во всяком случае, утраченная космическими путешественниками позднесоветская жизнь выглядит у него по всем статьям привлекательнее и достойнее. И явно не только потому, что юные герои тоскуют по ней как по утраченному, уничтоженному дому

(но есть и это: в родном городе Олега, Грозном, столице того, что при нем было Чечено-Ингушетией, за минувшие десятилетия произошло сами знаете что; по родному для Инны Таджикистану прокатилась гражданская война, и следов своих семей они не нашли). Суда подростков восьмидесятых годов, причем далеко не самых идеалистичных и ортодоксальных — нормальных таких, недоверчивых, критичных подростков, — наша жизнь по большому счету не выдерживает.

«Богу они молятся, — проворчал я. — И этому самому, как его, бизнес-чистогану. Товарно-денежные отношения. Флаги царские, орлы хищные, Союза нет, а молятся Гагарину. Толку-то молиться, если заводы и КБ закрыли, а вместо рабочих и инженеров дебилы с бородами и в наколках, как эки-геологи, и дуры с губами? <...>

— Зато всего полно. А у нас все делали, а куда ни ткни — дефицит.

Ой да ладно, полно, хотел сказать я, но вспомнил телефоны, вспомнил огромные телевизоры, вспомнил ряды джинсов, которые стоили не две зарплаты, а пять-десять процентов от одной, вспомнил сто сортов колбасы и сыра, вспомнил пиццу, газировку и мороженое и со вздохом согласился с трудом заглушая писк в желудке:

— Это да. Буржуйствуют и загнивают».

Взаимодействие с нашей реальностью оказывается для них испытанием куда более сложным, чем сжатая в несколько часов миротворящая битва с кометой. Хотя бы уже потому, что та требовала всего лишь сосредоточенности, решительности и точности действий (и, ну да, смелости, конечно). А тут пришлось выстраивать новые модели поведения и коммуникации с людьми, по существу, совсем другой культуры; осваивать изменившийся язык, новую предметную среду, новую технику... Эх, без спойлера не обойтись: они ведь — внимательные, восприимчивые — в конечном счете справились. Куда лучше справились, чем это получилось бы у закосневших в своих привычках и представлениях взрослых. Второй спойлер: жить в этом чужом времени они все-таки не смогли. То есть, в принципе, смогли бы («ну, нам не повезло просто, а так оно тоже вполне, жить можно», — резюмирует один из них), но, к счастью, пришлось спастись. И тут — уже целиком их собственными силами — осуществилось еще одно невозможное, невозможное уже, казалось бы, совсем, не обещанное ничем из тех закономерностей, о которых им успели рассказать перед полетом. Вопреки всем ожиданиям, включая читательские, они вернулись еще раз: в свое собственное время. В ночь перед стартом. И еще успели увидеть спины уходящих самих себя.

И вот тут-то как раз могло бы начаться самое интересное. Там, где все — в романе — кончилось. По всей вероятности, ребята запустили новую версию будущего.

Мало того что они ее — уже самим фактом своего возвращения — запустили. Они — со всей их подростковой решительностью — собрались активно ее формировать, не допустить того, что случилось в старой версии будущего — без них. «Не уверен, что получится совсем здорово. Но мы очень постараемся. И это будет наш мир».

Вот об этом бы почитать.

\* \* \*

Роман Дмитрия Исакжанова — самый интересный из трех в литературном отношении. Я бы даже рискнула сказать, что и наиболее сильный, — при том что два предыдущих, особенно идиатуллинский, сделаны с отменным профессионализмом. Но и *Stabat mater*, и «Возвращение “Пионера”», прекрасный, точный образчик жанровой словесности, — по существу, беллетристика. Отлично сделанная, крепкая, яркая, но именно беллетристика. А вот «Толкование прошлого» — уже литература, то есть то, что проблематизирует устройство и реальности как таковой, и ее восприятия, и создает если и не радикально новый язык для их описания, то, по крайней мере, новые способы говорить об этом. Роман живой, непокорный, перерастающий жанровые

модели, правила, сам себя, не построенный, но выращенный. Роман, создающий возможности нового видения. Однако он же (как это, впрочем, часто бывает свойственно сильным — расpiraемым разными мощными силами — текстам) и наиболее неровный.

Коротко говоря, суть происходящего состоит в том, что человек, у которого мучительно и малообъяснимо не ладится жизнь, не ладится даже физически — его непрерывно, одна за другой, без всяких видимых причин мучают различные болезни, не получаются отношения с самим собой, с близкими людьми, с людьми вообще, — отправляется на дачу — в дом, с которым связаны важнейшие его детские воспоминания, чтобы там, в уединении, через восстановление и понимание собственного и семейного прошлого разобраться в причинах своих несчастий и неудач. Ему предстоит понять не только это, но и разрешить самый таинственный вопрос их сложной фамильной истории: почему, куда и в какой вообще момент жизни исчез его отец, который некоторое время после своего исчезновения как будто даже жил в одной квартире с оставленной семьей, в одном с нею дачном доме, у него была собственная комната, куда никто никогда не входил, его присутствие чувствовалось, но никто его не видел, — пока он, столь же незаметно, не исчез совсем.

Скажем сразу: ответов он не находит (и читатель — не получает; тайна остается тайной), несмотря на то, что посвящает много текстообразующих усилий их прояснению, высматриванию улик, их толкованию. По крайней мере, ответа на последний вопрос — точно не находит, и пристальное всматривание в историю семьи тоже дает немного: не приносит ясности, но лишь подтверждает темноту. «Теперь, когда не стало ни отца, ни тети Нины, ни бабушки, жизнь моя не стала прозрачнее и ничуть не приобрела в гармонии и ясности, но, приняв в себя продолжение их судеб, напротив, еще более сгустилась, уплотнившись в странную, почти непроходимую атмосферу цвета замершей над гниением и умиранием донных трав воды». С первым вопросом (о том, отчего же все настолько не складывается, когда, с чего и почему это началось) — сложнее.

Постепенно выясняется корень этой системы неудач, внутреннего обрушения, необратимого расщепления мыслившихся незыблемыми связями героя, даже с сестрой, с которой он прожил в детстве все самое значительное — да все вообще! — с которой он составлял некогда «замкнутую систему». Много (если не все) в его личной катастрофе восходит к первой, решающей, единственной и неосуществленной любви — к другу его позднего детства и юности и к отношениям с ним.

«Даже когда его уже не было рядом, он все равно был здесь», — произношу я в себе и оглядываюсь. Эта мысль не оставляет меня, наполняя радостью соучастия и тайного знания того, что я никогда не был один. Сколько времени мне потребовалось, чтобы, наконец, сказать это словами? Неужели только сейчас?..

Что я чувствовал, думая о нем все эти годы, с тех пор как в армии получил письмо от своего Юры? Что-нибудь, кроме все возрастающего сопротивления материи, словно я пытался двигаться против естественного хода событий, словно проталкивался куда-то в глубь, в толщину, сквозь сплетения корневищ к первозданному праху?»

Правда, выясняться, вообще выговариваться это начнет во второй половине романа (именно! не раньше: первое, внезапное упоминание о ее адресате случается на странице 232). Что и наводит на мысль, согласно которой, сколь бы жгучей лично для героя ни была эта тематическая линия, сколько ни посвящай он ей внутренних усилий, — она тут все-таки не главная.

В целом же очень похоже на то, что жизненные и семейные неразрешимые трудности героя оказываются только поводом для того, чтобы отправить его в дачное уединение, изъять его из актуальных контекстов и дать ему возможность в полной мере заняться внутренним восстановлением собственного прошлого, главнейшим образом, почти единственно — детства. Все остальное оказывается по отношению к этой большой, медленной, внимательной работе инструментальным. Начинается она

примерно к концу первой сотни страниц, но зато уж начинается всерьез (кстати, сколько-нибудь основательная рефлексия над семейной историей, усилия по выстраиванию ее модели — и того позже: «История нашей семьи, насколько она просматривается, зрительно представляет собой лигу, ослепительную в четкости своих очертаний в горних и плавно нисходящую из мифической лазури во тьму сомнений и слухов, невнятицу сплетен, обмолвок в глушь и забвение, с абсолютной утратой границ. С одной стороны. С другой же, наоборот: начинаясь среди двусмысленностей и недомолвок, минуя реалии, изгибаясь, чудесным образом уходит она в небесную высь, где, истончаясь, утрачивается и исчезает, соединяясь с безбрежностью всеобщности». Нет, нет, ничто из этого прояснено не будет, — и вдруг понимаешь: оно нужно автору — да, пожалуй что, и герою — именно в своей таинственности).

Сердцевина повествования — детство — разрастается, оттесняя остальное на окраины. Вполне возможно, автор такого не замышлял, но так получилось.

Всё, связанное с началом жизни, здесь крупно, таинственно и магично. Всё, относящееся к последующим временам, скудно, мучительно и, главное, — в глубокой зависимости от детства. Детство — огромный, уходящий в глубину фундамент, превышающий по объему то, что на нем было настроено; самодостаточный фундамент, по существу, не нуждающийся в позднейшей надстройке.

Основной предмет интереса Исакжанова — внутренние процессы сознания, в особенности — детского мировосприятия, эстетика, оптика, пластика детства, так легко, практически незаметно переходящие в его метафизику. Он проблематизирует сами структуры этого восприятия, ищет способы говорить о неявном, о не попадающем обыкновенно в свет сознания. Прямым литературным предком и наставником Исакжанова с его пристальными поисками утраченного времени можно назвать Марселя Пруста — в смысле изысканного внимания к внутренней феноменологии, к самой материи воспоминания, вспоминательных усилий. При этом по темпераменту Исакжанов совсем другой. Если уж искать ему, его сложному, внутренне конфликтному, напряженно-подробному, плотно-избыточному тексту литературных родственников, то ближайшим из них, видимо, должен быть Бруно Шульц. По-русски сегодня так, кажется, никто не пишет.

«Чудо нам являлось в своем самом чистом виде. Будучи освобожденным от тяжелых примесей тревоги и страха, оно оседало летучей эссенцией на цветных целлулоидах снов, сверкало на дне чайных кружек, уже не обжигающих утренней спешкой, золотистой амальгамой, осыпалось с потолка предвкушением свободы и света».

Вопреки названию книги, автор не толкует прошлое — не подвергает его объяснениям, интерпретациям, логическим выпрямлениям (разве что называет свои детские чувства более поздними, взрослыми умными словами — да какое ж это толкование?). Он прошлое воскрешает, делает осязаемой, телесно ощутимой реальностью, — что гораздо сильнее. Выколдовывает его у забвения, подносит к нему магическое увеличительное стекло. Он возвращает себе — а тем самым и нам — естественную восприимчивость к таинственному, к пронизывающим мир и сознание тонким связям, для которой у детства нет слов, а у взрослых ответственные за нее рецепторы по большей части атрофируются.

Вот о переезде на дачу в детстве, о стремлении героя непременно войти в дом раньше всех остальных: «Я хотел окунуться в глубину дома, еще никем не замутненную, ощутить ее во всей чистоте прежде, чем поднимется и закружится в пространстве невидимый ил. Надеялся разглядеть подлинность красок, особую гармонию форм. Несмещенные света, упавшие в естественном порядке тени...

Я казался себе линзой, что, как и все другие, вносит в гармонию цветов и линий, отстоявшихся в покое, смуту. Ставит все с ног на голову, переворачивает вверх дном. Мне необходимо было взаимодействие. Чувство того, что оставляешь след.

И еще хотелось ощутить, как ответным движением все мембраны и клапаны во мне устанавливаются в новое, неизвестное прежде положение. Как пространство внутри меня раздается, включая в себя весь этот день от начала и до конца, немислимо широкой панорамой.

Это было еще и чем-то... Чем-то из области импринтинга и телегонии — я чаял чистоты любовного единения».

Что же до выхода из казавшихся безвыходными обстоятельств, — чудесным образом (действительно чудесным, хотя о высших силах тут ничего не сказано) обретается и он. Как и следовало ожидать — в возвращении в детство.

«Родные, знакомые с детства голоса, произносящие какую-то милую, ничего не значащую праздничную чушь <...> Я нагибаюсь и заглядываю в отверстие замочной скважины: там, в зале, ярко горит свет и надрывается телевизор, там полно людей, и царит суета, и на раздвинутый возле елки стол ставятся приборы, из шкафа вынимаются коробки с елочными игрушками, и зажигаются свечи, и дети — мальчик и девочка — ликуют».

Кстати, ведь и друг Юра, предмет тайной и безответной любви героя, имеет здесь прежде всего то значение, что самим своим существованием, самой беззаконностью этой любви поневоле изгнал его из детского рая, из изначальной, всеохватной полноты жизни.

\* \* \*

Теперь-то понятно, что объединяет все эти романы по-настоящему, еще прежде всех сюжетных построений, художественных решений и их смыслов. Это чувство родства и даже едва ли не общей сущности — на уровне общекультурных интуиций — детства и чуда, начала жизни и реальности невозможного.

Согласно этим, рассеянным в культурном воздухе интуициям, детям, при всей их неготовности, незащищенности, уязвимости — более того, как раз благодаря этому — возможно то, на что у взрослых нет оснований надеяться. Они способны летать в космос и путешествовать во времени (Идиатуллин), видеть ангелов и общаться с ними (Козлов), вообще чувствовать глубину и полноту жизни в ее неохватных для взрослого сузившегося сознания объемах, сами ее неизъяснимые разумом корни и таинственные истоки (Исакжанов). Казалось бы: по мере вырастания, набирания сил, понимания, самообладания, критичности, кругозора... возможности человека — и внешние, и внутренние — должны бы только увеличиваться. Но нет. Максимально различные меж собой авторы, не сговариваясь, сходятся в признании (как бы по умолчанию, в качестве исходного условия) того, что в начале жизни переплетены друг с другом, не вполне еще отдифференцированы друг от друга все составляющие человека энергии, включая и те, что в начале времен ответствовали за возникновение самого мира. Ребенок (до полового созревания, до того самого гормонального взрыва, который препятствует полетам в космос у героев Идиатуллина, который вообще отсекает человека от полноты и априорной осмысленности жизни в романе Исакжанова) причастен творению мира, в каком-то смысле он воспроизводит это творение в самом себе, самим собой. (Именно он в полном праве сказать, размышляя о возможных версиях будущего — которых у него много: «И это будет наш мир».) В свете этого получается, что, вырастая, человек — сколько бы сложных знаний и умений он при этом ни обретал, — огрубляется, упрощается, сужается, беднеет, слепнет (и мир-то ему становится, на самом деле, все более чужим — настолько, что к старости уже мечтается от него освободиться). И только прикосновение к детству способно — хотя бы отчасти — вывести его из этого вполне безнадежного состояния.

Борис Минаев

## Манюня и её армия

Трудно ходить в театр на детские спектакли. Только ко второму действию я начал понимать, какие милые, симпатичные мальчики и девочки сидят вокруг меня. Разглядел лица, восхитился их обаянием и красотой.

На первом действии раздражало буквально все: шорох, скрип, шепот, бесконечный фоновый гул, ну как всегда бывает, потому что свои дети (внуки), они замечательные, а всех остальных слишком много. Но это было ложное чувство — просто нужно было привыкнуть.

На самом деле смотреть спектакль в детской аудитории — для профессионала, режиссера или критика, ужасно полезно. Все «провисы», слабости, недочеты сразу очевидны: фоновый шум в такие секунды становится чуть сильнее, слышнее. С другой стороны, все «ударения», акценты, ключевые моменты, кульминации и эффекты — тоже проверяются этим шумом. Он исчезает или превращается в общее «ах». Или даже в мертвую тишину, совершенно не свойственную этому залу.

На спектакле «Манюня» в РАМТ — много завсегдатаев. Это я понял из разговоров в антракте и после спектакля. Юные зрители и их родственники приходят сюда не по одному разу. Зал полон. И — что важно — он полон именно родителями с детьми. Не классами и не «пионерскими отрядами». Водить детей в театр с педагогом из школы, детского дома, детского лагеря — вообще-то важная, благородная задача. Но ужасно трудная.

Микрокосм детского коллектива никуда не девается даже во время самого яркого представления: отношения, лидеры, изгои, любимчики, подруги, ревность, страсть — с трудом представляю спектакль, который бы мог вырвать ребенка из этого потока переживаний.

Тем не менее героические педагоги продолжают это делать, значит, видят цель и знают, как ее достичь.

Ну, и правда, что может быть важнее, чем разговор об увиденном спектакле, уникальном, единственном художественном впечатлении в жизни?

...Тем не менее, когда я на «Манюне» увидел, что дети в основном с родителями, мамами, папами, тетями, бабушками, подругами мамы и так далее, — мне как-то полегчало. Их привела сюда мощная семейная традиция — ходить в театр. И поверьте, они это понимают.

Собственно, и сам спектакль — об этом. О том, что такое семья.

И каков смысл этого слова.

Девочка слева от меня. Ей лет восемь. Впереди нее сидят две рослые девушки постарше, девочке не видно сцены. Ну а выход? Билеты раскуплены, свободных мест нет. А если и есть — как сесть одной, отдельно от мамы? Девочке принесли специальную подушку. Большую такую, плотную, но мягкую. Теперь ноги болтаются

над полом, но хоть что-то ей видно. Девочка все равно падает на бок, чтобы через щелочку между головами расширить свой обзор. Не плачет, не ропщет, просто нагибается, чтобы увидеть актеров.

Справа от меня два серьезных малых со смартфонами, играют в игры и одновременно смотрят спектакль. Им лет по десять. Я расстраиваюсь: ну что они там увидят? Удивительно, но реагируют на каждое слово, на каждый острый момент, комментируют, вполголоса обсуждают. Иногда подтрунивают, иногда спрашивают друг друга, если не расслышали или не поняли.

Когда в двухтысячные годы Наринэ Абгарян стала выкладывать в социальных сетях фрагменты своих воспоминаний о детстве, проведенном в маленьком городке Берд в Армении, о своей семье, о советском трудном быте, о счастливых мгновениях дружбы и любви — никто еще знал, что это станет одной из самых главных детских книг в нашей стране, и уж точно — одной из самых популярных пьес.

И дело тут вовсе не в советской ностальгии, хотя присутствуют в тексте и банка сгущенки, как символ дефицита, и «венгерские курицы», добытые с боем, и инженерская зарплата в сто двадцать рублей, на нее папа Юра содержит большую армянскую семью из трех девочек: Наринэ, Каринэ и Гаянэ.

И висит над сценой огромный ковер — тоже символ ветхого советского благополучия. И вещает «армянское радио», тоже символ советских лет, вернее, советских анекдотов, советского фольклора.

Я, кстати, задумался: а насколько понятно это детям — «армянское радио» и то, что это значит?

Вряд ли понятно, вряд ли анекдоты «армянского радио» им вообще знакомы.

И вот тут очень важно, что по замыслу режиссера — Рузанны Мовсесян, — вообще вся «советская история» (тогдашние реалии быта и речи) здесь, в спектакле, подана как «всеобщая история», как история людей «вообще». То есть это просто «мы», и в конечном итоге этот спектакль просто «про нас».

«Армянское радио» в таком контексте — это не анекдоты про дефицит или Брежнева — это два шута, два мягких и добрых клоуна (Алексей Бобров и Виталий Тимашков), которые сопровождают все перипетии приключений двух девочек: Наринэ Абгарян (она в своей книжке не прячется ни за каким псевдонимом, ее играет Анна Дворжецкая), и Манюни Шац (ее играет Анна Ковалёва). А приключения эти — от попыток искривить свой нос, чтобы он тоже был «с горбинкой», как у любимой подружки, с помощью страшного удара тупым предметом в переносицу, от каких-то якобы «вшей», которых Баба Роза выводит с помощью страшной смеси синьки, бараньих катышков и чего-то еще, до первой влюбленности в «заезжего москвича» — это странная смесь ностальгии по детству, юмора, человеческих отношений и какой-то пронзительной откровенности, — так что и юный, и взрослый зритель буквально погружаются в них с головой.

Я внимательно поглядывал на девочку слева, которая смотрела спектакль на подушке, скривившись набок, чтобы ничего не пропустить, и на двух приятелей справа, которые пытались быть «взрослыми» и «ироничными» по отношению к этому «детскому спектаклю», но у них ничего не получалось, вместе со всем остальным залом они хохотали и замирали.

Я вслушивался в зал.

И я понимал, что дети прекрасно понимают все театральные условности, все предложенные театром «правила игры».

Вот ходит по сцене, то перетаскивая холодильник, то просто лежа или сидя в изнеможении от этих неукротимых духом двух девочек, — настоящий белый медведь. Прямо в шкуре и на двух ногах. В программке он так и назван — «Армянский белый медведь». Родители шепотом объясняют детям (сами, конечно, немного подумав): мол, это фантазия, это белый медведь с обертки любимых конфет «Мишка на севере»,

и это, наверное, действительно так и есть. Но по большому счету объяснений не требуется. Отчасти фарсовый, клоунский, цирковой театр — он, конечно, предполагает некие условности. И дети это прекрасно чувствуют.

Другое дело, как удастся им почувствовать сквозь этот веселый балаган и даже абсурд — настоящую жизнь, искренние чувства, нежность и любовь? Но ведь удастся же.

Мне кажется, это потому, что режиссер (и театр РАМТ в целом) — очень тонко понял и ярко передал основную тему книги. В отношениях двух девочек есть, как это часто бывает в жизни, ведущий и ведомый: Манюня Шац не боится ничего, верней, преодолевает страх, атакует, идет на штурм, и сыграно это блестяще, а Наринэ Абгарян с восторгом за ней наблюдает и с наслаждением за ней следует. Но если Манюня — такой детский генерал, ведущий свои «сражения», то кто ее армия, кто позволяет ей оставаться счастливой и легкой, что бы она ни вытворяла, ни придумывала? Это, конечно, не только ее подруги — это целая армия добрых людей. Собственно, философия спектакля в том, что эта армия добрых людей — она всегда присутствует в жизни, она здесь, она растворена в реальности, какой бы реальность ни была.

Это и родители, и соседи, и просто прохожие, и крестьяне, спускающиеся с гор, чтобы подарить Абгарянам самую лучшую в мире сметану или самый лучший в мире сыр, и ангелы-клоуны с «армянского радио», да кто угодно.

Эта «армия добрых людей», которая должна быть всегда и будет всегда, — вот, наверное, главное открытие и главный символ веры Абгарян (уже не персонажа, а писателя). Дети очень тонко чувствуют эту веру и эту надежду, и поэтому для них в спектакле «все понятно» (хотя, казалось бы, многое нужно объяснять: а почему ковер, а почему живой белый медведь, а почему армянское радио, а что за сепарированная сметана, а что такое сто двадцать рублей), ну а взрослые...

А взрослые, как мне кажется, особенно сейчас, в наше время, напряженно думают: а куда же девалась эта «армия добрых людей», в чем сейчас их опора, в чем основа бытия для них сегодня? Куда они ушли и вернутся ли опять?

Есть в спектакле «Манюня» персонаж, о котором стоит сказать отдельно: это Ба, или Баба Роза — в исполнении совершенно удивительной Нины Дворжецкой.

Вокруг нее строится этот мир маленького многонационального армянского городка Берд, о котором рассказано лишь с помощью нескольких деталей, вокруг нее вообще строится весь мир Манюни и Наринэ, она — символ жизни в каком-то смысле, со своей страстностью, любовью, неукротимой жаждой справедливости и желанием счастья.

(Вообще, замечу в скобках, национального — то есть «армянского» и «еврейского» — в спектакле много. Это и интонации, и самоирония, и шутки — но почему-то кажется, что это «армянское» или «еврейское» — гармонично вливается во что-то общее, всечеловеческое.)

И если и есть в спектакле скрытая от детей, но понятная взрослым нота горькой ностальгии или грусти, то это как раз ностальгия по этому «всечеловеческому». Носитель его, даже главный носитель — как раз Баба Роза Нины Дворжецкой. Она каким-то неуловимым образом создает вместе с другими членами двух семей, папами и мамами, сестрами и соседями, этот общий на всех мир. Общий и в своих бедах, и в своих радостях.

Конечно, сегодня порой смотришь на это со слезами на глазах.

Хочется туда вернуться, в этот маленький Берд, где все равны и никто никого не ненавидит, не мучает своими злыми мифами.

Где еще не родилась новая, страшная сказка — о том, как сдается эта армия добрых людей Манюни. Как она терпит поражение.

Но ты понимаешь при этом, особенно на аплодисментах: эти дети, они увидят новый мир. Другой, отличный от нашего. Они обязательно его увидят.

---

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на

**<http://дружбанародов.com>**

Журнал продается в московских магазинах:

«**Фаланстер**» (Москва, ул. Тверская, 17,  
вход с Малого Гнездниковского переулка)

«**Бункер**» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

*Вёрстка: Елена ЖИРНОВА*

*Корректурa: Елена ЛАПШИНА*

*Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ*



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



**12/2022**

## Читайте:

### **Самира Асадова, Татьяна Асадова «Весёлые праздники чаучу». Рассказы**

*«С давних пор человек и олень неразлучны, невозможно без оленя в тундре прожить. Поэтому его берегут пуще глаз. Оленевод свою жизнь сравнивает с жизнью оленя — ʒоравагыргын. Поэтому календарь составлен по межсезонному виду деятельности. Январь — ынпылювлэн, в это время обучают ходить в упряжке трёхгодовалых самцов-кастратов, которых в прошлом году не успели обучить. Для поддавшихся обучению устраивают гонки — Ръилет. Февраль — чъачанльоргын: в это время стоят сильные морозы, морда оленя аж покрывается инеем, потому и называли так месяц — «иней на морде оленя». Льоргыʒай — март, в это время на мордочке внутриутробного телёнка появляется пушок. Гыройэльгын — апрель, он так и переводится: месяц отёла. Мимлыръылин — май, месяц появления воды. Кыткытйъэлгын — июнь, весенний месяц. Анойъэлгын — июль, месяц жары. Ңэтйылгын — август, месяц, когда самцы начинают чистить рога. Эйҗэйылгын — сентябрь, месяц гона. Гытгайъэлгын — октябрь, осенний месяц. Яравычъын — ноябрь, месяц, когда в утробе важеньки появляется зародыш. Атьылёке — декабрь, месяц без светового дня, а моя бабушка Тымнеквына называла этот месяц ʒоольатгыргын — узкий день...»*